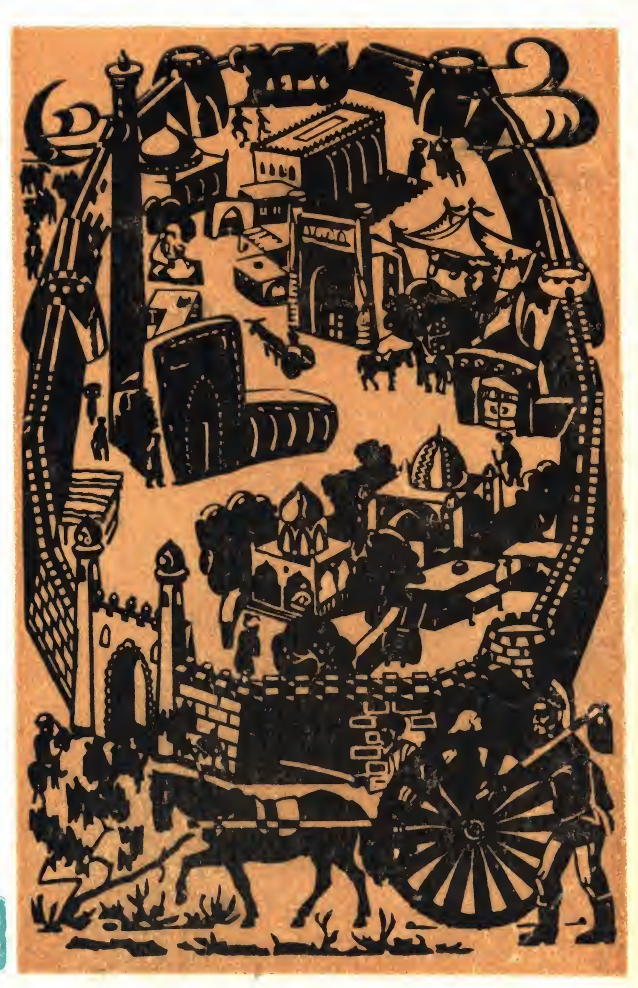


САБИТ МУКАНОВ

# ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР




1835
1865
СЕМИПАЛАТИНСК
БАЛХАШ
ЛЕПСЫ
КАРАТАЛ
ИЛИ
АКСУЙСКИЙ
КОПАЛ
АЛТЫН ЭМЕЛЬ
ИЛИЙСКИЙ
ВЕРНЫЙ
ЧАРЫН
КАРКАРА
НАРЫН
КАШГАР

САБИТ
МУКАНОВ

# ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР

РОМАН

*Книга вторая*

*Перевод с казахского*
АЛЕКСЕЯ БРАГИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЖАЗУШЫ“

Алма-Ата — 1980

Р 2
М 90

**Муканов Сабит.**

**М90** Промелькнувший метеор. Роман. Кн. 2. Пер. с каз. А. Брагина. Алма-Ата, «Жазушы». 1980. **412 с.**

М $\frac{70303-10}{402(05)-80}$ Доп. 80 4702230200

«С местными султанами и богачами из черной кости я... не лажу, потому что они дурно обращаются со своими бывшими рабами, которые теперь хотя и освобождены, но живут у них, не зная, как уйти. Я требовал не раз, чтобы они платили им жалованье и чтобы обращались как с людьми, в противном случае грозил законом. Зато с пролетариатом степным я в большой дружбе,..»

*ЧОКАН ВАЛИХАНОВ*

Из письма к А. Н. Майкову. 6 декабря 1862 г.

# *ЧАСТЬ ПЕРВАЯ*

# ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СЧАСТЬЕМ

## Чокан становится адъютантом

Генерал-губернатор Западной Сибири Густав Христианович Гасфорт решил сделать Чокана своим адъютантом. И не только потому, что он блестяще закончил кадетский корпус.

У тщеславного генерала для этого было несколько причин.

— Сей азиатский юноша,— рассуждал Гасфорт,— еще кадетом сблизился со светскими кругами Омска. Его знания и сообразительность ценили офицеры и чиновники, его остроумие и необычайная привлекательность создали ему репутацию дамского любимца. Не успели Гасфорты приехать в Омск, как он уже был представлен Елизавете Николаевне. И она постоянно твердила мужу: «Какой чудесный молодой человек! Ну, право же, ты его должен взять в свои адъютанты». Уж в чем-чем, а в светских обычаях она разбиралась. И если ей выпала судьба быть первою дамой Омска, то как экзотично будет выглядеть изящный степной принц с ней рядом на балу, как будут завидовать ей офицерские жены! Именно этих слов супругу своему она не сказала, но по вкрадчивой интонации голоса, по нетерпеливому движению бровей Густаву Христиановичу все стало ясно. Да он, впрочем, и не помышлял спорить с капризной Лизхен. «Добро, добро, так и будет».

Гасфорт отлично понимал, что в киргизской степи, уже находившейся под властью России, еще в полной мере сохранялись свои законы и обычаи, идущие чаще всего вразрез с имперскими законами. Оставлять же покоренный народ в прежнем состоянии было никак нельзя. Кто же должен приобщить

его к российским законам, кто будет связующим звеном между губернатором и степью? Конечно, в первую очередь султаны и родовые судьи — бии, но с некоторыми из них он уже успел познакомиться и убедился: хитрецы, ох, хитрецы! Не так просто найти среди них опору, тем более надежного помощника.

И когда на глаза Густаву Христиановичу попался Чокан и он перемолвился с весьма занятным будущим корнетом, и в особенности когда услышал его бойкую, может быть, даже слишком бойкую речь на выпуске в кадетском корпусе, то подумал: «Взяться хорошенько за его воспитание — помощник будет, лучшего и желать нельзя!»

Гасфорт был уже стар, но спесивая кровь остзейского барона еще подогревалась сладостными мечтами о карьере. Он участвовал еще в Отечественной войне 1812 года и вернулся из Парижа подполковником, с несколькими орденами. Командовал полком в Крыму, воевал с горцами на Кавказе и с турками на Балканах. Командовал дивизией, дослужился до генерала от инфантерии. Окончил Институт путей сообщения, но представлялся себе бравым кавалеристом и потому увлекался коннозаводским делом. Но пуще коней любил власть.

Балтийские служаки были в чести у двора. В ту пору Российская империя, уже утвердившая свое владычество на сибирских северных просторах Киргиз-Кайсацкой орды, вынашивала дальнейшие планы покорения Средней Азии, к которой с юга, с Индии протягивала свои щупальцы и Британская корона. Нужно было готовиться к этому наступлению, и прежде всего изучить среднеазиатские страны, их реки и горы, их селения и города, выведать потенциальные богатства, прощупать силу народов, населяющих таинственные эти земли, узнать их обычаи и культуру. Кандидатура Гасфорта представлялась приемлемой еще и по тому, что Гасфорт отлично знал, как оказались прибалты под властью России и к тому же поднаторел в колониальных делах во время службы в Крыму и на Кавказе.

Назначению Гасфорта в Омск немало помог граф Дмитрий Николаевич Блудов, добрый знакомый еще по кампании 1812 года. Действительный тайный советник, тот был в пятидесятых годах главнокомандующим II отделения собственной Его величества канцелярии и членом Государственного совета.

Когда назначение состоялось, граф Дмитрий Николаевич сказал:

— Считайте себя наместником, действуйте смело, не всегда и не во всем оглядывайтесь на Санкт-Петербург. Работать придется тщательно, средствами будете обеспечены. Изучай-

те все материалы, что сможете найти о Средней Азии, привлекайте к делу образованных туземцев.

А ведь Чокан и был таким образованным туземцем. К чему прочитывать все ему, Гасфорту, если Чокан Валиханов, как он в этом убедился, прекрасно знаком с литературой, начиная с византийских источников, со свидетельств арабских географов и историков, и кончая произведениями европейских путешественников как средневековья, так и XIX века.

Что же касается средств, то Густав Христианович прежде всего решил возвести на них приличествующую его положению резиденцию. Два существующих сруба — жилье и контора генерал-губернатора — производили поистине жалкое впечатление. Время и непогоды сделали свое дело. Бревна почернели, стены начали загнивать, железные крыши — и те заржавели.

Можно было бы построить просто приличное здание. Но не таков был Гасфорт. Лавры князя Воронцова не давали ему покоя. У того и орденов, что палат, и палат, что орденов. Ах, какой роскошный дворец построил себе князь в Крыму, на берегу Черного моря! А у него, у Гасфорта, и ордена по пальцам пересчитать можно, и ни одного,— понимаете,— ни одного дворца. И тут-то барон решил переплюнуть князя. Строить, так строить. Пусть у него в Омске будет свой Зимний дворец. Ну, не совсем Зимний, архитектора Расстрелли под боком не было, да и строительных материалов таких не раздобыть, но уменьшенную копию Зимнего все же можно построить и в далекой Сибири. Как шутил Чокан, если считать царский дворец верблюдом, то пусть гасфортовский будет хоть верблюжонком.

Гасфорт послал в Петербург сведущего в архитектуре чиновника, раздобыл чертежи, составил смету и послал графу Дмитрию Николаевичу слезную просьбу поддержать его перед министрами и двором. Разрешение и некоторая помощь вскоре были получены.

Омский Зимний дворец должен был подняться к востоку от кадетского корпуса на поляне, окруженной лесом. Сам кадетский корпус по замыслу местных зодчих должен был напоминать здание Генерального штаба в Петербурге, а площадь, образованная этими зданиями,— Дворцовую. Ее уже заранее именовали именно так. Протекающий невдалеке Иртыш ничем не уступал Неве. Вот только Адмиралтейства не хватало. Как ни придумывал Гасфорт повода, чтобы и в Омске воздвигнуть подобное здание,— долго у него ничего не получалось. Но Густав Христианович все-таки нашел выход для будущего: разовьется на Иртыше судоходство, расширится пристань, повис-

нут мосты над водой и такое тогда здание со шпилем построим, что и от Адмиралтейства его никто не отличит.

Фасад дворца, естественно, украсят колонны, белые строгие колонны. Они будут выглядеть внушительно и празднично на зеленом фоне стены леса.

Словом, настоящий Омский Зимний!

Двухэтажный, с высокими лепными потолками, просторными залами, с большими окнами. Нижний этаж — канцелярия губернаторства, верхний — жилые покои.

Не в полную меру, но все же замысел был выполнен. Осенью 1853 года, той самой осенью, когда Чокан заканчивал кадетский корпус, дворец был построен. Зимний — не Зимний, однако, площадь с той поры именовалась Дворцовой.

Дело было теперь за дворцовой свитой.

Генерал-губернатору полагалось иметь четырех адъютантов: военного, гражданского, по хозяйственным делам и делам, связанным с киргизским населением. Этим-то четвертым и должен был стать Чокан.

Между прочим, и здесь у Гасфорта было равнение на великих. Был же у Петра Великого любимый арап, Ибрагим Ганнибал. Цари как-то забыли это, не превратили в традицию. Вот князь Воронцов-Дашков, будучи наместником Кавказа, так тот держал двух адъютантов — одного грузина, другого азербайджанца. Разве они могут сравниться по знаниям с Чоканом? А если Чокана к тому же воспитать по-светски,— он и царскому Ибрагиму ни в чем не уступит. Смуглый, изящный, стройный, с узким разрезом глаз, да это же просто прелесть: настоящий Восток! Еще не один генерал позавидует мне!

Но Гасфорт, понятно, думал не только об одних внешних эффектах, хотя именно внешние эффекты не давали покоя его тщеславному старческому воображению. Генерал не хотел отставать от Воронцова и в либеральных преобразованиях, стремился узнать поближе сибирских инородцев, упорядочить управление степью, втянуть аулы в торговлю. Вынашивал он и мысли о соперничестве с Муравьевым-Амурским — генерал-губернатором Восточной Сибири. Во всем этом Чокан мог бы стать ему надежным помощником.

Когда молодой султан окончил кадетский корпус и пока шла переписка с Департаментом военных поселений о его производстве в офицеры и назначении на службу в Сибирское линейное казачье войско, Гасфорт уже прикомандировал его к себе.

Чокан примерно представлял, что от него будет требоваться. Он чувствовал пристальное генеральское внимание еще на

последнем курсе, в корпусе. Неожиданно о нем чрезмерно стал заботиться корпусной лекарь, грек Илиади. Чокан, перегруженный занятиями, стал пропускать гимнастику и даже редко катался на коньках по гладкому иртышскому льду.

— Что же это вы, сударь, на воздухе почти не бываете? И любимые коньки свои забыли, и лыжи,— журил его вкрадчивый и несколько сентиментальный лекарь.— Вы же, султан,— надежда его превосходительства. Смотрите, как вы осунулись. И прежнего румянца я не вижу. Снимите, пожалуйста, мундирчик. Послушаем ваши легкие... Нет, как будто бы ничего. Дыхание чистое. Но заниматься сегодня я вам запрещаю. Мы вместе пойдем на Иртыш. После теплых крымских берегов, после нежнейшего воздуха Таврии я учусь дышать гиперборейскими морозами. А сие надлежит делать в движении.

Чокан покорялся его воркованию, уходил с ним на иртышский лед, и втайне посмеивался, глядя, как шарообразная фигура лекаря, укутавшего шею шарфом и низко нахлобучившего меховую шапку, выделывает на коньках весьма замысловатые и не весьма грациозные па.

Впрочем, ему быстро наскучивало наблюдение за своим спутником и покровителем. Чокана захватывала скорость, легкий звон металла, тревожное поскрипывание льда, разбойничий посвист морозного воздуха. Он чувствовал себя словно на коне в прохладный и ветреный день. Ему даже казалось временами, что коньки еще азартнее верховой езды. Но это только временами. На коньках лишь вспоминался иноходец, вспоминалось седло, но когда наступала весна и он впервые выезжал на коне-аргамаке и неудержимо мчался вперед, сливаясь с конем, со степью,— это ни с чем не было сравнимо...

А лекарь Илиади во время очередного врачебного визита к генерал-губернатору докладывал:

— Вашему будущему адъютанту после окончания корпуса непременно надо отдохнуть в степи, на кумысе. Я недавно прослушивал его легкие. Явных признаков чахотки нет, но эта болезнь коварная, прячется до поры, до времени.

— В степь, говоришь, надо отправить? Подумаю, подумаю,— то ли соглашался, то ли нет Гасфорт.

По окончании Чоканом корпуса, получив уведомления о том, что он произведен в корнеты и зачислен по кавалерии, Гасфорт объявил ему свое решение.

— Отдыхайте, дорогой корнет, набирайтесь сил. Не возражаю и против выездов на охоту. Но прошу вас готовиться к поездке в Атбасар. Имейте в виду: Атбасарская ярмарка

должна превзойти Кяхтинскую. И масштабами торговли, и благоустройством. Изучите материалы — вы это умеете. Обдумайте на досуге, а потом доложите мне.

Чокан мог бы отнестись к генеральскому поручению формально,— казалось, оно находилось в стороне от его основных обязанностей и было, в общем-то, не таким уж сложным. Но стоило ему ознакомиться с делами, хранящимися в канцелярии, как он почувствовал потребность дальнейших поисков. И скоро перед ним возникла довольно стройная картина.

Царское правительство, утвердив в начале XIX века свою власть на севере казахских степей, заложило военные поселения — казачьи станицы, со временем преобразованные в города: Иргиз, Тургай, Атбасар, Акмолинск, Кокчетав, Каркаралинск, Аягуз. Атбасар стал городом позже других. Расположенная между Омском и Актюбинском, эта станица ничем примечательным не выделялась. Короткая остановка в пути для проезжих, особенно для военных — вот и все ее назначение. С годами, однако, оказалось, что станица удобно расположена для летних базаров. Вместе с другим скотом здесь началась торговля лошадьми. Отсюда и пошло название — сперва Ат-базар, лошадиный рынок, а потом просто Атбасар. Так закрепили за ней с 1854 года это название.

Гасфорт не зря заговорил с Чоканом именно об Атбасаре. Ямышевская ярмарка, расположенная между Павлодаром, тогда Кереку (от названия Коряковского форпоста), и Семипалатинском — Семеем, была слишком удалена от среднеазиатских торговых дорог и не могла выдержать конкуренции с Кяхтой, где шел оживленный торг с Китаем и Тибетом — Кяхтинская ярмарка по одним данным в середине XIX столетия давала годовой доход в семь миллионов восемьсот тысяч рублей, что превышало вдвое доход крупнейшей ярмарки России в Нижнем Новгороде.

Кяхта была предметом особой гордости Муравьева-Амурского и постоянной зависти Гасфорта.

Облюбовав Атбасар как возможного конкурента Кяхты, Гасфорт немедленно использовал свои петербургские связи и добился разрешения на ежегодную ярмарку. В русских и иностранных газетах появились рекламные объявления Торговой палаты. В Омске был образован ярмарочный комитет под председательством самого генерал-губернатора, а его заместителем назначили чиновника по особым поручениям полковника Майделя. К участию в комитете привлечен был и председатель Областного правления сибирских казахов и товарищ военного губернатора Карл Казимирович Гутковский, которого Чокан хо-

рошо знал и уважал, как превосходного преподавателя геодезии, географии и даже военной истории. Ну, а открытие ярмарки, как обязанность наиболее почетную, естественно, взял на себя сам Гасфорт. «Приманим торговые караваны из Ташкента, Самарканда, Бухары, а потом начнем и проникновение на юг»,— не без оснований рассуждал он.

Но прежде было необходимо — как можно скорее,— решить аульные споры, найти их скрытые пружины, навести порядок в округах — дуанах; для этого и было запланировано в дни Атбасарской ярмарки провести совещание султанов и биев всех шести дуанов.

Гасфорт много раз встречался со старшинами и с младшими султанами, но в результате этих встреч он получал такую пищу для размышлений, что переварить ее было трудно. Бог его ведает в чем тут была причина. То ли переводчики по неразумению своему искажали смысл ответов, то ли сами ответы были невразумительными. Скорее всего, султаны только и заботились о том, чтобы удержаться на месте и сохранить свои головы и от козней соседей и от губернаторского гнева.

Помощь нового адъютанта могла оказаться неоценимой в налаживании взаимоотношений со старшинами и младшими султанами. Молодой воспитанник корпуса обладает, как был убежден Гасфорт, безграничным знанием своего народа. Генерал был поражен однажды той бойкостью и самоуверенностью, с которой этот кадет, еще мальчишка, в сущности, советовал ему,— губернатору,— читать сочинения Рычкова, Левшина, Палласа... Имена так и сыпались из его уст и не в простом перечислении, а с комментариями, свидетельствующими, что он-то сам все это основательно проштудировал.

«Книги, конечно, книгами,— подумал Гасфорт,— но этот азиатский юнец знает степь не только по книгам».

И уже в первые не слишком занятые дни адъютантской службы Чокана генерал еще раз пригласил его к себе:

— Вы будете у меня переводчиком на совещании султанов. Не просто переводчиком, а советником моим. Вам надлежит глубоко ознакомиться с историей дуанов, разобраться в сути султанских споров.

Это было поручением не из легких. Но противиться приказу генерал-губернатора нельзя было никак.

Чокан посетовал на свою судьбу единственно хорошо знакомому султану, своему родному дяде по матушке Мусе Чорманову. Тот посоветовал:

— Делай, милый, все, что приказал генерал. А я позабочусь о твоем отдыхе. Поставлю тебе юрты в лесу на берегу

Иртыша. Пригоню кобылиц, чтобы хватило кумыса и тебе и твоим гостям. Будут у тебя и джигиты — сопровождать в пути. Найду и певцов с домбристами,— ты ведь любишь слушать кюи.[1]

После такого обещания можно было засесть и в архив, погрузиться в бумаги, хранящиеся в пыльных папках с надписью «Дело №...»

## Бабай-олень

В архиве губернатора должный порядок отсутствовал. Да и откуда ему было взяться, если заведовал архивом старик Максим Миронович Баргузин, личность примечательная, но отнюдь не созданная для канцелярских дел. Подолгу сидеть на месте и возиться с бумагами он просто не мог — он любил рассказать забавные истории, любил бывать на людях, любил странствовать. И тем не менее именно ему было поручено хранение архивных бумаг. Правда, он слыл грамотеем, хотя, как говорится, не открывал дверей школы, и умел с завидной быстротой переписывать бумаги, да и то только в том случае, когда бывал в настроении.

Максим Миронович был эвенком по отцу и бурятом по матери. Его отец еще в екатерининские времена приписался к казачеству и всю свою жизнь провел в армии. Служил в армии и сам Максим.

Вероятно, из благодарности к прошлым заслугам и определили его к старости в архив. Смуглый, скуластый, курносый, он так щурил свои и без того маленькие глаза, что разбегались морщинки по широкому лицу, а брови словно приближались к усам — таким же реденьким, как и бородка. Роста он был невысокого, но широк в плечах. Руки у него были ухватистые, мускулистые. Рассказывали, он умел бороться так, что одолевал многих, куда более рослых и сильных с виду соперников. Еще недавно этот тихий архивариус лазал по деревьям, как рысь, в ходьбе был неутомим и теперь.

Отказавшись в старости от борьбы и кулачных боев, он продолжал купаться в Иртыше до первых морозов. А как только выпадал снег,— становился на лыжи и отправлялся по одному ему известным маршрутам,— к степным курганам или в урманы, в тайгу. Где он ночевал, с кем водил дружбу во время своих путешествий, никто толком не знал. Замечали только, что возвращался он в город посвежевшим, бодрым.

---

[1] Кюй — музыкальное произведение народных композиторов.

Может, он уходил пошаманить, догадывался Чокан. И эта догадка имела под собой почву.

Дело в том, что у народов Передней и Центральной Азии, как говорили тогда, в том числе у монголов и бурятов, а в известной мере и у казахов, было широко распространено шаманство,— поклонение природе, огню, духам предков. Буддизм и мусульманская религия, проникнув в средние века в степи и тайгу, оказались не в силах вытеснить до конца шаманство. Царская Россия, распространяя свою власть в Сибири, на Дальнем Востоке и приближаясь к Средней Азии, вела за собой христианских миссионеров. Православие часто насаживалось насильственным путем, антигуманными методами. Исполняя обряд крещения, бывало, и в январские дни загоняли людей в прорубь, в реку, как стадо, а в результате новообращенные христиане обмораживались, заболевали. Подымалось чувство протеста и снова давало знать о себе шаманство. Так черная вера, как называли шаманство, продолжала существовать наряду с мусульманской религией, буддизмом и православием.

Шаманам верили.

Максим Миронович Баргузин действительно показывался в селениях вблизи Омска в шаманском одеянии и творил всяческие «чудеса», пляской-заклинаниями изгоняя болезни.

После службы в армии он так привык к этой своей роли, что зимой постоянно носил одежду, сходную с той, что носили северные шаманы. У него была оленья шапка, широкая шуба мехом наружу, но с кожаным воротником и краями, украшенными тунгусским орнаментом. Его наряд завершали высоченные оленьи сапоги с подвешанными к ним копытами. Эти-то копыта больше всего и забавляли омичей, особенно казахов. Из-за них Максим Миронович и получил прозвание «Бабай-Оленя», «Оленя-Отца».

Не только дети, даже относительно взрослые кадеты радовались каждой встрече с необычным стариком. Тем более, он умел рассказывать занимательнейшие истории, в которых смешивал быль и небылицу.

Чокан не однажды слушал его и каждый раз удивлялся.

И вот теперь, очутившись в тесной архивной канцелярии и увидев Бабай-Оленя, увидев впервые при исполнении служебных обязанностей, молодой корнет даже несколько растерялся — до того это было непривычно, и не знал, как же ему приступить к делу.

Бабай сам пошел ему навстречу.

— Как мы будем говорить, по-казахски или по-русски?—

спросил он, нещадно коверкая казахские слова, но давая понять, что с Чоканом он может беседовать и на родном его языке.

— Воля ваша, аксакал, как вам удобнее.

Тут Бабай-Олень признался, что казахский он знает плохо.

Уже через несколько минут Чокан понял — старик может заговорить любого казаха. Разговор он вел по всем правилам аульного любопытства.

— Ты к какому роду относишься?— начал он экзаменовать Чокана.

— Ни к какому,— отвечал Чокан,— я потомок хана.

— А-а-а,— протянул Бабай,— назови его имя.

— Аблай!..

— О-о-о,— не без почтительности пропел старик,— а которого из его сыновей?

— Уали...

— Ну, а твой отец кто же?

— Чингиз.

Бабай промычал что-то нечленораздельное, сдвинул тонкие брови, сощурил узкие глаза, отчего лицо его приобрело хмурое выражение.

— Что ж, все правильно!

— Что именно, аксакал?

— Все, что ты сказал... Когда я еще был мальчиком, вместе с отцом ездил в Кзылагаш, бывал в орде твоего деда. Как ты похож на него! Такой же темнолицый, с открытым взглядом, такой же стройный! А знаешь ли ты, что твой дед Уали был сыном каракалпачки. Уали пошел в материнскую родню. Ну, а ты....

Бабай-Олень еще раз пристально посмотрел на Чокана, как бы изучая его.

— Ну, а ты — вылитый Аблай. Вот и нос, ей богу, такой же, и голова суживается к вискам. И глаза внимательные, как у прадеда, и брови густые. Только ты сухощавей и цвет лица у тебя сероватый. У Аблая кровь так и приливала к коже.

— Должно быть, я переучился,— пошутил Чокан, удивляясь про себя памяти старика.

— Вот отца твоего я не видел,— продолжал между тем Бабай,— ты не обижайся на меня, но ходит слух, что он несправедливый человек. А теперь расскажи о своих родственниках по матери.

— Вы слышали о Чормане из рода Каржас? В окрестностях Баянаула.

— Не Кучука ли сын?

Чокан рассмеялся.

— Чему ты смеешься?

— Вы расспрашиваете меня, а сами лучше меня все знаете. Поэтому и смеюсь.

— Как же не знать? «Старым я стал, подросли мои дети, чего только я не видел на свете». Это словно про меня сложил один акын. Кажется, нет такого уголка в широких твоих степях, где бы я не побывал. Встречался и с Кучуком, сыном Мирзабая. Рано умер Кучук, и рано повзрослел его Чорман. Тринадцати лет стал бием. Будешь походить на него, добрую славу приобретешь. А если пойдешь в отца...

Бабай только рукой махнул.

— Что же вы, аксакал, своей мысли не закончили?

— Ты меня понял, а когда поездишь по аулам — все узнаешь. Значит, тебе, сынок, нужны архивные документы. Может быть, ты хочешь найти какое-нибудь дело, о котором тебе уже известно?

— Нет, отец, я хочу, чтоб вы сами мне помогли. В суть султанских споров мне надо проникнуть.

— Задал ты мне, сынок, задачу. Со времен Уали идут в Омск жалобы на султанов, ищут справедливости у тех, у кого ее нет. У русских властей. А бумаги обычно возвращаются к султанам. Потом омский чиновник едет к султану проверять жалобу. Едет проверять, а получит взятку — и дело с концом. Сожгут бумажку, будто ее и не было. Ты подожди горячиться. Приступишь к службе, ко всяким там проверкам, сам научишься сжигать бумаги. Особенно, если другие, те, что хрустят, окажутся в твоем кармане.

— Никогда! — Чокан даже вздрогнул от негодования.

— Не злись, милый, не злись. Лучше вспомни поговорку: «Девушки все хороши, откуда только плохие жены берутся». Чиновник, который берет взятки, тоже был симпатичным юношей, но порядок всюду одинаков. Думаешь, у нас в Омске иначе... Пошлют бумагу с жалобой на чиновника в Петербург — министру или царю, — она возвращается сюда на проверку. И ее — скорее в огонь, в огонь...

— Так, значит, все бумаги сжигаются?..

— Не все, мой милый, не все. Есть и такие, что пылятся, что мыши и крысы грызут. Ты думаешь, этой твари мало у нас? Однажды собака в сарай архива забрела — так, хочешь верь, хочешь нет, ее крысы загрызли.

— Япырай! — воскликнул Чокан. — Какие страсти!

— Не советую тебе, сынок, в старых делах копаться. Крысы не нападут, так пыли наглотаешься. Займись лучше каки-

ми-нибудь сегодняшними делами, важными для степи. Ты знаешь, что такое барымта?

— Знаю, конечно.

— А все-таки?

— Поссорились два аула, и один у другого угнал скот. Чаще всего табун лошадей.

— Ты прав, сынок. А что такое сыдырымта?

— А вот этого я не знаю.

— Это, когда взятый при барымте скот не возвращается обратно. То есть, угон скота превращается в обыкновенную кражу. Теперь, в степи чаще всего бывает именно так. Раньше конокрады в одиночку охотились, а сейчас больше шайками. А урядники, да и султаны,— что там скрывать, — не борются с ними, помогают им укрываться. Ну и понятно, в долю входят.

— Значит, кому-то совсем плохо приходится...

— Тихим, беззащитным правды не добиться. От жалоб мало толку. Даже если найдут конокрадов,— только пообещают наказать. А бандиты посмеиваются... Вот Кожык, например, сын Макаша из рода Уак. Его воровская слава по всей степи гуляет.

Кожык? И Чокан тотчас вспомнил этого бритоголового толстяка — то ли сгорбленного, то ли притворяющегося сгорбленным, с темным лицом, испорченным оспой. Избалованный Чокан попробовал однажды пошутить с ним, но не тут-то было.

— Не путайся под ногами и отойди от меня, будь ты хоть сыном господа бога,— проворчал, заикаясь, Кожык, и огрел мальчугана по щеке широкой, как ступня верблюда, ладонью.

Не столько боль, сколько обида обожгла Чокана. Как ни забавен был Кожык, больше он к нему не подходил. Он даже убегал, стоило знаменитому конокраду появиться в доме отца. И случилось так, что теперь, много лет спустя, Чокану, уже закончившему кадетский корпус, предстояло по предложению Бабая познакомиться с преступлениями своего обидчика.

Кожык мог похвастаться не только своей ловкостью, но и происхождением. Род Уак был известен в степи. А батыр Караман, один из героев эпических поэм «Кобланды» и «Ер-Саин», был прямым предком Кожыка.

Потомки Карамана, ставшие обособленным родом, жили в урочище Карасу. Зимовки Макаша, отца Кожыка, находились вблизи озер Кундызды, Койбатар и Жасылбатар. Здесь Макаш, считавшийся тихим баем, выпасал тысячные табуны лошадей.

Однажды Макаш не подчинился хану Касыму, сыну Аблая. Касым в отместку угнал весь его скот. Тихий бай стал ти-

ким нищим. Кожык, взрослея, копил в своей душе — капля за каплей — желание отомстить своенравному хану. И ему, и сыну его Кенесары. Кожык был в числе тех, кто помогал царским войскам прогнать повстанцев на кокандские земли, а позднее участвовал в их изгнании из степей Сары-Арки.

Кожык не сидел без дела. Военные схватки научили его многому. В годы правления Айганым он уже знал и барымту, и сыдырымту, привлек к себе джигитов, составивших внушительную свиту конокрада. Среди потерпевших от него ущерб были и строптивые баи. Но им, снаряжавшим вооруженный поиск, пощады не было. Кожык вновь угонял их табуны и стада, а случалось, и убивал хозяев.

Тем временем подросли и сыновья Кожыка, девять сыновей, девять отважных батыров-конокрадов. Десятым батыром была дочь по имени Наркыз, делившая с братьями тяжесть и опасность тайных набегов. Когда отец ходил на барымту со всеми детьми, казалось, никто не сможет противостоять им ни силой, ни хитростью.

Кожык по своей природе не мог подчиняться властям, как не мог вообразить, что есть человек сильнее его. На удар, откуда бы он ни исходил, он отвечал ударом. Его задирали, он задирался втройне. Своенравный и находчивый, он к тому же хорошо понимал, где можно устрашить, а где и подкупить.

С делами, заведенными на этого вора-батыра, конечно, незаконченными, хотя, к счастью, и несожженными, с делами, на которых уже наслоилась архивная пыль, и познакомил Бабай-Олень Чокана.

Откуда только не было просьб обуздать неистового конокрада! От казахов всех трех жузов, от русских и татар, от башкир-башкуртов. Слезных просьб пострадавших.

Чокан сделал нужные выписки и вернул дело Кожыка в архив.

### Айжан

Пока Чокан готовился к исполнению обязанностей адъютанта, хорошо знающего степные дела и обычаи, верховые из Омска уже разносили султанам и наиболее уважаемым биям известие о предстоящем сборе в Атбасаре. Одновременно шла работа по устройству территории ярмарки. Строительство временных, облегченного типа, торговых лавок, складских помещений и палаток губернаторство поручило атаману второго отдела казачьих войск в Имантау. Поставить вокруг ярмарки около тысячи юрт должны были старшие султаны трех окру-

гов-дуанов: Кокчетавского, Акмолинского и Баянаульского.

Эти вести взбудоражили и Чингиза. И прежде всего потому, что они тугими узлами связывались с мыслями о сыне. Чингиз был на редкость упрям и даже гордился своим упрямством, считая его признаком твердого и мужественного характера. Торе — крепче камня — с наслаждением повторял он угрюмую поговорку. Торе — белая кость, чингизид, начальник. Он не прощает обид, не меняет своих решений. Чингиз убедил себя, что сын жестоко оскорбил его, капризничая при поступлении в корпус и не выйдя потом к нему на свидание. И не навещал сына, втайне тоскуя о нем. А когда Чокан закончил кадетский корпус и когда стало известно, что сам генерал-губернатор берет его к себе адъютантом, Чингиз не знал, куда деться от нахлынувших на него и тревожных, и честолюбивых дум. Сгибаясь под их тяжестью, он, кажется, переставал быть камнем.

Чингиз ведь давно молил аллаха, чтобы сын зацепился копытами своего коня за какой-нибудь большой чин. Аллах внял его молитвам. Чокан стал атухтаном — адъютантом. Пускай некоторые темные казахи считают, что это не ахти какая высокая должность. Пускай они и не очень довольны атухтаном. Кто-кто, а Чингиз понимает и русский язык и смысл назначения Чокана. Даже полковники, даже генералы — да, да, генералы!— не гнушаются идти в адъютанты к великим князьям. Гасфорт — первый человек в степи. И если Чокан стал его помощником — значит, копыта зацепились надежно, значит, начало завоевано, значит, пути вперед открыты.

А тут стремительно приближались и другие события. Они раскалывали голову, как молния раскалывает дуб. Нынешнюю ярмарку в Атбасаре откроет сам генерал-губернатор, с ним рядом будет Чокан. С открытием ярмарки совпадет совещание старших султанов и биев всех шести дуанов. И его тоже откроет и проведет сам генерал-губернатор, а переводчиком при нем опять-таки будет Чокан. Может ли мечтать отец о большем почете?

Да, это так. Но отец с сыном в размолвке. Что, если Чокан тоже крепче камня? Что, если Чокан не заедет по пути в Атбасар в отчий дом? Прямая дорога из Омска на ярмарку лежит через Бурабай и горы Акана, земли Чингиза остаются в стороне.

«Чокан,— думал отец,— неужели ты упрям и своеволен, как твои предки? Неужели ты такой, каким я и сам был недавно? Неужели ты не свернешь на день-два со своего пути — повидать родные края, повидать меня, наконец».

Он думал и о том, что с присоединением Кусмуруна в Кокчетавском дуане у него стало больше врагов, чем друзей. И если бы Чокан накануне ярмарки и совещания заехал домой, то друзья бы воспрянули духом, а недруги опустили головы и упрочилось положение самого Чингиза. Сколько жалоб на него писали до сих пор, портили ему настроение! Боже мой, стоит Чокану проехать мимо, как понурятся друзья, а недруги оживятся и будут жалить еще больнее и безнаказанней.

Так размышлял Чингиз. Казалось бы, чего проще — срочно поехать самому в Омск, но так унизиться он не мог. Оставалось одно: послать к Чокану верных людей. На том он и порешил. Свой выбор он остановил на Жарылгамысе, сыне Токпая из рода Уак, и на Чобеке, сыне Байсары из рода Караул. Верные Чингизу, они были сообразительны, неторопливы, хорошо знали обстановку и умели вести разговор на самые щекотливые темы.

Их и призвал к себе Чингиз. Как он и думал, те с радостью согласились выполнить его поручение. Они выехали без промедления в сопровождении непременного Абы.

* * *

У Чокана тоже накопились обиды на отца, но он подобающим образом встретил его посланцев и не стал спорить с ними. Естественно, не сказал он им того, что в последние годы учения в корпусе душа у него лежала больше к нагашы[1] Мусе,— не только родственнику, но и просвещенному человеку,— чем к отцу. Теперь настало время выбирать. Сердце повернулось к отцу, сыновние чувства взяли верх, как и неожиданно для него самого обострилось сознание своей принадлежности к белой кости. Дядя Муса не был степным аристократом, не был ханским потомком. И поддакивая дяде, Чокан не забывал этого, как, впрочем, помнил об этом и Муса.

Ханская гордость еще не перебродила в Чокане, хотя в душе его гнездились и другие, более высокие начала.

Но пока он без улыбки, а скорее с горечью обнищавшего потомка вспоминал слова отца:

— Как волк не показывает свою худобу, ощетинившись шерстью,— так и мы защищаемся былой славой Аблая. Великой крыши Орды больше нет — она упала. Твой долг и моя мечта — поднять ее. Мы должны знать язык белого царя и его подданных. Они становятся нашей опорой. Вот поэтому я и везу тебя учиться. Ты неглупый мальчик, но озорной. Шалости

[1] Нагашы — родственник по матери; здесь — дядя.

кончатся, ум возрастет. Ученье и глупого может сделать умным, а умный...

И глаза Чингиза в эти мгновенья так загорались, что их блеск передавался Чокану.

— Помни, сынок, ты должен поднять славу дедов. Дух предков прилег, как старый верблюд. Словно ему уже непосильна былая ноша. Но в тебе оживет дух Аблая. Ты будешь с ним вровень, ты возглавишь народ.

Отцовские слова так глубоко запали в душу мальчика, что им ничего не стоило вспыхнуть с новой силой во время встречи с Жарылгамысом и Чобеком.

И значительно яснее, чем прежде, Чокан представлял себе трудности положения отца. Он знал, как переживал Чингиз ликвидацию Кусмурунского дуана, с которым ушла в прошлое и его известность. Знал, что отец после его назначения старшим султаном Кокшетау снова приободрился, почувствовал почву под ногами и возвращение доброго имени. Но слава — плохо прирученная птица. Кажется, она подпрыгивает, чтобы снова взлететь и исчезнуть. Случится так — беда неминуема. Орда Чингиза, иначе говоря, Аблаевская Орда, только-только возрожденная, не в состоянии выдержать напора вихрей эпохи. Многолетние испытания расшатали ее и нужны долгие усилия, чтобы привести орду в порядок. Это можно сделать только в том случае, если отец сохранит должность старшего султана. Но тогда следует поддержать его авторитет и заехать к нему домой. И обязательно уговорить Гасфорта и Майделя погостить в отцовском доме. Значит, и вся многочисленная свита — двадцать пять экипажей и сто кавалеристов — тоже должны будут заехать к Чингизу.

Легко ли принять столько гостей! Будь это аульные гости — дело ограничилось бы мясом и кумысом. Пусть у отца маловато и мяса и кумыса, однако, среди шести кокчетавских родов не так уж трудно найти такой байский аул, который охотно примет гостей Чингиза за свой счет.

— Гасфорт, Майдель и вся их свита — не казахские гости. Они — европейцы. Им нужны хорошие вина и водка. Если напитки и найдете, то найдутся ли деньги, чтобы закупить?— Чокан внимательно посмотрел на посланцев отца.— Что же вы молчите, аксакалы?

Жарылгамыс, как старший, ответил:

— Степь — наша страна. А в какой стране нет своей Золотой люльки?

— Но деньги не падают с неба и не растут на земле. Я хоть и давно не бывал в аулах, но знаю, как там живут. Сейчас кое-

кто уже потихоньку накапливает деньги, однако расставаться с ними вряд ли пожелает. Что думает по этому поводу отец?

— Молодой мырза, об этом тебе не надо беспокоиться,— отвечал Жарылгамыс.— Было бы твое обещание приехать с омскими гостями к ага-султану. А о дальнейшем ты не печалься. Будет сделано все, чтобы омские гости уехали довольными.

И Чокан дал слово приехать.

Чингиз еще до отправки посланцев в Омск подумал обо всем. Поэтому Абы повез Жарылгамыса и Чобека не домой, и даже не в аулы в поисках денег, а в Петропавловск. И по очень определенному адресу — к богачу Малтабару, хорошо известному читателю по первой книге.

Чингиз не раз останавливался у Малтабара, он был у него и вместе с Чоканом по пути в Омск. Купец не раз выручал обедневшего ханского потомка, пока не убедился в пустоте его карманов и в ненасытности, а главное — в том, что этот внук Аблая и денег не отдаст и в торговых делах ничем ему не поможет. Поэтому он и отказал однажды Чингизу в простом гостеприимстве, велев своим слугам сказать, что купец в отъезде.

С той уже далекой поры пришел конец их непрочной дружбе. Когда Малтабару случалось бывать неподалеку от горы Сырымбета, на северном склоне которой располагалась Орда, он спокойно проезжал мимо. Чингизу неизменно сообщали, что, дескать кзылжарский купец не соизволил завернуть к ханскому дому, но султана это уже не трогало. Не волноваться же по этому поводу, если есть тревоги и посерьезнее. «Сейчас дни мои пасмурные, но наступят когда-нибудь и светлые»,— думал султан.

Но посылая своих гонцов в Омск к Чокану, Чингиз заранее сообразил, что в случае утвердительного ответа сына раздобыть деньги можно будет только у Малтабара. Однако этого хитрого купца раскошелить было далеко не просто. Не захочет — и все. Кажется, его нельзя соблазнить никакими благами. Никакими! И все-таки Чингиз вспомнил одну его слабинку. Недаром Малтабар повторял:

— Разбогатеет казах — и нужна ему, что ни год, молодая жена.

При одном виде молоденьких женщин Малтабар просто преображался. Как шакал, почуявший запах крови.

Тут-то Чингиз и вспомнил об Айжан. Вспомнил не о той обездоленной девчушке, подруге детских лет Чокана из Черного аула и сверстнице его дочери Ракии, с которой они и ели и спали вместе в летней юрте Зейнеп за широкой занавеской —

шымылдыком. Нет, Чингиз вспомнил нынешнюю Айжан, стройную, тонкую в талии, с густыми каштановыми косами, спадающими чуть ли не до щиколоток. Уже давно сменившую мальчишескую одежду на скромное девичье платье. И хотя Ракия наряжалась куда как пышнее — и в шелк, и в бархат, и сверкала бусами, золотыми серьгами с подвесками, дорогими браслетами, кольцами, но застенчивая и неброско одетая Айжан притягивала всех своей красотой, родниковой прозрачностью черных глаз, окаймленных стреловидными ресницами, женственностью манер, даже гибкими и длинными пальцами. Она была вылитая Кунсулу. И не только обличьем своим, но и характером. Как и мать — спокойная и учтивая, как и мать — работящая и умелая. Искусство мастерицы словно перешло к дочери по наследству. Айжан рано научилась рукодельничать — и кроить, и шить, и вышивать. Вышивала такие изящные и необычайные узоры, которыми в свое время удивляла лишь Кунсулу.

Как проигрывала рядом с ней разодетая толстушка Ракия — круглоголовая, узкоглазая, с жесткими, словно конская грива, спутанными волосами, неряшливая, нескладная, да к тому же и капризная! Что там вдеть нитку в иголку и пришить себе пуговицу? Она не могла даже чай заварить, даже платье переодеть без помощи Айжан. Если так пойдет и дальше, какой же она будет женой и матерью, с горечью думали домашние. Без верной помощницы, без Айжан, она может стать одной из тех, кто отстает от своего кочевья.

Только единственному нехитрому делу научилась Ракия — распекать сверстницу, глумиться над ней. Айжан некуда было уйти, негде спрятаться. И когда она давала выход одинокому своему горю и заливалась слезами, забившись куда-нибудь в уголок, Ракия немедля ее находила и начинала укорять:

— Разве у тебя умер муж или сгорело твое счастье?..

Еще недавно к ней тепло относилась Зейнеп, Ай-апа, как ее называла Айжан. Но когда подросла Ракия, мать старалась не замечать и недостатков дочери и достоинств Айжан...

И чуткая Айжан поняла — ей нечего теперь искать утешения у Ай-апа. Она еще острее почувствовала с той поры свою сиротскую долю. Ей было неизвестно, как живет ее брат Жайнак, на помощь которого она так надеялась. Жайнак был где-то близ Токырауна, куда его отправил брат Чингиза, Амре, чуть ли не как раба, как приданое сосватанной дочери. Айжан не знала, жив ли ее отец, сосланный туда, где ездят на собаках, на север Сибири, в глухие таежные края.

Больше у Айжан близких не было. Приходилось терпеть, приходилось мириться с жестокой судьбой.

Едва ли не единственной душевной отрадой стали для нее книги и песни.

Необходим отдельный рассказ, чтобы понять, как это случилось.

Айжан шел десятый год, когда в Орде появился Науан, сын Толаса из рода Шангурша Караул, близкий родич Айганым. Он проучился восемнадцать лет в Бухаре у известного в те времена духовного наставника Шарипа и завершил все двенадцать циклов-фанов. Науан приехал не один — он тайно увез в казахскую степь красавицу Гульшахру, дочку главного муддариса Кокандского медресе Габдуллы Габдуха, который, получив образование в Бейруте, в одном из центров ислама на Ближнем Востоке, был удостоен высокого звания хатым-кардана и являлся одним из видных представителей нового течения ислама — мутакаллимина.

В том самом медресе, куда приехал учиться Науан, Габдулла впервые в истории ислама ввел непривычное для того времени новшество — обучение девочек. Вместе с мальчиками он учил дочерей эмира, визирей и имамов, в том числе и свою родную Гульшахру. Бедняга, он и не подозревал, чем обернется для него этот решительный, и можно сказать, смелый шаг.

Теперь Науан в скромной, а по сравнению с бухарскими, просто невзрачной ханской мечети сменил давно состарившегося муллу татарина Галиакбара. Этот воспитанник аульной Каргалинской медресе под Оренбургом был ограниченным и фанатичным, да к тому же и разленившимся на склоне лет. Он и в мечети-то появлялся разве что по пятницам. Письму на его уроках могли научиться только самые способные, а для остальных дальше намазов дело не шло. Девочек он и близко не подпускал, да и вообще всех женщин считал совратительницами и слугами шайтана.

От Галиакбара нелегко было избавиться даже тогда, когда в Орду прибыл Науан со своей полоненной женой. Но Чингиз проявил достаточную твердость и передал мечеть с медресе Науану. Однако совсем изгнать Галиакбара он не решился и сохранил за ним обязанности чтеца азанов — призывов к молитве, и сборщика религиозных податей. Строптивый старенький мулла молча согласился, не выдав своей глубокой обиды и втайне решив отомстить этому бухарскому выскочке.

Науан, следуя своему обманутому им же учителю Габдулле, сразу принялся за реформы. Он открыл двери медресе девочкам и поручил заниматься с ними своей жене Гульшахре. Кокеш — так ласково называл он ее — отлично знала поэзию, и арабскую, и персидскую, и другие, преимущественно любовные,

поэмы Востока. Она и с мужем часто изъяснялась стихами, словно он был Рустемом или Фархадом.

Уверенный в образованности и душевной чуткости своей Кокеш, Науан просчитался в другом. В двери медресе охотно хлынули мальчики и ... ни одной девочки. Только Чингиз и Зейнеп без колебаний отдали Ракию молодому мулле и его подруге. Они побаивались, что и жениха не найдется для их нескладной дочери, и надеялись, что, может быть, хоть знаниями возьмет, образованностью. Пусть девочка, как говорится, рождается для других земель и ей не дано получать призы на байге, но все же как меж кипами шелка и бязь сходит за добрый материал, так и слава отца отсвечивает на дочке. Конечно, плохо, что Ракию еще не сосватали, но, бог даст, все станет на свое место, и учение только поможет.

— Вы, султан, первый отец в своем краю, сделавший такой смелый шаг,— не без подобострастия льстил Чингизу Науан, и Чингиз проникался сознанием своей правоты и дальновидности. Его поддерживала Зейнеп. Родители без особого труда справились с новым капризом дочери, которая не пожелала быть единственной ученицей у Кокеш. Ей, как и в играх, нужна была сверстница. Что ж, в таком случае, пусть идет в медресе и Айжан.

Разочарование пришло не сразу, но пришло.

Ракия не преуспела в науках.

Едва ли на неделю хватало ей тоненькой книжицы «Иман-шарт» с арабской азбукой «алип-би». Страницы книжицы становились грязными, с оборванными краями — их и читать уже было нельзя. Достать же новую азбуку было нелегко. И тогда Кокеш или Науан, искусные каллиграфы, переписывали алфавит на чистый листок бумаги и закрепляли листок на деревянных планках. Повторяли они эту процедуру не раз и не два, терпеливо объясняя своей ученице начертание и произношение букв.

Недели, месяцы, год — не принесли заметных успехов.

Ну, а наша Айжан?

Она берегла в чистоте заветную книжицу, не порвала ни одной страницы. Уже спустя месяц она заучила не только «алип-би», но и все слова, помещенные в «Иман-шарте». В течение года Айжан уже была хорошо знакома с сокращенным вариантом корана, а на второй год стала читать и тюркские книги.

Способности девочки воодушевляли Кокеш. Она попробовала позаниматься с Айжан грамматикой и синтаксисом арабского языка, начала преподавать ей и персидский. Сарф —

грамматика арабского языка, был снабжен в те времена комментариями, написанными по-персидски. Поэтому изучение этих двух языков проходило, можно сказать, параллельно.

К удивлению Кокеш и самой Айжан на третьем году обучения ученица довольно свободно разговаривала с учительницей и по-арабски, и по-персидски.

Но грамматика и религиозные книги все же были скучноватыми. Кокеш решила ввести свою юную воспитанницу в милый ее сердцу мир арабской и иранской поэзии. Каково же было удивление учительницы, когда она увидела в Айжан родственную душу. С увлечением вчитывалась девочка в бейты-стихи и киссы-поэмы и, постигая их смысл, и радовалась, и плакала.

Кокеш любила пение. На своей далекой родине она завораживала подружек своим голосом и получила от них прозвище «бухарского соловья». Она завораживала не только подружек. И Науан заслушивался ее песнями. Однажды он присоединил к ней свой голос и, вероятно, с той поры начались их тайные встречи в бухарских садах. Будущий имам научил дочь своего учителя казахским песням, а Гульшахра Науана — узбекским. Там, в Бухаре, их молодые голоса звучали еще робко, приглушенно, а здесь, на просторах казахских степей, они обрели звонкую высокую силу. И если случалось им быть в пути, песня сокращала расстояние. А в пути они бывали довольно часто...

Сказать надо правду — Гульшахра скучала по садам Бухары, ее мечетям и величественным дворцам, ее многолюдным лавкам и шумному базару. Ханский аул с его немногочисленными домами был заброшенным местом по сравнению с одним из лучших городов Востока.

— Грустишь, Кокеш?— спрашивал ее Науан, заглядывая в глаза, полные слез.

И в спокойные чистые осенние дни они седлали лошадей и уезжали в ущелье горы Сырымбет, в лес, едва начинающий желтеть, к озеру, где можно было любоваться и двугорбой вершиной и зеленоватой зеркальной гладью плеса.

Весною Орда выезжала на джайляу в предгорья Великих гор — Улутау, к берегам горных речушек, названия которых не сразу и запомнишь.

Летом молодым супругам иногда удавалось побывать в заповедных местах Кокчетавского округа — в горах, поросших хвойным бором, с прозрачными чашами озер. Издали манящие своей голубизной, вблизи они привлекали своей прохладой, зернистым песчаным дном, ясно проступающим на глубине.

Аиртау, Сандыктау, Зеренды, горы Акана и, наконец, Бурабай, самый прекрасный горно-озерный остров в степи!.. Кокеш с благодарностью думала о Науане, познакомившем ее с этой удивительной красотой.

Эти путешествия не могли обойтись без песен.

И можно легко представить себе радость впечатлительной узбечки, узнавшей, что ее милая ученица обладает и голосом, и слухом, а, главное, вкусом к пению. Обнаружилось это совершенно неожиданно на религиозных уроках. По традиции коран читается нараспев. Прислушиваясь к Айжан, повторявшей вслед за ней какую-то суру корана, Кокеш почувствовала скрытое серебро в голосе девушки. Конечно, Айжан стеснялась петь в медресе. Сами стены, уж не говоря о соседнем классе, сковывали ее. Кокеш предложила Айжан пойти в окрестности Сырымбета.

— Повтори-ка, айналайн, то, что ты читала сегодня в медресе. Повтори, а я отойду.

Учительница отошла в гущу деревьев, а голос Айжан звучал все звонче и звонче, и эхо подхватывало его, разнося по дальним и близким полянам.

— Оказывается, ты скрытница,— обняла Кокеш девушку. И словно в первый раз увидела ее красоту, ее непохожесть на многих привлекательных казашек, которых встречала в степных аулах между Бухарой и Кокчетавом.

— Если бы я была мужчиной, то выбрала бы в жены только тебя,— сказала она Айжан и повторила эти же слова мужу. Науан улыбнулся. Он-то считал самой прелестной женщиной на свете свою бухарскую звездочку.

Кокеш, радуясь способностям Айжан, горевала вместе с ней. Девушке не выпала светлая судьба.

— Что же нам с тобой делать?— вздыхала молодая учительница.— Я знаю ваши обычаи, они не очень отличаются от наших. Калым — бич бедных. Как это поется в песне?..

Аллах мольбе моей не внял,
Старик на скот меня сменял.
Калым — проклятье! Гибну я.
Дана скотина мне в мужья.

Неужто бедная Айжан станет женой одного из богатых стариков?

Однажды Кокеш прослышала от словоохотливых аульных женщин, что еще не все потеряно для Айжан. И подробно пересказала Науану.

— Знаешь, у султана — так они называли, как и все, Чингиза — сын заканчивает кадетский корпус в Омске. Красивый

и умный юноша. Его зовут Чоканом. Поговаривают, они еще в детстве хорошо относились друг к другу. Может быть, она станет его женой?

— Это ненужные слова, Кокеш. Ты должна понимать. Он — сын хана, белая кость. А она — дочь служанки.

— Науан, Науан! Он помнит ее и полюбит по-настоящему, как только увидит вновь.

— Полюбить-то, может быть, и полюбит, но жениться не сможет,— отвечал рассудительный Науан.— Родители все равно не дадут согласия.

Кокеш тихо засмеялась и спрятала голову на груди Науана.

— Родители, говоришь? А мои родители разве соглашались? И живется нам с тобой хорошо.

— Нас, Кокеш, спасли казахские просторы, степь. А им где спрятаться?

— Но сын султана, поговаривают, у русских свой человек. Может быть, русские его и выручат.

Правоверный Науан даже вздрогнул от одной этой мысли.

— Русские, говоришь, гяуры? Ой, это плохо, Кокеш..

— Пусть плохо, но что же делать?

— Астапралла! Нет, нельзя ему идти на сговор с неверными. И чего только мы с тобой спорим...

Науан и Кокеш еще не раз разговаривали об Айжан, приглашали ее в свой дом, облегчали ее участь как могли.

Но их самих ожидало горькое испытание.

Старый мулла Галиакбар не простил обиды. Он повадился чаще, чем прежде, ездить на юг от Сырымбета — в Имантау, где у подножья горы расположилось не совсем обычное татарское село. Дело в том, что его жители приписались в казачество. Урядник Салах Яманкин, принявший русское имя Сергей, был прочно связан с полицией, а Галиакбар, в свою очередь, держал его в курсе событий, происходящих в Сырымбете.

Науан, прибывший из Бухары, да еще устанавливающий новые порядки в мечети и медресе, показался полиции занятной штучкой, особенно с той поры, как стали известны его высказывания о христианах и русских. Галиакбару приказали глаз не спускать с него, ходить за ним по пятам, как говорится, со свечкой. Старой лисе только и нужно было это. Старался он, не жалея сил и чернил. Бумаги шли одна за другой.

Из доносов муллы становилось ясно, что Науан выступает против христианства, что Бухарский эмир ему куда дороже русского царя, что, распространяя Ислам, он расхваливает

турецких султанов и сбивает с правильного пути мирных жителей аулов.

Чем дальше, тем глубже и старательней копал Галиакбар рвы на дороге своего молодого соперника.

Неожиданно в Сырымбет нагрянул урядник Яманкин в сопровождении казаков и предъявил Науану приказ Министерства внутренних дел о его поселении в Кокчетав под надзор полиции. Ни сам Науан с Кокеш, ни жители аула не знали, в чем дело. Только Чингизу вскоре доверительно сообщили, что его мулла, оказывается, шел против царя. Чингиз и не пытался выяснять подробности: он и так был достаточно напуган.

Больше всех переживала Айжан. Ей ничего не было понятно, кроме одного: теперь она осталась одна-одинешенька. Все вокруг помрачнело, словно днем скрылось солнце, а ночью погасла луна. Тучи, тучи и никакого просвета. Она и раньше не представляла, как сложится ее жизнь. А тут и думать о будущем не захотелось. Что хорошего могло оно ей сулить?

Айжан тихо горевала в одиночестве, а в это самое время со сверстницей ее Ракией стало происходить нечто нарушающее аульную благопристойность.

Ракия была легкомысленной и в детстве, когда носила мальчишеский костюм. Но то были обычные детские шалости. Теперь же, уже в девичьем наряде, ее поведение выглядело слишком озорным и грубоватым. Добро бы только это. Шутки ее с мальчишками и даже молодыми джигитами день ото дня принимали все более бесстыдный характер. Удержу она ни в чем не знала. И теперь это становилось опасным — заиграла молодая кровь.

Озабоченная Зейнеп подумала, посоветовалась с Чингизом. Решение пришло само собой — они нашли надежный замок для своей дочери.

Это был дом брата Чингиза — батыра Мамке. Один из четырнадцати сыновей хана Уали, Мамке жил обособленно от своих братьев, сражался с царскими войсками в дружине Кенесары и молодым погиб от пули. В двадцать один год осталась вдовой его жена Буби. Родственники оплакивали раннюю смерть батыра, в котором им хотелось видеть будущего Аблая. Год продолжался траур. Некоторые торе — степные аристократы — хотели жениться на статной и привлекательной вдове,— тем более, что это позволялось обычаем аменгерства. Но Буби твердо сказала, что она никогда никого не допустит на священную постель батыра.

Землячка Айганым, дочь ученого муллы, Буби сдержала свое обещание и больше не выходила замуж. С детства знав-

шая все религиозные правила, она завела в доме угрюмый мусульманский порядок, редко и по выбору ездила в гости и свободное время проводила в чтении книг о святых и героях. Родичи ее уважали. Старшие называли святой снохой, младшие — святой тетей. Мужчин, кроме пожилых родственников, она и на порог к себе не пускала. Да и с немногими женщинами находила она общий язык. К числу самых близких людей принадлежала Зейнеп.

Вот в какой дом, полный тишины и строгого скучного покоя, попала Ракия. А с ней вместе и Айжан.

Айжан отдали туда не только, чтобы помогать дочери. Как ни печальна была девушка, аульные джигиты уже начали заглядываться на нее. С недобрыми умыслами посматривал на нее и Жакип, брат Чокана. Не случилось бы греха — уж лучше и ее под замок.

Впрочем, Айжан не тяготил порядок, заведенный в доме святой тетей. Она уж давно привыкла безропотно подчиняться. Но Ракия, как и в Сырымбете, попробовала своевольничать.

— Так, миленькая, ничего не добьешься!

И святая тетя и раз, и два, и три своей далеко не слабой рукой огрела племянницу, приговаривая:

— И медведя палка научила намазу!

Ракия поняла, что жаловаться некому, и сразу стала послушной.

— Скучаешь, говоришь? Вот тебе иголка, а вот нитка...

Айжан, как всегда, помогала Ракие. Грустила втихомолку, не зная, не ведая, что в это самое время Чингиз уже решил ее судьбу.

## Тайное сватовство

Сохранил ли в своей памяти Чокан трогательную худенькую девочку в ситцевом заношенном платьице, похожую на затравленного беззащитного зверька? Сохранил ли он в памяти сиротку Айжан, сестру Жайнака, друга детских забав, с которым вместе играли в асыки — бараньи косточки, бродили в окрестностях Сырымбета, лазали в пещеры и даже нашли однажды волчью нору?

Конечно, сохранил! Особенно отчетливо он помнил день расставания с Ордой, когда поручил Айжан заботам матери.

Первые годы в кадетском корпусе поглощали все мысли и чувства Чокана, но разве можно забыть родной дом? И когда к нему в Омск приезжали посланцы матери с подарками, он расспрашивал об ауле, о всех своих близких. Однажды верзи-

ла Абы не без умысла рассказал Чокану, что подрастающая Айжан становится необыкновенно хорошенькой и что характером своим она сама скромность и очарование.

Чокан ничего не ответил, но в его представлении какой-то новый блик, какая-то теплая и нежная краска легли на облик Айжан.

Это время совпало с его увлечением любовной поэзией Востока. Арабист Костылецкий открыл молодому кадету мир, совершенно отличный от европейской поэзии, но нашедший в его душе неожиданный, быть может, но вполне объяснимый отклик.

Чокану не казалось странным, что юноши в восточных поэмах влюбляются в девушек не наяву, а во сне, что в поисках своих возлюбленных они преодолевают бесчисленные преграды, что, бывает, увлекаются они не земными красавицами, а пери, волшебными феями, или, как это случилось с Габдували, любят свою нареченную, когда она еще не родилась. И погибают от любви. А порой, не добившись своего счастья, обрекают себя на любовь недоступную, безответную, духовную, похожую больше на любовь фанатиков к непостижимому божеству.

Конечно, чувства Чокана к Айжан меньше всего были фанатичными, и все-таки в них присутствовал ореол восточной поэтичности, навеянный чтением поэм.

Увлечение было еще подспудным и смутным, его и любовью-то назвать нельзя было. Никогда не приходили ему в голову и мысли о женитьбе на Айжан.

О женитьбе он вообще не думал — ни на последнем курсе корпуса, ни после его окончания. Он рассчитывал послужить у Гасфорта от силы лет пять, а потом поехать в Петербург и поступить в университет или другое высшее учебное заведение. Он мечтал о путешествиях — по Азии и Африке. Его манили неведомые земли, увлекали примеры знаменитых землепроходцев: венецианца Марко Поло, фламандца Рубруквиста, китайца Юань Цзянь, араба Эль Идриси, француза Абель Ремюза, русского Иакинфа Бичурина.

Он хотел путешествовать и писать. А ведь женатому человеку не легко оторваться от дома.

Но молодость есть молодость, и если не любовь, то предчувствие любви будоражило Чокана.

И когда у него в Омской квартире появились Жарылгамыс и Чобек, он нет-нет, да и возвращался мыслями к Айжан.

— Ну, а как там поживает сиротка, которая осталась у моей Ай-апа?

— Как будто бы хорошо,— ответил Жарылгамыс.

Чокан не довольствовался таким кратким ответом и снова спросил через некоторое время:

— Девушка наша Айжан, как она выглядит?

— Хорошо выглядит, стройная, красивенькая, чистенькая.

Но и этим Чокан не ограничился. К удивлению аульных посланцев, он знал о жизни в Орде куда подробнее, чем они предполагали. Не прошло и дня после первого разговора об Айжан, как он снова поинтересовался.

— Говорят, в нашей мечети новый мулла, образованный человек. И у него в медресе учится Айжан. Очень хорошо учится. Вы слыхали?

И тут Жарылгамыс выложил все начистоту, хотя и Чингиз и Зейнеп предупреждали, что ничего лишнего болтать не надо. Пришлось рассказать и о том, что бухарский мулла не понравился властям и что его выдворили из Сырымбета. Не скрыли от Чокана и переезда Ракии с Айжан в дом Буби.

Только об одном умолчали гонцы — о Малтабаре. Нарушить этот наказ султана они не посмели.

Впрочем, никаких вопросов, касающихся Айжан, Чокан больше не задавал. Но мыслями возвращаясь в аул, он силился представить перемены, происшедшие с худенькой большеглазой девочкой, которую ему было бесконечно жалко в тот далекий и грустный день отъезда в Омск.

Если бы он знал или хотя бы догадывался, какую участь готовит отец его подруге детства!

Чингиз, естественно, по самому складу своего практического ума не мог и подозревать, что может нанести нравственный ущерб сыну, замышляя выдать Айжан замуж за Малтабара. Он не хотел, чтобы об этом знал Чокан просто по той причине, что стыдился своего безденежья.

О женитьбе же сына он подумывал давно, еще в бытность свою старшим султаном в Кусмуруне. Уже тогда он сосватал за него только что родившуюся дочь султана оренбургских казахов Ахмета Жантурина. Правда, Жантурин как будто бы освободил его от прежних обязательств. И теперь Чингиз уже вел переговоры с Ерденом, сыном Сандыбая, главой пяти баганалинских волостей, человеком влиятельным и богатым, известным и своими кокандскими связями. Ерден выбился в знать из черной кости и непрочь был породниться с аблаевским ханским родом. Он даже поторапливал Чингиза и уже начинал договариваться о сроках свадебного тоя. Но Чингиз медлил. Несмотря на свою верность старым обычаям и отсутствие душевной тонкости, он понимал, что все решить за сына, офицера русской армии, он уже не может. К тому же до него

доходили слухи о дружбе Чокана с Катей, дочерью Гутковского, окончившей Омскую женскую гимназию год или два тому назад и уехавшей в Петербург в Институт благородных девиц.

При одной мысли о том, что Чокан может стать родственником Гутковского сердце Чингиза сжималось от тщеславия и восторга. Что там Ахмет, что там Ерден! Не видел он, что ли, таких казахов? А вот с большим офицером состоять в родстве — это что-нибудь да значит!

На всякий случай и о Кате пытались разузнать гонцы по просьбе султана, но едва только заикнулись, как Чокан рассмеялся и ответил так, что продолжать разговор не имело смысла. Не верили в такую возможность и знакомые гонцам омские казахи.

Что касается Чокана, то Катя ему действительно нравилась, но он не хотел пускать отцовских посланцев в свой личный мир.

Однако нам пора возвратиться к выехавшим из Омска в Петропавловск Жарылгамысу и Чобеку.

По старой степной привычке они не торопили иноходцев и обстоятельно обсуждали друг с другом все услышанное и выведанное. Ехали они рядом, отправив вперед сопровождающих, в том числе и Абы. Зачем в таком разговоре лишние уши?

Жарылгамыс и Чобек были ровесниками-курдасами, а значит могли и пошутить, и поспорить, а то и побороться порой. Правда, невысокий и рано начавший толстеть Чобек в силе и ловкости уступал ладному и крупному Жарылгамысу, но зато был куда как бойчее его в спорах.

Чобеку нравилось затевать шуточный спор при людях, а Жарылгамысу — наедине. Расчет и у того и у другого был самый нехитрый. Чобек знал, что если будет побеждать, то на людях Жарылгамыс не посмеет расправиться с ним кулаками. Жарылгамыс же почти всегда проигрывал в словесном споре, непрочь был в качестве последнего довода пустить в ход и кулаки.

Несмотря на все это, они были очень дружны и весело откликались на взаимные прозвища:

— Тебе еще не надоело ехать, Черный Медведь?— спрашивал Жарылгамыса Чобек, а тот отвечал сквозь смех:— С Рыжим Скорпионом под боком не соскучишься.

Так они и ехали, перебрасываясь шутками, затевая шумную перебранку, и даже начали бороться, пытаясь стащить друг друга с седла. Жарылгамысу удалось свалить Чобека на дорогу:

— Ну, вот... Теперь иди пешком!

Чобек притворно закричал, призывая джигитов на помощь, те остановились, дождались гонцов и опять поехали, на этот раз все вместе. Жарылгамыс сказал джигитам:

— Нет, ребята, скачите вперед...

— Вперед-то вперед, но и назад иногда поглядывайте, а то этот медведь опять навалится на меня,— боязливо отозвался Чобек.

— Что, боишься? Тогда мчись за ними, глотай пыль.

— Да уж ладно, Жарылгамыс. Будь, что будет... Тебя ведь не исправишь...

— То-то!— пробасил Жарылгамыс.— Значит, признаешь, что сила на моей стороне! А я отослал джигитов вперед потому, что хочу серьезно поговорить с тобой.

— Ты — и вдруг серьезно?— Не удержался было от насмешки Чобек, но тут же уловил напряженный задумчивый взгляд Жарылгамыса.— Давай, давай, говори!..

— Ты знаешь, зачем мы едем в Кзылжар к Малтабару?

— Еще бы не знать. И об этом ты решил со мной говорить?

— Только об этом, и ни о чем другом. Так слушай: как только зайдет речь о молоденькой девушке — Малтабар клюнет на наше предложение. Так?

— Так. Особенно, если мы распишем красоту Айжан.

— Распишем. Поэтому султан и послал нас. А потом и сам убедится, когда увидит.

— И это так. Уж он такой, Малтабар. Пока ее не увидит,— не успокоится.

— А когда увидит,— опять не найдет себе места — будет торопиться со свадьбой.

— Со свадьбой, говоришь.

— Да, со свадьбой. А вдруг этой свадьбы, ради которой мы и едем, не будет?

— Как это не будет, кто может помешать?

— Чокан!— коротко выдохнул Жарылгамыс и уставился в глаза Чобеку, словно ожидая, какое это произвело на него впечатление.

Чобек до того растерялся, что не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Чокан? Какой Чокан?

— Какой же еще, наш Чокан, чингизовский.

— Ничего не понимаю, Жарылгамыс. Почему же Чокан может помешать этой свадьбе? Почему он будет против?

— А ты сам не догадываешься? Неужели ты не слышал вопросов Чокана? Неужели не заметил, что о других девуш-

ках он ничего не спрашивал? Понимаешь, ни-че-го! А вокруг нее — и так, и этак. Наизнанку меня вывернул сын султана.

И Жарылгамыс напомнил Чобеку все вопросы, которыми терзал его Чокан.

— Чем же это можно объяснить?

— Не знаю, не знаю, Чобек. Ты ближе к ханскому роду, дом твой почти рядом с Ордой стоит. Ты лучше знаешь их секреты. Вот и предполагай...

— Предполагай, говоришь... Я тебе скажу так: люди ханского рода то тверже кремня, а то очень жалостливые. У них пестрый нрав, неровный. Что, если наш молодой хан тоже решил стать милосердным?..

— Милосердным? Э-э, нет!— перебил Чобека Жарылгамыс.— Тут не в милосердии дело.

— А в чем же тогда?

— Мне показалось, Чокан увлечен этой девушкой. Он ее для себя хочет сберечь. А ты говоришь — милосердный.

Чобек тихо засмеялся.

— Чему ты смеешься, рыжий?

— А тому смеюсь, что он ее и не видел девкой.

— Мало ли что не видел. Мне вот тоже ни разу не привелось ее встретить. Что она — действительно, красавица?

— Красавица, клянусь, красавица! Пери. Чингиз не зря именно ее предлагает Малтабару.

— Чингиз знает, чем прельстить купца. Но Чокан может помешать ему дотянуться до девушки.

— Я, признаться, думал вначале, что ты шутишь,— тянул Чобек слово за словом,— но даже если это так, разве Чокан женится на ней? Увлекаться женщинами — в ханской крови. До свадьбы дело не дойдет. Там и Малтабару вдоволь останется.

— Не знаю, ничего не знаю,— покачал головой Жарылгамыс.— Боюсь я чего-то. Но в Қзылжаре об этом — ни слова!

Разговор оборвался. Кони шли до сих пор легкой иноходью, но тут Жарылгамыс, а вслед за ним и Чобек взмахнули камчами и галопом догнали своих джигитов.

Қзылжар был уже хорошо виден.

...Малтабар не был предупрежден о приезде гонцов Чингиза. Да они ему и не сказали, что их послал султан. Так им было проще вести беседу.

Купец хорошо знал Жарылгамыса с Чобеком и оказал им должное гостеприимство.

Как и положено за дастарханом, говорили обо всем, что не имеет отношения к делу: о ценах в городе и в степи, об омских

начальниках и, наконец, о ярмарке. Здесь Малтабар несколько оживился.

— А почему ваши кони давно не оставляли следов своих копыт в орде Чингиза?— спросил Чобек.

— Как-то все не удается,— схитрил Малтабар, догадываясь теперь, с чем к нему припожаловали ордынцы.— Я султана попрежнему уважаю.

Чобек ловко перевел разговор на женщин, и глаза у купчика сразу замаслились.

Самое время, решил Чобек, ввернуть словцо об Айжан. И стал ее нахваливать, насколько позволяло ему красноречие.

Малтабар воздерживался от лишних расспросов, но и без того было ясно, что Чобек попал в цель.

Малтабар вспомнил своих трех жен, начавших жиреть от безделья, ленивых, тусклых, стареющих, по его мнению. А тут, кажется, сам бог посылает ему, грешному, молоденькую красотку. В самом деле, почему бы не посмотреть на эту Айжан?

Как бы угадывая его желание и наперед зная, что на Атбасарскую ярмарку Малтабар поедет непременно, Чобек сказал напрямик:

— Вот вы по пути и загляните к султану.

У Малтабара больше не оставалось сомнений: ордынцы приехали в Кзылжар затем, чтобы пригласить его к Чингизу. Беседа пошла в открытую. Гости больше не стали скрывать, что они посланцы Чингиза, а сам Малтабар тут же с воодушевлением дал слово обязательно побывать в Орде и посетить уважаемого султана. Впрочем, про себя он подумал: «Я-то вряд ли нужен Чингизу, но мои деньги... Он и раньше был охотником до них. Сейчас у него расходы. Важные гости из Омска приедут. Сын. Он попытается заманить меня. Ну, что ж. Посмотрю девушку. Понравится она мне — раскошелюсь. На ярмарке-то я все равно наторгую если не в сто, то в десять раз больше».

И велел передать свой салем султану.

* * *

Возвращение Жарылгамыса и Чобека в Сырымбет с хорошими вестями обрадовало и разволновало Чингиза. Приедет Чокан, милый его Канашжан. Офицер, правая рука генерал-губернатора. И сам генерал будет у него гостем, со всей свитой. Если выручит Малтабар, а он теперь непременно должен выручить, можно и той устроить по всем правилам — и казахским, и русским. Чего еще желать, о чем еще молить бога?!

Главное, кажется, решено.

Теперь самое время подумать и о том, чтобы навести порядок в своем округе-дуане.

Чингиз не так давно стал старшим султаном Кокчетавского дуана, который объединился с Кусмурунским. На землях нового объединенного округа кочевали восемь родов: Атыгай, Караул, Керей, Уак, Канжигалы, Курлеут, Баганалы и Алысай. Эти роды закрепились на прежних своих территориях и тяготели к прежним административным центрам. Чтобы избежать родовой вражды и столкновений, Чингиз с разрешения Омска подобрал себе двух уважаемых немолодых биев, так и назначенных помощниками старшего султана в этих центрах: Таштита, сына Табая, по Кусмуруну, и Абильгапара, сына батыра Мандая, по Кокчетаву. Чингиз добился выплаты из ежемесячного жалованья. Впрочем, помощники жили в своих аулах, как и старший султан, и встречались друг с другом раздва в год.

Для упрочения своего положения Чингизу не всегда было необходимо объединение. Ему был не чужд и жестокий, лукавый девиз: разделяй и властвуй. Чингиз натравливал род на род и родовых вожаков друг на друга, попеременно привлекал в в свой стан враждующие стороны и этим самым обеспечивал себе поддержку.

Однако такая испытанная тактика оправдывала себя далеко не во всем.

В эти годы казахи, принявшие русское подданство, естественно, стали отдаляться от многих степных законов и обычаев. Русское же законодательство еще не вошло в аульную жизнь. В результате родовая вражда усиливалась, противоречия углублялись и на этой зыбкой почве повсеместно возникали барымта и сыдырымта, о которых мы уже упоминали.

Конокрады, от которых стонали многие аулы, объединялись в шайки, действовали сообща и не очень-то считались и с биями, и с младшими и старшими султанами, и с царскими чиновниками.

Султаны писали письма в Омск, а Омск нажимал на султанов. Грозили военной силой, посылали солдат... Но грабежи не сокращались, а, наоборот, увеличивались. Покончить с грабежами, с барымтой мешало и широко распространившееся взяточничество. Взятками подкармливали всех — и султанов, и чиновников.

Подумывали уже о том, чтобы направить в степь крупные воинские части. В Омске даже сочинили соответствующую бумагу в Петербург. Но царские власти рассудили по-иному. Смысл ответного приказа был таков: посылка в степь подраз-

делений Русской армии положительных результатов не даст. Войско только растревожит народ, и эти меры могут привести к самым нежелательным последствиям. Например, к восстаниям. Значит, нужно действовать осмотрительно, осторожно, постепенно.

Но как «постепенно» и «осторожно» уничтожать бандитов?

Еще был жив и по-прежнему совершал набеги отчаянный конокрад Кожык, сын Макаша. Всем была известна неудавшаяся попытка расправиться с ним.

А произошло это так. Петропавловский уездный начальник Мамонтов получил распоряжение арестовать Кожыка и доставить в Омск.

Мамонтов разузнал, где находится Кожык, и отправился к нему с солдатами. Кожык встретил его как почетного гостя, безропотно согласился сдаться омским властям, но попросил предварительно откушать у него в доме перед дальней дорогой по казахскому обычаю.

Зарезал, как водится, барана, сварил мясо, а потом подсыпал в бульон белены. Опьяневшие солдаты были разоружены. Всласть поиздевавшись над Мамонтовым, Кожык отпустил на волю всю команду, оставив себе их винтовки. После этого он предусмотрительно переменил место кочевки, а омские власти махнули на него рукой.

Если уж и Мамонтов не справился с лихим барымтачом, что же мог сделать в своем Кокчетавском дуане Чингиз?

Все продолжалось своим чередом, разве что конокрады действовали еще смелее и безнаказанней. Султан собирался поехать в Омск — держать совет с чиновниками губернаторства, но теперь необходимость такой поездки отпала. С удовольствием он снова и снова перечитывал письмо о совещании представителей всех шести дуанов и старательно готовил его участников. Избави бог, чтобы не сболтнули лишнего, да и не смолчали перед генералом там, где это будет ему, султану, на пользу.

«Как удачно,— думал Чингиз,— что переводчиком при Гасфорте будет мой Канашжан. Он не подведет, он доложит все как надо. Но ведь есть и другие толмачи, а их надо опасаться. Если все как следует предусмотреть, я не только приобрету прежнее достоинство, но и возвышусь над остальными султанами».

— О, аллах!— Чингиз закатывал к небу глаза.— Сбереги от дурного глаза возвращающееся ко мне счастье.

...Весна входила в свою щедрую зеленую силу. Вдыхая ее

теплый ветер, радуясь предстоящим встречам, Чингиз облюбовал место, где можно будет поставить юрты для гостей. В последние годы он не откочевывал далеко от своей зимовки, зато отлично знал ее окрестности. И вот теперь он остановил свой выбор на озере Саумалколь, находящемся примерно в двадцати верстах к югу от горы Сырымбет. На западном берегу этого глубокого озера с чистым песчаным дном рос густой березняк. Его называли красным березняком, потому что в солнечные дни стволы деревьев приобретали алый оттенок. Вода в озере отдавала солью, но и домашний скот и дикие козы приходили сюда на водопой. А жители Орды и других соседних аулов предпочитали родники. Их много было вокруг — и они питали озеро.

Если смотреть на озеро с высоты, то оно своими очертаниями напоминало рог быка — утолщенный у основания и тонкий, заостренный в конце. Русские поселенцы, появившиеся здесь позднее, окрестили Саумалколь Кривым озером, а свою деревню — Кривоозерной.

Вид с берегов Саумалколя открывался чудесный. На севере, невдалеке от соснового бора, поднималась двугорбая вершина Сырымбета, на юге манила голубоватая, подернутая маревом в солнечный день, седловина Аиртау.

В эту весну преимущество Саумалколя заключалось еще и в том, что и Гасфорту с Чоканом, и Малтабару, который должен был приехать раньше их, не надо было делать большого крюка по пути в Атбасар.

Семьи из черного аула перегнали скот на лесные поляны к востоку от озера и сами расположились там же — вблизи, но не на виду становья султана. Для своей юрты, для юрт гостевых и своих ближайших родственников Чингиз не пожалел белой кошмы. Главную гостевую юрту установили несколько в стороне, чтобы важные гости могли отдыхать в тиши. Дальше, чем обычно, перенесли и юрту Буби, вдовы батыра Мамке. Но это уже совсем по другой причине.

Почему юрта, где жили теперь Ракия и Айжан, находилась в уединенном отдалении, знали только Чингиз, Зейнеп и сама хозяйка юрты — Буби. Зейнеп была посвящена в планы Чингиза еще до отправки Жарылгамыса и Чобека в Омск и Петропавловск. Она не сразу одобрила замыслы мужа: хмурилась, вздыхала, в сомнении покачивала головой.

Они даже чуть не поссорились по этому поводу.

— Грешно, говоришь? Что грешно?! — сердился Чингиз.— Грешно было бы, если бы отдали ее за человека, у которого всего не хватает. Как говорится, во рту — мясо, а под седлом —

лошади. А у Малтабара всего вдоволь, у него богатство океаном плещется. Чего она ни захочет — все будет, как только переступит порог его дома. В кружевах и шелках ходить будет. А ты говоришь — грешно!

— Я о другом хотела сказать. Беда в том, что он — старик, а она — почти девочка.

— Старик, старик... Не те слова, байбише. Разве мало у нас пожилых людей, вводивших в дом молодых жен? Наша вера разрешает иметь токал. Старик... Да этот старик Малтабар еще не одну девушку состарит. Ты скажи мне, что лучше,— пойти замуж за пожилого да богатого или за молодого, но нищего. Молоденький ведь не только одеть, но и прокормить как следует не сможет.

С Чингизом спорить было бесполезно. Зейнеп ни слова не сказала ему в ответ. Да, уж так ли и неправ султан? В самом деле, может, девочке неплохо будет в доме торговца? В степи редко женятся по любви. Айжан — сирота. Легко ли ей найти мужа?

И мысленно согласившись с Чингизом, Зейнеп решила помочь ему в этом тайном до поры до времени сватовстве.

Надо было договориться с Буби. В первое время вдовства Буби Зейнеп побаивалась, что Чингиз начнет навещать ее юрту, пользуясь правом аменгерства. Ведь он мог, следуя обычаю, взять и под свою крышу жену умершего брата. К тому же та была молодой и привлекательной. К счастью Зейнеп, этого не случилось, и женщины подружились, даже завели свои секреты. Буби нежно называла Зейнеп «молодою снохой — келиншек», во всем шла ей навстречу. Не стала она ей перечить и на этот раз:

— Только прошу тебя, келиншек, когда этот жених появится здесь, вы меня предупредите — я уйду из юрты. Пусть уж он меня не видит, не хочу я нарушать своего порядка. А посмотреть на девочку — почему бы и не посмотреть?

...Как договорились, так оно и получилось. Малтабар приехал значительно раньше других, гостевая юрта еще пустовала. И его одного устроил в ней Абы, которому Чингиз поручил ухаживать за богатым женихом.

У себя в Петропавловске Малтабар спал чутко, любой посторонний звук будил его. В дороге сон становился еще тревожнее и он часто выходил к лошадям, смотрел — цела ли поклажа, бодрствует ли кто-нибудь из слуг. А здесь, в юрте, установленной на полянке возле неумолчно шелестящих берез, он и вовсе не мог сомкнуть глаз. На ум приходили слова татарской песенки:

О тебе я думаю днем,
Но приходишь ты только во сне.
Ты меня опалила огнем,
Закружила голову мне.

Песенка ему запомнилась с далекой молодости, а теперь выходило так, что он уже несколько обрюзгший, со складками жира на животе, с первой сединой в коротко подстриженной в день отъезда бородке приехал свататься к девушке, которая так понравилась ему по описаниям.

Ночь была долгой, мучительной. Малтабар едва дождался рассвета. Принялся вышагивать взад-вперед по окутанной белесым утренним туманом поляне. Светало медленно, и прошло, должно быть, не менее получаса, пока отчетливо стала видна запрятанная в березах юрта Буби. Вчера ему Абы показывал на нее... Мол, там и живет твоя невеста.

— Ты слыхал, Малтабар, про Мамке-батыра?

И хотя Малтабар ровным счетом ничего про него не слышал, он ответил утвердительно и только поддакивал, когда Абы рассказывал ему и о гибели Мамке в бою, и о его вдове, давшей обет не выходить замуж, и о том, как эта вдова охраняет покой своей юрты, а заодно следит и за двумя девушками, мучая их и себя бесконечными намазами и не отпуская от себя ни на шаг.

— Это, Малтабар, святая баба. Но ты не бойся. Она знает о твоем приезде и покинет с утра юрту, чтобы ты мог разглядеть Айжан.

Тут Абы причмокнул:

— Девочка, как ангел. Чистая, молоденькая. У нее на губах еще запах материнской груди, а на спине — следы люльки.

Малтабару хотелось тогда же войти в юрту, но уж если Чингиз решил, что это надо сделать утром, то он не будет менять его порядок.

И вот долгожданное утро наступило. Купец крутился возле лошадей, переминался с ноги на ногу, но Абы, который должен был выйти из леска и дать знак, что Буби ушла, все не появлялся. Между тем солнце уже скользнуло по стволам берез, и в это же самое время Абы заметил, как Буби — будь она неладна — в темной накидке неторопливо вышла из юрты. Он выбежал к коню, быстро расстреножил его, вскочил в седло и гордо, словно победитель, проехал невдалеке от Малтабара, едва кивнув ему головой.

Кустарником, растущим по краю оврага, Малтабар направился к юрте. Гибкие ветви хлестали его по лицу, но он тяжело ступал напрямик, не выпуская из виду светлевшую сквозь

зелень кошму. Без тропки, преодолевая небольшую крутизну, он довольно скоро вышел к юрте, поставленной у самого края оврага.

Вышел к юрте и немного оробел. Даже постоял в нерешительности несколько мгновений. Вспомнил, усмехнувшись, пословицу:

Если мужчина во власти стыда —
Не знать ему женщины никогда!

Еще раз усмехнулся и толкнул двустворчатую дверцу.

В юрте было сравнительно светло, потому что Буби, нарушив распорядок, с утра открыла тундик, обычно задернутый кошмой до полудня. Так было сделано по просьбе Зейнеп.

Малтабар пригляделся. Значительную часть юрты занимала широкая кровать, украшенная цветными стеклами. Это и была святая постель батыра, на которую после смерти хозяина никто и никогда не ложился.

Ничего не подозревавшие Ракия и Айжан убирали свои постели, расположенные в середине юрты. Это место им определила Буби. Спать у стены не всегда безопасно. Джигиты любят по ночам прутиками тревожить сонных девушек или нашептывать им всякие глупости.

«Которая же из них моя невеста?»— подумал Малтабар.

Ни Айжан, Ни Ракия, занятые своими хлопотами, не заметили, как он вошел. Может быть, они подумали, что это тетушка Буби.

Малтабар насторожился и неожиданно громко кашлянул. Девушки обернулись и задрожали от страха. Что за человек был перед ними, как он оказался в юрте? Невысокий, кругленький, с расплывшимся лицом и седеющей бородкой. В татарской тюбетейке и русском пиджаке, стягивающем его огромный живот.

А маленькие глазки так и буравили, так и буравили девушек.

Что за наваждение!

Первой пришла в себя легкомысленная Ракия. Ахнула и сразу же юркнула за шымылдык — занавеску, отделявшую их постели от Буби.

Айжан замерла, кровь прилила к ее лицу. В смущении и страхе она не знала, куда деваться. А Малтабар впился взглядом в ее ладную фигурку. Догадавшись, что это и есть хваленая красавица, попытался улыбнуться.

— Вот это девушка!— воскликнул он.— Ты что, меня боишься?

И хлопнул в ладоши, довольный собой и своей невестой, знать ничего не знавшей о сватовстве.

Айжан пришла в себя и, как испуганный зверек, скрылась вместе с подругой.

Издалека послышались ровные неторопливые шаги. Значит, святая тетушка возвращается в юрту. Малтабар вспомнил наказ Абы: «Постарайся с Буби не встречаться». Надо было уходить восвояси. И он торопливо вышел, едва не столкнувшись с женщиной на пороге: та заслонилась от Малтабара дверью и сделала вид, что не заметила его.

Он уходил увереннее, чем пришел. Раздвигал кустарник, чтобы не хлестал по лицу. Не спешил, не волновался. Спустился к гостевой юрте и сразу догадался, что там люди. Лошади спешившихся всадников отдыхали на привязи, раздавались негромкие голоса.

Как ни в чем не бывало, он появился в юрте, поздоровался. Чингиза среди ордынцев не было. Кое у кого на лицах блуждали плохо скрытые усмешки. Но Жарылгамыс и Чобек, знавшие о всех обстоятельствах лучше других, степенно прихлебывали кумыс. Они даже не подали вида, что именно Чингиз их отправил сюда, как уже испытанных своих посланцев, снова договариваться с Малтабаром. Они спокойно ожидали ухода остальных, чтобы поговорить с Малтабаром наедине.

Чингиз воздержался пока от встречи. И не только потому, что переговоры, не делающие чести его ханскому званию, его положению старшего султана, он предпочитал вести через других. Случилось так, что его замысел отдать Айжан Малтабару вышел из узкого круга посвященных в него лиц. Уж как он предупреждал, чтобы держали язык за зубами, да, как говорится, слово, вышедшее из-за тридцати зубов, становится достоянием тридцати родов. Ох, уж этот узун-кулак! Какой шайтан разносит его? Чингиз ни разу еще не встречался с Малтабаром, а в степи уже стали громко поговаривать, что задержка только за свадебным тоем. Кто в этом виноват? Из домашних о сватовстве знала только Зейнеп, из близких людей — Абы, Жарылгамыс и Чобек. Но те клялись, что будут молчать.

Теперь Чингиз поручил Жарылгамысу и Чобеку все дальнейшие переговоры. Дайте этому купчику понять, сказал султан, что меньше, чем за полтора кулака, иными словами, полторы тысячи рублей ассигнациями, он не согласен. Примерно это была цена ста кобылиц. Ну, а для тоя и тысячи хватило бы за глаза. Ведь на мясо и кумыс тратиться не надо. Верные Чингизу баи пригонят и овец и кумысных кобылиц.

...Когда посланцы султана остались с Малтабаром наедине, разговор пошел откровенный. Жарылгамыс и Чобек наслаждались собственным красноречием, снова расхваливая девушку и округлыми гладенькими выражениями выторговывая названную Чингизом сумму.

Малтабар слушал их, слушал, а потом прервал кратким ответом:

— Хватит, мне и так все ясно. Айжан я повидал, она пришлась мне по душе. И зачем я буду разрывать один кулак на части. Отдаю оба.

— Значит, две тысячи!— удивился Жарылгамыс щедрости Малтабара все еще не веря ему.

— Да, две тысячи!— улыбнулся Малтабар.— Но только после возвращения с ярмарки. Заеду сюда из Атбасара и вручу деньги. Вам или самому султану, как хотите. И запомните: не надо мне никакого приданого. Но девушку я увезу с собой.

— Ты хочешь сразу захватить с собой невесту по пути из Атбасара в Петропавловск?— уточнил Жарылгамыс, хотя прекрасно понимал, в чем дело.

— Правильно. Чтобы одна рука была дающей, а другая — берущей. Когда уплачен калым, невеста идет в дом жениха. Иначе и не бывает. Верно я говорю?

Посланцам ничего не оставалось, как согласиться.

Чингиз и обрадовался и огорчился. Спору нет, две тысячи лучше, чем полторы. Однако тысяча нужна именно сейчас. А Малтабар уезжает, вручив одни обещания. Как же все-таки быть?

В эти же дни Гасфорт неожиданно уведомил Чингиза, что путь его следования в Атбасар несколько меняется,— с представителями Кокчетавского дуана он встретится у подножья горы Акан. Значит, в Саумалколе тоя не будет и надо Орде перекочевать к месту, назначенному губернатором. Приходилось подчиняться. Чингиз собрал своих людей из ближних аулов, посоветовался с ними и наметил сроки переезда.

Жарылгамыс еще оставался в гостях у султана.

— Перед откочевкой в Акан,— посоветовал он Чингизу,— ты не бери с собой невесту Малтабара. Оставь ее в Сырымбете, в зимовке, и поручи охранять.

— Охранять?— удивился Чингиз.— Зачем?

— Доверься мне, мой султан. Я не буду открывать сейчас секрет. Потом ты все узнаешь. Я тебе сам объясню. А сейчас не надо меня неволить.

«Вот упрямый черт»,— подумал про себя Чингиз, почувст-

вовавший, что за словами Жарылгамыса скрывается что-то дельное.

И ответил ему:

— Пусть будет по-твоему.

Что касается Жарылгамыса, то он опасался Чокана. Он слишком хорошо помнил, как сын султана расспрашивал его об Айжан. Так настойчиво задавать вопросы мог только человек, увлеченный девушкой. Значит, надо было сделать так, чтобы Чокан не встретился с ней. Иначе свадьба расстроится, и ему, Жарылгамысу, ничего не перепадет.

Теперь Чокану некогда будет заезжать в Сырымбет, он не должен покидать Гасфорта, а с отцом ему придется повидаться только в горах Акана.

Снова начались сборы.

Чингиз со своими домочадцами, пастухами, табунщиками откочевывал в Акан. Айжан возвратили в Орду, к зимовщикам.

И в общей суматохе прошло почти незамеченным одно очень важное для судьбы девушки событие.

В Сырымбет возвратился ее отец Акпан.

Сосланный за убийство в край, где ездят на собаках, в далекую Сибирскую каторгу, он отбывал наказание на золотых приисках, принадлежавших царской фамилии. Получил там чахотку, стал непригоден к труду, и его досрочно освободили. Постаревший, больной, кое-как одетый, он отправился в родные степи. Сколько он шел? Может быть, год, а может быть, два. Иногда его кормили,— в сибирских деревнях не обижали страдальцев, иногда подавали милостыню, иногда он и сам зарабатывал себе на хлеб.

В Сырымбете, в Черном ауле Карашы его долго не могли признать — так он сгорбился, сник, высох. Когда-то блестящие калмыковатые глаза потухли, и щеки были в цвет редкой серой бороденки. Он и расплакаться не смог: только закрыл лицо руками, дрожа худыми плечами. Легко ли было ему узнать, что давно нет на свете жены Кунтай, что приемный сын Жайнак далеко от родных мест, что нет у него ни крова, ни очага. И только Айсулу, маленькая Айжан, жива! Какая она теперь?..

Встреча была горькой для обоих. Айжан никак не могла понять, что этот больной и старый человек ее отец. Она пыталась вызвать в себе добрые чувства, но только жалость к нему и к самой себе сжимала ее сердце. Она еще немного помнила мать, смутно ощущая давнее материнское тепло. И совершенно не помнила отца. Акпан с тоской всматривался в дочь — чужая девушка была перед ним.

— Айсулу, Айсулу!— повторял он ее настоящее имя, а она и не слышала, чтобы ее так когда-нибудь называли.

— Айсулу,— тихо твердил он, словно вызывая духов прошлого.

И вдруг увидел ее черные волосы в легких завитках.

— Совсем как у мамы Кунтай...

Кунтай. Имя вынырнуло откуда-то из глубины памяти и так знакомо, так нежно отозвалось в душе Айжан.

— Айсулу,— снова произнес он и добавил,— моя Айсулу, Айжан.

Прозвучавшие почти вместе имена Кунтай и Айжан больше не оставляли сомнений в душе девушки. Она начинала убеждаться, что перед ней был ее отец. Она еще не знала, как будет помогать ему, как будет лечить его, она еще ничего не решила. Но в эти мгновения Айжан поняла, что судьба свела ее с самым близким на земле человеком.

Едва ли не в это самое время Абы говорил отъезжающим из Саумалколя в горы Акана людям:

— Мы отправили девушку в Сырымбет к отцу. Она будет за ним ухаживать.

Люди недоверчиво качали головами:

— Так ли это? Просто ее незаметно увезли, чтобы отдать в чужие руки.

...Чингиз со своими ордынцами и примкнувшими к Орде соседними аулами уже располагался у подножия Аканских гор в ожидании сына и Гасфорта.

Чингиз не сразу решился оставить Акпана в Сырымбете. А вдруг он бежал с каторги, тогда неприятностей не оберешься. Не посмотрят и на то, что больной. Но когда Салах Яманкин, урядник из Имантау, показал бумагу о досрочном освобождении Акпана по болезни, султан успокоился и даже приказал помочь старику. Выделил ему коз, проса, зерна.

Кто знает, что бы с ним случилось, если бы в это самое время Абы на своей верблюдице не привез из Саумалколя Айжан. Болезнь развивалась, бедняге день ото дня становилось все хуже, люди боялись заходить к нему в дурно пахнущую землянку. Ставили ему на порог пищу и уходили, не задерживаясь.

Зейнеп, отправляя Айжан, советовала девушке поселиться отдельно от отца, иначе болезнь может перейти и к ней. Об этом она предупредила и Абы. Поэтому тот определил Айжан в землянку Токпакбая. Но как только Абы уехал, девушка побежала к отцу. Да иначе и быть не могло. И соседи, понятно, ничего не сказали ей.

Айжан привела в порядок землянку, навела чистоту. Раз-

добыв черного, сваренного в ауле мыла, она приготовила горячую воду, раздела отца и тщательно его выкупала в тазу. Она свободно, нисколько не стыдясь, справилась с его большим ширококостным телом. Потом такое мытье Айжан ввела в привычку. Перестелила постель, принесла душистого сена. Из двух своих платьев сшила отцу рубашку и штаны. Укрывала его подаренным ей Зейнеп жилетом, подбитым верблюжьей шерстью. Попросила одного из сторожей побрить отцу бороду и усы, сама его подстригла.

Теперь Акпан и питаться стал несравненно лучше. Какими вкусными казались ему и густое молоко, и сыр — иримшик, и просяная похлебка, и особенно мясо молодого козленка! Какими умелыми и быстрыми были руки его дочурки!

— Благодарю аллаха за то, что он дал мне Айжан. Даже если он сегодня возьмет мою душу. Пусть он ей дарует жизнь, которую не смог прожить я.

Изменения к лучшему видели все. Акпан чаще и чаще подымался с постели, осторожно похаживал, охотнее разговаривал.

— Родное дитя — это родное дитя. То, что было не под силу нам, сделала Айжан,— умилялись соседи, забывая, что простая брезгливость мешала им перешагнуть порог землянки Акпана.

Особенно удивлялись и восхищались соседи тем, что она купает отца.

— Смотрите, и стыд отбросила, и неловкость. Обращается с ним, как с ребенком. А кто у него есть, кроме нее?

— Честное молоко впитала в себя. Пусть аллах даст счастья Айжан и ее потомкам!

Но добрые эти слова девушка принимала отчужденно.

Среди хороших людей вокруг нашелся и плохой. А может быть, просто болтливый. Взял, будь он проклят, и сообщил Акпану, что Айжан собираются продать Малтабару. Надо же было причинить такую боль человеку, только что начавшему выздоравливать!

Дочери он не сказал ни слова, но в ее отсутствие достал из своего мешка булатный топор, с которым не расставался долгими таежными и степными дорогами, попробовал лезвие и стал его исподволь натачивать.

...В Омске пока больших перемен не было. Генерал-губернатор стремился выехать пораньше, чтобы не спеша познакомиться с лежавшими на пути аулами и поспеть в срок на ярмарку в Атбасар. Он еще раз проверил, вооружаясь красным карандашом, маршрут по карте. Из Омска к озеру Бурабай,

к горам Кокшетау, дальше — Кокчетав, а из Кокчетава — к главной цели своей поездки.

— Значит, вы хотите побывать в родном ауле?— спросил он своего адъютанта.— Я не возражаю, только, чтобы это было по пути следования.

И прочертил красную линию на карте. Линия эта касалась только Аканских гор. Сырымбет оказывался далеко в стороне.

Чокан вздохнул, не смея возразить генералу, но тут подумал, что все еще десять раз переменится, он увидит и отчую землю и всех тех близких, с кем так давно не встречался.

В губернаторской канцелярии дотошно подсчитывали, сколько нужно будет повозок и лошадей для сорока пяти офицеров и чиновников. Заботились и о том, чтобы лошади были одномастные и подобраны по росту, по три в каждую упряжку. С конным отрядом в сто сабель было куда проще — воинская дисциплина! Приказали — и казаки собрались при всей справе. А вот лошадей, привыкших к телегам, к повозкам, в аулах было раз-два и обчелся. «Приучайте лошадей к упряжке»,— отдал запоздалое распоряжение в дуаны полковник Майдель. Хлопотали все — атаманы казачьих станиц, интенданты, султаны. Советник при генерал-губернаторе Турлубек Кошенов, обычно безмятежно отдыхавший в своем родовом ауле на речке Калгуты, сбился с ног, подготавливая султанов не столько к самому совещанию, сколько к достойной встрече омского начальства. Чтобы юрты всегда были на пути, и не простые юрты, а белые, праздничные. И чтобы угощали на славу. Решили даже выделить всадников-дозорных, на которых возложили обязанность оповещать — мол, к вечеру будут, режьте баранов, готовьте то-то и то-то.

Гасфорт думал, что на совещании представителей всех шести округов-дуанов султаны на многое откроют ему глаза, удастся положить конец кое-каким спорам и подготовиться к будущим реформам, до которых он был большой охотник.

Словом, колесо завертелось. Казалось, ничто не может остановить его разбег.

## Препятствие

Гасфорт назначил срок выезда на утро. И погода выдавалась отменная, и всю подготовку завершили в срок.

Вечером генерал подписывал бумаги в Петербург, беседовал с теми, кто остается в Омске. Он был в отличном настроении, рисовал себе самые радужные перспективы. Перекрестил на ночь жену и попросил ее ни о чем не тревожиться. Сам лег

поздно, и не в спальне, а в комнате для гостей, чтобы не беспокоить жену, посмотрел умиленным взором на писанные маслом портреты государя и государыни, погасил лампу и стал отходить ко сну, покряхтывая и переворачиваясь с боку на бок.

На этот раз он быстрее, чем всегда, погрузился в сон. Неожиданно ему стало казаться, что дворец наполнился змеями, шипящими со всех сторон, готовыми вот-вот его ужалить. Проснулся он в поту и почувствовал режущие боли в животе. Боли усиливались с каждым мгновением. Густав Христианович разохался, вскрикнул и тут же взял себя в руки. Вскрикнул он так громко, что спавшая в другой, домашней половине резиденции Елизавета Николаевна пробудилась и стала напряженно вслушиваться. Сперва она ничего худого не подумала, но оханье и стоны продолжались. Она зажгла свечу и направилась в гостевую спальню. Муж катался по постели и отчаянно стонал.

— Что с тобой, Густав?

Густав Христианович ничего не ответил, только сжал мягкую и нежную руку жены, сжал с такой силой, с какой утопающий цепляется за брошенный конец. Она сама вскрикнула от боли и страха. Муж отпустил руку и продолжал метаться.

— Что с тобой, Густав? Почему ты не отвечаешь?

— Плохо мне, Лизхен. Умираю.— Тяжело выдохнул он.

Тут Елизавета Николаевна окончательно убедилась, что муж разохался не спросонок, а тяжело заболел.

Она призвала во весь голос на помощь.

Дежурившие ночью солдаты находились на нижнем этаже у входа в генерал-губернаторство. Сегодня должен был нести службу денщик Гасфорта Алмазов.

Гасфорт побаивался покушений, а кроме того, любил порядок. И хотя он давал строгие распоряжения об охране своего дома, и хотя адъютанты следили за исполнением нарядов, солдаты были уверены, что случиться ничего не может. Когда хозяева тушили свет и начинали похрапывать, их примеру следовали и служивые. Благо, в прихожей были диваны.

В эту ночь Алмазов не был исключением. Он прикрутил фитиль керосиновой лампы и сразу же заснул. Крик Елизаветы Николаевны разбудил его. Лампа, черт ее подери, потухла совсем — значит, он перестарался с фитилем. Послышались шаги — это был солдат, находившийся в караульной будке на улице.

— Что случилось, Алмазов?— спросил солдат.

— Не знаю. Ты тоже слышал крик?

На втором этаже вновь раздался пронзительный женский голос.

Зажгли лампу. На всякий случай при оружии стали подыматься наверх. Зашли прямо в гостевую спальню на колеблющийся свет свечи.

Елизавета Николаевна, увидев солдат, закричала:

— Врача, немедленно врача! Конечно, Илиади.

Алмазов побежал на конюшню, разбудил кучера, и кони помчали экипаж, подготовленный для далекой поездки по степи, на квартиру главного лекаря.

Илиади накануне здорово перебрал в гостях. Любитель выпить, он аккуратно исполнял свои медицинские обязанности днем, но вечерами предавался только общению с Бахусом,— благо, в приглашениях недостатка не было. Домой он возвращался неукоснительно, разве что — правда это бывало редко — упадет там, где его сразит последняя рюмка.

Вот и нынче он возвратился домой уже под утро. И с недоумением обнаружил у своего крыльца губернаторского денщика. Хмель сняло, как рукой.

...Камни в почке и, может, в мочевом пузыре. Так предположил Илиади, а он был мастером ставить диагнозы.

— Но, увы,— сказал он с грустью,— таких лекарств, чтобы растворить камни, в Омске нет. Их только в столицу привозят из-за границы.

Он бы попытался сделать операцию, но у него здесь нет умелых помощников. Ехать в Петербург — далеко, да и опасно при таком состоянии больного. Единственный выход — отправить больного со всеми предосторожностями в Екатеринбург — там есть хороший врач. Если менять по-курьерски лошадей,— в день-два можно доехать.

На том и согласились.

Утром Гасфорту стало лучше, боли смягчились, но слабость он чувствовал невероятную.

Не могло быть и речи о его поездке в Атбасар, как, впрочем, не могло быть и речи об отмене ярмарки и совещания. Но торжественное открытие ярмарки Гасфорт не доверил никому. Он не собирался делиться своей славой с другими. Так и на этот раз. Карлу Казимировичу Гутковскому он приказал наблюдать за спокойствием в Атбасаре, но не больше. И, скрепя сердце, определил своего адъютанта Валиханова ему в помощники. Второй отдел казачьих войск в Имантау по-прежнему оставался в их распоряжении.

Что ж, для Чокана в сущности ничего не менялось. Интеллигентный, образованный Гутковский относился к нему пре-

восходно. Договориться с ним было значительно проще. Карл Казимирович так и сказал:

— Используйте время, как вам будет удобнее. Понимаю, вам надо заехать в родной аул, отдохните там. А встретимся в Атбасаре.

...Прошло уже несколько месяцев, как он закончил корпус. Гасфорт пока не очень загружал его. Чокан просмотрел, как обещал генералу, многие архивные материалы, предоставленные ему Олень-Бабаем, осваивался со своими обязанностями, а последние недели проводил на берегу Иртыша.

Дядя Муса поставил ему юрту на лесной поляне и снабдил припасами. Денщик его Тухфатулла, из аульных татар, готовил ему и русские и казахские блюда. Чокан рыбачил, ездил верхом, перечитывал любимые книги.

Неожиданно для самого себя он поправился как ягненок на весенней траве, округлился, окреп мускулами. Прекратился и кашель.

Чокан искренне радовался, что в родном ауле его увидят здоровым и сильным, не будут причитать и говорить о его худобе.

Но и эти светлые дни были омрачены.

Теперь он уже знал, что Орда откочевала к подножьям Акана. Самый прямой путь туда лежал через Бурабай, Кокчетав и Зеренду. Но ему непременно надо было побывать в Сырымбете, и, прежде всего, в Сырымбете. Значит, приходилось выбирать другую дорогу.

Главная причина такого выбора заключалась в Айжан.

В Омск в эти дни прибыл направленный Чингизом в свиту Гасфорта, богатый и предприимчивый Таштит, сын Табая.

Как и многие в Кокчетавском дуане, Таштит и поддерживал и недолюбливал Чингиза. И непрочь при удобном случае отомстить султану. А тут такой случай как раз и представился.

По дороге в Омск Таштит переночевал у Жарылгамыса, своего родственника по отцу. От Жарылгамыса, доверявшего ему все свои тайны, он-то и узнал о переговорах с Малтабаром, о переселении Айжан в Сырымбет, о том, что Чокан, всего вероятней, заинтересован в судьбе девушки, подружки своего детства.

«Вот я и отомщу Чингизу,— сообразил Таштит. — В хитрости я не уступлю никому. Легче легкого мне по приезде в Омск поссорить отца с сыном».

И, навестив Чокана, он, притворяясь верным другом Чингиза, стал расхваливать его, как самого уважаемого в народе человека:

— Чингиз держит власть, его почитают в аулах, он милосерден к старикам и немощным. Он и в своем Сырымбете делает добрые дела. Думает о завтрашнем дне неимущих. Как его не хвалить! Приютил у себя одну бедную сиротку, помог ей вырасти, а теперь отдает надежному человеку, богатому. У него она сразу опустит руки в теплую воду.

— Кому же это?— вздрогнул Чокан, сразу же выдав себя.

Таштит заметил, как он переменился в лице. Мысленно ухмыльнувшись, продолжал так же спокойно и в том же слащавом тоне:

— Малтабару! Петропавловскому купцу, человеку щедрому и доброму. Он даже отца твоего обещал выручить.

И назвал сумму денег, обещанную Малтабаром после Атбасарской ярмарки.

Чокан не верил своим ушам. Собравшись с духом и стараясь казаться как можно более спокойным, он попросил Таштита еще раз пересказать все самым подробным образом.

И в заключение спросил:

— А девушка сейчас где?

— В Сырымбете. Султан не взял ее с собой в Акан.

На этом и расстались.

А когда стало известно о болезни Гасфорта, Таштит потихоньку уехал из Омска. «Сопровождать генерала — дело почетное, ехать же вместе с желторотым птенцом Чингиза мне ни к чему. Опять будет выпытывать, а добавлять больше нечего. Все главное я сказал».

...Да и Чокану не нужны были лишние спутники. Ведь и дядя Муса тоже изменил свое намерение ехать в большой свите, решив побывать на ярмарке позднее. Не оскорбил нисколько Чокана и отказ дяди ехать в Сырымбет под каким-то малоубедительным предлогом. Пусть здесь проявилось честолюбие Мусы Чорманова, не пожелавшего быть сопровождающим лицом при молоденьком офицере. К тому же дяде Мусе не нравилось, что Чингиз, кичась своей ханской кровью, задирает нос и перед ним, таким же офицером царской службы.

Но и этот отказ был только на руку Чокану. Тем более, дядя Муса ничего не знал об Айжан. Чокан вполне довольствовался компанией своего денщика, прекрасно владевшего и русским, и казахским языками, и при необходимости умело скрывавшего последнее, важное в дороге, обстоятельство.

Значит, в дорогу. Скорее в дорогу. Из Омска — в Петропавловск, а оттуда — в Сырымбет.

Дядя Муса посоветовал Чокану воспользоваться в поездке его подарком в честь окончания корпуса: казахской национальной одеждой. Тут были и черная меховая шапка с богатым зеленым верхом и чекмень из верблюжьего пуха, отороченный по краям мехом выдры, а камзол из белой китайской чесучи, и серебряный пояс, и замшевые широкие брюки, и туфли-кебисы с узором.

Чокану не пришелся по вкусу этот совет. Дяде он вслух ничего не сказал, а про себя подумал: «Ну, что я буду красоваться перед людьми, как разноцветный попугай. Не буду я ходить и в парадном офицерском мундире, хотя его прихвачу с собой. Надо быть в аулах поскромнее — тогда и верить будут больше, и помощь окажут. Не надобно, чтобы меня боялись».

Так он и двинулся в путь в сопровождении своего денщика Тухфатуллы или, как чаще он его называл, Токбета. Офицер — не офицер, чиновник — не чиновник. В походном кителе, в брюках, служивших ему службу еще в корпусе, в обыкновенных сапогах.

Ехал он малолюдной степью, Иртышско-Ишимской низменностью, как окрестили ее русские географы, Жолдыозек, как называли ее казахи.

На всем двухсотверстовом пути — только три казачьих станицы и несколько пикетов. Казахские аулы, населявшие эти места, уже откочевывали в сторону Баяна, к речкам Оленты и Шидерты на джайляу. Брошенные зимовья не встречали путников даже собачьим лаем.

Через день они были уже в Петропавловске. Нам уже приходилось упоминать, что казахи этот город, заложенный в 1745 году, именовали Кзылжаром, потому что издалека в степи видны были красноватые овраги, размытые Есилем-Ишимом.

Рассказывали, что городу, построенному преимущественно на взгорье, предшествовало возникновение станицы в низине. Когда Чокан с отцом ехал из Кусмуруна в Омск, домов на горке было очень немного.

Ямщицкий двор был расположен на окраине городка. Ямщик прочитал подорожную и обещал на утро их отправить. Чокан спросил верховую лошадь.

Только теперь, объезжая город верхом, увидел, как разросся он за это десятилетие. Мусульманское кладбище тогда находилось на отшибе в березовом перелеске, а теперь его со всех сторон окружили дома.

Чокан возвращался на ямщицкий двор, объехав чуть ли не весь городок, пока никак не сравнимый с Омском. И вдруг, по-

винуясь неясно вспыхнувшему чувству, остановил коня. Дом, как дом. Только чуть наряднее соседних. А, вот и лавка, к счастью, уже закрытая. А то бы, наверное, он вошел в нее и мог столкнуться лицом к лицу с Малтабаром. Проклятый купец, он и в детстве ему не нравился. Грубый, масляный, угодливый. С каким наслаждением сейчас, сию минуту, он поджег бы его дом. И тут же горько усмехнулся. Сам бы себя и наказал. Подожди, Малтабар, я еще сочтусь с тобой. И ничего ты не сделаешь с Айжан. Ни-че-го!

Хлестнув коня, он поскакал прочь от гиблого этого места. И очень скоро уже отдыхал в доме ямщика.

На рассвете они снова были в пути.

Надеждинская — Данежин, Новониколаевка — Кегерин и вот уже пикет Мусин верстах в ста от Петропавловска.

Здесь, на поросшем лесом высоком берегу Ишима сравнительно недавно находилась зимовка Мусы, сына Зильгары. Чингиз враждовал с его родом, и когда стал султаном Кокчетавского дуана, нашел какую-то причину, чтобы переселить и Мусу и всех четырнадцать его братьев на землю Алаколь-Салпына. Тогда-то и был здесь построен пикет, который стали называть Мусин.

Чокан слышал об этом кое-что в детстве, но только теперь начинал понимать, как часто самоуправствовал отец.

У пикета Мусина ямщицкая дорога раздваивалась — по одной до Сырымбета около ста верст, другая была раза в полтора длиннее. Но ямщики предпочитали именно долгую дорогу, потому что на ней, часах в трех езды от Мусина, был пикет Жаман Жалгызтау.

Чокан решил поступить так, как обычно поступали ямщики.

Дорога пошла на юг. Перелески-колки внезапно кончились, и во всю ширь открылся степной простор.

Проехали сравнительно немного, как на горизонте показались невысокие горы: двугорбая вершина Сырымбета и одинокая вершина Жалгызтау. Солнце начинало припекать. Заструилось голубоватыми туманными волнами марево, принимающее порой причудливые формы. То казалось, что плывут корабли, а потом вдруг возникали очертания сказочного города. Исчезают корабли и город, появляется гора Сырымбет.

Марево словно приподнимало горы. Видел ли их прежде Чокан? Ему казалось, что нет. И почему Сырымбет стал таким высоким и близким? Ведь вот он — рукой подать. Чокан сказал об этом ямщику, но тот рассмеялся.

— Это марево его поднимает. А ехать прямо — дороги нет. Лес там растет. Непроходимый лес.

Чокан подумал, что торопиться не следует.

Они ехали по направлению к Жаман Жалгызтау. Сырымбет снова удалялся от них.

## Жаман Жалгыз

Жалгызтау — Одинокая гора. Так ее назвали потому, что она возвышается вдалеке от Кокшетау. Она словно затеряна в степи. У подножья Жалгызтау есть небольшое озеро. Люди не пьют его горьковато-соленую воду, считают плохой — жаман. Плохое озеро, Жаман Жалгыз. Но скот пьет ее, как мы кумыс. И набирает силу на целебном водопое. А люди предпочитают родники — их множество вокруг горы, с водой чистой, прозрачной, вкусной, словно мед.

Жалгызтау похожа на юрту. Каменные склоны горы заросли березами, осинами, сосной. Издали густой лес кажется зеленой курчавой папахой.

У склонов Жалгызтау жили когда-то старейшины рода Караул — Колдей и Кошей. Между горой и горьким озером находилась зимовка, которую иногда называли калмыцким аулом. Говорят, Дербисалы был наполовину калмыком. Один из его трех сыновей, Сандыбай, человек бедный и работящий, едва ли не первым в роду взял в руки кузнечные меха. Ремесло кузнеца так полюбилось Сандыбаю, что он не расставался с ним круглый год и не выезжал на джайляу. Вечно он был перепачкан сажей, и старшая сноха дала ему прозвище Карамурун — Черноносый. А вслед за снохой его стали называть так и родственники, и все жители окрестных аулов.

Сын Сандыбая Ибрай впоследствии стал известным акыном и музыкантом, автором песни «Гакку»... Кто теперь в Казахстане не знает ее мелодии и слов? Ибрай продолжал жить в зимовке отца. В народной памяти сохранились и стихи Ибрая, где он воздает должное отцу и отрекается от его профессии.

Сандыбай Карамурун — он мой отец.
Был прославлен как искуснейший кузнец.
Я отца, как благородный сын, люблю,
Только молодость я не отдам углю.

Свою кузницу, побаиваясь лесного пожара, Карамурун расположил в сторонке от зимовки, у самого родника. С ним вместе жили два татарина, пожилой и молодой,— они несли на пикете ямщицкую службу, держали четырех лошадей и тарантас.

В этот день у Карамуруна гостил его брат Абле, приехавший из далекого джайляу.

Ямщик из пикета Мусин привез Чокана прямо к зимовке кузнеца. Солнце только-только закатилось, и было по-летнему совсем светло.

Чокан спрыгнул с повозки, подошел к дому и по-мусульмански поприветствовал хозяев.

— Садись к чаю, джигит,— пригласил его Карамурун.

Чокан отказался. Стал расспрашивать, как сразу же уехать в Сырымбет.

Братья, уже начинавшие догадываться, что это сын Чингиза, объяснили ему, что ямщики еще с утра увезли одного путника в Саумалколь и вернутся, наверное, только завтра, а верхом, на этих двух лошадях, что пасутся на поляне, далеко не уедешь.

Карамурун еще раз пригласил Чокана к дастархану:

— Мы захода солнца ждали. Ведь сейчас — ураза. Отпробуй нашей пищи.

Чокан сложил руки и вежливо поклонился. И сказал уже по-русски, обращаясь к Токбету.

— Пройдемся немного, пока еще светло.

Они зашагали к лесу.

— Одно название, казах,— недовольно пробурчал Карамурун и пожал плечами,— а может, я зря его ругаю.

— Пожалуй, зря,— откликнулся Абле.— Ты догадался, кто он?

— Не совсем.

— Так ведь он сын Чингиза!

— Чокан, говоришь?

— Именно Чокан. Ты, Карамурун, сидишь в своей кузнице и ничего не знаешь. Я-то видел его еще мальчишкой. И глаза его прежними остались, и брови. Я и не предполагал, что он вырастет таким стройным. Ишь, как вытянулся!

— Да-а,— протянул кузнец.— Но Чокан, сын Чингиза, достоин большего уважения. Это не его путь. Почему же, скажи, так просто, так незаметно он возвращается в родные края? Да еще на ямщицких лошадях? Как будто для него нельзя было отобрать из табуна лучших аргамаков?

— Знаю, почему!— Абле в задумчивости прикусил палец и произнес после некоторой паузы еще решительнее.— Все знаю теперь! Значит, это правда.

И стукнул кулаком по своим коленям.

— Ты словно сам с собой разговариваешь. Объясни мне

толком,— спрашивал брата Карамурун, впрочем тоже уже о многом догадавшийся.

— Ты разве ничего не слышал? Разве в твоей кузнице не бывают люди?

— Думаешь, Чокан едет к дочери Акпана? Так, Абле?

— Уверен в этом! Другой причины не надо искать. Его путь все нам сказал.

— Значит, девушка в Сырымбете. Откуда он мог узнать об этом в Омске?

— Я знаю, он и подавно должен знать. Ушей вдвое больше, чем языков, но уши слушают, а языки — работают.

— Чокан у нас на зимовке! Вот это да! Умный, говорят, джигит. А мы его встретили, как простого путника.

Карамурун от огорчения забыл и про чай.

Взволнованная беседа братьев продолжалась бы и дальше, но тут возвратились Чокан и Токбет.

— Жалко, что татары не вернулись из Саумалколя... Мусинского ямщика я просил нас довезти, не соглашается. Значит, надо покориться судьбе,— сказал Чокан.

— Не огорчайтесь, мырза, побудете у нас.

И братья стали хлопотать об ужине и ночлеге, вполголоса, чтобы не слышал Чокан, рассуждая о том, как это лучше всего сделать. В зимовке Карамуруна пахло необработанными шкурами, вились надоедливые мухи. Братья решили постелить дастархан около родника, у кузницы. Там свежая трава, не истоптанная скотом, а древесный уголек приятно пахнет.

— Мырза,— подошел Абле к Чокану,— на чистом воздухе под березами покушаем. Согласны.

— Рахмет, агай, спасибо!— ответил Чокан, мысленно радуясь тому, что можно не заходить в неопрятную землянку.

Он прошел к роднику и прилег прямо на траву, не дожидаясь, пока найдут кошму. Да разве мягкий типчак с упругими спутанными стеблями не лучше всякого одеяла? Трава у Иртышских берегов тоже хороша, только она чаще бывает влажной, а здесь сухо, тепло.

Потянуло легким дымком. Он оглянулся и увидел, что Карамурун разжег костерик с той стороны, откуда временами дул небольшой ветер. Чтобы отгонять комаров, сообразил Чокан, и проникся благодарностью к симпатичному кузнецу.

Еще продолжались белесые сумерки, а с юго-востока рассеянным сияньем оповестила о себе восходящая луна. Когда она медленно всплыла, полная и яркая, касаясь своим краем горизонта, то ее можно было сравнить с колесом сказочной огненной арбы.

Подымаясь выше и выше она становилась из темно-алой с густо-синей кромкой сначала золотистой, а потом совсем светлой и заливала белым молочным светом небо, степь, лес, горы.

В такой час рождалась аульная песня.

Пели:

Ночь на день похожа, мягкий лунный свет
У джигита много верных есть примет.

Пели:

Ночь на день похожа, свет луна струит,
В темных косах милой серебро звенит.

Пели:

Заблудилась тучка между гор в степи,
Пусть заснут в ауле. Милый, потерпи!

Может быть, в песне, сохранившейся в памяти, были именно эти слова, а, может быть, и другие, но — все равно! — он чувствовал, как песня переполняет его душу.

В ярком свете луны бледнели звезды, но и они, казалось, посылали свои лучи на землю. Все можно было разглядеть вокруг, от ближнего кустика до степных просторов.

Степь, степь!.. Вольная равнина с едва приметными впадинами яров. А к северу — лес. Склоны Жалгызтау. На запад — тоже степной простор.

Под вечер Жалгызтау не выглядела высокой, но теперь, в лунном свете, гора как бы выросла, вытянулась, и ее вершина сливалась с черным небом.

То ли так бывает всегда, то ли это случилось, как по волшебству, сегодня, но вдруг в неурочный этот час лес ожил. Где-то заворчал сыч, с утеса в ответ ему заклекотал беркут. Смолкли они — взлетела и оборвалась соловьиная трель. Застрекотали сороки — должно быть, почуяли запах свежего мяса. Ожил лес,— зашумело и озеро. Жалобно вздохнул, заплакал аупильдек — болотная птица. Растревожились, как на восходе, утки и чирки. Чокану даже послышался трубный голос лебедя.

Его пленила ночь — и своим звездным небом, и молочным светом луны, и степной беспредельностью, и угрюмым величием горы. Много у нас поэтов, думал Чокан, но если бы родился такой, кто смог бы в одном стихотворении показать эту слитную и гармоничную красоту!

И чудаковатый старый кузнец естественно и просто вписывался в милый сердцу заповедный уголок родной природы. Как он был непохож на хитрых и важных баев, у которых даже

свойственное казахам гостеприимство имело подчас расчетливую основу.

...Карамурун между тем продолжал хлопотать об ужине. Жил кузнец бедновато, чая у него не было, как не было и никаких других напитков, кроме козьего молока. Чаем они называли заварку шалфея, которую пили с твердым сыром-куртом и сладким сыром помягче, иримшиком.

— Спроси у молодого мырзы,— шепнул Карамурун брату,— будет ли он пить шалфей, как мы пьем. И о курте с иримшиком спроси.

С трудом преодолевая стыд, Абле все это передал Чокану.

— Вот и прекрасно,— ободрил Чокан старшего брата кузнеца,— курт и иримшик я люблю с детства. И, признаться, соскучился по ним. А вот чая из шалфея не пробовал. Только слышал о нем. Отчего же не попить?

...Так много и с таким аппетитом он давно не ел. Сонливость как рукой сняло. Вслушиваясь в лесные и озерные шумы, он продолжал любоваться поднявшейся луною. Ветер усилился, а с ним и степные запахи. Дым костра становился гуще и начинал надоедать. Он попросил потушить костер. Пожалуй, я устал, подумал он про себя. Капризничаю, досаждаю кузнецу. Чем он виноват, что надежной крыши и чистой постели, на которой так хорошо было бы понежиться, у него нет. Брр! Холодновато. Кажется, рассвет приближается. Выпадет роса, и тогда нельзя будет валяться на траве. Что же придумать? Может быть, спуститься к озеру, побродить вокруг него? Или пройтись по склону горы? Разбужу Токбета. Нет, не надо. Он богатырски похрапывает в землянке.

— Что, мырза, не пройдете ли в дом?

Около него стоял кузнец. Не ложится спать, беспокоится, бедняга.

Когда Чокан сказал Карамуруну о своем намерении посмотреть озеро, подняться на гору, тот замешкался с ответом:

— Все это правильно, у нас есть, чем полюбоваться... Но идти пешком — далековато. Птиц слышно, как будто озеро рядом. А до него шагать и шагать. По горной тропинке тоже не каждый сможет идти.

— Вы же, агай, говорили, что всходили не один раз на вершину Жалгыза.

— Что о нас говорить? Мы здесь родились, нам каждый камень знаком. Я ведь не только кузнец, но и охотник. Все повадки зверей знаю, словно сам стал зверем...

Чокан подумал, что кузнец совсем не похож на зверя. Скорее он напоминал батыра крепким подобранным телом с ли-

тыми твердыми мышцами, гибко перекатывающимися при каждом движении. Выше среднего роста, хорошо сложенный, он производил впечатление очень сильного человека, да так оно и было на самом деле. Чокан еще с вечера присмотрелся к его лицу: угольная и железная пыль въелась в кожу, впитавшую в себя и солнце и ветер. Потому он и выглядел смуглее других. Кузнец был бы, пожалуй, страшноват, если бы не проницательные глаза,— добрые и спокойные.

Хорошо бы посмотреть его на охоте, когда он выходит на зверя со своим самодельным ружьем. Чокан успел узнать, что кузнец сам с великим искусством просверливает стволы. Его ружье — мултук, был с фитилем и маленькими сошками из рогов антилопы. Кузнец с гордостью мастера сказал, что он получал заказы от лучших стрелков-мергенов. Мой мултук — для метких охотников. Впрочем, слова Карамуруна, что он попадает в любую цель, Чокан посчитал бахвальством. Да и ружье, если признаться, ему не так уж понравилось. Но и с этим ружьем он представил охотника, ловко и бесшумно карабкающегося по скалам, чтобы подкрасться к могучему архару, легкому кара-куйрюку, чуткому оленю. Чокан видел в землянке и рога архара, и оленьи шкуры. Вот бы поохотиться вместе с кузнецом! А, может быть, удастся уговорить?

— Агай, не пошли бы вы вместе со мной, в горы?

— А куда вы хотите, мырза?

— К озеру, например, или туда, к вершине.

— Ну что ж, с удовольствием, мырза.

— И поохотимся?

— А почему бы и не поохотиться?

— И на архара можно?

— Можно и на архара. Только они живут у самой вершины.

— Я и на вершину готов.

Кузнец испытующе посмотрел на Чокана, помолчал.

— На вершину, мырза, не так легко взойти. Привычка нужна лазать по скалам. Вы говорите, отдыхать будем? Так это нам и дня не хватит. Садитесь со своим джигитом на лошадей. Вы их видели — ямщицкие, выносливые, и горные тропки знают. Только вот седло у меня одно.

— А вы, агай? Ведь у вас только две лошади...

— А я пешочком, пешочком. И от лошадей не отстану. Я же вам говорил, что я как зверь... Ну, что ж, давайте собираться.

Заглянули в землянку. Кузнец зажег светильник. Рядом с ружьем, неуклюжим и довольно тяжелым, Чокан приметил большую черную домбру. У нее был длинный гриф с железными заплатками на трещинах и дека крупнее обычной. Чокан не

умел играть на домбре, но дотронулся до ее струн — они откликнулись дробно и звонко. Спросил:

— Это вы, агай, на ней играете?

Карамурун кивнул головой.

— И поете?

— Помаленьку пою, мырза.

— Как бы я хотел вас послушать!

— Разве сейчас время, мырза? Но я исполню вашу просьбу, не сомневайтесь.

Чокан попросил Карамуруна взять домбру с собой в горы. И хотя это был дополнительный груз, кузнец согласился.

Привели лошадей и принесли единственное седло. Чокану не пришлось по вкусу седло.

— Я лучше без него поеду, агай.

— Смотрите, мырза, без седла будет трудно. Лошади, сами видите, поджарые, спины острые. Да и тропы крутые.

— Ладно,— махнул рукой Чокан,— обойдется. Так куда мы трогаемся?

— Вы, кажется, хотели архаров, козлов посмотреть. Значит, надо пробираться к скалам. И не со стороны ветра, а с подветренной. Чтоб не спугнуть. На дороге высокий утес. Его обойти придется.

— Я пойду вперед, а вы поезжайте потихоньку за мной.

Кузнец вышагивал легко, ему не мешал груз — и мешочек, в котором хранились кремень, огниво, запасной фитиль, и мешочек с тяжелыми пулями, отлитыми из улутауского свинца, и само тяжелое ружье, про которое Карамурун сказал: мой мултук и палка при ходьбе, и пища, если захотел есть. Туго перепоясанный, отягощенный охотничьими припасами, он действительно опирался на ружье, как на посох, когда на пути встречался ров или камень.

Токбет одной рукой придерживал поводья, второй крепко охватил домбру, которую ему поручил Чокан.

Лошади послушно шли за кузнецом, прокладывавшим маршрут не по прямой, а зигзагами. Подъем становился круче и труднее. Лес, не знавший с далеких времен ни топора, ни огня, встречал их тугими зарослями, возникшими после бурь, оврагами, валунами.

В чащобе этой Карамурун чувствовал себя, как рыба в воде, но беспокоился за гостей и поминутно оглядывался. Уверенно поднимались в гору и лошади.

Хуже всех приходилось Токбету. Он боялся выронить домбру и ему трудно было отстранять сучья, то и дело хлеставшие по лицу. Он тихо поругивался.

Не раз вспоминал Чокан предупреждение кузнеца. Проехали немного, а отсутствие седла больно давало о себе знать. Ну и острая спина у этой лошади!

Продвигались молча, чтобы не вспугнуть зверя. Только после очень трудного перехода Карамурун задерживался и тихонько спрашивал:

— Ну как? Не устали? Ничего не случилось?

— Все хорошо,— отвечал Чокан. Не жаловался и Токбет.

— Вы сами, агай, как?

— Я здесь дома. Говорил же я вам, мырза, что сам, как зверь.

И в самом деле, он ни разу не оступился, не споткнулся, шел ровно, легко, как по накатанной дороге.

А всадники начинали сдавать, хотя и стыдились в этом признаться. Луна уже скатилась на запад, отчетливо осветив скальные выступы, возникшие перед путниками.

— Здесь и отдохнем,— предложил Карамурун.— Посмотрите: взошла Шолпан. Значит, скоро рассвет. Удачно мы забрались сюда. Ветер дует так, что звери нас не учуют. А теперь наберемся сил перед новым подъемом.

— Согласен. Я и сам хотел это предложить.— Чокан не без труда спешился и сразу прилег на живот. Напророчил кузнец.

Примеру Чокана последовал и Токбет. Ему тоже пришлось не сладко. Но друг другу они ничего не сказали, как не сказали и Карамуруну, который, конечно же, догадывался, к чему привело путешествие без седла.

— Не обижайтесь на меня, но давайте оставим здесь лошадей. Дальше такие камни, что легче идти пешком.

— Привязать надо лошадей или стреножить?— спросил Чокан.

— А зачем? Они будут здесь дожидаться нас.

— И не спустятся к зимовке?

— Что вы, мырза! И шагу домой не сделают. Вот этот ковыль-коде видите?— И Карамурун зажал в руке пучок травы, выросший на каменистой почве.— Знаете, что это за трава?

Чокан дотронулся до травы и не очень уверенно ответил:

— Да, коде. Вы же сами ее так назвали.

— Назвать я назвал, но не полностью. Есть разный ковыль. Например, есть каменный ковыль, а есть старик-ковыль, шал-коде. Взгляни, разве не похож этот пучок на спутанную бороду старца?

Чокан присмотрелся. В свете луны, Шолпан и начинающе-

гося рассвета трава действительно напомнила стариковскую бородку.

— Думаете, я зря об этом повел речь,— продолжал Карамурун.— Человек отличает одну траву от другой, а животные еще лучше. И дикие, и домашние. И архары, и лошади. Конечно, лошади редко сюда заходят. Но уж если они попробуют один раз горной травы, то запомнят ее вкус. Наши-то, должно быть, ее знают. Вот увидишь, мой мырза, вернемся мы сюда к подножью скал, а они будут пастись, как привязанные.

— Здорово!— покачал головой Чокан, все еще не веря Карамуруну.— Апырай!

— Убедишься сам! А нам уже пора. Погодите, я коней разнуздаю.

Вскоре раздался аппетитный хруст. Чокан присмотрелся. Карамурун оказался прав — кони действительно с жадностью ели шал-коде.

— Пошли, джигиты?

Чокан и Токбет поднялись. Но на лихих джигитов они, увы, походили мало. Ноги не то, чтобы совсем не подчинялись им, но легким и твердым их шаг никак нельзя было назвать.

...Вот и пик Катнас — Передающий вести. Может быть, когда-то в дни джунгарских войн здесь разжигали костер, чтобы предупредить аулы о приближающемся враге. На гладкой боковой грани пика художник далеких времен начертал броскими стремительными линиями изображение кулана в беге. Нынче куланы, дикие предки лошади и осла, почти перевелись в степях. Вокруг темнели щели и небольшие пещеры, которые Карамурун не раз использовал, как охотничий скрадок.

— Только бы ветер не переменился,— с надеждой проговорил он, приглашая джигитов отдохнуть на камнях Катнаса.

Луна еще светила, но заметно побледнела в занимающемся рассвете. Пестрая тучка набежала на гору, обволокла путников едва ощутимой изморосью и также быстро рассеялась.

— Только бы ветер не переменился,— еще раз повторил Карамурун,— а то звери учуют наш запах и близко не подойдут.

Тянулись минуты ожиданья. Чокан вспомнил о домбре, которую самоотверженно донес до Катнаса Токбет. Может быть, Карамурун сыграет и споет.

— Тише, тише,— зашептал Карамурун.— Звери очень чуткие. Погодите, если будем с добычей,— тогда и песня не помешает. Вот зальем тороку кровью.

— У вас и торока есть с собой,— спросил Чокан, хотя понимал, что Карамурун говорит в образном смысле.

— Да нет... Просто это присловье охотников.

Чокану, не привыкшему терпеливо выжидать зверя, захотелось немного побродить, осмотреться. Он сказал об этом Карамуруну.

— Как нравится, так и делайте. Но ходите без шума, осторожно.

Чокан поднялся на сравнительно гладкий выступ скалы и взглянул вниз — у него закружилась голова. Как высоко они забрались, каким крутым был обрыв! Восточный край куполовидной вершины Жалгыза был как бы отвесно срезан ножом. Западная сторона выглядела пологой. Густо поросшая лесом, она широко и медленно вливалась в долину.

Зверей Карамурун ожидал несколько ниже Катнаса возле скал, примыкающих к лесу.

— Если будет удача, то вожак появится вон там,— и он указал на скалу, напоминающую стог.— Он выйдет из ущелья, где они отдыхают.

Шолпан поднялась выше, но ярче не стала. Слегка заалел край неба.

— Теперь они не задержатся, давайте спрячемся. А ветерок на нас дует, на нас...

И Карамурун приготовился к встрече. Он видел только скалу, на которой мог с минуты на минуту оказаться сторож-вожак. Он поставил сошки своего фитильного мултука на камни, опустился на одно колено и, крепко чувствуя плечом приклад, направил мушку чуть выше каменного стога.

— Не рано ли, агай?

— Тише, тише, мой мырза,— проворчал Карамурун,— зверь не скажет: «Вот он — я. Стреляй в меня». Надо его опередить!..

Карамурун словно застыл. Чокан не слышал и его дыхания. Страсть охотника передалась и им. Секунды казались минутами, минуты — часами. Терпение было на исходе. Почему так медленно светает? Но на самом деле было уже светло.

И тут, выходя навстречу вот-вот готовому засиять первыми лучами солнцу, на скале бесшумно возник настороженный зверь. Чокан сразу догадался — архар. И разглядел крупные, круто завитые рога.

Архар прошелся по каменному стогу, приподняв кверху узкую морду, как бы внюхиваясь. И замер. Стройный, с подтянутым как у скаковой лошади, животом. Был он, должно быть, с теленка-двухлетку. Бурой, темной масти сверху и светлой, сероватой с живота.

Он исправно нес свою сторожевую службу, защищая всех тех, кто слабее его. И во время лежки и во время пастьбы он чутко охраняет спокойствие стада. Вдруг архар приготовился к прыжку.

Но тут ухнул в тишине выстрел. И архар уже падал со скалы. Падал в камни, белея своим животом. И камни его заслонили. Скорее всего, он был сражен насмерть. Стадо как сдунуло.

— Попал!— только и произнес Карамурун.

Поднялся и побежал к архару. Вскоре он скрылся за камнями, а минуты две спустя уже шагал обратно с огромной тушей за плечами.

— Оказывается, пуля попала в сердце. Я по струйке крови вижу.

Карамурун вытащил нож и с удивительной ловкостью стал разделывать архара. Разделывал и что-то бормотал про себя. Потом поднял тушу, как бы приглашая спускаться домой.

— А песня?— спросил Чокан.

Кузнец рассмеялся:

— Звери еще подумают, что это кулан кричит в горах.

— Не мы боимся зверей, а звери боятся нас,— пошутил Чокан,— но раз вы обещали, агай...

Больше его упрашивать не надо было.

Пальцы Карамуруна мгновенно преобразились. Они были короткие, толстые. Кожа на них и на ладонях продубилась, затвердела. Еще бы! Руки кузнеца привыкли к молоту и огню, к жаркой и грубой работе. А сейчас они неожиданно приобрели мягкость и гибкость. Они бежали по струнам с непринужденной быстротой иноходца.

— Что же вы не поддерживаете игру песней?— сказал Чокан.

Песня возникла не сразу. Карамурун медлил и медлил, потом начал совсем тихо. Голос постепенно набирал силу, как будто взбирался в гору и, наконец, окреп и могучей птицей поднялся ввысь.

Красота и сила соединились в нем.

Кузнец из глухой зимовки удивительно сочетал умелые руки мастера, которому были подвластны и дерево и металл, с талантом артиста, музыканта. Он знал названия и запахи трав, любил песню, любил свой простор и свой народ.

Не у него ли надо учиться понимать людей и природу,— думал Чокан.

...Охотники вернулись к лошадям чистым и солнечным утром. Серые недавно скалы и вершина окрасились в светлые

желтые тона, как будто их окунули в жидкое золото. Все вокруг искрилось, все сверкало.

Лошади продолжали пастись, жадно похрустывая горной травой шал-коде.

— Я готов дотащить тебя до зимовки, мой мырза,— предложил Карамурун, словно не ведающий усталости,— верхом тебе нельзя. Измучаешься.

Чокан решительно не согласился. «Что значит эта маленькая боль по сравнению с моими большими страданиями,— рассуждал он.— Надо воспитывать в себе мужество».

Мыслями он опять возвратился в кадетский корпус, в годы ученья. Николай Федорович Костылецкий, преподаватель русской словесности и замечательный ориенталист, знаток восточной поэзии, был не только его учителем, но и старшим другом. Он рассказывал ему о древних арабских поэтах. Со слов Николая Федоровича он запомнил четверостишие из рубайата Абу-Гале аль-Магарри:

Меня пронзает светлый луч,
Любовь рождает светлый луч.
Луч исчезает. Что со мной?
Я был в огне, я стал золой.

Спускаясь крутой тропинкой, еле преодолевая валуны, путаясь в чащобе, Чокан повторял арабские строки. Может быть, и меня пронзает такой луч? Может быть, и я в огне, а могу стать золою?

Странно, что Николай Федорович, сибирский казак, познакомил его и с родным эпосом «Козы Корпеш и Баян-сулу». Милый чудак Костылецкий! А почему он так любит казахские песни?

Ты со мной всегда наяву,
А засну — придешь и во сне...

Хорошо бы сейчас отдохнуть, поспать... И пусть мне во сне приснится Айжан... Наверное, я влюблен в нее с детских лет. Как в арабской поэзии, как в нашем эпосе.

Весело нам было играть в Кусмуруне с Жайнаком. Как часто мы забегали тогда в дом Акпана, в этот бедный, но скромный и чистый дом, где, как маленький жемчуг в колечке, сияла малышка Айжан. Я же наказывал матери, уезжая в Омск, беречь девочку, заботиться о ней, как о моей сестре. Значит, не сберегла? И вокруг нее уже плетет свои паучьи сети этот Малтабар.

Я повзрослел. Мне уже скоро двадцать. Но и Айжан стала красивой девушкой.

А засну — придешь и во сне!..

Вот уж никогда не думал, что таким тяжелым будет путь на охоту. Но я нисколько не жалею об этом. Разве Суворов не говорил о том, что солдат должен побеждать трудности. Зато я повидал Жаман Жалгызтау, архара на рассвете, подружился с Карамуруном. Охотник, музыкант, кузнец. По возрасту он мне в отцы годится, а я висну на его спине. Стыдно, больше так не будет...

...На зимовку они спустились только к полудню. Ямщики вернулись. И тарантас, и лошади были в порядке. Напоследок Карамурун снова принялся уговаривать:

— Ты ведь устал, мой мырза. Отдохни денек. Подожди, пока придешь в себя. Еще раз схожу на охоту, еще раз поиграю тебе на домбре.

Но Чокана уговорить было уже нельзя. Он рвался в отчий дом, в Сырымбет. Его неодолимо влекла к себе Айжан.

## В Сырымбете

Две дороги шли в Сырымбет из Жалгызтау. Первая, извилистая лесная тропинка, всего верст в тридцать. Вторая, хорошо накатанная дорога, вдвое длиннее тропы, огибала лес с севера; на тарантасе проехать можно было только по ней.

Чокан, понятно, отказался от верховой езды и сел в тарантас.

Пока он приближается к Сырымбету, нам необходимо рассказать о брате Карамуруна Абле, с которым мы только бегло познакомили читателя. Кто же он? И зачем он покидал джайляу, чтобы побывать на зимовке?

Абле с детства не отличался здоровьем, роста был невысокого, казался худеньким, даже хрупким, непригодным к черной работе. Но так как он схватывал все на лету и быстро запоминал, то отец поднатужился и отдал его на ученье хазрету Кожахмету, построившему на берегу Есиля свою мечеть и медресе. Закончив эту медресе, Абле продолжал ученье в медресе Мухамеджана в Петропавловске и вышел оттуда хатымкарданом, образованным муллой.

В эту пору Чингиз стал старшим султаном Кокчетавского дуана. Секретарем дуана еще со времен Айганым был Мухамедкали, сын Мынбая из враждебного Чингизу рода Балта Керей. Султан считал его шпионом и вскоре избавился от него. Так Абле оказался на месте секретаря. Он не стремился к власти, поэтому не искал себе сторонников и хотел только одного: стать верным человеком султана — не больше.

Чингиз рассказал ему обо всем, что связано было в эти месяцы с Айжан. Тем более, в аулах уже шли самые разные разговоры. Он же и послал Абле проверить, действительно ли Чокан поехал в Сырымбет. Но Абле в Сырымбет ехать не стоило — повода побывать там у него не было. Его бы сразу в чем-нибудь заподозрили. А вот в Жалгызтау прошлой весной умер его любимый сын, и Абле почти каждый месяц приезжал в родное зимовье — побывать на кладбище и почитать на могиле молитву.

Абле очень скромно держался с Чоканом, не надоедал ему лишними расспросами и даже не вмешивался в его беседы с братом. Он только внимательно прислушивался к разговорам в надежде выведать что-нибудь интересное для Чингиза.

Что касается Чокана, то он равнодушно отнесся к Абле, особенно после того, как узнал о его звании муллы. Говорить на религиозные темы ему не хотелось. Брат муллы, кузнец и охотник, куда больше привлекал Чокана.

Перед отъездом на охоту Абле попросил Карамуруна узнать — зачем едет Чокан в Сырымбет. Чингиз высказывал опасение, что сын может помешать выдать Айжан замуж за Малтабара. Кто знает, вдруг молодой хан проговорится, сболтнет что-нибудь существенное.

Чокан ответил Карамуруну кратко:

— На могилу бабушки.— И не стал продолжать.

Когда Чокан уехал в Сырымбет, Абле, недовольный скудностью сведений, пробурчал:

— Выдумал он все это. Он и молитвы-то прочитать не умеет. Ислам не любит. Это уж мне известно точно.

— Тогда зачем же он едет туда, если родители откочевали к горам Акана, и в ауле мало кто остался?

— А едет он, я уже говорил тебе об этом, встретиться с дочкой Акпана.

— Да разве она ему пара?

— Ханские потомки падки на лакомое. Он что-то слышал, должно быть, о ее красоте, а теперь не успокоится, не посмотрев, не попробовав. Ишь, как торопится!

— Апырай!— удивился Карамурун.— Кажется, я тоже что-то слышал об этой девушке, но видеть не приходилось. Она и в самом деле такая, как говорят?

— Грешно говорить, что она дочка пери. Пери — на небе, в раю. А вот на земле таких красавиц мало. Красивей дочки Акпана я не видел. А ведь я побывал во многих городах и аулах.

— Да!— задумался Карамурун.— Если он ее увидит, непре-

менно увлечется. Джигит горячий! И возраст такой. Играет кровь.

— Почему ж не увидит? Непременно увидит. Он для этого и едет в Сырымбет. Ты уверен, что дочь Акпана там?

— Недавно люди проезжали, говорили.

— К чему же это может привести?

— Джигит он горячий,— повторил свои же слова Карамурун. И с огорчением добавил:— Если надо хозяину, слуга не обидится. Сколько красивых девушек черной кости становились добычей торе! Поиграют, полакомятся, а потом передадут кому-нибудь из простых.

Речь брата не очень понравилась Абле. Она звучала оскорбительно для султана, а мулла был его почтительным секретарем.

И, оседлав коня, Абле помчался сообщить Чингизу в общем-то довольно скудные новости.

...Чокан тем временем подъезжал к Сырымбету.

Как, надеюсь, помнит читатель первой книги, хан Уали сделал ставкой Сырымбет по просьбе своей токал, младшей жены Айганым.

Переезд туда нелегко достался хану. Да и жил он в новой своей ставке очень недолго. Все хлопоты по устройству Сырымбета взяла на себя его вдова, деятельная ханша Айганым.

Несмотря на решение Сибирского комитета, предписания генерал-губернатора Западной Сибири и даже Указ императора о выделении пяти тысяч рублей на строительство дома и мечети, дело тянулось долгие годы: то задерживались ассигнования, то сокращалось число военнорабочих из Кокчетавского приказа, то сама работа производилась из рук вон плохо,— рассыпались печки, окна оказывались без ставней, то инженерный офицер поставил мечеть фасадом не в ту сторону,— и ее пришлось сломать до основания.

Мешали самые разные обстоятельства, в том числе и непредвиденные. Из прилегающего леса в орду повадились забредать медведи. Нападали на скот и — даже на людей. Медведей было так много, что пришлось устраивать не одну вооруженную облаву.

В последние десятилетия Орда приобрела вид аккуратного оседлого поселка. Казахи Черного аула стали заниматься хлебопашеством — сеяли овес, просо, садили лук. Начали строить и мельницу.

Многое изменилось вокруг. Порубки несколько отодвинули лес. Заболотилось кое-где озеро, но по-прежнему в нем в изобилии водилась рыба, а в камышах птица и кабаны.

На прибрежных вырубках у самого устья речушки Кылшакты возвели несколько землянок, в которых теперь жили преимущественно сторожа. Они проводили здесь и лето, когда Чингиз со своим семейством и слугами выезжал на джайляу.

В это лето Сырымбет обезлюдел.

Рядом с мечетью в небольшом деревянном домике коротал дни мулла Галиакбар, совсем состарившийся и обрюзгший. Слышал он плохо, намаз мог читать только сидя, и передвигался с трудом, опираясь на палку.

Многие землянки пустовали. Только три семейства оставались здесь: Орманбая, объездчика лесных угодий, Токпакбая, главного сторожа, который постоянно постукивал в колотушку, пугая и зверье, и случайных охотников до чужого добра, а в третьей землянке жил совсем больной Акпан со своей дочерью.

И овцы и коровы Орды летом выпасались на джайляу. Только коз не перегоняли в Саумалколь и горы Акана. Козы были в полном распоряжении сторожей. На лесных полянах козы чувствовали себя спокойнее, чем на джайляу,— они не боялись ни оводов, ни комаров. Козьего молока было вдоволь — из него варили курт и иримшик, сбивали масло. Из двух козлят, принесенных козой, Чингиз разрешал одного забивать. Значит, и мясом сторожа были обеспечены. Женщины пряли пряжу из козьего пуха и шерсти, шили шубы из шкур забитых и павших животных.

Для поездок в лес и пастьбы коз Чингиз оставлял сторожам ослов, закупленных им как-то у торговцев-узбеков, проезжавших с караваном из Средней Азии. А вот лошадь в Сырымбете была одна единственная — у объездчика Орманбая.

...Чокану прежде всего бросились в глаза землянки с остроконечными верхушками. Потом он увидел козье стадо неподалеку от берега озера. Рядом человек, очевидно, пастух. Значит, это пастушеские землянки.

— Подъезжай ближе к стаду,— велел он кучеру.

Оказывается, это была девушка, бедно одетая, с деревянным ведерком в руке.

Девушка исподлобья взглянула на приезжих, и когда тарантас поравнялся с нею, неожиданно вздрогнула и метнулась в сторону землянки. Так в минуту опасности убегает маленькая антилопа.

Почему она так задрожала, почему испугалась? Да, уж не Айжан ли это? Как блеснули ее глаза! Большие, черные. Глаза Кунсулу, ее матери. И такие же, как у матери, густые темные косы. Айжан или не Айжан? Сколько ей может быть лет?

Пятнадцать? Или все семнадцать? Худощавое, заостренное к подбородку лицо. И вспыхнувший румянец. И блестящие черные глаза. Нет, такие глаза могли принадлежать только ей.

— Айжан!— воскликнул Чокан.

Девушка услышала, но не остановилась. Быстро добежала до землянки и юркнула в открытую дверь.

«Айжан непременно поздоровалась бы со мной. Она не должна меня бояться. А, может быть, она просто не узнала меня. Я ведь тоже изменился. Что ж, пройду в землянку».

Подъехали к открытой двери. Чокан подал голос. Никто не вышел, никто не ответил.

— Пойди, посмотри, что там происходит,— попросил Чокан Токбета.

Токбет спрыгнул с тарантаса, побыл в землянке с минуту и вернулся.

— Там, ваше благородие, больной лежит. Худой такой, а глаза тебя как насквозь пронзают. Охает, губы облизывает, но молчит. А девушка, которая с козами была, повернулась к стене и лица не показала.

У Чокана сомнения отпали. Конечно, это были Акпан и Айжан. Айжан! А ведь, если он узнал ее,— значит, и она не могла ошибиться.

Так оно и было. Из тысячи лиц она бы отличила мальчика из ханской орды. Но ей и в голову не приходило, что он может здесь очутиться. Это он! Чуть припухшие веки, брови вразлет, глаза, которые она всегда помнила. Но зачем он приехал в опустевший Сырымбет?

Испуганная, недоумевающая Айжан вбежала в землянку.

— Что с тобой, мой месяц, Айым?— приподнял голову Акпан, но в это время раздался шум подъехавшей повозки, и Айжан замерла у стены. Когда заходил Токбет, она была убеждена, что это Чокан.

Может быть, поэтому и не шелохнулась.

Она думала сейчас только о нем. Вспомнила, как тепло отзывалась о Чокане Кокеш, с трудом вспомнила уже далекое свое детство и доброго мальчика, друга ее брата. Вспомнила, как едва ли не накануне своего печального отъезда Кокеш говорила: «Какой хороший джигит! Если бы он стал твоим мужем!» Айжан было стыдно тогда, она покраснела и ничего не ответила. Но потом часто думала об этих словах и с горечью понимала, что до Чокана ей так же далеко, как до солнца на небе... И вот уж совсем недавно Ракия ей сказала, что Чокан в Омске расспрашивал о ней. Ракие нравилоеь устраивать

свиданья джигитов и девушек, и она в самом деле была готова свести брата своего с Айжан.

Значит, помнит? А вдруг он ради меня и приехал?

Токбет вышел из землянки.

И скоро вновь раздались шаги. Девушка повернула голову и, узнав Чокана, в тот же миг услышала его голос:

— Айжан!

Повинуясь безотчетно нахлынувшим чувствам, давая разрядку своим горестям, она бросилась к нему навстречу, обняла его, припала к груди, не сдерживая слез.

— Канаш-ага!

Обхватив ее одной рукой, другой он гладил ее черные волосы — успокойся, милая, успокойся!— И чувствовал теплое тело, вздрагивавшее от рыданий.

Привлекая Айжан к себе ближе и ближе, Чокан вдруг понял, как он ждал этой встречи.

Ничего не подозревавший Токбет прошел вслед за Чоканом, смутился и тут же покинул землянку.

Не сразу пришел в себя и Акпан. Вначале он подумал, что это Малтабар приехал за Айжан и тут же нащупал под постелью свой заветный булатный топор. Но когда дочь вскрикнула: «Канаш-ага!»— он мгновенно вспомнил, что Канашем называли родители Чокана, к которому испытывал добрые чувства хотя бы за то, что он позаботился о судьбе Айжан. Помнил он и о дружбе Чокана с Жайнаком.

Если что-нибудь и произошло, то только к лучшему, решил Акпан. Ему захотелось поговорить с молодым торе, высказать давно накопившиеся слова горечи и благодарности.

— Айым, месяц мой, надо же и мне поздороваться с Канашем,— вполголоса попросил он дочку,— отпусти джигита.

Только тогда до Айжан дошла суть происходящего. Быстро разжав руки и зарумянившись, она бросила нежный взгляд на Чокана, шмыгнула за постель отца в глубь землянки. Что-то зверушечье, испуганное проступало в ее движениях, в самом выражении лица, словно она вновь боялась человека, к которому только что бросилась на грудь.

«Неужто я повел себя как-нибудь не так?»— спрашивал сам себя Чокан. Казалось, он опять теряет ее... Как ему не хотелось ее отпускать!

Теперь он напряженно всматривался в человека, сидевшего почти у его ног на своей постели. Широченная светлая рубаха не могла скрыть его худобы. Морщинистое серое лицо, глубоко запавшие слезящиеся глаза — все изобличало в нем тяжелобольного.

И вдруг Чокан заметил, что одна его рука лежит на рукоятке тускло поблескивающего топора, выглядывающего из-под охапок сена, служившего матрацем его постели.

Акпан перехватил взгляд Чокана.

— Не бойся, Канаш. Разве ты меня не узнал? Сильно я изменился. Стариком стал, в могилу пора. Да ты не бойся.— И он задвинул поглубже топор в сено.— Это я — Акпан. Помнишь?

Еще бы он не помнил Акпана. Но невозможно было в этом чахоточном согбенном аксакале обнаружить черты того красавца-мужчины, равного которому не находилось в ауле. Что только делают с человеком время, каторга, болезнь?

— В народе, мой Канаш, про таких, как я, говорят: «Худеет лошадь — на ней примечают шкуру, чахнет батыр — видят его скелет». Плохо мне, сынок. Не знаю, смогу ли тебе отплатить за все доброе, что ты сделал для Айжан. Бог тебе вернет...

Акпан не договорил. Лицо его исказилось, он всхлипнул, но глаза оставались сухими — не было слез.

К землянке собирались люди. Ну, как не посмотреть, кто же это приехал к Акпану в тарантасе? Однако, побаиваясь вооруженного Токбета, в дверь не заходили. Прислушивались к разговору, заглядывали в единственное оконце. Перешептывались.

— Молодой хан здесь, торе...

— Какой торе?

— Чокан.

— Приснилось тебе, что ли, как он может появиться в Сырымбете?

— Присмотрись получше — Чокан, сын нашего Чингиза. Закончил ученье в Омбы и приехал.

— А причина какая, что он очутился у нас. Причина?

— Есть и причина,— важно сказал объездчик Орманбай. У него была лошадь, он считался хозяином леса и старшим в поселке. Мулла Галиакбар в счет не шел, последние месяцы он совсем сдал и сторонился людей.

— Есть и причина,— повторил Орманбай и подмигнул многозначительно, давая понять, что знает больше других.

Люди зашумели, выражая недовольство. Как же так, знает, а не говорит.

— Ты нам все расскажи, как оно есть!

Ответить Орманбай не успел. Чокан, услышав возбужденные голоса, вышел из землянки.

В согласии с обычаем Сырымбета, люди, замолкнув, кла-

нялись молодому ханскому сыну. И каждый, как подобало в таких случаях, прижимал руки ладонями к животу.

Кланялись старые и молодые, взрослые и малые.

Многие из ханского рода так свыклись с этими знаками уважения, что молча проходили мимо, не удостаивая чернь своим вниманием.

Иначе поступил Чокан. Подавив свою взволнованность, свою душевную боль, он сказал как только мог бодро:

— Всем вам мой большой салем!

Сложил руки на груди и, видя вокруг заулыбавшиеся лица, добавил:

— Спасибо за то, что так встретили меня! Большое спасибо!

И тут же сообразил — надо еще что-то сказать собравшимся. Они же будут задавать вопросы.

— Я приехал в зимовье, которого еще не видел. Должен прочитать молитву на могиле бабушки моей, Айганым.

Помолчал немного.

— Кто со мной вместе пойдет?

Когда торе задает такой вопрос, простые люди приходят в смущение. Им кажется неловким выкрикнуть: «Я!». Люди потупили головы, и в наступившей тишине отчетливо прозвучал молодой голос:

— Я, Канаш!

Чокан, кажется, узнал парня. Он был ровесником Жайнака, Рыжего верблюда. И бывало, присоединялся к их играм. Неуверенно спросил:

— Сакан, сын Токпакбая?

И, заметив, как радостно заулыбался джигит, шагнул к нему навстречу.

— Ну, давай же поздороваемся, Сака!

Они здоровались на людях, как друзья, как ровесники-курдасы.

И Орманбай, и Токпакбай со своими многочисленными домочадцами, и старики, и дети, словом, все наблюдали эту сцену удивленными и умиленными глазами. Много ли надо бедной черной кости, чтобы с благодарностью подивиться самому скромному проявлению добрых человеческих чувств!

Зашептались:

— А говорили — жестокий, даже отца не почитает...

— А говорили — крещеным стал.

— Слышали, молитву собрался прочитать.

И только чей-то недоверчивый голос:

— Что-то не так, что-то не так...

Чокан и Сака осматривали друг друга.

— Ах ты, коротышка,— пошучивал Чокан, опустив руки на плечи ровеснику,— в ширину, оказывается, раздался, а в длину мало подрос.

— Зато ты вон каким журавлем вымахал,— в тон ему отвечал Сакпан.

— Значит, прочтем молитву и поедем.

— Куда, дорогой Канаш?

— Как куда, в откочевку Орды. Ты же знаешь дорогу?

...Сходили на кладбище, к мазару Айганым, к ее надгробью, где было написано по-арабски, что здесь покоится вдова хана Средней киргиз-кайсацкой орды Уали, Айганым, урожденная Саргалдыкова. Имела девять сыновей, из которых двое умерли в детстве, а двое в 20-ти летах.

Прочитал молитву Сака. Прочитал бойко — недаром он учился у Галиакбара.

Чокан думал про себя: «Плохой я мусульманин, плохой внук». Вполголоса произнес запомнившиеся ему с детства слова. Может быть, они и не соответствовали лесной тишине небольшого кладбища и предназначались не для того печального повода.

Но долг он все-таки отдал.

И кто бы теперь не поверил, что он приезжал в Сырымбет почтить память бабушки Айганым...

...Вернувшись с кладбища и даже не побывав в ханском доме, Чокан велел Токбету и своему курдасу садиться в тарантас.

— Знаешь, где сейчас ханская Орда?— спросили ямщика.

Немногословный ямщик, уже догадавшийся, что молодой хан либо офицер, либо чиновник, ответил, что знает, и сразу тронулся в путь.

Жители Сырымбета остались в недоумении.

Вышла Айжан на порог, присела, обхватив колени, склонила голову, провожая взглядом тарантас, и заплакала. Внезапно приехал. Внезапно уезжает. Неужели навсегда?

Чокан удалялся. Понимая, почему плачет дочь, Акпан попытался ее утешить:

— Айым, не проливай слезы. Зря Канаш не заезжал бы к нам. И если уж заехал, то вернется. Говорят же, что орлы всегда прилетают назад.

Путники уже поднимались к перевалу на горе Сырымбет. Подъем был довольно пологим, но лошади шли натужно — они плохо отдохнули после быстрой езды.

— Не пройтись ли пешком, Канаш?— Сака спрыгнул на каменистую дорогу.— И коням будет легче, и мы посмотрим гору.

— Я что-то приболел,— отвечал Чокан, плотнее усаживаясь в тарантас.— Понимаешь, приболел. Послушай, давай вернемся.

— Твоя воля, Канаш, мы будем только рады.

Ямщик даже не стал переспрашивать. Лошади бойко перешли на рысь, спускаясь к селению.

Сака не столько удивился такой крутой перемене, сколько догадался,— может быть, по молодости своей,— о ее причине. Самой простой. Чокан не мог так сразу расстаться с Айжан, ему хотелось еще раз повидать ее. Разве и он, Сака, не своими глазами видел, как тарантас подъехал прямо к землянке Акпана, как стремительно вошел туда Чокан. Загадкой для Саки скорее оставался их внезапный отъезд из Сырымбета, чем неожиданно быстрое возвращение.

Но и сам Чокан, пожалуй, не смог бы объяснить всего.

Он действовал, повинуясь чувству, а не разуму. Он был нетерпелив потому, что был слишком молод. И еще он спешил потому, что ему не хватало времени сочетать свои личные дела с теми обязанностями, которые накладывала на него и должность, и эта поездка, связанная в дальнейшем со многими служебными делами.

Он отправился на этот раз не к землянке Акпана, а в большой, барского вида дом, срубленный из добротного леса, многооконный, под зеленой железной крышей, с флигелями и примыкавшей к нему мечетью. Бревенчатые стены были завешаны кошмами, еще недавно белыми, а теперь посеревшими под снегом и солнцем, дождями и ветрами, дующими здесь и осенью, и весной.

— Говорят, что стены и внутри обшиты кошмами.

— Почему, говорят?— удивился Чокан.— Разве ты сам не видел?

— Как я мог видеть, если таких, как я, сюда не пускают, даже головы просунуть не дают.

— Значит, это правда?— вздохнул Чокан, сознавая, что он тоже принадлежит к степной аристократии.

Понукая своего осла, к усадьбе подъехал Токпакбай. Хотя ключ от усадьбы хранился у него в кармане, оказалось, что и он редко заходит в дом, забыл, сколько в нем комнат и, однако, отвечает за сохранность всего имущества, находившегося здесь.

— Направо по коридору живет Зейнеп-апа с детьми, рядом — султан Чингиз. Налево — гостиная и комната, где жил Жакуп... Жакуп...

На этом имени Токпакбай запнулся. Знает или не знает Чокан о событиях, произошедших совсем недавно. Может, и говорить ему об этом не следует.

Дело в том, что после переезда Орды из Кусмуруна в Сырымбет и прежде своенравный и жестокий Шепе стал еще чаще проявлять свой дурной характер. Забирал ягненка или козу за малое деревцо, срубленное в лесу. Бил почем зря. Хлестал розгами и виновных и невиновных. Придирался к каждому. Аульные жители на него обозлились, подстерегли в лесу и повесили.

Вдова Шепе, наглая и бесноватая бабенка Шонайна, после сорокадневных поминок стала требовать себе в мужья человека только ханского рода и к тому же молодого. Требовать так настойчиво и с такими угрозами, что перед ней отступили. Перекричать ее, смирить было невозможно. Выбирай сама, кого хочешь.

И она набросила свой курук[1] на Жакупа, на семнадцатилетнего Жакупа, даже не младшего брата, как велит обычай аменгерства, а на племянника покойного мужа.

Жакуп сопротивлялся как мог, но его приструнили. И Чингиз махнул рукой. Ладно, мол.

Жакупа утешали. Ничего, мол. Покажется тебе через несколько лет староватой,— возьмешь молодую в дом, токал.

Джигита женили силой...

...Поэтому и запнулся Токпакбай. Чокан приметил его замешательство: не хочет говорить — и не надо. Если что-нибудь важное — сам узнаю.

Побродив по опустевшим комнатам, посмотрев на цветные сундуки,— ключи от них Зейнеп брала с собой, не доверяя никому,— Чокан довольно быстро вышел во двор, и Токпакбай позвал его посмотреть сарай, где были сложены преимущественно мягкие вещи. Погремел ключами, открыл двери.

— Хочешь, Канашжан, взглянуть на ковер, сотканный бухарскими мастерами для ордынской мечети? Там изречения из Корана. Когда в Омск приезжал сын царя, бабушка-ханша принимала его в роскошной юрте на берегу Иртыша. В юрте и был постлан этот ковер. Вот, смотри...

Токпакбай с трудом извлек из-под груды кошм и других ковров тяжелую, закатанную валом ткань. Она поскрипывала,

---

[1] Курук — петля для ловли неприрученных коней.

словно кожа. Отвернул край. Сверкнули разноцветные шелковые узоры.

— Да, цены ему нет,— сказал Чокан.— Положи его на место.

— Видел бы ты, как чистят ковры весной. Выбьют пыль, протрут мокрым тряпьем, а потом сушат на солнце. Все так и сияет.

Чокан слушал невнимательно. Перебил рассказ Токпакбая.

— Я буду ночевать здесь, в доме родителя. Постелите мне ту деревянную кровать в комнате матери.

— Хорошо, милый. Сейчас найду что-нибудь помягче.

Отобрав одеяла и подушки, Токпакбай занес их в дом и приготовил постель.

Зашел разговор об обеде.

— Не беспокойтесь,— сказал Чокан,— у меня есть продукты с собой.

— Ах, сынок, сынок! Забыл ты наш обычай. Пусть Орда откочевала, но неужели мы не найдем тебе угощения? Из любого дома не уходят не покушав, а ты в своем доме. Мы бедные люди, но не лапу же сосем. Ты достоин почета и уважения...

Вмешался Сака.

— Брось, отец, красивые слова. Скажи просто, чем будешь угощать.

— Наш молодой торе, конечно, заслуживает жеребенка. Но, если жеребенка нет,— можно и овцу. Но, вот беда, овцы-то на джайляу...

Сака снова сделал знак отцу,— мол, погоди,— и напрямик обратился к Чокану:

— Ты еще не изменил своей привычке,— любишь, как раньше, мясо козленка?

— Люблю, как прежде,— ответил Чокан и вспомнил кузнеца из Жалгызтау.

— А творог со сметаной?

— Тоже люблю.

— Не беспокойтесь,— вмешался Токпакбай,— слова — словами, а дело — делом. Жирная коза уже зарезана и мясо варится в котле. Ужинать будем в большом доме.

— Хорошо, отец, ты поезжай в аул и привози сюда пищу. Только посуду пусть вымоет Айжан. Наши бабы неряшливы, а у Айжан такие руки, что все блестеть будет,— сказал Сака.

Токпакбай взгромоздился на осла и уехал. Курдасы присели на камень, нагретый солнцем.

Об Айжан Сака упомянул больше для Чокана. Сака не решался спросить его напрямик о девушке. Ровесник ровесником,

но все-таки ханский сын и офицер. Однако рассчитывал, что после упоминания имени Айжан разговор возникнет сам собой. И продолжал нахваливать ее красоту, трудолюбие, образованность.

— Образованная, значит,— откликнулся Чокан.— А муллу Науана ты знал? Говорят, у него и жена была ученой.

— И это так. Ни одного слова неправды здесь нет. Твоя сестра Ракия училась у нее. Вместе с Айжан.

— Учились-то вместе. Но вот Айжан оказалась способной, а Ракия тупой.

Подтвердить такое Сака не решился. Вдруг Чокан обидится за сестру. И отделался ничего не значащими словами:

— Да всякое болтают.

— Скажи мне, Сака, еще вот о чем. У молодого муллы, говорят, много книг было. Неужели Айжан их все прочитала?

— Все или не все,— хитро взглянул на Чокана Сака,— но прочитала много. Когда имантауский урядник угнал Науана с женой в Кокчетав, книги остались в медресе. А потом мулла Галиакбар перенес их в мечеть. Но своими старыми зубами ему не одолеть этих книг. А других охотников до чтения в Сырымбете нет. Вот я и помогаю Айжан. Заберусь в мечеть, чтобы меня не приметил, не услышал Галиакбар, выберу книгу потолще и приношу девушке. Бедная, она, словно пчела к меду, липнет к книге. Читая, и смеется, и плачет. Я подсмотрел однажды. Спрашиваю, что ты там нашла интересного? Молчит. Только улыбается,— мол, принеси еще. Приношу. Только попросил, чтобы не теряла и никому не показывала. Вдруг Науан за книгами приедет.

«Какие, однако, молодцы!»— подумал Чокан. И так рассмеялся, что Сака обиделся:

— Ну, зачем ты так? Я же тебе не вру. И знаю, ты не уедешь из Сырымбета, не повидав ее. Сам убедишься, я прав.

Они доверяли друг другу и одновременно испытывали это доверие. Мало ли что могло измениться с детских лет? Но Чокан с каждой минутой становился искренней. Он еще не хотел говорить о всех своих чувствах, в которых не разобрался до конца, но зачем было ему скрывать цель своего приезда?

— Нельзя отдавать Айжан Малтабару. Понимаешь, нельзя. Это значит, что девушка погибнет.

— Не будем бояться Малтабара, Канаш. Он уже не так страшен.

И рассказал о том, что Чокану еще не было известно:

— Говорят, отец твой не взял у Малтабара ни одной бумажки, не влез, слава Аллаху, в долги. Ведь ты едешь один.

Генерала в Орде не будет, значит, и расходов меньше. Приедет купец за Айжан, а султан скажет ему: иди своей дорогой. Что Малтабар сделает? Только пальцы себе искусает.

Чокан облегченно вздохнул. И одновременно удивился: откуда только люди знают все подробности?

Но Сака и не думал на этом заканчивать разговор. Простодушный и хитрый аульный джигит целил дальше.

— Ну, хорошо,— ухмыльнулся он,— представь, Айжан свободна. Что же дальше?

Не дождавшись от Чокана ответа — молчание длилось довольно долго,— Сака продолжил:

— Разве бывает так, Канаш, чтобы девушка навечно оставалась у своего очага. Тем более красивая девушка... Значит, все равно она должна выйти замуж.

— Правильно. Но зачем об этом говорить?

— Ответь мне тогда, за кого же она выйдет?

Чокан нервно пожал плечами:

— Право, не знаю. Выйдет, наверное, за того, кому суждена.

— Ты имя, имя назови. Не можешь? А я назову: Калым — вот ему имя. Кто даст больше, тот ее и уведет. Смелый батыр, уважаемый человек не возьмет Айжан себе в жены. Она — дочь бедного Акпана. Они до нее не снизойдут. Какой-нибудь старик сделает ее своей токал или тот бай, у которого жена не рожает. Вот как может случиться. Поверь мне, Канаш. Горькая судьба ее ожидает...

Сака не мог, не хотел сообщать Чокану, что в Сырымбете уже стали поговаривать о том, что Жакуп косит глаза на Айжан и не прочь взять ее в дом второй женой, что он успел побывать у Буби в ее отсутствие и приставал к девушке. Даже крик её слышали. Пока у него ничего не вышло, но торе скоро не успокаиваются. Да, и кроме Жакупа, в ханском роде найдутся жадные волчата. Обрадуются, когда узнают, что Чингиз раздумал отдавать ее Малтабару.

Обо всем об этом Сака умолчал.

Зато, когда Чокан задал ему вопрос, кто, по его мнению, может стать достойным мужем девушки, ответил, как ударил соилом по голове:

— А если бы я?..

Как переменился Чокан! Глаза вспыхнули недобрым огнем. Он закусил дрожащие губы, и жесткие складки обозначились вдоль их уголков. Похоже, им овладела ярость. Хоть беги, Сака! Но вспышка осталась только вспышкой, Чокан сумел ее подавить.

— Садись, Сака, что ты вскочил?

И они снова присели рядышком на камень-валун возле дома.

— Надеюсь, ты больше не будешь так говорить, Сака?

— Поклясться могу, нет!

Чокан, к которому вернулось спокойствие, все же не мог понять неожиданного ответа своего ровесника. Он не допускал мысли, что Айжан нравится и ему. И теперь пытался дойти до сути.

— Я просто хотел тебя испытать, Канаш. Хотел узнать, правду ли говорят о тебе у нас в степи. Но боялся спросить напрямик. И если ты скажешь, что это ложь, я тебе поверю.

И Сака пересказал все, известное ему.

— Что ж, скажу откровенно: многое в этом справедливо, многое — нет.— Чокан снял фуражку, положил ее на колени.— С малых лет я привязался к этой девочке, часто думал о ней. Когда узнал, что с ней плохо, решил защитить. Это все правда. А неправда — слухи о моей женитьбе.

— Значит, ты не женишься на ней?

— Даже не знаю, как тебе ответить. Мне очень нелегко жениться. Я долго учился, много читал, еще больше думал. У меня свой взгляд на жизнь.

— Не понимаю тебя,— растерялся Сака,— попроще бы объяснил.

— Нельзя жениться, Сака, хорошо не узнав друг друга. Я должен испытать девушку, девушка — меня. Но и этого мало. Еще любовь нужна, настоящая любовь. Вот тогда и жениться можно.

— Ой-бо-ой!— протянул Сака.— Ты же мне сказки рассказываешь. Разве так бывает у наших казахов? Я о таком и не слышал.

— Придет время, увидишь. Многие русские — я говорю не об урядниках, не о майырах,— стремятся жить по-новому. И живут, представь себе.

— Значит, ты хочешь, чтобы и у казахов было так? Хочешь их к новым обычаям приучить? Чтобы узнали, полюбили, а потом женились?

— Что же в этом плохого?

Сака покачал головой:

— Не знаю, не знаю. У бая, например, табун в тысячу лошадей. Ну, сотню ему объездят, приучат к седлу. Но все равно остальные ведь останутся необъезженными, никогда не узнают уздечки. Так и наши казахи. Не обучишь ты их...

— Да, конечно...— неожиданно вяло заметил Чокан. Он почувствовал, что разговор не получается. Ударил ладонями по коленям.— Давай бросим пустые слова. Скрывать от тебя не буду: мне надо сегодня встретиться с Айжан.

— Так бы прямо и сказал.— Сака обрадовался, это было просто и доступно для понимания.— А то развел огонь, без котла, без мяса... Говори, пожалуйста, что от меня требуется, какая нужна помощь?

— Мне возвращаться в землянку неудобно. Согласен со мной?

Сака не то, чтобы согласился, но и спорить не стал.

— Я пока здесь буду, а ты съездишь к ней.

— Значит, привести ее в ханский дом?

— Этого делать не надо. Я считаю, джигит должен идти к девушке, а не девушка к джигиту.

— Опять не пойму тебя. Ведь ты к ней не идешь, а меня посылаешь. Приказывай, Канаш.

— Мы переезжали через речушку. Забыл ее название.

— Кылшакты. Зачем она тебе понадобилась? Река как река, мелкая.

— К этой вот речушке ты и попроси ее прийти. Или проводи. Когда стемнеет, я буду ее там дожидаться.

— Ну, хорошо. Только попозже, пусть в ауле все уснут. Айжан не выйдет из землянки на людях. Я даже не уверен, выйдет ли она вообще. Может, твоего зова послушается?

— Поезжай, поезжай, Сака. Садись на одну из саумалкольских лошадей и скачи в аул. Смотри, какие крепкие, упитанные! Чертов огонь унести могут, не только тебя.

На этих саумалкольских лошадях, очень кстати случившихся здесь, Чокан должен был уехать утром к родителям — с ямщиком все уже было обговорено.

Лошади отдыхали неподалеку, Сака зашагал к ним и спустя минуту его и след простыл.

Чокан размеренно прохаживался в ожидании. Дом, флигели, мечеть. Заброшенные в предгорье, в лес, они не походили на аульную зимовку, как, впрочем, не было у них и прямого сходства с усадьбой русского помещика средней руки, усадьбой, которую он мог представить себе только по книгам.

И все-таки это было больше усадьбой, чем зимовкой.

Но почему же тогда в этой усадьбе во всем неприкосновении сохранились обычаи и отношения давних времен? Почему здесь не было всходов просвещения? Разве что среди книг, оставшихся Галиакбару в наследство от молодого муллы? Одна-

ко и среди книг преобладали исламские, а он, Чокан, относился к ним весьма критически.

Действительно ли так много прочитала Айжан, как рассказал Сака? Милая девушка. Очень милая. И глубоко несчастная. Жаль ее, жаль. Но почему я забыл о жалости, когда она прильнула ко мне? У нее повадки звереныша. А каким взглядом она меня провожала! Грустным, грустным и с огоньком надежды. Будь что будет. Мы ведь так молоды...

Вернулся Сака.

— Все сделал. Передал ей все, что ты мне сказал. Пообещал, как накормим тебя,— приехать за ней и увезти. Тихо, чтобы никто в ауле не заметил.

— Ну, а она... Она говорила что-нибудь?

— Нет, только головой кивнула в знак согласия.

— Ни одного слова не сказала?

— Ни одного... Айжан почти всегда молчит. Только однажды при мне она разговорилась. Ручейком зазвенела.

...На закате Токпакбай и Сака потчевали его вареным мясом, сурпой-бульоном, творогом. Все было приготовлено необыкновенно вкусно. И мясо было нежным и жирным, и белый творог с густой сметаной необыкновенно свежими. И посуда блестела, и на скатерти — ни пятнышка... Когда гость похвалил пищу, Токпакбай как бы ненароком заметил, что ему помогала Айжан. Сака подмигнул отцу. Мол, смотри, как охотно ест.

— Спасибо вам всем,— поблагодарил Чокан.— Если можно, я и завтракать буду у вас.

— Ой, Канаш-жан, тут и на завтрак и на обед хватит, а благодарить нас не за что, ты у себя дома,— утомленный хлопотами Токпакбай объявил, что уходит отдыхать.— Я буду рядом с вами, а встану раньше вас.

Поднялся и Чокан:

— Нам, кажется, пора. Видишь, солнце село.

— Куда это вы?— спросил на выходе Токпакбай.

— Этого, отец, мы тебе уж не скажем, прости!

— Ваше дело молодое, пусть будет так!

Но, понятно, старик о многом догадывался.

...Речка Кылшакты впадала в озеро на полпути из орды в аул. Чокан категорически отказался ехать верхом — последствия вчерашней поездки с кузнецом давали знать о себе. Да тут было и недалеко: каких-нибудь полторы-две версты.

В сумерки они отправились. Незаметно за ними увязался и Токбет, хотя Чокан был убежден, что он улегся на кухне и уже беспробудно спит. Токбет считал себя хорошим солдатом,

который ни при каких обстоятельствах не должен отлучаться от своего начальника. Кроме того, один важный офицер строго-настрого приказал ему тайно сопровождать корнета во всех его маршрутах, чтобы потом рассказать о них в Омске.

Токбет нехотя вышел за ними, прихватив на всякий случай ружье.

Мало ли что бывает, рассуждал ревностный служака. Шептались о чем-то, этот Сака мотался в аул.

...Через Кылшакты был проложен бревенчатый мостик, лесок здесь кончался, начиналась открытая степь.

Сака остановился:

— Вон и землянки нашего аула видны. Я постараюсь быстро. А ты здесь отдохни.

...Негромко шумела речушка, белели стволы берез, дышалось легко. Все было бы хорошо, но надоедали комары, налетавшие с каждым легким порывом ветерка. Разом искусали лицо, проникали под китель. Чокан сломал березовую ветку отмахиваться от комариной напасти. То ли ветка подействовала, то ли их отнесло дальше, то ли, охваченный своими мыслями, Чокан просто перестал замечать укусы.

А думал он только об Айжан. О редкой ее красоте, какой ему не приводилось видеть в аулах и городах. Он гордился тем, что девушка красива по-казахски. Но не только казах поймет ее красоту.

Всегда ли, однако, внешняя красота соответствует душевной? Несмотря на свою молодость, он уже встречал женщин, сверкающих, как жемчуг, но жестоких характером, лицемерных в делах. Скажи мне, Айжан, светла ли душа твоя? Тебя хвалят, милая, но хвала не всегда бывает оправданной.

Сака поможет нашей встрече. А вдруг в последнюю минуту ты не согласишься прийти? А вдруг, избави бог, твоему отцу стало хуже? Конечно, ты не должна тогда отойти от него.

Я верю, ты придешь, Айжан. Поймем ли мы друг друга? Я всю свою сознательную жизнь прожил в городе, ты — аульная девушка. Понимаешь, Айжан, я люблю степь, люблю аул. Только привычки у меня стали уже другими. Я говорю книжным языком, мне трудно есть без вилки и ножа, меня раздражает постель без чистого белья. Нет, это мелочи. Я душою остаюсь казахом, мне близки наши песни, я чувствую себя дома в ауле. Я люблю странствовать, как всякий кочевник.

Я хотел защитить тебя, Айжан, от старых феодальных оков, от проклятого этого Малтабара. А теперь защищаю себя от нахлынувших чувств. Мне и в голову не приходила мысль о

женитьбе. Сака был первым, кто задал мне этот вопрос. Но я уже не смог определенно на него ответить.

До сегодняшнего дня думал: ну, что ж... Если она в самом деле хорошенькая, почему бы не поухаживать? Поволочиться, как говорят наши офицеры.

Я встретился с тобой у землянки Акпана. Мы обнялись как друзья детства. Ты искала во мне защитника. И в это же мгновение я почувствовал твое сильное женское тело. Мне захотелось быть еще ближе. Смогу ли я преодолеть свое желание? Разум говорит мне — надо его приглушить.

Скоро ты придешь, Айжан. Сака нас покинет, мы будем вдвоем. Я хочу, чтобы ты была совсем моей и хочу сберечь тебя. В твоих глазах я аристократ и к тому же образованный человек. Поэтому ты доверчиво идешь ко мне... Айжан, поймем ли мы друг друга, найдем ли мы с тобой общий язык — язык любви?

Какая невыносимая судьба у казахской девушки!

Чокан вспомнил небольшой рассказ петрашевца Николая Григорьева, нигде еще не печатавшийся и распространенный среди омских кадетов в рукописи. Он назывался просто «Рассказ солдата», и в его сюжете, в судьбе его героев было много общего с печальными судьбами Акпана и Айжан.

Повествование в нем велось от имени участника Отечественной войны 1812 года солдата Михайлова. Нищим стариком тот забрел в Петербурге в казарму и рассказывал служивым:

«Я сын крепостного. Плохо жили крестьяне под властью нашего помещика, жестокого, несправедливого и развратного. Бил он виновных и невиновных батогами, ругался, преследовал молодых женщин и девушек. А я рос сильным и здоровым парнем, богатырем, можно сказать. Однажды пришел я с поля и увидел своих стариков-родителей в слезах. Спрашиваю, что случилось. Они отвечают, опозорил барин Машеньку, любимую мою сестренку. Пошел я к помещику и ударил его. Раз ударил и два. Но тут меня связали, высекли и скоро забрали в солдаты. Началась война с Бонапартом. Я воевал хорошо, получил много наград. А когда вернулся домой — родителей в живых уже не было, а сестренка находилась при смерти. Вот после этого, братцы, я и запил. Ничего у меня за душой нет — ни кола, ни двора...»

Дальше странник-солдат призывал свергнуть власть царя и помещиков, хвалил французов, прогнавших своего короля. Говорил «бог-то бог, да и сам не будь плох». Пугачева припомнил. Будь моя воля, говорил, я бы заставил помещиков танцевать под балалайку, послал бы их к кузькиной матери.

Чего бояться — смерть одна. Нельзя давать разнесчастных крестьян в обиду богачам.

В свое время рассказ Григорьева не произвел большого впечатления на Чокана, уже начинавшего понимать достоинства настоящей художественной литературы. Чокан знал и о событиях Великой французской революции 1789 года, был наслышан о событиях в Европе 1848 года, хорошо знал о восстании декабристов, о заговоре петрашевцев. Но, в общем-то, революционные идеи еще мало захватывали его. Кадетов воспитывали в монархическом духе.

Но теперь, восстанавливая детали этого очень простенького рассказа, Чокан подумал, что он не так уж плох, а главное — недалек от истины. Вот и Айжан могли опозорить. И Акпан бродяжничал, как старый солдат. И пока ничего неизвестно о судьбе Жайнака.

Айжан... Раскроет ли она перед ним душу? Должно быть, остались минуты до ее прихода.

Конечно, не очень трудно защитить девушку от Малтабара. Но отец? Он неуступчив, заносчив, своеволен. За кого пожелает ее отдать, за того и выдаст. Не за Малтабара, так за другого. Сможет ли он, Чокан, противопоставить себя отцу и довести борьбу за Айжан до конца?

Чокан шагал от мостика до берез и обратно, не замечая, что вновь налетели комары. Он перестал обмахиваться веточкой, поглощенный своими размышлениями.

...Оставим на время Чокана и вернемся к Айжан, с которой расстались на пороге землянки, когда она печальными глазами провожала удаляющийся в сторону Орды тарантас.

Когда тарантас скрылся, Айжан вошла в землянку, подсела к отцу и расплакалась.

«Что с ней?— спрашивал себя Акпан.— Почему она так убивается? Соскучилась? Так он ей не родня, и уж много лет она его не видела. Вспомнила, каким он был добрым в детстве, как заступался за нее?»

Акпан и в мыслях не допускал, что Чокан может увлечься Айжан. А дочка? Молодость, молодость! Наверное, увидела джигита, залюбовалась им и тут же решила, что он для нее недосягаем... Тогда она права: он — на небе, она — на земле. Куда уж нам до белой кости тянуться?

— Месяц мой, Айым, не плачь. Успокойся, доченька,— расчувствовался он. Айжан заплакала еще сильнее.

Нет, все это неспроста. В чем же все-таки причина? Найти ее Акпан не мог. Много лет она была без него одна-одине-

шенька. Акпан почувствовал, что и у него выступили слезы. Себя он уже не жалел, жалел дочку.

Так бы они и горевали весь день, если бы к ним в землянку не зашел Токпакбай.

В полусумраке он не увидел Айжан, свернувшуюся клубочком за постелью Акпана. Спросил, где она.

— Дома,— откликнулся Акпан.— Задремала, наверное.

Айжан напряженно прислушивалась. С доброй ли вестью появился у них сторож Орды? Нет, слава богу, ничего плохого не случилось.

Токпакбай, оказывается, был озабочен приготовлением обеда для молодого мырзы. Чокан остановился в Сырымбете, в большом доме Орды.

— Зарезали мы черно-пеструю козочку. Жена наша не привыкла к чистоте. Да что там говорить — неряха она. Стыдно мне за ее посуду, ее полотенца. Ханские потомки — привередливые. А я хочу, чтобы молодой мырза был доволен. Жена наша и приготовить как следует не может. И белый творог у нее не творог, и мяса приправить не умеет. Простую эту пищу любит молодой мырза. Сам попросил. Вот я и пришел за помощью твоей Айжан. К чему не прикоснутся ее руки — все будет вкусным и чистым.

— Да вот, есть ли у нее силы сейчас,— нерешительно проговорил Акпан.— Айым, месяц мой, ау! Ты слышишь нас?

— Пойду!— кратко откликнулась Айжан, подымаясь с постели.

— Ведь Тока к тебе пришел, Айым. Ты слышала наш разговор?— Акпан так обращался к дочери, потому что не понял столь односложного ее ответа: «Пойду!».

— Пойду и помогу,— повторила Айжан.— Я все поняла, что надо сделать.

Девушка обрадовалась этой просьбе, как радуются хорошей вести. Одна мысль, что она будет готовить для Канаш-жана, высушила ее слезы.

Откуда только взялись сила и ловкость? Посуда так и летала в ее руках. Заглядывала в котел. Пробовала мясо ножом,— не переварилось ли? Нашла остро пахнущий горный лук, мелко нарезала его. Отжимала свежий творог. Вспомнила о мешочке сухих узбекских фруктов — подарок Зейнеп. Принесла кишмиш и урюк, помыла родниковой водой. Канаш все это будет есть. Скажут ли ему, что это она готовила? А сама всматривалась в сторону Орды. Вдруг оттуда появится Чокан?

Но приехал не Чокан, а Сака.

И Токпакбай и Сака не уставали хвалить Айжан. Все по-

лучается у нее как надо: пища пахнет приятно, приготовлена чистенько.

Улучив минуту, когда они остались наедине, Сака шепнул, что приедет за ней поздно вечером, ее хочет повидать Чокан. Лишь бы в ауле все спали. Спросил, согласна ли.

Айжан только головой кивнула. Побоялась выдать словами свое волнение.

...Аул засыпал медленно. Гасли последние костры. Утихали козы и собаки. Всходила красная, в туманном зареве, луна.

Девушка, не шелохнувшись, сидела у своей землянки.

Послышались быстрые шаги. Сака пришел, как обещал. Тихо осведомился:

— Отец заметил? Или он спит?

— Не знаю,— ответила Айжан так, словно ей это было безразлично.

Акпан не спал и с вечера наблюдал за дочкой. Когда она покинула землянку, он догадался, что она решила куда-то уйти. Он все слышал: и как она вздыхала в ожидании, и шаги Саки, и даже короткий их разговор. А когда они стали удаляться, он с трудом поднялся, дошел до дверей и увидел, что дочь и Сака направились в сторону Орды. Конечно, к Чокану. Сомнений у него не было. Еще утром уверенный в том, что Айжан умеет держаться с достоинством и хранить свою честь, он сейчас с удивлением и горечью подумал, что это не так. Как она разволновалась в час его приезда! Прямо затрепетала вся. Но это еще куда ни шло. А теперь? Не возьмет же он ее в жены! Это так же невозможно, как положить руку на луну. Думать об этом — только зря травить душу. Почему же она засуетилась, зачем пошла? Чтобы стать посмешищем аула? Разве она похожа на легкомысленную девчонку? А я промолчал, не запретил идти. Почему? Ягненочек мой безгрешный, неужели ты станешь ханской добычей? Не заступился за тебя твой отец. Лучше бы мне умереть.

Акпан тяжело заплакал, злясь на свою беспомощность, на больную старость. Вернулся на постель и, почувствовав невероятную усталость, тревожно и чутко задремал.

...Чокан услышал приближение Айжан и Саки по хрусту прибрежного камыша. Было темно — луна скрылась за набежавшим облаком. Он даже не был до конца уверен, что это они, и на всякий случай нащупал пистолет в правом кармане брюк. Может, зверь какой, может недобрый человек. Глушь.

— Ну, вот и мы!

Айжан низко склонила голову. То ли смутилась, то ли поклонилась мырзе.

С городскими девушками Чокан мог разговаривать легко. Но как вести себя с Айжан? Слова, которые он повторял в ожидании, исчезли. Всегда находчивый, он тут растерялся. Выручил Сака:

— Ой, как много здесь комаров! Пойдемте к Орде. Дальше от озера — их будет меньше. Спастись можно только там. За мной идите.

— Агай,— почтительно назвала Чокана Айжан,— я буду идти за вами.

Так полагалось по аульным обычаям.

— Нет, пойдем рядом,— возразил Чокан. Айжан поравнялась с ним, он попытался взять ее под руку. Она тут же отстранилась. Она никогда не видела, чтобы джигит и девушка позволяли себе такое.

— Не бойся, так принято ходить в городе.

— Но я ведь аульное дитя; ага...

Чокан понял так, что Айжан сказала о себе, как о ребенке.

— Да нет, ты уже взрослая.

— А я и не говорю, что маленькая,— серьезно и даже с легким задором произнесла Айжан, он даже ушам своим не поверил.

Тропинка перед горой раздваивалась. Правая вела в селенье, левая — к перевалу между двумя вершинами Сырымбета.

Сака с аульным легкомыслием уже начал подумывать о том, что лучше всего пройти к большому ханскому дому, где Чокану уже приготовлена комната, и оставить их там на волю Аллаха. Что произойдет дальше, это его не касается. Он исполнил свой долг ровесника. Да и кто он, Сака? Сын сторожа, а Канаш — сын султана.

И Сака повернул направо. Но Чокан показал на тропинку, убегавшую вверх — к мелколесью, к скалам.

— Мы с Айжан выбираем эту. Не правда ли?

Девушка покорно ответила:

— Ваша воля, ага.

— Ой-бой,— запричитал Сака,— зачем уходить от прохладной комнаты в ночной лес? Там не только комары и оводы, там еще, рассказывают, бродят медведи.

— Хоть тигры и львы,— рассмеялся Чокан и почувствовал, что Айжан молчаливо поддерживает его.

Их не переубедишь, смекнул Сака:

— Может быть, и я присоединюсь к вам?

— Нет, Сака, не присоединишься!

Куда уж тут возражать? Сака, наблюдая за Чоканом, все

больше приходил к выводу, что в нем сохранились прежние детские черты — упрямство и своеволие. Возражать ему, спорить с ним значило — неминуемо поссориться.

Чокан позвал Айжан, и они медленно стали подыматься тропой, проложенной к перевалу.

Сака застыл на развилке, недоумевая, почему бы Чокану не отправиться с девушкой в Орду, в дом, куда никто не войдет, где нет ни тигров тебе, ни комаров. Так нет же, его в гору потянуло, а почему — он, наверное, и сам не знает. Поди разберись в его поступках! И Айжан хороша. Всех дичилась, не подпускала к себе джигитов, а тут мырза поманил пальчиком, она и смирилась. А если в горах с ним что-нибудь случится, с кого спросят? С тебя, Сака... Нет, я его, пожалуй, не оставлю.

...Время от времени Чокан посматривал на Айжан, силясь уловить выражение ее лица. Лишь на мгновенье, освещенные луной, тревожно и тепло блеснули ее глаза. На кого она походила? На птицу, да, на птицу. В памяти всплыл случай из детства. Сколько тогда ему было? Пять лет или четыре. Кто-то подарил ему только что вылупившегося лебеденка. Чокан выкармливал его творожными крошками. Птенец вырастал на глазах. Белоперый, быстрый, веселого нрава. Неизвестно, кому больше нравилось гоняться друг за другом — Чокану или лебеденку. Правда, птенец любил кусаться остреньким своим клювом. То собаку клюнет, то козу. Но Чокана никогда не обижал. Бывало, дремлет, нахохлившись, возле домика, потом встрепенется, и если мальчика нет рядом, начинает кричать и не успокоится, пока Чокан не придет. Ходил за ним, как собачка. А отстанет, потеряет — опять начинает звать. Так пронзительно зовет, так звонко, что Чокан услышит, где бы он ни был. Однажды ночью, когда в ауле все спали, птенца выкрала лиса. Многие проснулись, проснулся и мальчик от его жалобного крика. Но спасти лебеденка не удалось. Долго не мог его забыть Чокан и порой ему казалось, что он слышит далекий лебединый голос. Он вздрагивал, начинало щемить сердце, словно что-то очень дорогое ушло от него вместе с шаловливой преданной птицей.

Айжан покорно поднималась за ним. Ты моя лебедь, Айжан! Почему ты молчишь? Кто же я — друг твой или враг? Что тебя подстерегает, Айжан?

Нет, Айжан шла без боязни. Она верила в Чокана, в его человечность. До поры до времени он был для нее тем добрым мальчиком из Кусмуруна, который не только приносил подарки в ее юрту, но и заступался за нее в год ее несчастья, в день своего отъезда. Он так и оставался в ее глазах единственным

в мире настоящим человеком... Снова к ней, уже взрослой, пришло горе. И снова в дни горя Аллах ей послал Чокана. Как она боялась после встречи в землянке, что больше его не увидит! К счастью, он сам позвал ее. Она откликнулась без колебаний, без слов. Решила все ему рассказать, доверчиво открыть душу. Но возле речушки Кылшакты язык перестал ей повиноваться. Она продолжала верить, что еще заговорит. Заговорит наедине с Чоканом свободно, правдиво, смело. Сейчас его тропа — это и моя тропа, он повернет — и я за ним.

Где-то ее мысли совпадали с мыслями Чокана. Знавший ее с детства, он и в Омске, и здесь, в Сырымбете, наслышался о ее страсти к чтению — пусть мусульманских, но книг, книг. Он стремился поговорить с ней как можно откровенней, поверить ей свои чувства. После встречи в землянке желание это стало еще сильней.

Куда же мы идем? Двугорбая вершина становилась ближе и отчетливей в ровном молочном свете луны. Один горб был как бы сломан, притуплен, а левый — высокий — вонзался в небо прямым острием. Кто там бывал, видел, что так только кажется снизу: вершина заканчивается плоским кругом, напоминающим основание юрты, а по краям круга, словно ее остов, возвышаются ребристые каменные плиты.

Тропа становилась круче. По обе ее стороны Чокан не находил удобного пристанища. И он, и Айжан не замечали крутизны подъема. Ему дышалось свободно, как никогда, шаг его был упругим и легким, словно ступал он по ровной степной дороге. В него вливалась бодрость, какую он давно не испытывал.

Незаметно для самих себя они вышли на перевал.

Чокан повернул к вершине.

— Куда же теперь, ага?— Айжан перевела дыхание и остановилась.

— Видишь горбатую скалу? Там и отдохнем. И, пожалуйста, милая, не называй меня ага.

— А что, если здесь присядем?

— Устала? Айым ты моя.— Чокан вплотную приблизился к ней, почувствовал, как тяжело она дышит и взял ее за руку. Его обожгла нежная ладонь девушки. Она и не пыталась освободиться.

Рука Чокана придавала сил Айжан.

Теперь они шли уже без тропы. На мшистых шероховатых камнях выступила предутренняя роса. Айжан поскользнулась. Она упала бы, но ее вовремя поддержал Чокан. Он притянул

се к себе, обхватил одной рукой спину, другой взял под колени и поднял. Почувствовал и тяжесть тела, и легкость ноши.

Айжан робко сопротивлялась. Только и сказала:

— Может быть, не надо.

И, умолкнув, даже обняла его за шею, спрятав пальцы в мягкие густые волосы.

— Вот и наша скала.— Чокан бережно усадил девушку на плоский выступ, сел рядом, пододвинулся вглубь. Они касались плечами друг друга. Айжан подчинялась каждому его движению. Стыд уступал место нежности.

«Сейчас я все расскажу Канашжану»,— решила про себя Айжан.

«Все свои мысли сейчас передам Айжан»,— думалось ему.

Они не произнесли ни слова. Их языки оказались скованными. Рука к руке, губы к губам, тело к телу. Другой язык, язык жизни, язык самой природы сблизил и сплавил их... Они даже не сознавали, что происходит. Потеряли счет времени, не отпуская друг друга. Может быть, их так застало бы и солнце.

Если бы не выстрел. Выстрел, раздавшийся совсем невдалеке. И повторенный эхом в лесной тишине, в неподвижном воздухе. Еще продолжало раскатываться эхо, как что-то темное, грузное, большое скатилось к их ногам.

Испуганные, ничего не понимающие, они поднялись и осмотрелись вокруг.

Послышались быстрые шаги, разговор. Голоса показались знакомыми. Так и есть. На скалу вбежали два человека — Сака и Токбет.

— Так это же медведь!— воскликнул Чокан.

— Конечно, медведь,— подтвердил Токбет.

— А стрелял кто?

— Я и стрелял.

— Да как ты здесь оказался?

— Ваше благородие, я обязан всегда следовать за вами.

Все это было так неожиданно, так нелепо, что Чокан не нашел слов для ответа:

— А ты, Сака, как здесь очутился?

— Да разве я мог оставить вас одних? Совесть не позволяла.

— А совесть тебе позволяла тайком красться за нами?

— Ах, курдас! Я же говорил, что здесь бродят медведи. А ты — тигры и львы. Посмеялся надо мной. Я первый и заметил зверя. Хорошо, что у Токбета ружье. Мне бы голыми руками не справиться. И камнем его не подшибешь.

Чокан пропустил мимо ушей слова Саки и обратился к Токбету:

— Ты — настоящий джигит.

— Давайте посмотрим.— Токбет был горд похвалой и первый подошел к зверю.— Может, еще живой.

— Да где там! Шутка сказать, летел по камням.

Меткая пуля действительно сразила зверя наповал. Грудь была прошита насквозь.

— Глядите-ка, медведица...

— Ну и здоровая! Как телка.

— По-моему, неподалеку должны быть и медвежата. Давайте поищем,— предложил Сака.

— Не стоит, в новую беду попадем,— возразил Чокан,— ведь у медвежат есть и отец.

Стали препираться, не обращая внимания на Айжан, готовую провалиться от стыда. Что касается Чокана, то он участием в споре маскировал свое смущение.

Сака настаивал на своем. Его поддержал Токбет, гордый своим трофеем.

— В случае чего защита найдется,— и он погладил приклад ружья, дескать, не подведет.

Самым веским доводом оказался рассказ Саки об огромном дубе с широченным, в два-три обхвата, стволом и могучей кроной. Дуб, как утверждал Сака, рос совсем неподалеку отсюда, на склоне горы. Там и примечали медвежью семью.

— Откуда здесь дубы? Я что-то не встречал их на кокчетавской земле,— пожал плечами Чокан. Ему явно не хотелось разыскивать медвежат.

— Дуб здесь посажен одним русским человеком еще во время ханства твоего деда. Говорят, он перенес деревцо с берегов Есиля. Я сам видел этот дуб. В его большом дупле живут пчелы, а медведи-то любят лакомиться медом.

Последнее слово было за Чоканом.

— Что ж, пошли, посмотрим.

Дуб и в самом деле рос поблизости. И выглядел он действительно таким, как рассказывал Сака. Но почему вокруг него были навалены высохшие деревья — одни сломанные, другие — выкорчеванные? Осинки, березнячок, даже сосна.

Разъяснил Сака:

— Ствол гладкий, прямой, а дупло высокое. Вот медведи и поставили себе лестницу. Звери сильные и сообразительные. Корчевать деревья могут. Яловую овцу,— сам видел,— задерет и тащит к себе в логово.

Ахали, удивлялись, искали глазами медвежат.

— Вот они где спрятались!— впервые подала голос Айжан, робко выглянув из-за спины Чокана.

Медвежата притаились под сучьями деревьев. Маленькие, как щенки, испуганные, притихшие. Но когда их стали ловить, принялись визжать. Токбет и Сака завернули их в чапан, они снова затихли.

Сака напоследок заглянул в дупло — есть ли там мед? Кое-как поднялся, но тут же спрыгнул обратно. Его прогнали растревоженные пчелы. От пчел досталось и другим. Пора было уходить.

Чокан прикрыл девушку полой шинели и почувствовал, как она дрожит. Может быть, от утреннего холодка? Неприметным движением он привлек ее ближе к себе. Нет, не от холодка — тело было горячим.

Что же произошло со мной, что мне делать? Мысли, одна другой печальнее, сжимали ее сердце, кружили голову. Она была смята, опустошена. Какой стыд, какой срам! Чокан ей казался единственной опорой, дальней теплой звездой, недосягаемой и прекрасной. А поступил как самый обыкновенный мужчина. Слепое желание пересилило человечность. Она покорно шла за ним, доверяла ему. А он? Взял меня, растоптал мои чувства, а теперь разговаривает как ни в чем не бывало. Сака догадывается. Разве можно скрыть такое? Тучи набегают на небо, закроют, должно быть, солнце. Опоры нет, я неживая. Уедет Чокан, повешусь на первом же дереве. Пригодится мне мой поясок.

Нет, Чокан не был слеп. Он догадывался о мыслях Айжан, чувствовал, как дрожало ее пылающее тело. Она почти ничего не замечала вокруг. Обронила слова только о медвежатах — пожалела их. Чокан казнился, был недоволен собой. Как быстро он попал в плен своего желания. Но ведь и Айжан слепо пошла ему навстречу. Чокан знал: он не имеет права отбросить ее в сторону, как растерзанного ягненка, и идти своей дорогой. Кем бы он стал тогда в своих собственных глазах? Значит, есть только один выход, чтобы не оставить Айжан несчастной. Сломать все препятствия и сделать девушку своей подругой на всю жизнь. Да... Легко подумать, да трудно осуществить! Трудно? Это не то слово! Ведь препятствия — непроходимые горы, необозримые моря. Влюбленные преодолевают их лишь в сказках и поэмах. И то не всегда! А тут жизнь — со своими обычаями, своим властным течением, своей суровой, а подчас и страшной обыденностью. Но бороться надо, отступать ему нельзя. Что ж все-таки предпринять?

Прежде всего следует посоветоваться с Айжан. Но заговорит ли она? Или ее язык будет скован еще крепче, чем раньше? Хорошо! Тогда он сам посвятит ее в свои планы. Скоро они расстанутся. И сразу после прощания, сегодня же, срочно он поедет на летовку к отцу и уговорит родителей согласиться на его брак с Айжан. Ну, а если Чингиз и Зейнеп не пойдут на это? Тогда останется одно — пренебречь обычаями, надеяться только на собственную силу. Может быть, помогут русские законы? Не обратиться ли к ним за помощью? Надо смело отбросить все эти понятия — хан, белая и черная кость, рабы... Есть человек, есть человечность. Им он и должен быть. Человеком!..

Так они снова оказались у моста через Кылшакты.

Удивительно переменчива погода в этих краях. Ночью, в тихом прозрачном воздухе сияют звезды, светит луна, а к рассвету откуда-то наползают тучи, поднимается ветер. Утром хлынет ливень, который может перейти в белый затяжной дождь.

Сегодня на рассвете тучи тоже заволокли край неба, грянул неблизкий гром, сверкнули молнии, косые полосы ливня обозначились на западной стороне. Со взгорья отчетливо было видно, как удалялась гроза, как редели тучи.

Здесь, у речки Кылшакты, их снова ожидало чистое и безветренное утро. Солнце, развернув исполинский веер своих лучей, окрасило яркими и теплыми тонами небо, степь, лесистые склоны Сырымбета.

Токбет и Сака решили за Чокана, что они все вместе вернутся в Орду, в ханский дом, а девушка пойдет в свой аул. Мол, здесь он встретился с Айжан, здесь и попрощается.

— Нет, вы идите, а я провожу девушку к отцу.

— Мы...— попробовал возразить Сака и сразу осекся. Так сердито вспыхнули глаза Чокана.

— Хотите, оставайтесь здесь на мосту с медведицей и медвежатами, хотите возвращайтесь с ними в Орду, а мы пошли...

И шагнул в сторону аула, не отпуская от себя Айжан.

В душе она даже сопротивлялась этому — хотелось побыть одной. Но и возразить не посмела.

На пути к землянке она с болью подумала об отце. Хорошо, если он ничего не слышал, ничего не заметил. А вдруг его сон был притворным, и он обо всем догадался? Но тогда почему он меня не остановил? Единственная дочь уходит, а отец молчит... Все мы молчим, молчит сейчас и Чокан. Но отец, отец! Должно быть, он сидит сейчас на пороге землянки. Он привык с той поры, как несколько окреп, греться на солнце с утра до полу-

дня. Привык, что Айжан всегда дома. Как я только взгляну ему в глаза? Стыдно, стыдно!..

Стыд, горчайший отцовский стыд испытывал и Акпан. Он действительно сидел на пороге, всматриваясь туда, в сторону Сырымбета. Прежде ему и в голову не приходило, что между его дочерью и Чоканом может что-нибудь произойти. Но стоило Чокану появиться в их землянке, как дочь словно подменили. Слишком резво и быстро откликнулась Айжан на просьбу Токпакбая помочь приготовить Чокану еду. Крикнула — иду!— и словно полетела... А потом прокрался этот Сака. Что-то шепнул — и готова. Почему он промолчал? Почему он не крикнул ей вслед: вернись немедленно...

А ведь он догадался, куда повели его дочь. Конечно, к Чокану. Торе, белая кость, как вы любите молоденьких девушек! Вам ничего не стоит их обесчестить. Неужели и Чокан верен обычаям ханского рода? Но ты, Айжан, скромная, безгрешная... Ты веришь в бога, читаешь мусульманские книги. На тебе и пятнышка нет. Я ангелом тебя считал, а ты заарканенным верблюжонком потянулась к молодому султану. Боже мой!..

Пролился краткий теплый дождь, но Акпан не ушел в землянку. Солнце высушило его одежду и не высушило слез. Кашель вновь сотрясал его тело как недавно. Он опустил голову, сжав ладонями виски. И вдруг услышал приближающиеся шаги.

Айжан шла рядом с Чоканом. Шла, безотчетно прильнув к нему, не подымая глаз.

Значит, догадка Акпана была верной, но он ничем не выдал себя и сделал вид, что дремлет.

Они остановились у самого порога.

— Отец?!— негромко воскликнула дочь.

Акпан вздрогнул, словно его разбудили. Строго посмотрел на Чокана недобрыми усталыми глазами:

— Это что же? Твоя насмешка над нами, Канаш?— И, увидев его открытое печальное лицо, неожиданно закончил.— Или твоя мука?

— Моя мука,— быстро ответил Чокан.— Но почему вы мне задали такой вопрос?

— Канаш, Канаш! Слишком много людей из ханского рода насмехались над нами. И насмехаются.

— Я, агай, не только из ханского рода, я еще рода человеческого.

Пусть это звучало неожиданно и запальчиво, пусть Акпан сразу не мог понять сердцем смысл этих слов и поверить им до

конца... Но одно было ясно: Чокан пришел в их землянку с добром и незачем было вспоминать о топоре, наточенном на Малтабара. А ведь ночью Акпан не раз прикасался к его лезвию...

— Айым, ты что так стоишь? Ведь в нашем доме гость.

Впервые в это утро Айжан улыбнулась:

— Значит, отец, угостим его тем, что у нас есть...

И хотя Чокан не принял приглашения, потому что торопился с отъездом, отец остался доволен и улыбкой дочери, и поведением молодого султана, мысль которого о роде человеческом с каждой минутой становилась ему понятнее.

Порадовался улыбке девушки и Чокан:

— Ты оставайся с отцом, Айым, тебе надо за ним ухаживать, а мне пора уезжать.

— Я провожу до моста. Ладно?

Не пропустивший мимо ушей ни одного слова, Акпан откровенно высказал свою симпатию к Чокану:

— Проводи, доченька, обязательно проводи!

Айжан нельзя было узнать. Еще недавно грустная, замкнутая, молчаливая, она улыбалась, глаза ее лучились, она без умолку говорила, даже прочитала на память стихи Хафиза, причем те стихи, те жемчужные строфы, которых Чокан раньше не знал. Как бы удивился Костылецкий, встретив Айжан?!

— Значит, тебе нравится восточная поэзия?

Айжан зарделась:

— Ее невозможно не любить.

— Гете однажды сказал, что он считал бы себя великим, если бы смог писать как самый слабый из семи лучших поэтов Ирана.

Значение этих слов понравилось Айжан, но, увы, о Гете она ничего не слышала.

Впрочем, Катя Гутковская — молниеносно подумал Чокан — если и слышала о Гете, то уж во всяком случае его не читала... Катя неравнодушна к нему, да и он однажды почувствовал себя влюбленным. Они даже целовались. Но не однажды он чувствовал, как свысока и пренебрежительно смотрит она на казахов. А, значит, и на него, Чокана.

Айжан будет моей женой!

Вслух он этого не произнес, но спросил:

— Правда, Айжан?

И она ответила ему, уловив скрытый смысл:

— Правда, Канаш! Как ты хочешь, так и будет.

Как он гордился ею в эти мгновения, какой надуманной, какой лживой прозвучала бы сейчас слышанная в Омске фраза о застывших девушках Востока.

Мысли его текли одна за другой: Айжан должна стать моей женой. Я решил посвятить себя служению народу. И моей женой может быть только женщина, уважающая мой народ.

Им не удалось выговориться до конца. Слишком быстро промелькнул этот знакомый путь до речки Кылшакты, до моста, где им предстояло разлучиться.

— Айым, здесь мы расстанемся. Возвращайся в аул и доверься мне.

Солнце поднималось к зениту, тихо звенела вода в речке, молчал лес.

— Айым, месяц мой, почему ты ничего не говоришь?

Он приблизил свое лицо к ее лицу.

Айжан опустила голову, сжалась. Чокан, теплая моя звезда. Сегодня — рядом, сегодня — совсем со мной. А завтра — опять далеко. Вернется ли он? Счастье не длится вечно. Может быть, досталось на мою долю только однодневное счастье? Спасибо и за это! Но может наступить день, когда она будет твердо знать, что Чокан больше не приедет. Стоит ли жить тогда дальше?

И Айжан расплакалась.

Чокан прижал ее к своей груди, успокаивая.

— Видишь это солнце? Пусть наше солнце будет свидетелем того, что я тверд в своем слове.

Они поцеловались на прощанье.

...И когда Айжан была уже далеко, а Чокан подходил к Орде, ему неожиданно подумалось, что этот их поцелуй был нежным поцелуем равных людей, а не хозяина и рабыни, что они оба и сильны и беззащитны перед судьбой.

## У подножия горы Акан

Никто, пожалуй, не переживал сильнее Чингиза известия о болезни Гасфорта и об его отъезде в Екатеринбург. Даже открытие Атбасарской ярмарки уже не так занимало султана.

Рушились его честолюбивые замыслы.

С гордостью заглядывал он в недалекое будущее, зная, как возвысит его в глазах других приезд самого генерал-губернатора Западной Сибири, наместника белого царя. Он мысленно видел его многочисленную свиту — офицеров и чиновников, видел у себя в ауле множество экипажей, казачью конницу, солдат. Он видел, как мчались к нему запыленные гонцы. И видел рядом с генералом своего сына Чокана, властно отдающего распоряжения. У него, у Чингиза, мало друзей и много

врагов. Но как бы притихли враги, склонившись до земли! Как бы подняли головы, обрадовались друзья!

Выходит, он готовился попусту.

Выходит, никаких надежд на укрепление его положения, на торжество его имени больше нет.

Ну, приедет в родной дом Чокан. Слава богу, сын как-никак. А не приедет в этот раз, бог с ним. Ничего не случится. Дождемся другого срока.

Правда, Чингиз, как нам уже случалось упоминать, хотел поскорее женить Чокана, чтобы упрочить свои связи с богатыми и уважаемыми людьми. Его увлекала мысль породниться с Ерденом, сыном Сандыбая, султаном пяти волостей баганалинцев. В роду Баганалы-Найман знатнее и богаче Ердена не было никого. Да и по всей степи Сары-Арка среди аргынов и найманов он слыл одним из самых влиятельных казахов. Баганалинцы кочевали на широких просторах вокруг гор Улутау. Границы их владений на юге соприкасались с Кокандским ханством. Ерден умел хитрить, заигрывал с кокандцами и одновременно клялся в верности русским властям. Когда ему было выгодно, он совершал набеги на аулы Кокандского ханства, а стоило кокандцам набрать силу, как он выступал на их стороне против русского казачества. С ним считались, его побаивались и там и тут. Побаивался Ердена и Чингиз, сражавшийся в свое время против Кенесары. Теперь Ерден входил в доверие к омским властям и становился одним из самых опасных соперников Чингиза.

Четыре жены Ердена народили ему много сыновей и ни одной дочери. Когда, наконец, у младшей жены-токал появилась дочка, ее нарекли непривычным и самым что ни есть плохим именем Акманка — Белая гундосая. У казахов бытовало поверье, что непривлекательно названный ребенок будет долго жить, его обойдут болезни. Акманка — позже ее стали звать и того хуже, просто Манка,— росла здоровенькой и капризной девочкой. Уже подростком она начала стыдиться своего имени, а, повзрослев, решила совсем избавиться от него. Так дочь Ердена приобрела новое имя — Мырзакыз, Девушка-госпожа. Но и это имя продержалось недолго. Скоро она стала просто Мангаз.

Ерден любил и баловал свою единственную дочь. Ему нравилось, что она выросла в него, светловолосой, в отличие от остальных детей.

Она воспитывалась в аульных традициях — как мальчишка, и родители потворствовали всем ее капризам. Мангаз стремилась всюду быть первой и походить одновременно и на щего-

ля-сала и на батыра. Она одевалась броско и богато, ездила на лучших аргамаках, требовала для них необыкновенные седла и сбрую. Любила, чтобы ее окружали джигиты и девушки, подражавшие ей. Даже охотой она увлекалась — и с беркутами, и с гончими. Дружила с певцами, музыкантами и борцами-балуанами. Она терпеть не могла, когда ее называли девушкой. И не стеснялась отвешивать тумаки тем, кто нарушал это правило.

И вот до ушей девушки-джигита дошли слухи, что ее собираются просватать за Чокана. Как бы Мангаз ни рядилась в мужские одежды, как бы она ни своевольничала и ни дралась, суть ее, понятно, оставалась женской. Она много думала о замужестве, понимала, что отец ее выбился в знатные баи, в султаны из простых людей, черной кости. Родовитый ханский потомок не помешал бы ни ему, ни ей. В степи много говорили о Чингизе и его сыне. И Мангаз уже не терпелось повидать своего нареченного, своего торе-офицера.

Правда, аульные женщины нашептывали ей:

— Не ты одна сосватана Чокану, у него немало и других невест.

Мангаз не боялась соперничества, для нее, выросшей в ауле Ердена, в многоженстве не было ничего неожиданного. Она бесшабашно отвечала шептуньям:

— Ну и что ж. Мне это не страшно. Только пусть я буду первой, с меня хватит, а после, хоть табун жен приведет!

Не успели стихнуть разговоры о сватовстве, как по аулам разнеслась новая весть. Гасфорт приезжает открывать Атбасарскую ярмарку, а с ним Чокан.

«Может, и меня молодой торе увидит»,— хорохорилась Мангаз и заранее отбирала наряды поприглядистей.

«Может, и мне Чокан принесет пригоршни счастья»,— мечтал Ерден и уже готовился поставить неподалеку от Атбасара целый аул белых юрт.

Но тут узун-кулак сообщил о болезни Гасфорта.

Ерден принял это известие значительно спокойней Чингиза. Он был богаче и не мечтал о погонах русского офицера. Значит, не надо заботиться о белом ауле. Поставит одинокую белую юрту между озерами Керегетас и Жабай, там и встретит Чокан мою Мангаз, там они и решат свою судьбу. Аллах милостив!

...В тот вечер, о котором мы ведем рассказ, Чингиз, верный давней своей привычке, еще до захода солнца проехал верхом к табунам полюбоваться своими саврасыми с белыми отметинами. Кони после водопоя лениво пощипывали сочную при-

брежную траву. Сытые, нагулявшие жир, спокойные. Чингизу было приятно медленно, с достоинством осматривать табун, перебрасываться неторопливыми замечаниями со стариком-табунщиком, чувствовать спадающий летний зной, предвестье вечерней прохлады.

Тут он увидел всадника. Мелкая рысь загнанного коня ему не понравилась. Да и куда это он так торопится? Сначала султан разглядел взмыленную лошадь, а уж потом узнал Абле и поехал ему навстречу с тревожным чувством.

Поздоровались.

— Ты что так рано вернулся? Ведь собирался поставить ограду на могилу сына и побывать в Сырымбете.

— И ограду не поставил, и в Сырымбете не побывал. К тебе торопился, мырза. Новости есть.

— Не томи душу, выкладывай...

Абле рассказал обо всем, что видел в доме своего брата Карамуруна: о встрече с Чоканом, о том, как Чокан осторожно и настойчиво расспрашивал об Айжан и как потом уехал в Сырымбет. Абле сообщил и о Токбете, и о скромной одежде Чокана-мырзы.

Каждое слово наблюдательного муллы ранило Чингиза. Оправдывались его худшие предположения. Значит, все правда. Значит, его сын любит дочь Акпана. Иначе, что ему сейчас делать в Сырымбете? И этим, только этим можно объяснить отказ Чокана с почестями приехать в Орду, сюда, к горе Акан.

Видя, что Чингиз сереет от злости, Абле понял — на милость ему сейчас нечего рассчитывать. За такие недобрые вести хан может не только не поблагодарить, но и камчой стегнуть.

Камчой, правда, Чингиз не стегнул; он молча повернул коня и поехал на летовку.

Он не сказал никому ни слова и дома, но все заметили, что он посеревший и злой. К еде не притронулся, лег в постель и сразу же провалился в темный угрюмый сон. Он пробудился глубокой ночью и увидел свет в юрте. Зейнеп зажгла керосиновую лампу, подвешенную к столбу, а сама сидела на кошме, ожидая, когда поднимется Чингиз.

— Ты проснулся? Что у тебя случилось?— она еще с вечера была встревожена видом мужа.

Чингиз пересказал ей все услышанное от Абле, с нужными и ненужными подробностями.

— Э, мой мырза, стоит ли горевать!— Слова мужа не произвели на нее сильного впечатления, она явно ожидала худшего.— Я не вижу здесь ничего страшного.

— Ничего страшного?— и Чингиз стал рисовать ей картину встречи Чокана и Айжан.

— Только-то всего?— усмехнулась Зейнеп.— А ты и Аллаха призвал на помощь. Зачем ты вслушиваешься в то, что происходит между детьми?

— Детьми?— Чингиз все еще не понимал Зейнеп.

— Да, да, детьми! Ты сейчас заставляешь меня произнести слова, от которых отказывается мой язык.

— Дети, слова, язык,— продолжал с недоумением ворчать Чингиз.— Скажи, наконец, о чем речь?

— Глухонемым ты, что ли, стал? Вспомни, пропускал ли ты красивую девушку, когда был молодым? А-а-а, не хочешь вспоминать? Так вот, сын в тебя пошел... Ты тоже бывало, только пронюхаешь,— мол, есть такая краснощекая,— и сразу летишь туда! Значит, и Чокан что-то услышал и скорее хочет ухватить ее за подол.

— Бесстыдные слова говоришь, байбише.

— Ты их сам начал говорить, мой мырза. Зачем начал подсматривать за сыном? Молодые дела — и все!

— Нет, байбише, молодые дела меня не беспокоят. Резвитесь, я мешать не буду. Меня другое волнует.

— Малтабар твой? Нашел о ком горевать! Жанарал не приедет, обойдемся без денег Малтабара.

Чингиз пожевал губами:

— Деньги не помешали бы, байбише. Скажи, когда они мешают?.. Но я о другом. Малтабару понравилась девушка, дочь Акпана. А что, если она окажется не девушкой? И тогда...

— Ребенком ты становишься, Чингиз,— перебила мужа Зейнеп.— У тебя еще не заболел рот от своего языка? Что только тебя ни волнует,— девушка, не девушка...

Чингиз еле сдержал гнев. Он такими злыми глазами посмотрел на жену, что случись такое в молодости, в следующий миг пустил бы в ход кулаки. Но с годами он остепенился, а Зейнеп в споре нередко одерживала верх и слова выбирала такие, что Чингиз выходил из себя. Однако сегодня он глубоко чувствовал свою правоту, которую никак не мог еще доказать. Почему Зейнеп не может понять его тревог? Он извлек из памяти самое тяжелое, самое обидное для жены в последние годы слово, безошибочно ставившее ее на место: мундар, мученица. И с некоторой неловкостью — не он ли сам был виноват в трудной жизни Зейнеп — Чингиз процедил сквозь зубы:

— Слушай, мундар! Пустое мы оба говорим. Если уж на то пошло, пусть пропадет пропадом этот Малтабар! Что он мне — брат или сородич?! Пусть и деньги его сгинут. Слава

Аллаху, что я не загрязнил об них свои руки. С кем не жевал в жизни ивняка и не глотал щетину — расстаться легко. Не потому я волнуюсь, байбише. Не с Малтабаром нам будет трудно, а с нашим сыном. Да, да, с нашим сыном, с Канашем. Что нам делать, скажи, если он захочет жениться на дочери Акпана?

— Боже мой, астапралла!— воскликнула Зейнеп и схватилась за воротник, подпирая согнутыми пальцами жирный подбородок.— Астапралла!..

Зейнеп покачивала головой и ее лицо то уходило в темень, то покрывалось странными бликами, скользящими отсветами керосиновой лампы, прикрепленной к столбу юрты.

— Нет, мой мырза, ты и сейчас сказал ненужные слова. Как только у тебя повернулся язык. Канашжан... и вдруг женится на рабыне.

— Да будут навек эти слова ложью, байбише...— Чингиз начал уже успокаиваться, главное было высказано. Однако и сомнения не рассеялись.

— А вдруг это случится?

— Не будет этого, невозможно,— Зейнеп снова покачала головой.— Разве что в корпусе, в Омске его испортили. Нет, не может Канашжан пойти на такое...

— Аминь! Да сбудутся наши желания!— Чингиз поднял раскрытые ладони и провел ими по лицу.

Некоторое время они посидели молча, миролюбиво. Чингиз был доволен уже тем, что жена пока во всем поддержала его. Продолжать разговор дальше ему не хотелось, он устал от своих волнений, устал от спора.

Однако Зейнеп, которую мучило любопытство, все-таки спросила:

— Но от кого ты это все услышал?

— Крышкой рот не закроешь,— уклонился Чингиз от прямого ответа. Он знал вспыльчивость байбише и побаивался, что она необдуманно обрушится на доносчиков.

— Нет, ты все-таки скажи имя.

— Успокойся, Зейнеп, может, это старания наших недругов. Недолго осталось ждать, скоро все прояснится.

— Узнаем, все равно узнаем, откуда пущено слово. До корня докопаемся и корень подрубим,— Зейнеп говорила хмуро, сердито, злясь и на доносчиков, и на мужа, так и не открывшего ей источник недоброй молвы.— Дай бог, чтобы все оказалось ложью.

Время для них тянулось медленно. В действительности, до приезда Чокана оставалось два дня, не больше.

...Чокан торопился. После прощания с Айжан на мосту через Кылшакты он без задержки в Сырымбете выехал в Имантау. Там быстро договорился с командиром второго отдела, крещеным татарином есаулом Беклемишевым, о выделении отряда казаков в двадцать пять сабель для участия в открытии Атбасарской ярмарки. Одновременно решили, что конники выедут несколько позднее и минуют летовку Орды. Чокану не хотелось появляться у родных окруженным свитой, предназначенной для ярмарочных торжеств. Впрочем, он не без удовольствия надел новехонький офицерский мундир, сверкающий пуговицами и погонами, и был, как говорится, при полном параде. Аул-то свой, а края незнакомые. Значит, надо показать и одежду, и оружие.

Будь бы так, как намечалось заранее, Гасфорта с Чоканом встречали бы самым пышным образом. Уже у Бурабая их поджидала бы первая группа всадников — джигитов и девушек на отборных скакунах, охотников с беркутами, поэтов и певцов. Пели бы песни, сопровождая экипажи, били бы по пути в озерах гусей и уток, состязались бы в байге.

Будь бы так, как предполагал Чингиз позднее, избери Чокан путь Гасфорта, все равно его у Бурабая встретили бы дозорные, а в тридцати-сорока верстах от Акана, в Зеренде, устроили бы торжества. Скромнее, чем для генерал-губернатора, но все-таки торжества.

Но все получилось совершенно иначе. Сын выбрал другую дорогу — через Сырымбет, не оповестил отца и, видимо, стремился избежать лишнего шума. Не хочет почестей — не надо. Но сын есть сын. И Чингиз позаботился об его отдыхе и, по крайней мере, приличной встрече.

На берегу озера Акан, недалеко от летовки Орды, но не рядом, Чокану поставили белую юрту. И еще две белые юрты приказал здесь же поставить Чингиз. Одну для Зейнеп, другую — для гостей,— ведь найдется немало желающих приветствовать султана-офицера.

Чингиз еще не знал, как сложатся у него после долгой разлуки отношения с сыном. Во всяком случае, Чокан должен сам прийти поздороваться с отцом, а там будет видно. Чингиз надеялся на лучший исход. Но если сын, вопреки обычаям, вопреки здравому смыслу возгордится и нарушит сыновний долг,— что ж, встреча тогда и вовсе может не состояться. Не ему же идти на поклон.

Убежденный в своей правоте и будучи человеком гордым, Чингиз, решив не выезжать заранее к сыну, обеспечил ему вполне почетную встречу. На пути к малому белому аулу Чо-

кана готовились чествовать всадники во главе со старшим братом Чингиза Аппасом. Гонец, которому надлежало оповестить аксакала и его джигитов, находился на пикете, откуда вовремя можно было домчаться до горы Акан. Аппас после первого свидания с Чоканом обязан был сопровождать его до юрты Зейнеп: сперва пусть поздоровается с матерью. Что касается гостей, пожелавших бы видеть Чокана, то для них на почтительном расстоянии от малого аула вбили в землю коновязи и даже поставили сторожевую юрту. Известных людей караульный мог пропускать сам, а о тех, кого в лицо не знает, следовало сообщать Аппасу. На конях в белый аул въезжать строго-настрого запретили: спешивайтесь, привязывайте коней и идите по дорожке, узенькой, словно заячья тропка.

Аппас после недавней смерти Абайдильды оставался старшим среди сыновей хана Уали, а у Уали, как известно, было четырнадцать сыновей от семи жен. Смерть Абайдильды сблизила братьев Аппаса и Чингиза. Абайдильда был врагом царской власти, и во время своего возвышения ханша Айганым приложила немало усилий, чтобы отправить мятежного пасынка в сибирскую ссылку. Абайдильда вернулся, когда ханши уже не было в живых. Вернулся худым и бледным, истощенным болезнью. Чингиз не посчитался с тем, что Абайдильда находился в ссоре с его матерью. Он радушно принял брата. Помог ему, а когда Абайдильда умер, справил по нем поминки, неслыханные в Кокчетавском дуане. С той поры Аппас проникся уважением к Чингизу и стал надежным советчиком султана. Чингиз тоже не оставался в долгу и воздавал ему почести как самому достойному аксакалу рода Аблая.

Вот и теперь, перед приездом Чокана, Чингиз послал за Аппасом гонца в его аул на берегу озера Шарыктас за Бурабаем. Уже наслышанный о поведении сына в Жаман Жалгызтау и Сырымбете, Чингиз возлагал большие надежды на старшего брата, не такого вспыльчивого, как он сам, но упорного и красноречивого. Может быть, он уломает сына, сумеет нас сблизить.

Крупный, грузный, с глазами узкими и пронзительными, как почти у всех в роду Аблая, Аппас взялся за дело с подобающей серьезностью и размахом, чтобы достойно встретить племянника.

Он выехал к нему с большой сабой кумыса и только что сваренной бараниной. Встретились у источника, приветствовали друг друга по обычаю, спешились — отведать пищи и, разумеется, для предварительного разговора.

Спутников у Аппаса было немного, но как только испили

кумыса и попробовали еще теплое мясо, он попросил всех, в том числе и Жакыпа, брата Чокана, оставить их наедине. И напрямик посоветовал Чокану, избегая нравоучений и каких бы то ни было намеков, прежде всего выполнить сыновний долг и поздороваться с отцом в его юрте.

— А почему же отца здесь нет?— спросил Чокан.— Неужели он забыл: если издалека приезжает даже шестилетний ребенок, то и шестидесятилетний старик выходит ему навстречу.

— Чингиз гордится отцовством,— пробормотал Аппас, которому изменила его обычная уверенность.— И потом спина у него болит. Вставать иногда не может. Кокчетавский дохтур сказал: радыкулыт. Вот с этим самым радыкулытом он и лежит в постели. Ну и что ж. Он — отец, ты его сын. Не пришел отец к сыну, сын придет к отцу.

Но Чокан не внял этому совету. Он догадался: не спина у отца болит — душа. Вести из Жаман Жалгызтау и Сырымбета наверняка проникли в юрту Чингиза и уязвили его ханскую гордость. Огонь обиды разгорается, словно костер на ветру. Встретятся они — обожгутся оба. Чокан понимал, что отец, наделенный житейским опытом, решил, вероятно, что сыну лучше сперва встретиться с матерью. Мать ему ближе отца, с ней они и договорятся скорее. И еще: зная характер отца, Чокан надеялся, что он, расшумевшийся, как верблюд, быстро преобразится перед матерью в верблюжонка на привязи...

Однако Аппас еще раз попытался уговорить Чокана отдать поклон отцу.

В это мгновение рядом оказался Жакып.

— Не проси его, Улкен-ага,— обращаясь так к старшему дяде, подчеркивая с уважением его возраст, он, однако, был упрям и решителен.— Что ты, Улкен-ага, торгуешься? Приветы не покупаются. Хочет — зайдет, не хочет — пусть будет так.

Братья пристально и с неприязнью посмотрели друг на друга. Почти одногодки, они и в детстве редко играли вместе, чаще ругались, а порой дело доходило и до драк.

Тон Жакыпа очень не понравился Чокану.

Впрочем, Жакып и в начале встречи не счел нужным скрывать более чем равнодушного отношения к младшему брату. Другие сородичи искренне радовались его приезду, гордились своим офицером, расспрашивали об омских новостях и здоровье, а Жакып отчужденно стоял в сторонке. Что ж, Чокан был тоже достаточно самолюбив и не подошел к нему.

Все это, понятно, было замечено и встречавшими.

Как услышаны были и первые недобрые слова, сказанные Жакыпом Чокану.

Жакып был красивым джигитом, аульным щеголем и охотником до красивых женщин. Стоило ему увидеть привлекательную девушку или молодуху, не очень охраняемую мужем, как он набрасывал на нее свой аркан. Не избежала его внимания и Айжан, но тут у нашего женолюба ничего не вышло.

Прослышав о Чокане и Айжан, Жакып еще больше озлобился на младшего брата.

— Пусть делает, как хочет!— еще раз повторил Жакып.

Аппас не стал возражать, и всадники выехали к аулу.

В полдень Чокан уже был в приготовленной для него белой юрте и, не задерживаясь там, отправился к матери.

Его опередил скорый на подъем, непременный участник всех семейных событий, верный, постаревший слуга Аба.

— Суюнши, Ая-апа, твой Канаш приехал. Сейчас будет!

Зейнеп, полулежавшая на кошме, вскрикнула, попыталась встать, опираясь на руки, и тут же, не совладев с тяжелым своим телом, резко опустилась снова. Абе показалось, что она упала, теряя сознание. Но это было не так. Просто у нее закружилась голова от волнения.

А тут в юрту вошел и Чокан. Он забыл снять саблю, звякнувшую, когда он, забыв, что уже взрослый, потянулся к матери так, как тянутся в детстве.

У Зейнеп от безмерной радости и от стремительности, с которой она бросилась навстречу сыну, так забилось, застучало сердце, так перехватило дыхание, что с трудом можно было разобрать слова:

— Канаш!.. Канашжан мой!.. Кровинка моя!.. Душа моя!..

И хотя она ослабла, постарела, руки ее не утратили силы, крепкие материнские руки, до боли сжимавшие Чокана. Он ощущал на своем лице ее слезы, ему нелегко было дышать, но чем сильнее его обнимала мать, тем еще крепче льнул он к ней, растворяясь в ее тепле и повторяя вполголоса:

— Что ты так расстраиваешься, мама... Не надо плакать, не надо...

Вероятно, Зейнеп дала бы и дальше волю своим чувствам, довела бы себя до полного изнеможения, если бы не отрезвляющие тягучие слова Аппаса.

— Хватит, сноха!.. И себя изматываешь, и ребенка, уставшего с дороги.

Ребенок... Это прозвучало и трогательно, и с легкой насмешкой. Ни от кого другого Зейнеп не потерпела бы даже намека на издевку, как и не подумала бы послушаться. Но старшему из четырнадцати сыновей Уали, ага Аппасу она прощала все и вела себя с ним самой смиренной снохой.

Она разжала руки, вытерла рукавом слезы и только продолжала всхлипывать, вздрагивая всем телом.

Аппас спокойно и по-прежнему тягуче поздравил ее с приездом Чокана, а потом сказал:

— Мы пойдем, келин. Мать и сын много лет не видели друг друга, соскучились, понятно.— И многозначительно добавил:— Вам есть о чем поговорить. Только успокойтесь прежде.

Ага так же размеренно, как вошел, вышел из юрты.

«Поговорите, но успокойтесь прежде...» Зейнеп и вчера слышала от него эти слова, смысл которых прямо означал необходимость вмешательства матери в историю с Айжан. Зейнеп не знала, сумеет ли отговорить Чокана, но тем не менее она клятвенно обещала Аппасу, а в его лице всем потомкам Уали, сделать все, что только возможно.

Теперь она оставалась наедине с сыном. Житейский опыт ей подсказывал, что разговор лучше начать, когда улягутся волнения первой встречи, когда наступит спокойствие, к которому так настойчиво призывал ага, и, с другой стороны, хотелось сейчас же, когда ее переполняли материнские чувства, решить все разом, одним стремительным порывом.

Чокан уловил настроение матери и тут же сообразил, что следует немного повременить. Есть смысл в народной пословице: «Пока поднимется топор — и дерево успеет увернуться».

— А что, если я немного отдохну, мама?

— Вот тебе твоя постель, жеребенок мой, усни с дороги.

Чокан подошел к «больской» кровати, как называла мать польскую, сверкавшую металлом кровать, с трудом добытую в Кокчетаве специально к его приезду. Приметив, что мать не собирается уходить, спросил:

— Ты, мама, разве не будешь отдыхать?

— Думай о себе, Канашжан. Устраивайся поудобнее. Захочу прилечь — найду себе место,— кротко ответила Зейнеп.

Чокан сбросил мундир, облачился в широкую рубаху, сшитую ему в Омске для дорожного отдыха, прилег. Мать укрыла его одеялом и подложила под голову большую пуховую подушку.

— Засыпай, Канашжан, а я подремлю у твоей кровати.

— Лучше я, мама, посплю возле тебя.

— Зачем же, жеребенок мой? Бокам будет больно на земле.

— Я соскучился по твоему теплу, мама.

— Тогда иди, солнышко. Только погоди немного, я застелю ковер одеялом.

Чокан скатился с «больской» кровати и почувствовал, что

двойная подстилка — ворсистый ковер и толстое стеганое одеяло мягче и удобнее непривычного в юрте матраца.

Места хватило и для матери и для сына. Зейнеп подложила левую руку под шею Чокана. Ей трудно было обнять его — настолько она располнела. Вот только лицо не округлилось, сохранив и прежний овальный очерк, и прежнюю,— так по крайней мере казалось Чокану,— красоту. Но сын в глазах матери неузнаваемо переменился. Наблюдая за ним в детстве, Зейнеп не без опаски думала, что он будет низкорослым. Нет, слава аллаху, вымахал выше среднего. Глаза стали большущими и лоб широким. Однако почему так потемнело лицо? А вот уже и усы начинают пушиться. Черные, как у отца.

Воспринимая как никогда остро близость матери, Чокан вспомнил стихотворную строфу арабского поэта, прочитанную ему Айжан:

Почему же дочки растут,
Сладость ласки отцовской забыв?
Почему растут сыновья,
Материнский мед не испив?

Он грустно вздохнул. Да и как было не вздохнуть? Кажется, совсем незадолго до отъезда в Омск его отлучили от материнской груди. Смутно, словно в полузабытьи, но он помнил еще то время, когда не мог уснуть, не испив сладкого и теплого молока. Он ведь и просыпался с этим извечным чувством и тоненьким птичьим голоском звал мать, чтобы припасть к ней и утолить свою жажду.

Так, по-разному раздумывая друг о друге, мать и сын между тем вели безвинную обманную игру. Положив головы на одну большую пуховую подушку, они делали вид, что уже уснули. Мать — затем, чтобы сын поскорее задремал после дороги. Сын — чтобы отдохнула мать, должно быть, не одну бессонную ночь проведшая перед его приездом.

Но выдержки им обоим хватило ненадолго.

Думы Чокана о матери сменились думами об Айжан. Он решил выполнить обещание, которое дал девушке на прощанье. Сейчас, сравнивая ее с кокчетавскими красавицами, встреченными на пути из Сырымбета, он еще тверже укрепился в своем решении. И не без некоего тайного умысла он как можно бережнее вытянул руку матери из-под своей шеи.

Зейнеп открыла глаза, словно только что проснулась

— Ты что, Канаш?

— Да вот подумал, не затекла ли твоя рука.

— Ой-бой, жеребеночек ты мой. Ну, если и отлежала, что

тут такого? И не то готова стерпеть. Ты не был мне в тягость, когда носила тебя девять месяцев, когда ты мне едва-едва не обломал позвонки. Теперь мне тебя обнимать легче легкого. Смотрю на тебя, смотрю и не могу наглядеться, Канаш. Нагни-ка голову, я тебя еще раз поцелую.

Целуя сына, гладя его жестковатые волосы, Зейнеп вдруг снова расплакалась.

— Что с тобой, мама. Не надо так...

— Луч ты мой, потому я плачу,— всхлипывала она,— что люди говорят, ты вырос, возмужал, стал важным человеком, а для меня ты такой же, каким был перед отъездом из аула. Маленький, беззащитный.

Чокана так растрогали слова матери, что он едва не прослезился сам. Мысли о матери овладели им с новой силой. Он вспомнил слышанную им еще в детстве от акына Жаманкула поэму «Кер-улы». Кер-улы еще не появился на свет, как умерла его мать. Он родился уже в могиле, нашел грудь мертвой матери и принялся сосать ее грудь, пока не появилось молоко. Через три дня он поднялся на ноги и вышел из могилы. Вскоре он поймал жеребенка. Сказочно растущий Кер-улы становился батыром, его жеребенок — тулпаром. Ночами он возвращается к матери и продолжает сосать ее грудь. Молоко не иссякает и у мертвой. Но через сорок дней у входа в могилу батыр встречает дракона. Дракон не подпускает мальчика к матери, а победить чудовище юный батыр еще не в силах. Кер-улы напрасно умоляет дракона позволить ему в последний раз напиться материнского молока. Что делать? Мальчик-батыр отправляется в странствия...

Давно Чокан слышал сказку о Кер-улы, но едва ли не в этот день встречи с Зейнеп понял ее великий смысл, как гимна материнству.

...Ни сын, ни мать долго не нарушали тишины белой гостевой юрты. Один аллах ведает, сколько бы они так отдыхали, сколько бы раздумывали, если бы не шорох, возвративший их в обыденный мир.

Зейнеп заглянула в щелку: кто-то уже приподнял кошму снаружи и теперь открывал деревянную дверь. Присмотревшись, она узнала Такырбаса.

В ханские времена население Орды делилось на торе — господ ханского рода и толенгутов, слуг из пришлых людей, призванных обслуживать торе.

Ханские времена прошли, но разделенность эта сохранилась, как сохранились многие другие обычаи и привычки.

Чингиза продолжали звать ханом, а его помощника Такыр-

баса — толенгутом. Жена Такырбаса, деловитая и чистоплотная Асыл, была в услужении у Зейнеп.

Самого же Такырбаса приставили слугой к Чокану на дни его гостевания.

### Мать и братья

— Входи смелее, мой Такыр,— ободрил Чокан смущенного Такырбаса, знакомого ему еще с детских лет.— Как тебе живется? Ты меня когда-то не давал в обиду и возвращал мне асыки, отобранные мальчишками. Я называл тебя, как назвал и сейчас, просто Такыром. Тебе брили голову, а усов и бороды тогда не было и в помине. А теперь, гляди, вот ты какой стал.

И Чокан, обнимая сверстника детства, похлопывал его по спине. Зейнеп даже покоробило такое дружелюбие — толенгутов в Орде держали на почтительном расстоянии.

— Ну, что ты так прилип к нему, Канаш? Он тебе брат родной, что ли?

— Это же Такыр, мама, Такырбас. Друзьями в детстве были.

— Мало ли что было в детстве? Ты теперь взрослый...

— А разве, мама, взрослым не нужны друзья?

Зейнеп, чувствуя, что может проиграть в споре с сыном на глазах толенгута, прикрикнула:

— Хватит... Ты, Такыр, зачем сюда явился?

— Улкен-ага меня послал. Куырдак уже готов.

Такырбас отвечал спокойно, словно не замечая раздражения ханши. Как почти все толенгуты Орды, он научился скрывать свои чувства, но в эти минуты ему было труднее, чем обычно, преодолеть свое смущение: Чокан встретил его по-дружески, а ведь он следил за Чоканом, перебегая от его белой юрты к Аппасу и обратно.

— Заснули,— сообщал он.

— Проснулся, разговаривают, всего не расслышал.

Вот тут Аппас приказал ему послушать еще, а если его обнаружат, войти в юрту и сообщить, что кушать готово.

— Значит, куырдак можно приносить?— обратилась Зейнеп скорее к Чокану, чем к Такыру.

— Пожалуй, мама, не стоит. Не хочется что-то.

— От свежего мяса отказываешься?

— Я, знаешь, стал отвыкать в корпусе от мясной пищи. Нас чаще травой кормили.

— Травой?— удивленно переспросила Зейнеп.

— Съедобной, конечно, травой,— ответил Чокан, не вдаваясь в подробности об овощах, о которых мать имела самое смутное представление.— А в пути, начиная с Жалгызтау, я просто объедался мясом. Желудок уже не в силах его переваривать.

— Но откуда здесь найти съедобную траву, сынок?

— А ее и не надо искать, мама. Ты мне дай белого молока, красного творога и курта. Еще лучше — приготовь белый творог с топленым молоком.

— Это совсем нетрудно, сынок.— И, уже обращаясь к Такыру, невозмутимо застывшему у порога, добавила:

— Скажешь Асыл, пускай приготовит. Только скорее...

— Не надо, мама, торопить. До вечера еще далеко, а раньше сумерок я не захочу есть.

— А вдруг захочешь?

— Нет, мама, я и сейчас чувствую сытость от кумыса.

— Слышал, Такыр? Так вот, сперва придешь, чтобы зажечь нам лампу, а потом принесешь еду.

Такырбас вышел, Чокан и Зейнеп возвратились к своим думам. И мать, и сын с нетерпением ожидали разговора об Айжан, но не пытались ускорить его начала. Цели их были прямо противоположны. Чокан стремился добиться согласия матери на женитьбу, Зейнеп — отговорить его от этого шага. Нежная искренность первых минут встречи уступала место взаимной настороженности и даже недоверию. До еды ли тут было?

— Мама,— первым начал Чокан и запнулся.

— Я слушаю, солнышко.

— Почему так говорится в народе, мама?

Согнулся дуб высокий — сломался, значит, ствол.
Джигит поклялся дважды — он смерть свою обрел.

— Не знаю, Канашжан,— неуверенно отвечала Зейнеп, смутно догадываясь, куда клонит сын.

— А такую поговорку слышала?

Во имя жизни не жаль и богатства.
Чтоб совесть сберечь — можно с жизнью расстаться.

— Что ты меня забрасываешь пословицами, Канаш?

В голосе Зейнеп уже звучала тревога. «Какой он, однако, непреклонный»,— думала она про себя.

— Почему, спрашиваешь, поговорки вспоминаю? Да потому, что самый большой ум — у народа, народ и придумывает поговорки. Народ всегда прав. Вот послушай, мама:

Ребенок на лошади начал скакать,
Сжимает колени испуганно мать.

— Мать сжимает колени, мать волнуется, а не отец. Дети ближе к матери, чем к отцу. Так ведь?..

Зейнеп чуть не сказала, что так, но вовремя одумалась, потому что ей надо было сближать отца с сыном, а не отдалять их друг от друга. И она промолвила:

— Дети каждому дороги по-своему — и отцу, и матери...

— Не будем пока об этом спорить,— Чокан взглянул на мать, и ей почудилось, что на нее посмотрел вспыхнувшими в раздражении глазами Чингиз.— Говорят, одного мудрого человека спросили: почему наши казахи иногда употребляют слова «джигит-мигит»? Кто такой джигит, всем известно, а мигит? И мудрый человек ответил: джигит — это тот, кто тверд в своих обещаниях, кто смело идет к намеченной цели, кто мужественен в своих поступках и за честь отдает жизнь, а мигит — ни то, ни се, существует как-то, прозябает — и ладно. Так кем же мне быть, мама?

Зейнеп, ожидая подвоха, хотела бы уйти от ответа, но сын повторил:

— Родной сын ждет прямого ответа, мама. Так кем же все-таки мне быть?

— Джигитом быть, сын, джигитом,— сказала она, понимая, что иного и сказать не имеет права.

— Значит, я должен выполнить свое обещание?

— Я ж не знаю, какое обещание и кому ты его давал?

Чокан решил не давать ответа сразу. Он опять приластился к матери, обнял ее, произнес капризно и нежно:

— Ма-а-ма-а!

— Ау, жеребенок мой, ау,— поддалась сыновней ласке Зейнеп и, как делала это прежде, жадно втянула ноздрями запах сына, уже отдающий чем-то чужим, приятным, но чужим. И надо было тонким нюхом матери отделить от него все наслоения омских лет, чтобы почувствовать свое, бесконечно родное, детское.

— Мама,— сказал Чокан еще ласковее и даже опустился перед ней на колени.— Хоть я и родился в ауле, но воспитание получил у русских. Не правда ли?

Зейнеп кивнула головой.

— А знаешь ли ты, мама, что у русских джигиты и девушки обычно женятся, выбирая друг друга сами?

— Так то у русских...

— Не только у русских, но и у других народов.

— Неужели, Канаш, ты хочешь, чтобы и у нас, казахов, было так?

И когда Чокан ответил утвердительно, Зейнеп даже переменилась в лице:

— Но, ведь это, сынок, никак невозможно!

— Невозможно, говоришь? Но почему?

— Обычай этот вошел в нашу кровь с давних времен. Назови мне человека, который сможет его нарушить?

Чокан выпрямился, зарделся,— как он был похож в это мгновение и на маленького Канаша, победившего своих сверстников, и на Чингиза, принявшего важное решение. Он произнес единственное слово, но как его произнес:

— Я!

Мать оторопела, развела руками.

— Да, я! Чокан, сын Чингиза, Валиханов.

— Я не совсем понимаю тебя, сынок. Объяснись!

Тогда Чокан, как и в начале разговора, стал задавать матери вопросы, в которых, в сущности, заключался уже и ответ, а Зейнеп оставалось только соглашаться с сыном.

— Ведь это правда, что слова «раб» и «слуга» произносятся у родовитых казахов пренебрежительно? Правда, спору нет. Без купли и продажи не бывает ни рабов, ни слуг? И это правда!

— Но почему, Канаш, ты так настойчиво твердишь об этом?

— А потому, мама, что мы, казахи, рождаемся от рабов!

Это горячее утверждение сына поставило Зейнеп в тупик. Тут она и вовсе ничего не могла понять.

— Слушай дальше, мама! У нас, казахов, нет девушки, которая не продавалась бы за калым. Одна из них — ты сама.

— Я? Да что ты такое говоришь! Значит, по-твоему, я рабыня?

— Да, мама, и ты рабыня.

Чокан от волнения зашагал по тесному кругу юрты. Взад-вперед, взад-вперед.

— Ты шутишь, сынок. Разве бывают такие рабыни?

— По достатку, по известности ты не рабыня, мама. Ты — жена старшего султана, происходящего вдобавок из ханского рода. Ты — дочь знатного бия Чормана. Но при этом и за тебя платили калым.

Зейнеп теряла опору. Сын был вроде и прав, но было оскорбительно мириться с такой правотой.

Чокан почувствовал это и даже постарался как-то смягчить свои слова:

— Конечно, мама, у очень немногих казашек глаза, наверное, сияли так, как у тебя, когда ты впервые встретила нашего

отца. Но разве мало ты знала девушек, которых продавали уже не раз женатым больным старикам?

— Это божья воля,— только и смогла возразить Зейнеп.

— Не божья воля, а воля калыма, мама. И эту волю надо сломить, подрубить ее топором.

— Да разве, сынок, найдется такой человек?

И снова Чокан с гордостью произнес единственное слово:

— Я!

Ей было опять и непонятно, и страшновато.

— Какой ты глупенький у меня, сынок,— сказала она как можно нежнее.

Но Чокан как бы отверг милую, покровительственную ласку и с той же настойчивостью повторил:

— Да, я!.. Я первый среди казахов женюсь без калыма, женюсь на любимой и покажу пример другим.

Разговор достиг того накала, которого больше всего боялась Зейнеп. От жаркого, но несколько отвлеченного спора он с этого момента уже переходил к житейским делам и непосредственно касался судьбы Чокана, судьбы Валихановых.

— Так кто же она, это девушка? Назови ее, сынок.

Чокан, радуясь, что мать сама задала ему этот вопрос, посыновьи склонился перед ней:

— Вот мы и подошли к главному, мама. Помнишь, в народе говорят, что мать — это корабль...

— Скорее, пожалуйста! Обойдись без поговорок.

— Поговорки помогают. Вот я сказал, что подрублю калым под корень...

— А я тебе говорю, непосильно это для твоих слабых плеч,— перебила сына Зейнеп.— Калым — древний обычай. Из поколения в поколенье переходит. В тело народа впитался.

— Что ж, это правда, мама. Я не спорю.— Чокан вздохнул.— Потому и вспомнил про корабль. Чтобы переплыть море с такими глубинами,— надежный корабль нужен. И этот корабль сейчас рядом со мной.

Зейнеп не привыкла к подобной манере разговора. Разве что давным-давно, в отцовском ауле, слушала она такие не всегда ей понятные неторопливые и образные, перегруженные стихами-пословицами, речи биев. Ограничившись восклицаниями, она промолчала.

— Наши казахи,— продолжал между тем Чокан,— мудро сравнивают мать с кораблем.

Надежен с матерью бурный путь...
Утонет, но сыну не даст утонуть...

— Мама, милая, ты сама сказала, что старые обычаи впитались в тело народа, в нашу степь. Их еще никто не пытался трогать. Они затянули море, которым мы плывем. Мама, мамочка моя! С тобой я, как на корабле. Он может меня спасти. Сбросишь меня,— я задохнусь, мама... Пропаду...

Чокан опять превращался в беззащитного ребенка, голос его стал тоньше, вот-вот он мог расплакаться.

— Пропаду, понимаешь, пропаду!.. Пожалей меня, мама.

И Зейнеп смягчилась. Уже давно ставшая для окружающих властной ханшой, только что пытавшаяся спорить со взрослым сыном, она, слушая сейчас его жалобы, его ребяческие жалобы, принимала на себя всю боль Канаша. Она уже готова была во всем пойти навстречу сыну, лишь бы не сжималось так сердце.

— Ну, скажи мне, мальчик мой, просто, что ты хочешь от меня. Я все сделаю!..

— Я так и думал, что ты согласишься, мама. Ты мне ближе отца. У него тоже болит душа за меня, но по-своему, не так, как у матери. Он всегда помнит, что он потомок хана, старший султан. Он сочтет позором, если его сын, белая кость, женится не на байской дочери, а на бедной девушке.

— Вот и я так говорю,— Зейнеп сейчас поддерживала не сына, а Чингиза. И Чокан не сразу понял это.

— И я так говорю,— повторила мать, словно отказываясь от только что данного ею согласия помочь сыну.— Вспомни только, с какими людьми хотел породнить тебя отец. Разве старший султан Ахмет-хан Жанторе не слал к нам в Орду гонцов: «Дети подросли, пора принимать сноху». Разве при переезде из Кунтемиса в Сырымбет не отдали мы пастбища в счет калыма Осибу, сыну Узденбая, самого богатого после Есеналы в роде Сибанов? А какая у него, говорят, красавица-дочь! Разве не сватался отец с Ерденом, сыном Сандыбая, кочующим неподалеку от нас? Не Ерден ли держит в своих руках роды баганалинцев, чьи кочевья вокруг гор Улутау и Кшитау? Ведь дочь Ердена пошла красотой в его мать и будет светлой байбише, старшей женой.

— Слыхивал я о них, и не только о них,— Чокан улыбнулся грустно и хитро. Он знал, что мать может назвать еще много имен.— Так, значит, отец их всех прочит мне в жены?

— Ну и что!— рассмеялась Зейнеп.— У твоего дальнего деда, что воевал под пестрым знаменем[1], было двадцать пять жен, а у ближнего деда Уали — семь.

— А у моего отца?— не без лукавства спросил Чокан. И

[1] Речь идет об Аблай-хане — Примечание переводчика.

мать и сын рассмеялись.— Ты одна у отца, одна. Куда мне его обгонять?

— Твое дело, сынок. Но свой аркан набрасывай только на тех, кого я назвала или о ком подумала.

— Мой аркан, мама, уже наброшен,— снова накалил разговор Чокан, но на этот раз уже без отступления.

— Не томи, говори,— зная, что недоброго не избежать, воскликнула Зейнеп.

— Айжан, мама!

После напряженного молчания, после уверенных и даже дерзких слов Чокана робко прозвучал упавший голос Зейнеп:

— Боже мой!.. А я-то подумала, когда слух дошел до меня, что это просто шалости... Мало ли чего не бывает в молодости!

— Нет, не шалости, а правда, мамочка. Что она красивая, ты это знаешь. А какой ум у нее, как она много читала! Хорошая она! Великие слова я произношу без стыда: Айжан — моя жена.

— Постой, Канаш, но кто вас благословил?— совсем растерялась Зейнеп.

— Наша общая совесть, мама. Я же тебе говорил сегодня:

...Чтоб совесть сберечь — можно с жизнью расстаться. Значит, я должен жениться или...

— Не надо, Канашжан, обойдемся без последнего слова.

— Не бойся, мама. Не произнесу. Мне еще рано умирать. Да и зачем умирать, если можно просто сдержать свое слово. Мне не нужна дешевая смерть. Почему я говорю, дешевая? Да потому, что мне очень легко жениться на любимой девушке. А начнут душить наши обычаи, степные законы, обращусь к русским друзьям. У них тоже есть закон. Он сильнее нашего. И охранит меня. С ним и отец мой Чингиз, и тысяча Чингизов не справятся.

— Что же ты тогда так волнуешься?

— Потому что уважаю и тебя, и отца. Особенно тебя. Если бы вы меня благословили!

Зейнеп печально посмотрела на сына.

— Что обо мне говорить? Я ведь у очага сижу. Хочешь, Канашжан, поговорку? У меня они тоже есть в запасе.

Смелость у баб — на вороний шажок,
Мужество баб — вскипятить котелок.

— Я ничего не значу, сынок,— продолжала Зейнеп,— вся тяжесть упадет на твоего отца. Тебе-то что, взял свою девушку и укатил в Омск или еще куда-нибудь подальше. А отец останется в ауле со всеми своими друзьями и недругами. Будет

по-твоему,— вот и получится: многие друзья отшатнутся, а врагов прибавится.

— Знаю это, мама, но ведь и сам могу быть ему опорой. Ты спрашиваешь, как? Да я еще в Омске предвидел, что так может получиться. И посоветовался с одним очень важным господином. Он-то мне и сказал: «Не бойся ты и пусть твой отец не боится. Пока я живу, никто вас не укусит».

— Ой-бой, солнышко ты мое. Омбы — далеко, аулы — рядом. Нам кокчетавский урядник ближе твоего генерала.

— Но твой урядник, мама, перед омским начальством бегает куропаткой. Ему только моргнут, а он из кожи лезет, старается. Отец это знает. И я хочу, чтобы он согласился со мной. Его надо уговорить. И только один человек сумеет это сделать.

И в ответ на полный недоумения взгляд матери Чокан с прежней решительностью сказал:

— Ты!

Зейнеп недоумевала еще больше.

— Да, мама, ты — и никто больше. Отец только на людях хорохорится: «Я Чингиз, Чингиз!» А дома ханом часто бываешь ты. Помню, он тебя побаивался. Что он с тех пор храбрее, что ли, стал? Нет, говоришь, не стал. Я тоже так думаю. И не зря в народе говорится: муж — голова, а жена — шея. Куда шея повернет, туда голова и глядит. Ты, мама, сильная шея. Я помню, как ты его поворачивала. Еще до моего отъезда в Омск. Поговори сама с отцом. Согласится отец с нами или нет, я выполню свое обещание Айжан. Я передаю тебе свой груз, тяжелый груз, потому что тебя отец будет слушать, а меня нет. И еще потому, что боюсь надерзить. Не хочу ему говорить в лицо обидные слова, не хочу с ним ссориться. Выкажет он отцовские чувства — всегда его буду защищать, сам приду, если нужно, к нему на помощь.

Зейнеп в ответ на эту долгую речь сына ничего не сказала. Она промолчала и потому, что соглашалась исполнить просьбу Чокана, и потому, что не была уверена в отзывчивости Чингиза.

— Что же ты, мама, ничего не говоришь?

Зейнеп помедлила еще некоторое время.

— Куда же я денусь сынок, попробую. Вот только согласится ли он?

— Мамочка моя!..— Чокан снова обнял Зейнеп, но в это самое время в юрте появился Такырбас и сообщил, что кушанье приготовлено так, как просили.

— Приноси скорее,— сказала Зейнеп.

Такырбас исчез. В эти минуты Зейнеп уже обдумывала свой будущий разговор с Чингизом.

— Трудную ты задал задачу, сынок. Только давай не будем сразу лезть в огонь. Отец места сейчас не находит себе. Пусть поостынет немного. А тогда и поговорю с ним. Надобно с умом и с осторожностью действовать. Да и без хитрости не обойдешься.

Опять немного помолчала.

— Вот что, сынок. Отправляйся-ка в свой Атбасар. А я осторожно попытаюсь склонить отца в твою сторону. Чем все кончится — сообщу с гонцом.

Обнадеженный Чокан, по-детски пачкая себе губы,— обычно в Омске он ел с аристократической аккуратностью,— полакомился творогом с кипячеными сливками, освежился кумысом и решил напоследок проехаться верхом вокруг озера. Обязательно на послушном иноходце и только вдвоем с Такырбасом. Его вознамерился сопровождать и Токбет, потерявший было своего офицера, но Чокан велел ему остаться.

К юрте скоро привели оседланных коней.

— А я пока помолюсь за тебя, сынок,— вздохнула Зейнеп.— Один намаз уже пропустила.

Едва исчез в отдалении перестук копыт, как зашла Асыл; ее долг был постоянно находиться возле ханши. Только стали готовиться к молитве, расстелили коврик из шкуры жеребенка, наполнили кувшин водой, как неожиданно в юрту припожаловал новый гость. Он вошел так внезапно и так стремительно, что Зейнеп перепугалась, но тут же с облегчением вздохнула, узнав в нем Жакыпа.

Впрочем, он сразу повел себя настолько резко, что Зейнеп почувствовала что-то недоброе. Он грубовато выпроводил Асыл и не просто выпроводил, а отвел подальше от юрты,— мол, пусть она не будет слишком любопытничать.

— Не вздумай возвращаться, пока я не переговорю с мамой.

С первых же слов Жакыпа Зейнеп догадалась, что он подслушивал ее разговор с Чоканом. Да, это было действительно так. Спрятавшись у обрыва в тальнике, примыкавшем к юрте, он не пропустил ни одного слова из беседы матери с младшим братом. Уши Жакыпа были чуткими, как у зайца. Он слышал каждый шорох, каждую фразу, произнесенную шепотом. Решетка юрты, кереге, нисколько не мешала ему.

Грубоватый Жакып достаточно тонко понимал особые отношения между отцом и матерью, знал, почему мать, а не отец разговаривает с Чоканом. Для взрослых детей не было тайной, что в свое время, когда отец увлекся в Омске дочерью богатого татарина-купца и собрался со всей решительностью юноши

жениться на ней, вмешалась именно бабушка Айганым. А в Орде считали, что Зейнеп нисколько не уступает ей твердостью характера.

«Как же так случилось»?— думал Жакып.

Как же так случилось, что мама, всегда поддерживавшая отца, мама, ни в чем не умевшая до сих пор уступать детям, покорно пошла на поводу у Чокана, смирилась с его капризом, даже не попробовав защитить честь Орды?

Что же будет?

Слава потомков Уали-хана и так подверглась испытаниям и сильно пошатнулась, с горечью рассуждал Жакып. Теперь станет еще хуже. Теперь враждующие с нами почувствуют свою силу, а друзья станут врагами. Чего стоит один Ерден! Он держит в своих руках многочисленные баганалинские аулы, и если Чокан не женится на его дочери, Ерден посчитает это оскорблением, и тогда все население юга Кокчетавского дуана отвернется от Чингиза. Ерденов в степи немало. И если на их сторону станет Малтабар со своим сундуком денег, то что сможет противопоставить им горсточка ханского рода, к тому же не собранная в кулак, а разбросанная по всему степному простору?

Усевшись рядом с матерью на мягкой подстилке, Жакып откровенно поделился с ней всеми своими мыслями. Зейнеп считала его с детства хитрым и грубоватым, обделяла его материнской любовью, чуть что, хлестала по щекам, и тем самым воспитывала в нем трусость и скрытность. Сын еще больше отдалялся от нее, и она сторонилась сына, убежденная, что ничего путного из него не получится. Однажды вместе с братом Мусой в Орду приехал один из самых умных биев ее девичьего рода Каржас-Сулейменов — Секербай, сын Акпана. Показав на Жакыпа, он неожиданно сказал Чингизу:

— Зять, оказывается, этого своего сына ты держишь в черном теле. Из таких молодых баламутов вырастают сильные люди. Так старики говаривали. Помяни мое слово, властвовать будет он.

Зейнеп вспомнила эти слова, слушая сейчас Жакыпа.

— Оказывается, мой дурачок уже начинает умнеть!

И пожалела, что так быстро согласилась во всем с Чоканом. В самом деле, надо оградить Орду от нависшей над ней беды. Пока Зейнеп с Жакыпом раздумывали, как это лучше сделать, отвергая одну возможность за другой, в юрте неслышно возник Такырбас. Мать и сын воскликнули чуть ли не одновременно:

— Зачем ты пришел?

— Султан послал,— ответил слуга.— Он призвал к себе Мукана, сына Жолтабара. Но до отъезда, говорит, нужно встретиться с Жакыпом.

Мукан, сын Жолтабара, считался старшим джигитом своего аула. У него рано появилась борода отца и в свои тридцать он уже стал хозяином прочного дома. Он успел получить в Петропавловске небольшое образование — и русское и мусульманское. Мукан выделялся своей порядочностью среди младших Атыгаев, поэтому Чингиз частенько доверял ему важные поручения, опирался на него. Но куда же на этот раз решил послать его Чингиз, не знали ни Зейнеп, ни Жакып. Впрочем, они догадывались, что-то тут неспроста. И когда Жакып уже покидал юрту, Зейнеп на всякий случай предупредила его, чтобы он у отца вел себя сдержанно, не говорил ему лишнего, не бросал тень на мать:

— Он и так готов шарахнуться в сторону, как напуганная лошадь. Не надо его тревожить, пока сами ничего не решили. Вот узнаем, зачем он вызвал Мукана, пройдем по его следу, а уж потом посоветуемся. Еще раз прошу, сын, не навлекай гнева отца, подожди ему говорить о нашем разговоре.

У юрты Чингиза Жакып увидел всадника.

Это и был Мукан. Он уже отъезжал одиноким гонцом, которому могли помешать лишние свидетели.

Жакыпа терзало любопытство, но не зря же пообещал он матери не беспокоить отца лишними расспросами.

## Отец

Пускай Жакыпу еще неизвестно, зачем Чингиз пригласил Мукана и куда он его послал, но мы готовы рассказать об этом во всех подробностях.

Вы уже знаете, что Чингиз глубоко обиделся на Чокана, который в час своего приезда не отправился в юрту отца с приветствием. Знаете вы и о том, как оскорбился Чингиз желанием сына связать свою судьбу с Айжан. Уже одного этого с избытком хватило бы для того, чтобы помрачнеть и надолго выйти из равновесия. Так нет же! На голову султана свалилось еще одно горькое известие. Его сообщил Жарылгамыс. Три известных барымтача, три вора — Кожык, сын Макаша, Медебай, сын Ертысбая, и Баубек, сын Мекмырзы, сговорившиеся вначале не ехать на Атбасарскую ярмарку, внезапно изменили свое решение. Сперва напуганные слухами о войсках, они, узнав о болезни большого жанарала и о том, что Чокан приез-

жает с небольшим отрядом, задумали теперь если не убить, то, по крайней мере, жестоко проучить этого выскочку из Орды, этого ханского потомка, напялившего на себя русский офицерский мундир. Одному аллаху ведомо, кто им сообщил, что Чокан нашел дело Кожыка и приготовился бороться с вольными степными конокрадами, на которых так трудно было найти управу.

Когда Чингиза предупредили об этой опасности, он не на шутку испугался. В нем теперь заговорила не оскорбленная честь, не уязвленное самолюбие, а самое обычное, скрытое от посторонних взоров, отцовское чувство.

Пощади моего сына, Аллах!

Ему, степному султану, пришлось видеть однажды, как жеребцы защищают табун от волчьей стаи. Верблюд не подпускает зверя и человека к верблюдице с верблюжонком. Даже, казалось бы, беззащитные мирные бараны,— и те приходят в ярость, когда на ягнят нападают хищники. Чингиз, правда, не видел, но слышал рассказ о том, как баран своими рогами проломил голову волку. Уж на что миролюбивые коровы, но и они заключают телят в кольцо в случае опасности.

Как же людям не оберегать своих детей?

Как же отвести от сына эту угрозу?

И Чингиз вспомнил.

Не так далеко от гор Акана живет бий Саккулак, правнук знаменитого канжигалинского батыра Богембая. Род Канжигалы — оба его крыла: Кыргызбаи, населявшие склоны Ерементау, и Тенгизбаи, зимующие в урочище Отынагаш,— вместе собираются на джайляу, прикочевывая к берегам озер Калмакколь и Салкынколь. Они приветствуют живущих и молитвами чтут память тех, кто ушел. Особенно гордятся они славой батыра Богембая. Он жил во времена Аблая и своими годами был старше хана. Один из углов белой кошмы, на которой сарыаркинские казахи подняли Аблая и провозгласили его ханом, держал Богембай. Поэтому Аблай-хан до конца своих дней почитал батыра-канжигалинца и заботился о нем, и это уважение передавалось в Орде из поколения в поколение. Саккулак, сын Туранали, правнук Богембая-ата, был старше Чингиза на целый мушель[1]. Орда жила бы с канжигалинцами в дружбе и согласии, если бы однажды Чингиз, уже старший султан в Кусмуруне, обидевшись на друга и сородича Саккулака острослова Асубая, не отобрал у ретивого оратора его зимовье. К счастью, костер вражды не разгорелся. И когда их

[1] Мушель — цикл в двенадцать лет по старинному казахскому летоисчислению.

аулы неожиданно встретились у речки Кулайгыр, Чингиз, как приехавший раньше, зарезал кобылицу в честь соседа, соблюдая обычай ерулика. Так они отпраздновали конец давней ссоры и возрождение прежней дружбы.

Теперь Чингиз надеялся на Саккулака, как на свою верную опору.

Гонец Мукан мчался к берегам Калмакколя, не останавливаясь на пути. И ранним утром, еще перед дойкой кобылиц, спешился в ауле Саккулака.

Немедля он передал ему просьбу Чингиза.

Саккулак сразу ответил согласием. Но как бы огорчился Чингиз, узнав, что он сделал это не ради него, а ради сына. Пускай на речке Кулайгыр произошло примирение, но Саккулак продолжал недолюбливать султана — и за его властолюбие, и за то, что он не брезговал взятками и поэтому далеко не всегда был справедлив. Не по душе была Саккулаку и жестокость Чингиза по отношению к Чокану.

А себя Саккулак считал честным бием и стремился следовать поговорке:

Без родичей бий рассудит по чести,
Рассудит без чести с родней своей вместе.

Поговорка-поговоркой, но к родичам своим Саккулак все же прислушивался и вряд ли принял бы близко к сердцу просьбу Чингиза, если бы не Чокан.

Он даже не знал в лицо молодого султана, но, понятно, и до него дошли вести, что он учится у русских в Омске.

В конце концов и это обстоятельство мало взволновало бы влиятельного бия, не случись давно невиданных по своему размаху поминок по Емену из рода Курсары-Керей. На ас — поминальный той — прибыли посланцы со всех концов казахской степи. Приехал из Баянаула и Муса, сын Чормана. Уважаемый Муса не пожалел самых высоких слов для Чокана, надежды степи, ее звезды. Вспоминал речь Чокана на выпуске в Омском кадетском корпусе, ту речь, в которой Чокан говорил о будущем казахского народа, о необходимости единения казахов.

Так, еще ни разу не встретив Чокана, Саккулак потянулся к нему всем сердцем. Нет, он не даст в обиду человека, который может стать гордостью всей степи казахов, он не позволит погасить восходящую звезду.

И по мере того, как в уме Саккулака зрели мысли о самых надежных мерах охраны молодого султана, одновременно в нем росло раздражение против Чингиза. Обычно сдержанный, он даже выругался при гонце:

— Вот пестроногий пес! Значит, тревожиться начал. А еще вчера мечтал о мясе своего же волчонка. Значит, узнал страх отца... Ну, вот что, Мукан. Возвращайся по своему следу и скажи султану: я скоро приеду в Орду. Пока же пусть постарается не отпускать сына в Атбасар. Придумаем что-нибудь. А ты должен...

— Простите, что прерываю вашу речь,— почтительно сказал Мукан,— похоже, Чокану уже надо ехать в Атбасар. Кажется, сам жанарал приказал ему проводить ярмарку. Ему и возвращаться нельзя без этого.

— Ты должен сделать все, чтобы Чингиз немедля сам договорился с сыном,— продолжал Саккулак.— Не удастся тебе, сам их сведу, посажу друг против друга. Помирю. И тогда мне легче будет отвести удар от Чокана.

Еще до отъезда Мукана Саккулак уже начал сплачивать своих сторонников. Спору нет, степные воры сильны, но, однако и трусливы. Подняться на них всем народом, сразу хвосты подожмут. Число, как говорится, пугает, в глубине утонуть можно.

Прежде всего Саккулак привлек на свою сторону сыновей Мендеке — самых уважаемых в тенгизбаевской ветви канжигалинцев. Семь братьев — семь батыров: Шаупкель, Шанки, Мендыбай, Бабырак, Аркай, Шокай и Бельгибай. Они умели сбрасывать противников с седел, смелые, с кровью хмельной, словно кумыс, сильные своим единством. Самого волевого из них — Шаупкеля и самого красноречивого — Шанки Саккулак пригласил к себе:

— Нельзя позволить ворам позорить Орду Аблая. Вы же знаете, что мой предок Боген подымал белую кошму хана. Сяду на коня и призову дух деда. Сыновья Кыргызбая со мной, а с кем будете вы, потомки Тенгизбая?

— С кем Боген, с тем и наш предок, Сакага,— прямо и уважительно ответил Шанки.— Ты его назвал,— значит, и мы седлаем коней следовать за тобой.

«Мои канжигалинцы не подвели»,— подумал Саккулак. Потом он заручился согласием всех восьми ветвей рода Караул, а он составляет большинство Кокчетавского дуана. Оставался еще Атыгай — двенадцать родственников Даута, но и они недолго колебались.

Саккулак мог бы выехать к Чингизу вместе с Муканом, но он послал его вперед, чтобы смягчить султана, подготовить его к встрече. Была еще другая, пожалуй, более веская причина. Вслух о ней он не говорил. И дед, и отец Саккулака, и сам он никогда не приезжали в Орду с пустыми руками. На крайний

случай — с жеребенком. Но для серьезного дела пригоняли необъезженную кобылицу или даже небольшой табунок. На этот раз ограничиться одной лошадью по разумению Саккулака никак нельзя было. А так как достойный бий был не только справедлив, но и не лишен житейской сметки, то он направился к тихому баю Карасаю, владевшему тысячью и еще несколькими сотнями лошадей. Тихий бай был польщен просьбой Саккулака дать в свиту его сыновей — Жинжигита, Байжигита и Майжигита. Карасай расщедрился и выделил Чингизу табунок из необъезженных трехлеток и четырехлеток.

Так Саккулак, спустя два-три дня после Мукана, появился у Аканских гор в сопровождении пятнадцати всадников-канжигалинцев и с хорошим подарком, который ему вдобавок ничего не стоил.

Но, увы, Чокана ему застать не удалось.

Как сказали в Орде, Гутковский уже выехал из Омска на ярмарку в Атбасар и через имантауского урядника вызвал туда Чокана.

Все это было не совсем так.

Чокан мог бы еще повременить с отъездом, но его так одолевали многочисленные жалобщики и просители, что он просто был не в силах всех их выслушать.

Пусть и Аппас, и Токбет, и Такырбас вместе с другими толенгутами всячески старались оберегать покой Чокана — у них ничего не получалось. Из многих ближних и дальних аулов приезжали и приходили люди, уже изверившиеся в султане и стремящиеся найти защиту у его сына. Только со стороны гор им был прегражден путь, только в открытой степи их можно было приметить и остановить, но сколько скрытых тропинок в оврагах, поросших тальником, сколько невидимых глазу лесных дорожек приводило к Орде?

Это стало известно еще тогда, когда Чокан вместе с Такырбасом объезжал озеро. Они вернулись перед рассветом, выпили кумыса, и Чокан улегся на приготовленную ему польскую кровать, укрывшись с головой плотным шелковым одеялом. Казалось, он был отгорожен от всех звуков мира и ничего не должно было мешать его молодому глубокому сну. Крепко заснула и мать, решившая сторожить покой своего Канаша. Проснувшись, Чокан захотел побродить в примыкавшем к Орде лесу, насладиться одиночеством, но стоило ему сделать несколько десятков шагов, как он оказался окруженным людьми, наперебой стремившимися рассказать ему о своих обидах. Нет, он не отвернулся от них, но понял, что так ничего не получится. Установить какую-нибудь очередность было ему не под

силу. Не помог и Токбет, внезапно появившийся с ружьем, обеспокоенный за своего офицера. Токбет только напугал жалобщиков, и они разбежались.

А в другой раз в том же лесу, прогуливаясь опять с Токбетом, Чокан встретил молодого черноусого джигита, высокого и красивого, вполне прилично одетого. Токбет схватился было за ружье, но Чокан властно остановил его.

— Ты кто такой?— спросил он джигита, но тот в ответ залился слезами.

— Скажи, в чем дело и, пожалуйста, успокойся.

Джигит продолжал плакать.

Чокан даже выругался:

— Да перестань же ты, наконец.

И тогда чувствительный красавец запел:

Я попал в большую беду,
Шел с надеждой к Чингизу в Орду.
Но собака-Жакып напал
И уездному передал...
Не дошел до уездного плач,
Не помог мне ни в чем и толмач...

Далее джигит пел почему-то о том, что не надо раскрывать своих тайн перед женщинами, и если бы Чокан не остановил его, то продолжал бы и дальше так же печально и не совсем понятно.

История и впрямь оказалась достаточно запутанной.

Араб — так звали джигита — был табунщиком Исы, сына Шормана, дяди Чокана по матери.

Когда Иса поехал сватать у богатого бая Бердалы невесту для своего сына Зынды, его сопровождал Араб. Там, на берегу Иртыша, статному табунщику приглянулась молодая жена одного из сыновей Бердалы, и Араб тоже сразу пришелся ей по сердцу. Они сговорились и на другую же ночь сбежали.

К себе в аул Арабу возвращаться было опасно.

Тут он вспомнил, что Зейнеп, уже будучи женой Чингиза, навещала Баянаульские края. Был праздник-той. На байге Араб завоевал первый приз, и Зейнеп приглашала джигита к себе в Орду. Вот теперь он вспомнил ее приглашение. Добрая женщина, она могла бы дать приют молодым беглецам. Но не успел Араб повидаться с ней, как Жакып, которому понравилась похищенная женщина, состряпал донос: мол, так-то и так-то, у нас скрывается известный вор из Баянаула. А у Араба бывали грехи, случалось, и он, как лихой джигит, участвовал в барымте — угоне лошадей вместе с конокрадами шормановских

ских аулов. Араба посадили. Жакып пообещал беглянке жениться на ней и уговорил ее стать свидетельницей против Араба. Она легко согласилась. До настоящей женитьбы дело, правда, не дошло, но, однако, она стала хозяйничать в его доме. Что касается Араба, то он сбежал по дороге в Петропавловскую тюрьму. Где-то он услышал о приезде Чокана и, убежденный в его уме и справедливости, подкараулил его в лесу.

Чокану джигит показался не очень серьезным человеком. Конечно, Чокан сумел бы заставить Жакыпа вернуть молодуху табунщику, но зачем?

— Слушай, Араб, неужели тебе нужна жена, которая так легко отреклась сначала от своего мужа, потом от тебя? Она же выходит замуж за кого попало. Возвращайся домой, джигит! Я напишу письмо мырзе Мусе, он меня послушает и тебя не даст в обиду. Будешь жить как раньше.

Табунщик жалко и растерянно улыбнулся. Он понял, что молодой султан подсказывает ему самый лучший выход.

Жалобщики были и такие необычные, и самые обычные. Баи жаловались на конокрадов, конокрады на баев, чабаны и табунщики — на тех и других, а все вместе и на волостных, и на урядника, и на уездное начальство. Многие жалобы можно было рассмотреть только в Омске, да и то далеко не все. Чокан знал: его силы ограничены, их зря преувеличивают земляки. Но как ему хотелось помочь своим родным степнякам! И в такой же мере он боялся прослыть человеком, легко дающим обещания и не выполняющим их.

Поэтому, когда представилась возможность покинуть аканские предгорья вместе с конным взводом, посланным в Атбасар, он немедленно воспользовался ею.

И дело было вовсе не в желании сбежать от просителей и, тем более, не потому, что у него сложились натянутые отношения с отцом,— как подумал про себя Саккулак, впрочем, не очень огорчившийся его отсутствием.

Сейчас не доехал до него — значит, доеду позднее. Пусть определит сам, кто у него друг, а кто недруг. Пусть сам барахтается в своем жизненном море — Тенизе.

Осетр по теченью плывет во мглу,
Пока не упрется носом в скалу.

Встретит скалы и Чокан. Будет бунтовать и пениться кумыс в его переполненной сабе, пока он ее не осушит. Ведь только смерть, как пел акын Орынбай, охлаждает пыл человека.

Чокан уехал, а Зейнеп и Чингиз продолжали свои споры о нем и ни о чем не могли договориться. И появление Саккулака пришлось как нельзя более кстати.

Чингиз привык считаться с канжигалинским бием, и Зейнеп видела в нем своего человека. Одна из жен Саккулака — Коянкоз, принадлежала к богатой ветви Боштаев из рода Суюндуков — Каржасов, родичей Шорманов. Зейнеп знала бия давно, привыкла к нему и, ласково шутя, прозвала его Каска Кайнага, намекая на узкую седую прядь, спускавшуюся по виску к бороде... Не оставался в долгу и Кайнага, наделивший степенную женщину игривым прозвищем Красная телка. Так они подсмеивались друг над другом, давая волю и языку и рукам, не обижаясь на шутки, а Чингиз только снисходительно улыбался. Ишь, разыгрались, словно совсем молодые!

Вдоволь посмеявшись вместе с джигитами, спутниками Саккулака, Зейнеп отправила их в гостевую юрту. И когда они остались втроем, первая заговорила о сыне, заговорила серьезно и спокойно, ни о чем не умалчивая. Словно нехотя растягивая слова, пожаловался на сына Чингиз, озабоченный и его и своей собственной судьбой. Спокойно выслушав жену и мужа, неторопливо и издалека, как подобает биям, вступил в беседу Саккулак.

Начал он с благодарности Чингизу за добрую память, приглашение и доверие. Привел пословицу:

Друг правды не скроет, пусть правда горька.
А сладкая ложь — это стрелы врага.

— Ты же веришь мне, как другу. Ты же младше меня, Чингиз. Так вот слушай. И ты, Зейнеп, слушай. Мы часто дуемся, задираем носы, хвастаемся — мол, мы такие и такие, вспоминаем достоинства своих предков. А что мы сами знаем, кроме казахских обычаев? Темные люди мы. Но ведь ты, Чингиз, и мусульманское учение хорошо знаешь, и в русском училище был, и по свету много ездил. Ты — человек с открытыми глазами, понимаешь, как течет время. И вдруг ты стал ему наперекор. Почему ты заставляешь Чокана жить по-старому? Женись на той, женись на этой. Да, Чокан рожден от тебя, телом своим, кровью своей обязан тебе и Зейнеп. Но душа-то у него уже другая, и жизнь другая. Подумай сам, он будет подчиняться русским обычаям или нашим, уже устаревшим? Почему я говорю устаревшим? А вот почему: мы и кочуем уже не так, как кочевали наши предки и не проводим жизнь в походах, как прежде. Предки наши женились на пленницах и строго соблюдали закон аменгерства — брали в жены вдов погибших

братьев. Теперь все решает калым, люди кое-где стали оседать. Легко жениться тому, кто имеет скот, а безлошадный обнимает свои колени. Богатых мало, бедных — много. Вот и попробуй жить по прежним обычаям. Разве они не устарели?

— Твоя правда, Кайнага,— кивнула Зейнеп.

— А посмотрите, как у русских,— продолжал свое Саккулак.— Говорят, у них нет калыма, говорят, женятся, на ком захотят...

— Вот и наш Канашжан толкует об этом,— робко произнесла Зейнеп.

— Да, я слышал, что молодой султан хочет по-своему поступить...

— Ты отгадал, Кайнага.

— Я-то отгадал и спокоен, а вот ты, Чингиз, думаешь, что этим посрамлена твоя белая кость. Сын женится на дочери простого человека. Ты лучше вспомни и тогда не будешь огорчаться. Среди всех жен твоего деда Аблая — половина были рабынями, взятыми в плен в походах. Сам знаешь, твой отец Уали положил ногу на свою служанку, собиравшую кизяк, и родились твои братья Шеген и Шепе. Да и мой отец — Бапан — родился от плененной калмычки.

— Ай, что ты перебираешь старое, Сака?— недовольно пробурчал Чингиз.— Приступай сразу к главному.

Но разговорчивого бия уже нельзя было остановить.

— Нет, ты и пророка нашего вспомни, Мухаммеда. Ты ведь читал священные книги. У него из четырех жен — две были рабыни. А свою последнюю жену — Гайшу он взял, когда ей было девять лет.

Зейнеп прыснула.

— Стыдно смеяться, Красная телка!

— Да будет благословенно его имя, но что он с такой маленькой делал?

— Шариат разрешает выдавать замуж любую девочку — лишь бы она устояла, когда ее ударят по голове.

— Шариат, шариат... Ты лучше свои истории заканчивай,— снова пробурчал Чингиз.

— Хочешь, чтобы закончил, так слушай,— Саккулаку очень не нравилось, когда его перебивали.— Не вмешивайся в женитьбу твоего Чокана. Не твое это дело! Понимаешь?

— Говоришь, не мое дело? А чье же?

Саккулак пристально поглядел на раздраженного собеседника, повторил несколько раз — «дело, дело» и уже потом сказал, чуть повысив голос:

— Да, и твое, и мое, и всего нашего народа. Ты подумай

вот о чем. От старых законов, от старых обычаев мы уходим, а к русским законам никак не можем дойти. А ведь мы должны их усвоить, иначе нам жизни нет. Но как дойти — и ты не знаешь, и я. Аульные мудрецы у нас есть, однако и они не знают. Вот о Чокане этого не скажешь, Он многое постиг в жизни русских. Нам досталось присловье от старших:

Не говори: «Вот простой асык»,
Когда в него влит свинец.
И если юный умом велик,
Не говори, что юнец.

— Пусть мой язык об острый камень зацепится, но ведь идет же молва в степи: у твоего джигита высокие стремления и ум. Не будем ему мешать. Не будем хватать его за стремя, если он смело шагает вперед.

Вперед молодой устремляется круто,
А старшие ставят идущему путы.

— Давай, Чингиз, избавим Чокана от пут. Женится, не женится — его дело, его воля. А то, что он вырастает в батыра и может стать во главе народа,— это уже и наша забота. Давайте будем ему помогать, беречь его. В этом, Чингиз, ты прав. И я сделаю все, что могу.

— Кайнага, Кайнага, верные слова говоришь,— Зейнеп даже расплакалась от умиления.

Но тут доложили, что мясо уже сварилось. И коль скоро надо было садиться за дастархан, пришлось прервать умные речи и перейти к легкой беседе, не мешающей оценить запах и вкус жирного жеребенка.

На следующий день Саккулак и Чингиз терпеливо беседовали с приглашенными из разных родов уважаемыми людьми, советовались с ними, убеждали принять меры против воровского воронья, уже готового слететься на Атбасарскую ярмарку. Всем было известно, что Кожык замыслил напасть на Чокана, все знали, что у Кожыка немало сторонников.

Решил так: направить к ворам почтенных посланцев. К самому Кожыку послать признанного всеми уаками храброго Самырата, сына батыра Ермека; к другому известному вору — Медебаю — виднейшего представителя кереев Жаназара, сына бия Жангырши; к Баубеку, соратнику первых двух, от атыгайцев поехал Саркес, сын бия Сандыбека, чье имя знали и в Прииртышье, и в Приишимье.

Каждому вору с подобающей значительностью было сказано, что если он и все они попытаются хоть пальцем тронуть Чокана, то четыре рода Атыгай, Караул, Керей и Уак вместе с присоединившимися канжигалинцами и курлеутами пойдут на них. Готовы ли вы к схватке? Никто из воров не ожидал такого поворота событий. Воры испугались, смирились, даже клятву дали, что ничего не предпримут.

Говорят, если умело сложить и поджечь, то загорится и снег.

В тот же день Зейнеп и Саккулак взяли в такой оборот Чингиза, так нажали на него, что он покрутился, покрутился и, не найдя тропок из тупика, сдался:

— Хорошо, пусть будет по-вашему. Я бы мог не пойти на поводу у сына, мог бы смириться с тем, что долго не увижу его. Ну, а вас, а тебя, Зейнеп, я обязан слушаться... Ты богом данная мне жена. Я уже на середине пути, на перевале. С этого перевала — путь под гору. Значит, я должен опираться на вас, у тебя искать защиту, Саккулак. Я же обратился к тебе, когда мне стало трудно. И если уж ты с моей байбише объединился, как же я с вами не соглашусь.

Однако на ярмарку Чингиз все-таки не поехал. Отговорился болями в пояснице. Своим сказал откровеннее:

— Меня именем нашего предка не зря назвали. Буду им дорожить. Не падать же мне на колени перед сыном. Вот приедет — и поговорим. А ярмарка и без меня обойдется.

Самым многолюдным местом в степи в эти летние дни стал Атбасар.

Со всех концов тянулись сюда подводы, повозки, арбы, верблюжьи караваны.

Со всех концов гнали сюда табуны и отары.

В России впервые узнали о такой ярмарке и придавали ей большое значение. Даже из Нижнего Новгорода, из Макаржи, как называли его казахи по имени известной Макарьевской ярмарки, прибыли сюда купцы со своим товаром. Из Сибири, из дальней Кяхты добрались в степь оборотистые торговцы. Из Коканда и Андижана явились уже давно проторившие путь к аулам ловкие продавцы шелка, каракуля, сухих фруктов. Представлены были на ярмарке и Ургенч, и Хива. Ярмарка приманила казахов всех жузов — здесь можно было встретить приехавших с юга из Копала и Алматы, с запада — из Иргиза и Тургая, словом, отовсюду, откуда можно было доехать.

Губернаторство Западной Сибири, представляя возможные масштабы ярмарки, заранее послало межевиков и строителей,

определить для нее место поудобней и покрасивей. Пойма двух небольших рек — Жабая и Керегетаса, двух притоков Ишима,— оказалась наиболее привлекательной. Почти стоверстное по радиусу пространство заросло густой, как спутанная шерсть, травой. В ней прятались и пресные озера и бесчисленные родники с холодной целебной водой.

Неподалеку от одного такого озера у самого слияния Жабая и Керегетаса разбила свои палатки казачья сотня. Чокан непрочь был поохотиться на гусей и уток, гнездящихся в озерных камышах, побродить в поисках дудаков с ловчими птицами — ястребом или соколом, но Мукан предупредил еще в Орде, что Кожык затаил на него злобу, и Чокан редко отлучался из казачьего лагеря. Кто знает, может, приглашавшие на охоту были связаны с ловким вором. В степи всякое бывает. И Чокан отказывался, ссылаясь на свою занятость ярмарочными делами.

Чокан знал, что отец призвал на помощь канжигалинца Саккулака, но состоялись ли эти переговоры и чем они окончились, ему не было известно.

Правда, его сыновнее сердце дрогнуло. Значит, отец думает о нем, беспокоится.

Но когда Мукан спросил его — неужели и теперь не пойдешь в юрту отца?— Чокан ничего не ответил. Про себя он подумал, что не откажется от женитьбы на Айжан. Он был в неведении, сумела ли мать склонить отца на его сторону. В неведении он и уехал, готовый простить отцу все за одно его доброе согласие. В неведении и беспокойстве отдыхал он в офицерской палатке, если не нужно было выезжать по ярмарочным делам.

Зато как обрадовался он приезду Мукана! Уже по его глазам он увидел, что тот прискакал с добрыми вестями. Отец оказался душевней, чем он до сих пор считал.

А когда Мукан сообщил ему все подробности, Чокану захотелось вернуться в Орду.

И он с нетерпением стал подсчитывать дни, оставшиеся до закрытия ярмарки.

## Наркыз

Но ярмарка только начиналась. Начиналась стремительно и азартно, с каждым днем набирая размах. Покупаем, продаем, наживаемся... Безгранично росли прибыли торговцев. Не было числа скоту, в особенности — овцам и лошадям, пригнанным из аулов. Шерсть и кожа, с трудом находившие прежде

сбыт, стали тоже приносить немалые доходы. Весело позвякивали и шуршали деньги даже у тех, у кого они раньше не водились. Скот и сырье ценились дешево, но хозяева легко расставались с ним. Лишь бы деньги, деньги, деньги! Лишь бы приодеться да приобуться, лишь бы запастить чаем да сахаром. Степь истосковалась по товарам и поглощала почти все, что ей теперь предлагали.

На ярмарке не ограничивались одной торговлей. Многих съехавшихся в Атбасар и прежде всего жителей аулов привлекали игры, зрелища, празднества.

Однажды на такое празднество попал и Чокан. Он и прежде знал исполнителей народных песен, акынов-импровизаторов, композиторов-кюйши. Здесь же оказались на его удивленье и артисты подстать цирковым — он их увидел впервые, и музыканты, играющие на инструментах, каких ему не приходилось встречать ни в детстве, ни в юности. «Эх, если бы отшлифовать эти врожденные таланты, если бы дать джигитам образование и культуру!»— мечтательно подумал он.

А как их восторженно слушали, как влюбленно всматривались в каждый жест своих по духу, по крови участников концерта неискушенные аульные зрители.

В последние годы не так уж часто случались в степи большие тои, где было просторно и байге, и песне. Барымта и взаимная вражда не способствовали праздникам.

Но зато любой базар, как обычно называли ярмарку, был добрым поводом для встреч с народными исполнителями и импровизаторами. И атбасарская ярмарка не только не была исключением, но привлекла как никогда большое число артистов из народа.

Да, слово «базар» стало чаще и чаще звучать в песнях и присловьях.

Многие импровизации так и начинались:

«Я привез с базара...»

А дальше это могли быть и чашка, и чайник, и блюдце, и серебряная сбруя, и соболья шапка, и даже сапоги.

Должно быть, в эти времена родилась и пословица: «Дом с детьми — базар, дом без детей — мазар».

Ярмарка в Атбасаре была шумной, но спокойной. Необычно спокойной, потому что она пока проходила без происшествий, случавшихся обычно даже на небольших базарах.

Порядку в некоторой степени помогло присутствие одного мало симпатичного человека. Дело в том, что первый колышек

на месте будущего Атбасара при строительстве укрепленной линии от Актюбинска к Омску вбил сотник Бугаев. Родом терский казак, он еще на Кавказе научился усмирять непокорных, а здесь, в степи, ожесточил свой и без того крутой нрав. Жадность его была непомерной. Какие бы «угощенья» он ни принимал от подвластных ему аулов, желудок у него всегда оставался голодным.

Атбасар он закладывал, в Атбасаре и осел, дослужился до чина есаула. Он наводил страх одним своим внешним видом, вспышками дикой ярости, камчой, которую пускал в ход по делу и, чаще всего, не по делу. Представьте себе высокого и грузного широкогрудого человека с белесыми, цвета простокваши, глазами. Рыжие, с густой проседью усы как бы сливались с бакенбардами, а выбритый подбородок и курносый нос придавали лицу и плутоватое, и звероподобное выражение.

Казахи, используя в качестве прозвища фамилию есаула, называли его и Серым бугаем, и Бодливым бугаем и даже придумали молитву:

«Сохрани нас, аллах, от рогов Серого бугая»

Во время ярмарок в казахской степи практиковалась не то что официальная, но прочно вошедшая в быт подать: линейные казаки, жители станиц брали с казахов, пригонявших скот, налог за потраву пастбищ. К открытию ярмарки они в полной форме и с оружием объезжали прибывших из аулов скотоводов, собирали деньги, а если денег не было, не брезговали баранами или шерстью и кожей. А потом краской помечали пригнанный скот.

Серый бугай в силу своей исключительной любви к телятине брал подать только телками.

До большой нынешней ярмарки, когда в Атбасаре существовали только обычные базары, крупным рогатым скотом торговали преимущественно русские казаки, а показывать им свой норов Бугаев, понятно, не решался.

Постепенно и в степи стали узнавать, что на коров и быков поднимаются цены, что русские всему предпочитают говядину, которую казахи почти не употребляли, и телятину, считавшуюся в ауле дряблым мясом. Тогда в аулах возник интерес к разведению крупного рогатого скота и кочевники-скотоводы начали пригонять его на базар гуртами. И это было на руку есаулу — он обеспечивал себя телятиной на целый год.

Вскоре после открытия ярмарки Бугаев встретил бедного казаха, продававшего свою корову с теленком. Теленок был таким кругленьким и жирным, не по возрасту крупным, что

Бугай даже языком прищелкнул. Подъезжая к казаху, он заговорил, мешая и коверкая русские и казахские слова:

— Эй, кыргыз, поди сюда.

— А зачем я тебе?— не чувствуя за собой никакой вины, казах не сдвинулся с места.

— Давай сюда этот теленок, бузау.

— Почему я должен его давать?

— Бельмейды, не понимаешь? Вяжи! Вот тебе веревка.

— Почему я буду вязать?

— Болды, хватит. А то муклаш получишь!— И Бугаев показал камчу, зажатую в кулак.

Казах был из дальнего аула, не знал Бугаева и простодушно решил, что майыр с ним шутит. А бедному скотоводу шутить было некогда, он торопился продать корову и отвернулся в ожидании более серьезного покупателя.

— Слезай с лошади и отбери теленка,— приказал есаул сопровождавшему его казаку.

Зазевавшийся аулчанин и не заметил сразу, как теленка оттащили от материнского вымени и поволокли на веревке. Сам есаул подхлестывал его камчой, а теленок упирался и жалобно мычал. Сообразив в чем дело, казах схватился за веревку, конец которой был уже в руке у Бугаева, и потянул теленка к себе. Он не уступал в силе есаулу. Считанные мгновения они, конный и пеший, словно состязались друг с другом, пока есаул не понял, что так аулчанина ему не перебороть. Взыграла знакомая ярость, и Бугаев с размаху ударил камчой по бритой голове строптивого казаха. Тот выпустил веревку. На скулы впалых щек струйками потекла кровь.

Быть может, Бугаев не успокоился бы на этом и еще раз хлестнул бы ни в чем не повинного скотовода, если бы вдруг не почувствовал обжигающую боль в затылке. Такую боль, что едва не слетел с седла. Он схватился за голову и увидел, что вся его ладонь в крови. Офицерская фуражка валялась в пыли. Оглянулся. Кто это? И встретился лицом к лицу с Чоканом Валихановым, которому был представлен накануне, встретился с недобрым горячим блеском сузившихся в гневе глаз.

Остальное было делом нескольких секунд. Пусть Валиханова, как адъютанта генерал-губернатора и его представителя на ярмарке, наделили более широкими правами, но он был и чином ниже, и моложе Бугаева, да вдобавок еще киргизом. Тоже мне начальник!.. Как он посмел ударить меня, оскорбить! Есаул, переполненный злобой, и сам того не сознавая, выхватил саблю из ножен и уже замахнулся на Чокана. Кто знает, чем бы все это кончилось, но Токбет успел схватить его за ру-

ку и так сильно вывернуть, что есаул разжал кулак и выронил саблю.

Холодея от страха, он только теперь вспомнил, как товарищ генерал-губернатора полковник Гутковский подчеркнул свое уважение к Валиханову на открытии ярмарки, как доверил ему держать речь, которую этот киргиз произнес сначала по-русски, а потом на родном языке, вызывая удивление своих земляков, почему-то решивших, что в Омске он совсем отвык от нее, как Гутковский поручил ему в присутствии многих офицеров и купцов руководить ходом ярмарки и обеспечить на ней порядок.

И понадобился же мне этот несчастный телок, невесело подумал Бугаев. Что-то теперь будет?

А на следующее утро случилось вот что: не Чокан, а кто-то другой сообщил Гутковскому о происшедшем, и милейший Карл Казимирович, человек интеллигентный и в сущности мягкий, собрал офицеров, чиновников и некоторых влиятельных казахов и при всех сорвал с Бугаева погоны и отобрал у него оружие.

— Судить, наверное, его будут,— поговаривали казахи.

— Пришел конец Серому бугаю.

— Хоть и недобрая, но была у человека слава. А теперь разлилась по земле, как айран из разбитого горшка.

Если Бугаев разом утратил пусть зыбкое, продиктованное страхом, но все же какое-то уважение, то Чокан его приобрел прочно. Ему и Гутковскому были благодарны все те, кто еще вчера был убежден, что нет управы на Серого бугая.

На стоянках кочевников и на самой ярмарке только и разговоров было о храбром заступничестве молодого султана, о его решительности и человечности.

В спокойной этой тишине почти не были слышны голоса противников Чокана. Да и как было шуметь — тут и вооруженные казаки, и видные люди четырех родов, сплоченных Саккулаком.

Но всех унять было невозможно. В стане врагов Чокана оказался Малтабар. Купчик пыжился, злился, вынюхивал всяческие сплетни. Айжан взволновала его застоявшуюся кровь. Он ревновал Чокана и не мог простить Чингизу многих не совсем понятных поступков. Почему он отправил Айжан к больному отцу в Сырымбет? Почему Чингиз, падкий на деньги, отложил свадьбу? Прежде он сомневался, что торе Чокан решится снизойти до толенгута. Теперь он не сомневался: по узун-кулаку доходили все подробности поведения Чокана, что он делал по пути из Омска, где останавливался. Сломить Чо-

кана деньгами, главной силой Малтабара? Но, кажется, деньги в этом случае были бесполезны.

Малтабар немного воспрянул духом, когда узнал, что хоть Зейнеп и на стороне Айжан и Чокана, но Чингиз против. В надежде довести дело до конца он отправил в Орду гонца с приветом султану, с обещанием привезти деньги сразу же после закрытия ярмарки, с просьбой быть твердым и сдержать свое слово. Гонец вернулся и объяснил, что Чингиз размягчился, ослаб и скорее всего теперь он заодно с Чоканом. Должно быть, уже смирился с его будущей женитьбой.

Задремавшие было ревность и злость снова дали знать о себе. Человек жестокий и завистливый, Малтабар не остановился бы и перед тем, чтобы совсем убрать с дороги Чокана и даже с ворами пытался договориться, но воры, отступившие перед Саккулаком, не годились теперь в помощники.

Кому он только ни сулил денег, где он только ни пытался найти людей, способных если не убить Чокана, то, по крайней мере, сделать из него посмешище для всей степи! Дальше разговоров, дальше бессмысленного торга о будущем вознаграждении дело не шло.

Малтабар, представив по рассказам прямую натуру Чокана, его вспыльчивость, его непримиримость и умение бить противника, старался избегать те многолюдные ярмарочные места, где мог бы появиться Чокан, а если их пути и скрещивались — нырял в толпу и незаметно скрывался.

Считавший, что деньги могут все сделать, чуть ли не впервые в жизни он стал сомневаться в их силе. Он был по-своему впечатлителен и даже обиделся на деньги, как можно обижаться на живое существо. Он был по-своему тщеславен и не жалел денег ради Айжан. Что ж, если она не войдет в его дом, он зверем ляжет на их пути.

Малтабару стали ненавистны восторженные разговоры о Чокане. Слава молодого султана поднималась на ярмарке, как дерево на илистой почве. А вот топора, чтобы под корень подрубить это дерево, не находилось.

И вдруг было названо имя Наркыз. Да, Наркыз — единственной дочери вора Кожыка, спутницы своих девяти старших братьев в разбойных набегах. Она вырастала избалованной и своевольной, подростком ее нельзя было отличить от мальчика. Она рано научилась драться и скакать так, что про нее говорили — Наркыз играет на ушах коня. Она отличалась смелостью и находчивостью в спорах, но могла быть мягкой и обходительной, и тогда ее ласково называли Наршы. Невысокая, ладная, с иссиня черными волосами и в их цвет лучисты-

ми глазами, Наркыз мало походила на своих аульных ровесниц. Твердость и женственность удивительно сочетались в ней.

Имя Наркыз было названо в те же дни, когда Чокана пригласил в гости богатый Саркес из рода Козган. Саркес послал в Атбасар своего сына Жаманкоза, сверстника Чокана. Посланец соблазнял омского гостя не столько пиршеством — до жирной баранины Чокан был, как известно, небольшой охотник,— сколько песнями, играми, конными состязаниями.

Правда, в числе приглашенных оказались и несколько врагов Валиханова, в том числе Макзум, сын Баубека, Кульгара, сын Медебая, Токабай, сын Кошыка, Ташат, сын Тилениса. Саркес, встревоженный этим обстоятельством, спросил сына:

— А не подведут ли они? Управимся ли с ними?

— Не бойся, отец. Они знают, что четыре сильных рода дали слово Саккулаку охранять Чокана. А начнут задираться или попробуют затеять драку,— их быстро образумят шестьдесят аулов Козгана-Коксала.

Свои юрты Саркес поставил вблизи Есиля на берегу большого озера Карасу, образованного когда-то весенним разливом реки. Озеро заросло пышной и сочной кугой — казалось, масло капает из ее стеблей и медовыми корнями лакомилась аульная ребятня. Песчаные берега озера так спрессовались и затвердели, что даже копыта коней не оставляли на них следа, а за кугой, за песком густо зеленело пойменное мягкое разнотравье.

Уж на что хороша степь вокруг Атбасара, а здесь еще лучше!

Чокан пожалел, что на той не попал Гутковский. Вот бы отдохнул, вот бы пополнил свои этнографические знания!

Приехал он в Карасу в сопровождении Токбета. Пригласил он с собой и нескольких родственников — Сердалу, своего двоюродного брата, Садвокаса, племянника Мусы Чорманова, и еще красноречивого Мырзабека, сына бая Сасыка.

И Чокан и его денщик были одеты в обычные казахские чапаны без намека на военную форму: даже фуражки и сапоги оставили в Атбасаре. Так была выполнена просьба Жаманкоза не надевать узкого офицерского мундира и не брать с собой вооруженных солдат, иначе молодежь напугается и никакой радости в играх не будет.

Игры и песни начались сразу же после приезда Чокана и его спутников. Старики вместе с пожилым Саркесом покинули гостевую юрту, тепло поприветствовав султана, сына Чингиза. Пусть уж молодежь повеселится сама, не будем ей мешать!

А приглашенные все прибывали и прибывали, дети имени-

тых баев, знать. Бедняков, толенгутов сюда и близко не подпускали.

Скоро в гостевой юрте стало так тесно, что нечего было и думать в ней оставаться. А день выдался солнечным, теплым.

— Давайте перейдем к озеру,— предложил Жаманкоз.

И джигиты и девушки весело поддержали и уже хотели выносить на берег ковры и кошмы. Чокан засмеялся:

— Неужели трава у Карасу хуже пуховых одеял? Нам все приготовило лето. Оставим кошмы в юрте.

Так и сделали, удобно расположились на побережье.

Песни звенели ручьями, шутки рассыпались легкими брызгами. Праздник был в разгаре. Очередной певец завладел вниманием гостей и никто не заметил, как из сухого летом оврага, заросшего кугой, показались трое верховых.

Вместе с приглашенным на той Кульгарой, сыном Медебая, приехали уже без всякого приглашения дети вора Кожыка — Кангожа и его дочь Наркыз, невеста Кульгары.

Они выглядели так, словно пожаловали не на праздник, а приготовились к бою. В шлемах и с дубинками, с луками и колчанами, полными стрел.

Когда они приблизились к берегу, молодежь заволновалась. Чокан поначалу равнодушно отнесся к их приезду, но после того, как ему назвали имена всадников, почувствовал себя несколько не в своей тарелке и встал вместе со всеми.

— Так кто же здесь сын Чингиза?— Наркыз чуть приподнялась на стременах, и в голосе ее прозвучала не то скрытая насмешка, не то легкая угроза. Ее пронзительные черные глаза уже остановились на Чокане.

Он пожал плечами, выдвинулся вперед и, не подавая виду, что знает девушку, ответил:

— Я... А что ты дальше скажешь?..

— Скажу, что рада увидеть тебя.— Чокан ей, кажется, понравился.— А тебе, должно быть, известен человек по имени Кожык, сын Макаша. Так я его дочь и зовут меня Наркыз.

Чокан не выказал никакого удивления. Мол, Наркыз, так Наркыз.

— Говорят, у Чингиза хороший сын, что он приобрел все знания мира. Так на хорошего надо посмотреть своими глазами. Вот мы и приехали. Ты нас за это не осудишь?

— А за что я вас буду осуждать?

— Мы решили поспорить с тобой, Чокан... Мы — это девять сыновей Кожыка, а если прибавить и рожденных от них, то будет всего семнадцать. Так что, у нас есть, кому с тобой

поспорить. Но они, кроме Кангожи, не приехали, а вот я здесь... Понимаешь, почему?

Чокан снова пожал плечами.

— Я-то думала, что ты догадливее. Мы испугались, Чокан, что всех нас за носы похватают и сошлют.

— Почему же тогда приехала ты, а не они.

— А мы прослышали, что ты русским стал, а русские, говорят, падки на женщин.

Кругом засмеялись, улыбнулся и Чокан.

Тут на правах хозяина заговорил Жаманкоз:

— Ау, бикеш, ау, красавица! До сих пор мы тебя в лицо не знали. Только наслышаны о тебе. Теперь убедились — шутить ты умеешь. И Чокан тоже. Начали вы хорошо, но будет еще лучше, если ты присоединишься к нам. Сходи с коня. Продолжим здесь ваш веселый спор.

— А мне и в седле удобно.

— Не упрямься, Наркыз. Будете есть с Чоканом с одного блюда. Тут есть твоя сыбага, твоя доля.

— Свою долю я уже съела,— Наркыз в упор глядела на Чокана, а рукой показывала на Жаманкоза.— У его деда Садыбека мой отец Кожык среди бела дня увел восемьсот лошадей из восьми тысяч. Не правда ли, Жаманкоз?

— Что было, то было!..

— Значит, и моя доля там была. Мне, наверное, хватит? И лихо посмотрела на Чокана. Он ответил в тон, восхищенный ее удалью:

— Не только хватит, но, пожалуй, и многовато!..

Захваченная собственным красноречием, девушка продолжала, картинно покачиваясь в седле:

— Чокан, Чокан... Ердена из баганалинцев ты знаешь. Говорят еще, он может стать твоим тестем. Так вот, Ерден справлял поминки по своему отцу Сандыбаю. Какие поминки были! Но отца моего с джигитами Ерден встретил не так, как надо. Тогда отец у всех на виду срезал жеребят с привязей и угнал кобылиц Ердена. Ерден хотел послать погоню и сам помчаться вслед, но его остановила байбише Сары. Брось, говорит. Кожык вооружен. Идти на него — все равно, что с одной камчой охотиться на кабана. Не тебе надо ехать, а мне. Села на иноходца, с которого можно схватывать птицу на лету, обогнала отца и встретила его на кургане. Отец подъехал к ней, начал приветствовать, но она привета не приняла. Кожык, Кожык, от зверя ты родился или от человека, спрашивает. Вместо ответа отец сказал, ты победила, байбише, вернулся с ней вместе в аул Ердена, повинился и возвратил угнанных кобылиц. Ерден

щедро одарил отца и посулил ему девушку с приданым. Знаете ли вы об этом?

— Знаем, знаем,— ответили джигиты.

— Но зачем ты мне об этом рассказываешь?— уже без всякой шутки сказал Чокан.

— Злишь ты народ, вот зачем. Почему ты отказываешься брать в жены дочь Ердена? Рыжеватая, толстая. Она бы тебе каждый год рожала детей, стала бы уважаемой байбише. А ты собрался жениться на какой-то толенгутке. Так это или не так, скажи?

Чокан промолчал. Только сжал губы и брови сошлись на переносице.

— Скажу о своем деле. О главном. Иначе зачем бы мне сюда приезжать. И я слышала, и другие — ты против моего отца. Вором его называешь. Козни строишь. Да разве он вор? Он — барымтач. И научил его барымте твой близкий родич Кенесары. Барымта — не воровство, барымта — это месть! Ты думаешь отца народ не поддерживает? Ты думаешь, у нас нет верных людей? Ты думаешь, я, девушка, не могу ответить кровью за кровь?

Резким движением Наркыз сняла с плеч лук и вытащила из колчана стрелу.

— Спаси нас аллах, не выстрелит ли она в него?— забеспокоилась молодежь, окружая кольцом встревоженного Чокана. Заволновался и Токбет, готовый защитить своего офицера.

Наркыз, насмешливо улыбаясь, вытащила левую ногу из стремени, натянула тетиву и внезапно прицелилась в собаку, кружившую неподалеку от котла.

Тонко просвистев, стрела вонзилась в грудь собаки. Та взвизгнула, несколько раз нелепо подпрыгнула и упала замертво. Только лапы еще слабо шевелились.

— Ой-бой, ой-бой,— запричитал подбежавший пастух,— ой-бой!— Зло посмотрел в сторону Наркыз и даже слов не нашел, чтобы выругать ее.

— Успокойся и занимайся своими делами,— бросил ему Чокан. Прежней минутной тревоги на его лице как не бывало. Весело и восхищенно он смотрел на Наркыз. Мол, ай, да девушка, ай, да меткость!

Хозяин собаки продолжал скулить:

— Ой-бой, ей же цены не было. Мне такую собаку на лошадь меняли.

— Успокойся, прошу. Если даже на верблюда, я заплачу!— сказал Чокан, не сводя глаз с Наркыз.

— А ну-ка, подойди сюда или поплачь еще,— крикнула

Наркыз, вытаскивая вторую стрелу из колчана.— Тебе хочется отправиться в ад вслед за твоей собакой?

Обиженный поспешил скрыться.

— Испугался,— рассмеялась Наркыз.— Вот какие мои стрелы.

— Жарайсын, молодец!— похвалил девушку Чокан.

— Может, тебе показать, Чокан, какой у меня клинок?

— Что ж, покажи,— подзадорил он девушку.

— У тебя шелковый шарф на шее?— спросила Наркыз.— Шелковый, говоришь? Давай тогда его.

Чокан, ни слова не говоря, снял свой шарф и протянул его девушке.

— Не мне, брату моему.

Так шарф оказался в руках Кангожи. Быстрыми привычными движениями он достал из кармана шакшу — роговую, отделанную серебром табакерку для жевательного табака — насыбая, и прочным узлом завязал на нем конец шарфа. А Наркыз в это же самое время выхватила из ножен кривую саблю.

— Бросай, да повыше!

Скомканный шарф взлетел вверх, развернулся и тут же стал падать. Наркыз взмахнула клинком.

Когда шарф упал на землю, все увидели, что сабля девушки рассекла его пополам.

В шумных возгласах удивления и восхищения отчетливо звучал и голос Чокана.

— Вот так рубит моя сабля!— с гордостью сказала Наркыз и, обращаясь уже к брату, буднично добавила.— Ну, поехали! И повернула коня к оврагу.

— Постой, Наркыз,— задержал ее Жаманкоз.— Будут же вечерние игры, будет алтыбакан. Неужели не придешь?

— А ты, Чокан, сядешь со мной на качели?

Она, кажется, и не сомневалась в согласии Чокана, потому что едва дослушав его, пришпорила коня.

Девушка и ее спутники мгновенно скрылись в зарослях того оврага, откуда они и появились.

Стали гадать — возвратится или нет.

— Возвратится,— вполголоса сказал Чокан.

Может быть, это мне приснилось, думал он про себя. Или все это правда? Неужели среди аульных девушек может вырасти такая отважная!

Вечером на берегу Карасу стало еще многолюдней, веселей, праздничней.

Алтыбакан, степные качели — взлет аульных игр, едва ли не любимое развлечение молодежи.

Чокан почти не умел играть на домбре и, зная многие казахские песни, никогда их не пел, стеснялся своего плохого, как он думал, голоса. Однако зря о нем говорили, что он, выросший в городе, «прямокопытный», иначе — неловкий, неуклюжий. Нет, и в верховой езде, и в национальных играх он не уступал своим степным сверстникам. Джигит, настоящий джигит!

Праздник разгорался, и в его шуме, в его песенных всплесках, в его возбужденном ритме почти все позабыли о Наркыз. Но только не Чокан. Он сперва поверил в ее согласие приехать на игры, а теперь уже начал подумывать, что она пошутила. Он нет-нет, да и всматривался в темень, в сторону оврага, и тогда перед ним возникали странные очертания, похожие то на фигуру девушки, то почему-то на гибкого черного леопарда, о котором он когда-то или читал, или слышал.

Снова какой-то отдаленный шум. Нет, он не мог ошибаться. Со стороны оврага послышался конский топот, лошадиное фырканье. Следом из темноты, прорезанной пляшущими бликами костра, вынырнули двое верховых. Все повернулись к ним. Наступившую тишину нарушал только перестук копыт. Наркыз или нет?

Они подъехали вплотную к алтыбакану. Чокан обрадовался голосу первого всадника, спешившегося и передавшего поводья другому:

— Держи коня.

Это был женский голос, голос Наркыз.

Девушка на этот раз приехала с одним Кульгарой.

— Что вы не играете, почему молчите?— она вошла в притихший круг молодежи, уверенная, решительная и вместе с тем настороженная.— А где Чокан?

Он откликнулся, и девушка сразу же очутилась рядом.

— Видишь, я сдержала слово. А ты его сдержишь? Сядем на качели?

— Конечно, сядем!..

Наркыз взяла его за руку и повела к трем арканам алтыбакана.

Схватилась за веревки и легко вспрыгнула.

Качели были высоко над землей.

— Ну, как, мырза? Хочешь, я помогу тебе сесть рядом.

Чокан ответил:

— Если девушка одолела высоту,— значит, высота и мне доступна.

И в мгновение одно оказался рядом с Наркыз. Девушка и джигит, такие же молодые, как они, уселись напротив. Все четверо уперлись ногами в среднюю веревку, и сразу же чьи-то сильные руки стали раскачивать качели — вверх-вниз, вверх-вниз. Качели то устремлялись к небу, то падали, словно касаясь земли.

Наркыз левой рукой держалась за веревку, а правой обняла Чокана. Вздрагивая с каждым взлетом, она все ближе и ближе прижималась к нему, крепче и крепче обхватывала его рукой, и он уже чувствовал живой огонь ее горячего, сильного тела.

Чокан только в детстве качался на алтыбакане. Но качели в Карасу не вернули ему ощущения тех уже далеких лет. Он испытывал заново, словно впервые, стремительную удаль этой старинной и всегда молодой игры. Ему казалось — они вот-вот достигнут звезд, вот-вот погрузятся в сверкающие волны Кус-жола. Птичьей дороги, Млечного пути. Качели опускались — и Чокан представлял, что он и Наркыз преодолевают слои всех семи небес, о которых ему рассказывали великие поэты Востока.

Если бы только перестала кружиться голова! Были секунды, когда Чокан боялся, что потеряет сознание. К счастью, этого не случилось. Ни словом, ни движеньем он не показал своего страха окружающим, тем более — Наркыз. И уж совсем недостойным считал пожаловаться на боль от врезавшегося с кинжальной остротой в кожу волосяного аркана. Ведь и она чувствует то же самое, но молчит.

Между тем алтыбакан взлетал уже медленнее. Джигиты вначале тешили себя озорной мыслью, что закачают Чокана до одури, что «прямокопытный» не выдержит аульной игры, но убедившись, что он не уступает другим джигитам, уже не пытались его пугать.

Алтыбакан взлетал и опускался медленнее, спокойней, и Чокан мог внимательно всматриваться в майскую ночь. Боль от аркана притупилась, да он и позабыл о ней, а близость Наркыз, жар, исходящий от нее, помогали еще острее чувствовать звезды, засиявшие еще ярче с той поры, как месяц ушел за горизонт.

Чокан припомнил Вальпургиеву ночь, описанную Гете в «Фаусте». Нет, игра нечистых сил никак не походила на то, что происходило в степи, в молодежном стане. Вот майская ночь на Днепре, воспетая Гоголем, еще как-то перекликалась с ночью на Карасу. Но в Приишимье были свои краски, свои запахи, своя неповторимость. Пусть здесь не было леса, не бы-

ло широкой реки, не было гор, но где ты еще найдешь такой простор, такое приволье!

Приятно читать о природе, приятно представлять по книге красоту звездной ночи, но что может сравниться с постижением этой красоты наяву!

Он любовался звездами и одинокими огнями в степи, он вдыхал прохладный и чистый воздух и тут же ощущал тревожное и теплое дыхание Наркыз.

Он всматривался в ночь и вслушивался в ночь. Какие только звуки могло уловить чуткое ухо! И далекую песню, и мычанье коров, разлученных атбасарской ярмаркой с привычным аульным пастбищем. И беспокойные посвисты птиц и в тальнике, и в приозерной куге. И неожиданное стрекотанье кузнечика.

Разрозненные эти звуки объединялись в один оркестр, слитный, необычный и прекрасный.

Как описать все это! Вот если бы и среди казахов появились свои Гете и Гоголь,— они бы уж нашли краски для описания праздничной степной ночи...

...Еще до приезда Наркыз молодежь вдоволь накаталась на качелях. Поэтому новых желающих взлетать на алтыбакане больше не нашлось. Джигиты и девушки любят разнообразие. Кто-то предложил сыграть в «Дружбу», довольно редкую игру, встречающуюся у родов Алтай и Карпык среди аргынов. Она обычно завершает праздник. Наивная и милая игра! Избранный хан приглашает своих визирей и разбившихся на пары молодых людей и приказывает им удалиться в разные стороны степи.

Наркыз заторопилась, предложила участвовать и Чокану, который вначале отнекивался, стеснялся.. Но проникнувшись общей непринужденной атмосферой, вскоре и он подчинился ханскому приказу. Визири отправили их в заросли чия.

Вот они совсем одни... Первой заговорила Наркыз.

— Говорят, что твоя мать Зейнеп оказалась сильнее отца и не разрешила взять вторую жену. Правда ли это?

— Пожалуй, правда...— В степи ничего скрыть нельзя.

— Тогда почему же,— а такая молва идет,— твой отец в разных концах насватал тебе много невест?..

Чокану не очень приятно было это слушать.

— Что ж, назови их. Может быть, и я впервые об этом узнаю.

— Имена невест я что-то не могу назвать, а вот их отцов хорошо запомнила. Старший султан Тобола Ахмет, сын Жан-

торе, Обаганский бай Осип, сын Узденбая из сибанов, и баганалиец Ерден, сын Сандыбая. Так я говорю или нет?

— Где ты только слышала об этом, Наркыз?

— Все говорят, все слышат, а я разве глухая? И еще тебе скажу. В степи уже узнали, что ты собираешься жениться на племяннице генерала из Омска. На русской. Кто же из них будет твоей женой?

— Болтовня, слухи. Любят у нас в аулах выдумывать.

— Значит, выдумали и про служанку Орды?

Чокан скорее почувствовал, чем увидел настойчивый взгляд Наркыз. С нетерпением ждала она ответа. А он взял и промолчал.

— Значит, не зря говорят про служанку, что она красивая. Что ты из-за нее с отцом споришь. Что не хочет он, чтобы рабыня стала женой ханского потомка и русского офицера. Может быть, и это болтовня? Но с отцом ты напрасно ввязался в спор. Он посильнее тебя. Он одолеет. Рано или поздно одолеет!

Чокан начинал раздражаться. В сущности, ничего нового Наркыз ему не сказала. Но этих слов он от нее не ждал.

— Кто победит, ты сама услышишь. Непонятно мне, куда ты речи свои клонишь?

— А что ж тут непонятного? Ясно говорю. Вот русскую твою девушку я не знаю. А наших всех видела. В теле, широкозадые. На что они способны? Рожать? Но нет среди них равной тебе. Дуб к дубу растет, куга к куге. Слабые они духом...

— Где же мне сильную найти? Да и нужна ли мне сильная?

— Чокан, Чокан, не знаешь ты еще казашек, мало в народе жил. Не искал...

Он засмеялся и неожиданно вновь почувствовал жаркую близость крепкого горячего тела.

— А если бы я сказал, что нашел. Тебя нашел...

И вновь приглушенно засмеялся.

Наркыз дышала тяжело, прерывисто:

— Я могла бы стать для тебя бабой, что надо... Но не будет этого никогда. Ты спросишь, почему? Связана я. Как скотина на веревочке. Связана так, что голову мне не высвободить.

— Загадками ты говоришь, Наркыз. Не понял я тебя.

— А что же тут понимать? Ты видел смуглого разиню?— он и днем со мной был и сейчас сюда приехал. Это Кульгара, мой жених, муж мой, если хочешь. Калым за меня сполна уплачен. Кульгара, сын батыра Медебая. Ты же и моего отца, и Меде-

бая задумал в Сибирь сослать. Думаешь, я не знаю? Я же тебе говорила.

Чокан задумался или сделал вид, что не может сразу ответить. Ему не хотелось говорить с Наркыз о занятиях в Омском архиве, о знакомстве с делом ее отца и даже о своем отношении к барымте. Ему многое нравилось в девушке — ее стремительность, резкость, живой ум и просто женское обаяние, плохо сочетавшееся с грубостью. Но не всему он находил оправдание, не все в ней понимал.

— Разве я могу, Чокан, бороться с тем, что предначертано богом?

Не отличавшийся религиозностью Чокан не всегда щадил в других их религиозные чувства:

— А что может случиться, если ты нарушишь законы аллаха, если ты попробуешь жить по русским законам?

— Нет, Чокан, это невозможно. Хоть ты и ученый человек, но в жизни ты пока сыромятная кожа, которую еще не мяли как следует. Молодость твоя хлещет через край, тебе все кажется легким. Погоди, погоди, и на твоем пути могут встретиться камни.

«Какая умница!»— подумал про себя Чокан,— а вслух сказал:

— Ты лучше ответь мне, как в твою маленькую головку вмещаются такие широкие мысли?

— Не говори, Чокан, обо мне, не надо,— она сделала паузу, и Чокан хорошо представил себе печальный блеск ее глаз,— не говори обо мне. Вот хожу я гордая по правую руку отца. А надолго ли меня хватит? Поговорку знаешь — приз не берет кобылица в байге? Переступлю порог чужого дома — моей землей и моей горой станет круг, где очаг и казан, в котором варится мясо. Словом, как у всех казахских девушек. Мне тогда не стрелять из лука, не гарцевать по степи.

— Умница моя!— воскликнул Чокан уже вслух и обнял Наркыз.— Можно мне тебя поцеловать? Русских девушек целуют с их согласия.

— А я казашка... Мы ведь не любим лизаться.

А сама льнула к нему, льнула.

— Казахские девушки, говоришь, не целуются. Нет, Наркыз, целуются.

Отклонилась в сторону, сдавленно засмеялась:

— Другие, может быть, и целуются, но не я...

Слова кончились. Говорить об этом было уже нельзя. Пора возвращаться к молодежи.

Несколько шагов они прошли молча.

Прежде всего, она беспокоится за судьбу отца, подумал Чокан. А все остальное так... Случай...

Праздник завершался. Они уже приближались к гостям, окружившим Жаманкоза.

— Слушай, Наркыз,— заторопился Чокан,— ты можешь мне дать одно обещание?

— Смотря какое,— настороженно ответила девушка.

— Запрети отцу и братьям воровать. Плохо это может кончиться.

— Не знаю, вот уж не знаю.— В голосе ее звучала неуверенность.

— И ты говоришь так нерешительно — ведь ты сильная... Характер у тебя мужской.

— Ну, хорошо, постараюсь. А что тогда?..

— Тогда я дал бы тебе слово, что их больше никто не посмеет тронуть.

— И так ты это сделаешь, Чокан?

— Я бы в Омске сжег все жалобы, все бумаги... И следов не останется.

— Сможешь?

— Если говорю, значит, смогу!

— Сможешь, правда?— в голосе ее звучала неприкрытая радость. Она остановилась, положила руки на плечи Чокана и вдруг обняла и полуоткрытыми жаркими губами припала к его губам. Припала так, что у него закружилась голова, как на алтыбакане... И тут он почувствовал теплые капли на своей щеке. Наркыз плакала.

## И этот день настанет!

В последний день атбасарской ярмарки Чокан перебирал в памяти все, что он увидел, всех, кого он повстречал. Нет, не зря он поехал в степь. Народная мудрость оказалась справедливой, как всегда: удача сопутствует идущему.

В день прощанья с Атбасаром удача еще раз улыбнулась ему.

Ярмарка прошла и оживленно и мирно, и ее решили завершить праздничным тоем. Чокана особенно обрадовало, что в числе других игр и состязаний атбасарцы вместе с другими приехавшими сюда джигитами подготовились к состязаниям по национальному конному спорту и борьбе.

В состязаниях соблюдался обычай, привезенный в степь русскими казаками: на полюбившуюся лошадь или борца де-

лалась ставка деньгами или скотом. Ставка вносилась в залог: часть залога шла на призы победителям, часть на выигрыш зрителей.

Скачки должны были начинаться от места впадения Терсаккана в Ишим, верстах в сорока от Атбасара.

Борьбу же задумали провести на зеленой поляне в междуречье Жабая и Керегетаса, совсем недалеко от казачьего лагеря, где жил в палатке Чокан.

Чокану пришлось смотреть соревнования борцов-балуанов не потому, что он предпочитал именно этот вид национального спорта, а потому, что ему выпало на долю наблюдать за порядком именно здесь. Степные зрители очень эмоциональны, легко возбуждаются и могут, если что не так, и потасовку затеять. Это знал и Гутковский, поручивший Чокану столь деликатную миссию.

Но в общем такое поручение не слишком стесняло Чокана, и он с нетерпением ожидал начала борьбы.

Сама природа создала и великолепную площадку для соревнований и в высшей степени удобные для зрителей каменистые лестницы-террасы на берегах двух речушек.

Увлекавшийся в корпусе древней историей, он с удовольствием сравнил и поляну-площадку и открытый зрительный зал с амфитеатром древнего Рима. Наш степной Колизей, да и только, пошутил он про себя. Ну, может быть, архитектура куда как проще, но зато масштабы, масштабы!

Началось...

Бороться выходили не только казахи, но и татары, узбеки и даже одна русская пара, в совершенстве изучившая приемы казахской борьбы.

Все было в меру интересно и в меру спокойно.

Но вот на ковровую траву вышли двое в масках. Чокан, как, впрочем, и большинство зрителей, был несказанно удивлен. Почему в масках? Среди казахов, да и других восточных народов, так было не принято.

Ростом и фигурами борцы походили друг на друга. Только один был грузнее, тяжеловесней и в грузности этой проступало что-то бычье, а другой выглядел поджарым, как натренированная для скачек лошадь. Оба крепко стояли на мускулистых, темных от загара и смуглого цвета кожи ногах. В том, что они казахи, никто не сомневался. Им сразу дали прозвища, а, может, эти прозвища существовали и раньше: Балуан-верблюд — тот, что потолще, и Мухортый верблюжонок. Стало известно, что Верблюд борется от Кокчетавского дуана, а Верблюжонок — от казахов Каркаралы.

Стало известно и другое: за Верблюжонком стоит известный каркаралинец Казангап, сын Мошека. Казангап уже гордился своим сыном Таттимбетом, слагавшим под домбру замечательные кюи. А Верблюда привез из Кокчетау Аккошкар, сын Кишкентая, человек уважаемый не только в своем округе.

И все-таки кто же они? Почему не названы их настоящие имена? Что их заставило масками скрывать свои лица?

— Да будет с вами счастье, балуаны!

Долго они присматривались друг к другу, разминались, хорохорились. Первым схватку начал Верблюжонок, схватившийся за кожаный пояс верблюда. Но тот улучил мгновение и обеими руками сжал поясницу соперника. Так и застыли они, застыли в каменном напряжении, изготовившись к самой главной схватке.

И вместе с ними напряглись зрители: что же будет?

Чокан был на стороне Верблюжонка. Как бы он, словно молоденькая березка, не сломался под тяжестью скалы..

Решающая схватка еще не начиналась. Соперники усиливали нажим, но по-прежнему казались застывшими.

Первыми не выдержали зрители. Зашумели, призывая к нападению, заулюлюкали, подбадривая. Каждый — своего любимца. Чокан сохранял невозмутимый вид, хотя всей душой был на стороне Верблюжонка.

Вдруг, когда зрители уже устали ждать, Верблюжонок выгнулся, крикнул — хауп!— и непостижимым образом ухитрился поднять Верблюда и понести его на спине. Верблюд не поддавался, дрыгал ногами, но не мог достать до земли. Еще более неожиданно худощавый несколько раз крутанул грузного великана и грохнул его об землю. Верблюд больше не поднимался. Может быть, он потерял сознание. А Верблюжонок покачивался молодой березкой на ветру. Все свои силы он истратил на схватку, даже больше, чем имел.

Тут выдержка изменила Чокану, он бросился к сбросившему маску победителю, чтобы поздравить, обнять, и увидел, что это Жайнак, милый друг детства Жайнак.

— Канаш мой!

Они прослезились. Почти десять лет не видели они друг друга.

Скоро Чокан уже знал всю скорбную историю сверстника по далеким забавам, по путешествиям в окрестную степь, в страшные волчьи пещеры.

Жайнак, брат Айжан...

Он попал в слуги дочери Чингиза, когда ее выдали замуж. Юношей лет шестнадцати он стал увлекаться борьбой казах-

ша-курес и вскоре приобрел известность. Старший султан Каркаралинского дуана Кусбек выпросил его у бая, выпросил, чтобы похваляться им и получать за него призы. Так и жил Жайнак на положении полураба, лишенный возможности выступать под собственным именем. Чему же удивляться? И в России в эти годы не было отменено крепостное право.

— Значит, тебе хочется жить самостоятельно, Жайнак?

— Ой, Канаш, как хочется! Скажи Кусбеку, пусть он меня отпустит.

— Пойдем со мной. Сам я ничего не могу сделать, но что-нибудь придумаем.

И они поднялись к близкому кургану, с которого Гутковский и еще несколько офицеров наблюдали за ходом состязаний.

Чокан коротенько рассказал полковнику историю Жайнака:

— Сами понимаете, Карл Казимирович, мне, сыну соседнего султана, как-то неудобно говорить обо всем этом с Кусбеком. Мое вмешательство может быть истолковано превратно.

— Не беспокойтесь, Чокан Чингизович, я сам попрошу Кусбека, думаю, он мне не откажет.

Так и случилось. Каркаралинский султан выполнил просьбу Гутковского и даже призовые деньги, которые обычно присваивал себе, на этот раз передал Жайнаку.

В Атбасаре Карл Казимирович распрощался с Чоканом и поехал прямо в Омск. В который раз Чокан убеждался в доброте и порядочности этого умного и очень скромного человека, стремившегося оставаться в тени, не блиставшего одеждой, не пользовавшегося выгодами своего высокого положения. А каким он был чудесным преподавателем в корпусе!

Гутковский проявил такт и душевную тонкость, ни словом не обмолвившись с Чоканом по поводу письма, полученного им, что, дескать, Валиханов влюбился в Айжан и даже собирается сделать ее своей женой, несмотря на запрет отца и недовольство знатных людей степи. Чокан узнал, что Карл Казимирович получил такое письмо. И тем более оценил чуткость Гутковского, потому что с Катей, его дочерью, у него завязывался роман, и отец Кати смотрел на этот роман вполне благосклонно.

— Да, Жайнак, запомни эту фамилию: Гутковский. Быстро он уладил твои дела! — говорил Чокан Жайнаку по пути к озеру Кулайгыр, куда с гор Акана за это время успела перекочевать Орда.

Чокан находился под впечатлением встречи с Жайнаком, едва ли не самой удивительной за всю поездку. И как хорошо,

что эта встреча обернулась радостным концом. Теперь надо было бы подумать об устройстве дел Жайнака, хотя в личной судьбе самого Чокана ничего еще не решалось. Чингиз, как передавала мать через Мукана, уже согласился на женитьбу, но согласился вынужденно, под давлением Саккулака. Практически сейчас ничего не получится. А вот с Жайнаком можно решить проще. Любимой девушки у него нет, он смотрит на женитьбу так, как любой аульный джигит. Ему не терпелось начать самостоятельную жизнь, вести свое маленькое хозяйство. Помочь в этом Жайнаку — значит, можно пока поселить у него и Айжан: она будет у него под надежной защитой.

Ни Чокан, ни Жайнак не заметили, как доехали до Орды.

Прежней торжественной встречи не устраивали, да в ней по обычаям уже и не было необходимости.

Отца Чокан нашел посеревшим, скрытным, затаившим в душе недовольство. Однако он не сказал ни единого слова, которое могло бы обидеть сына. Сдержанным был и сам Чокан. Он держался в рамках сыновней почтительности, но не пытался растопить холодок, возникший между ними, да и не обращал на этот холодок никакого внимания.

В эти дни Чокан занимался главным образом устройством Жайнака. Прежде всего нужно было найти ему жену. Повыведав, порасспросив, друзья узнали, что в доме Макана, сына Жолтабара, подросла красивая сестренка. Чокан сам начал сватовство, сам поговорил с ее братом. Мукан, зная трудолюбие и честность Жайнака и видя, что ему покровительствует молодой султан, согласился без лишних слов.

И произнес такую речь:

Когда достоин девушки джигит,
И без калыма свадьба прозвенит.

— Я, правда, о замужестве сестры не помышлял. Пускай, думал, подрастет, поумнеет. Но теперь сам бог послал хорошего зятя. Мне он полюбился, полюбится и сестре. В народе говорят и так:

Случалось невест без калыма отдать,
Но зять без подарка — какой же он зять?

Стыдно будет дочь Жолтабара и сестру Макана посадить на лошадь и отправить в дом мужа. Скажут, что это случилось с Муканом? Но слишком торопиться не надо. Мне он понравился, пусть и молодые познакомятся друг с другом. Иншалла, бог даст, все будет хорошо. Тогда я отпраздную большой той и отправлю сестру к Жайнаку с юртой и положенным скотом.

На том и порешили. Жайнак дал обещание сразу после женитьбы перевезти к себе и Айжан с отцом. С Чингизом и Зейнеп договорились поставить юрту молодых возле Орды.

Чингиз, согласившись на это, думал прежде всего о Чокане. Ну, что ж. Кто не влюбляется в красивых девушек. Влюбится, утолит свою жажду и разлюбит. Бог даст, и с Чоканом такое случится. Это к лучшему, что он занялся Жайнаком. И оставляет Айжан здесь. Может, на его пути встретится девушка подостойней.

Да и сам Чокан давал повод Чингизу так думать. Он несколько странно вел себя в последние дни. Как бы он ни торопился в Омск, дав слово Гутковскому приехать сразу же вслед за ним, он мог бы найти время навестить Айжан. Но именно этого он и не сделал, не желая расстраивать девушку, а, может быть, и себя. А ведь этот поступок совпадал с мечтами Чингиза.

Из Орды в Омск Чокан возвращался на перекладных. Дорога была знакомой, от новых впечатлений он как бы отгораживался, на ямщицких становьях долгих разговоров не заводил, вел себя замкнуто, предпочитая осмысливать уже увиденное и прочувствованное. Было все — и трудное, и горькое, и светлое, и темное. Но если подводить итог путешествию — он был благодарен судьбе за него.

Только так, и не иначе.

Айжан... Какое счастье, что она встретилась на его пути! Ягненок, отставший от стада и заблудившийся в безлюдной степи. Ягненок, к которому уже подбирались хищники, вот-вот готовые его растерзать. А теперь она под его опекой, теперь никто не посмеет к ней подступиться. Даже самый сильный хищник. Но почему он к ней не поехал? Ведь она уже узнала — сомнений не может быть,— что он снова навещал Орду. Почему он все-таки не поехал? На этот вопрос Чокан не смог ответить даже самому себе.

Он переносился мыслями к Жайнаку. Он никогда не забывал про него. Смутные и печальные слухи о судьбе друга детства доходили и до Омска. Мечта помочь ему, освободить его никогда не оставляла Чокана. Но какой неожиданной была эта встреча на Атбасарской ярмарке. Как повезло и Чокану и Жайнаку, что так случилось. Друг вернулся в родные края, у него будет своя семья, своя юрта. И, самое главное, он перестал быть подневольным человеком, на его лицо уже не будут надевать маску перед борцовскими состязаниями.

Наконец, Чокан убедился в правоте народной мудрости, сравнивающей мать с кораблем. И снова повторил про себя:

Надежен с матерью бурный путь...
Утонет, но сыну не даст утонуть.

Он любил мать и раньше, но теперь как никогда чувствовал к ней и доверие и преданность.

Кажется, он подобрел и к отцу. Отец не раз бывал к сыну несправедлив и жесток. Много слабостей у отца. Но зачем Чокан будет его осуждать? Отец надел офицерскую шинель, получает чины, дорожит султанством, гордится своими предками. Вся его жизнь в одном русле. Он боится потерять положение. Ради своих погон, ради дуана он многим может пожертвовать — счастьем сына, спокойствием жены. Но и у отца не так много сил, жалким иногда он бывает. Даже домашних своих не в состоянии одолеть, особенно, если за домашними стоят аулы, народ.

Да, аулы, народ!

Чокан ближе узнал народ только в этом своем сапаре, в этом путешествии. Прежде, в корпусе, он представлял себе, что казахи после распада ханства и присоединения к России потеряли сплоченность и единство, утратили вкус к плодотворной жизни, погрязли в распрях и ссорах, дошли до мелких междоусобиц и даже стычек со стрельбой.

Теперь он видел, что дело обстоит далеко не так. У народа есть и сплоченность и взаимовыручка. Не будь такой сплоченности — Малтабары и их деньги стали бы всевластными, они бы уничтожили даже его, Чокана.

И еще Чокан почувствовал, что народ продолжает создавать свое духовное богатство, унаследованное от далеких предков. Он изучал древнюю культуру Европы, России, Востока, изучал фольклор и увлекался им. Яснее, чем прежде, в Омске, увидел много общих черт в плодах казахской культуры и других народов. Разве мы, как и другие народы, не имеем права внести свою долю в мировую сокровищницу, думал Чокан.

В корпусе он увлекся древней культурой Греции и Рима, преклонялся перед речами знаменитого консула и оратора Тулия Цицерона. Но ему прежде как-то и в голову не приходило, как умеют ценить красноречие в родной степи. Теперь своими ушами он услышал на ярмарке и Асаубая из Канжигалы, и Мырзабека из Караула. Вдохновенные ораторы! Вот про таких в народе говорят:

Начинал он скачку с низин —
Достигал он горных вершин;
Если утром начал скакать —
Мог до вечера не отдыхать...

Как они умеют спорить, пересыпать спор шутками, схватываться друг с другом, словно гончая с волком и, что не менее удивительно, мирно расходятся, так и не одолев словами друг друга.

Чокан отдавал должное казахским биям. Их красноречию, основанному на умении логически мыслить.

Конечно, что и говорить, продолжал раздумывать Чокан, многие бии зависят от своих богатых и знатных сородичей — баев и султанов, но все-таки их значение основано на авторитете, приобретенном так же, как в Европе его приобретают поэты, ученые и адвокаты.

Многие бии хорошо знакомы с казахскими законами, установленными еще при хане Касыме, пытавшемся объединить все киргизские ханства, и с законами, принятыми при хане Есиме, и в особенности с Жеты-Жоргы — «Семью законами» хана Тауке. Жеты-Жоргы казались Чокану и своей суровостью и отдельными формулировками в защиту собственности схожими с известными законами Двенадцати таблиц Древнего Рима.

Впервые широко и осмысленно соприкоснулся он и с народным творчеством — и в музыке, и в поэзии. Соприкоснулся и убедился в беспредельных его возможностях.

Особенно запомнил он трех музыкантов.

Принадлежащий к Уакам Дайрбай, сын Кокыра, пленил его искусством играть на кобызе. Старый кобыз достался ему от отца, сохранившего инструмент, переходивший из поколения в поколение. Поверхность кобыза, сделанного из корня дуба, каменно затвердела от времени, стала черной и маслянистой. Но голос кобыза не состарился, не потерял звучности, не потерял мягкости и выразительности. Он воссоздавал одну за другой картины давних событий, заставляя радоваться и горевать, мучиться и смеяться, бросая то в жар, то в холод. Кюи Дайрбая были живой историей казахского народа. Он начинал с плача Коркыта, который не смог убежать от своей смерти, потом переходил к драматическим происшествиям, связанным с Аксак-куланом и ханом Джучи еще во времена Чингис-хана и завершал свою игру рассказом о прадеде Чокана Аблае. Так проходили столетия в этом музыкальном путешествии, победы сменялись поражениями, трагедийный взлет перемежался комической развязкой.

Худощавому горбящемуся Дайрбаю было уже за семьдесят. Но и в бороде, выросшей длинным кустиком, и в реденьких свисающих усах не проступала седина. Когда он опускался на колени и начинал водить смычком по волосяным струнам кобыза, его толстые, казалось, неуклюжие пальцы приобретали

удивительную легкость и трепетали, подобно жаворонкам в небе.

Таким же талантливым оказался и батыр Суюндук из рода Сибанов, игравший на свирели. Что такое казахская свирель? Самый обыкновенный степной курай, очищенный от боковых веток и со срезанным корнем, вдевается в кишку горной козы. Затем просверливаются четыре отверстия и инструмент готов. Прост инструмент, прост с виду и музыкант — полный, невысокий, безусый человек. Но стоит очутиться свирели в уголке его сжатого рта, стоит ему в одно какое-то мгновение собрать все свои силы, как происходит чудо...

Чокан запомнил его кюи о животных, созданные только для свирели: «Бозайгыр» («Белый жеребец») — поэму о том, как враги угнали табун, а сбежавшего жеребенка окружили пять волков и он со ржанием отбивался от них; кюй о пестром быке, отбившемся от стада и встретившем тигра в камышах. Маленькая трилогия Суюндука завершалась плачем серой верблюдицы по потерянному верблюжонку.

Встретил Чокан и мастера-домбриста. Лучшим игроком на домбре, инструменте, вошедшем в народный быт позднее кобыза и свирели, оказался рыжий Токас, сын Сайдалы, человек молодой, но уже успевший побывать в ссылке за какие-то не очень большие грехи. Именно в ссылке Токас и сложил кюй «Сары жайляу», трогавший слушателей любовью к родным местам, волновавший тоской по их утрате. Прослезился и Чокан — напев своей грустной силой, своим огнем расплавлял сердце. Брали за душу, пленяли своей музыкальностью и два других кюя Токаса —«Косбасар» и «Терис Какпай». При этом обе струны домбры — нижняя и верхняя, всего две струны под пальцами мастера так оживали, воспроизводили такое богатство звуков, такие тонкие нюансы, что, казалось, соперничали с самым совершенным европейским инструментом — фортепьяно.

Слушая игру степных музыкантов, слушая песни, Чокан пытался их классифицировать с точки зрения тех основ музыкальной грамоты, которые усвоил на уроках в корпусе. Вот это бас, а это баритон или тенор, мысленно говорил он, оценивая голос того или иного певца. Настоящее лирическое сопрано, обращался он про себя к трогательной черноглазой певунье.

И опять продолжал раздумывать над встречей с Наркыз.

На кого была похожа удивительная эта девушка? Ну, конечно, на Кармен, догадался он, верный своей привычке мыслить литературными ассоциациями. Проспера Мериме он чи-

тал, пусть не без труда, но в подлиннике. И сейчас повторял врезавшиеся в память детали... Ее кожа, правда, безукоризненно гладкая, цветом близко напоминала медь... То была странная и дикая красота... Цыганский глаз — волчий глаз, говорит испанская поговорка. Она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского завода... Только наша Наркыз росла не в закрытом дворе Кордовы, а на широком — без конца и края — степном просторе. Только женишок Кульгара жалко выглядит рядом с ней. Вряд ли сможет он умереть, защищая ее, как защищал Кармен Данкайре. И тем более убить, как убил Кармен ее возлюбленный, который и могилу ей выкопал. Но какой конец ожидает Наркыз? Такие смелые женщины не умирают своей смертью. Горькая судьба выпала, должно быть, и на ее долю.

Читатель узнает о судьбе Наркыз в дальнейших главах, а мы пока продолжим вместе с Чоканом его размышления об искусстве казахов.

Богата музыкальная культура казахского народа, а его устный фольклор еще богаче.

В героическом казахском эпосе можно найти поэмы, подобные «Слово о полку Игореве». Вот, например, «Ер-Таргын». А как своеобразны лиро-эпические творенья: «Козы-Корпеш и Баян-слу» невольно сравниваешь с «Ромео и Джульеттой», национальные особенности сочетаются в ней с общечеловеческим гуманизмом. И еще одно сопоставление: в древнем европейском эпосе преобладают мифологические образы, в казахском больше элементов реализма, и в этом смысле он приближается к письменной литературе Европейского средневековья.

Чокан обращал внимание и на то, что отдельные поэмы героического эпоса, словно главы, в соответствии с последовательностью событий продолжают и дополняют друг друга, приобретают цикличность. Вслед за Камбаром, батыром рода Уаков, появляется Ер Кокше, за ним Ер Косай, за Ер Косаем действует батыр последующего поколения — Сары Баян.

Чокана радовало и удивляло уменье сказителей создавать образы коней. Кони, как и люди, не напоминают один другого. Каждый тулпар примечателен по-своему. Где найдешь такое разнообразие в европейском эпосе? И почему так произошло? Ответ приходил сам собой. Сказитель-импровизатор из народа, ведущего оседлую жизнь, не может так глубоко войти в животный мир, не может с такой силой опоэтизировать коня, передать разнообразность его бега, его привычки, как это было доступно акыну-кочевнику. Недаром у нас конь нередко называется первым другом батыра.

Он не без чувства гордости размышлял о том, что и в театрализованном фольклоре гармонично встречаются и национальные черты, и черты, присущие другим древним народам. Айтыс акынов, соревнование поэтов... Даже игра «Хорош ли хан?» При желании в них можно было обнаружить некоторое сходство и с древнегреческим праздником в честь бога винограда и веселья Диониса и с древнеримскими представлениями — сатурналиями. А казахские «молчанка» и «мыршым»? Искусных участников этих забавных игр многое объединяет с русскими скоморохами и со старофранцузскими мимами. Характерно, что этот вид народного искусства возникал чаще всего на ярмарках.

Артистический талант — в природе казахов. Чокан вспомнил атыгайца Шаупкела, исполнявшего эпос «Алпамыс» и баганалийца Жанака, мастерски рассказывавшего «Козы Корпеш и Баян-слу». И Шаупкел и Жанак говорят за каждого героя ему присущим голосом, сопровождая речевое исполнение жестами и мимикой.

А баксы-шаманы? С ними его знакомил в Омске Олень-Бабай. В душу Чокана закрадывалось сомнение: может быть, они просто шарлатаны? Теперь он увидел баксы на ярмарке. Их было несколько человек. И некоторых Чокан тут же про себя развенчал.

Но вот, например, баксы Сибан-Туяк. Чего он только не выделывал?! Прикладывал язык к раскаленному до красноты топору. Раздевался и садился на этот же топор. Мог мгновенно исчезнуть и появиться снова. Ловкий фокусник? Вероятно. Но уже за гранью фокуса проявлялось его виртуозное уменье воспроизводить на кобызе крики всех животных. Сибан-Туяк делал это так натурально, что после его игры собаки лаяли, ржали лошади, мычали коровы. Это Чокан слышал своими ушами. Но еще говорили, что он может подражать хищным зверям, и они приходят на его зов. Даже змеи выползают из своих нор.

Гипноз... А что, если это тоже искусство? Искусство, которому суждено большое будущее.

Много впечатлений увозил Чокан из Атбасара. И утверждался в мнении о великом и разнообразном богатстве искусства своего народа, которое складывалось веками и которому нельзя не удивляться.

Одновременно он сожалел, что никто по-настоящему не собирал и не изучал этого богатства. Не все же передается из уст в уста, от поколения к поколению. Что-то теряется в пути, и теряется безвозвратно. А что-то, как драгоценный камень, спря-

танный от глаз людских на дне моря, когда-нибудь дождется своего часа.

Чокан испытывал чувство горечи еще и потому, что почти все увиденное и услышанное им принадлежало прошлому, было пусть необыкновенно ценным, но наследием, а не творением нынешних дней.

Европа, Россия брали из своих древних культур самое яркое и необходимое и двигались вперед. Просвещение, наука, искусство, литература у них развивались и шли путем прогресса.

А казахский народ?

На путь прогресса он еще не вступил.

И хотя здесь, в степях Приуралья и Приишимья, со времени присоединения к России прекратились вражеские набеги, давно не случались джуты и не грозил голод, жизнь, может быть, стала и лучше, но круто не изменилась. Да, по-прежнему рядом с богатыми баями жили бедняки. Правда, совсем лишенных скота в аулах было очень и очень мало, нищие встречались редко. Постоянные кочевья, свежий степной воздух, сам характер неизнуряющей работы скотовода хорошо сказывался на внешнем виде казахов. Чокан увидел их в Атбасаре статными и красивыми, как пелось в песне. Увидел и даже почувствовал что-то похожее на гордость, но тут же ловил себя на горькой мысли об их невежестве. Они живут только сегодняшним днем, короткой радостью, не зная, что будет завтра, не помышляя о будущем.

Красивый народ и темный народ, а самые темные из темных — к счастью, совсем немногочисленные — это мусульмане-фанатики. Они-то и оскорбили Чокана, причинили ему непоправимый ущерб.

Чокан любил и умел рисовать, знал основы музыкальной грамоты. Эти навыки он приобрел в корпусе, в Омске.

На ярмарке он сделал много зарисовок интересных типажей, записывал песни и кюи. Бесценные эти материалы заполнили два альбома — большой и потоньше. Чокан показывал свои наброски Гутковскому. Карл Казимирович, знавший толк в этом деле, восхищался и мастерством Чокана и уникальностью самой натуры.

И вот эти-то альбомы оказались украденными и, конечно, уничтоженными.

Чокан был убежден, и справедливо убежден, что так могли поступить только мрачные поборники ислама, запрещающего рисовать человека. Но Чокан не знал, что по наущению одного

муллы и, понятно, за большие деньги, альбомы выкрал преданный ему Токбет. Уж на него-то и тень подозрения не падала.

Труд многих дней, свершенный при самом удачном стечении обстоятельств, оказался напрасным.

Чокан понимал: самые настойчивые поиски ни к чему не приведут.

Оскорбился и горевал. Не столько по поводу утраты, сколько по поводу воинствующего невежества.

Но надежд на славное будущее своего народа он не терял. Эта надежда — сам народ и его культура сегодня. Она, как степь, как нетронутая степь с ее цветущими травами, с ее березовыми рощами, с ее родниками. Копни почву — где ты найдешь такую богатую и плодородную землю? Опусти в нее семена — бурными будут всходы... И этот день настанет.

## *ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

# СИБИРСКИЕ УРОКИ

### Эти пустые головы...

Когда Чокан вернулся в Омск, в Зимнем дворце Гасфорта заканчивались пиршественные торжества, начатые здесь еще дней десять назад.

Генерал на широкую ногу праздновал свое выздоровление. На пути из Омска в Екатеринбург он с опаской думал: или тяжелая операция или смерть. Страхи Густава Христиановича, к счастью для него, не подтвердились. Скальпель хирурга не коснулся упитанного генеральского тела. Пьяница Илиади поставил точный диагноз — камни в почках — и уже в дороге прикармливал своего сановитого пациента припрятанными на случай немецкими таблетками, облегчавшими страдания больного. А опытные екатеринбургские лекари всего в какую-нибудь неделю излечили омского генерала вошедшим в моду марендером, растворяя его в воде и капая на сахар эту красноватую жидкость. Сначала не без боли выходили камушки, потом песок и все закончилось как нельзя лучше. Боли прошли, генералу дали строгие рекомендации, и он отправился восвояси.

Радовался Густав Христианович так же шумно, как и страдал. Вот и закатил он пир по поводу своего чудесного выздоровления.

Впрочем, нашлись злопыхатели, утверждавшие, что затеяв эти праздники, Густав Христианович причинил себе моральную боль не меньше той физической, которую пришлось ему испытать во время приступа болезни. Ему ведь запретили есть жирную пищу, которую он обожал, запретили употреблять не только водочку, предпочитаемую им всяким там рейнвейнам, но и легкое виноградное вино.

Вот он и преодолевал ежедневный искус, угощая гостей, но не прикасаясь ни к мясу, ни к напиткам.

Чокан застал Гасфорта изрядно осунувшимся не только после болезни, но и после затяжного испытания гастрономически-

ми соблазнами своей чувствительной и одновременно твердой натуры.

Генерал пригласил адъютанта к уже не столь пышно заставленному столу, отечески предложил выпить за свое собственное здоровье, дал мудрые, как ему казалось, наставления.

После атбасарской поездки, ближе познакомившись с жизнью родного края, Чокан впервые ясно представил себе, как отстали казахи от русских и в хозяйстве, и в культуре. Чаще и чаще задумывался он над тем, как выйти из этого горького положения.

Может быть, мне поможет найти разумное решение и близость к генерал-губернатору Западной Сибири?

Обязанности адъютанта пока особенно не обременяли Чокана. Тем более адъютантов было четверо, и каждому Гасфорт определил свой круг вопросов. Чокан ежедневно читал рапорты, поступающие в губернаторство, несложные дела решал сам, о более трудных докладывал генералу. Кроме того, на его плечах лежала подготовка к поездкам, до которых Густав Христианович был весьма охоч.

Стараясь более или менее исправно нести службу и почти ежедневно сталкиваясь с Гасфортом, Чокан внимательно присматривался к генералу. И чем больше он присматривался, тем сильнее удивлялся. Генерал-губернатор Западной Сибири, наместник царя, совсем не так усердно занимался государственными делами, как вначале думал Чокан. Вставал он поздно, неторопливо приступал к туалету, потом отправлялся в ту комнату дворца, куда разрешалось входить очень немногим, и тщательно проделывал гимнастические упражнения. Если по неотложной надобности генерала за гимнастикой заставал один из адъютантов, то происходило обычно следующее: Густав Христианович, не сбиваясь с ритма, давал знак подождать, а потом, прежде чем выслушать подчиненного, демонстрировал ему свои мускулы —«Железные, почтеннейший, железные, ожирения я не допущу». Адъютант склонял голову в знак своего восхищения.

После гимнастики обычно следовал легкий завтрак, а уж потом начинался прием, выслушивание рапортов. Разговоры с другими чиновниками, какой бы экстренный вопрос не предстояло решить, Гасфорт оставлял на послеобеденное время, ибо перед обедом считалась обязательной верховая прогулка.

Генерал не без оснований называл себя старым кавалеристом. Он действительно умел и любил ездить верхом. Легко пускал коня и в рысь, и в галоп, и нисколько не уставал в седле. Гасфорту нравилось, когда его сопровождал на охоту Чо-

кан, тоже хороший наездник. Обычно это была охота с русскими гончими — красивыми, умными собаками. С изящными головками, они быстры на бегу и сильны своей хваткой. Легко берут зайцев и лис. Один на один одолевают волка, а в стае справляются и с медведем.

...Увлекаясь спортом, верховой ездой, охотой, будучи человеком гостеприимным и разговорчивым, Гасфорт даже тогда, когда происходили чрезвычайные события, обычно оставался абсолютно спокойным.

В соответствии с этой особенностью своего характера относился он и к казахским проблемам. Дальше наивного прожектерства он не шел, об аульной жизни не имел никакого реального представления и до назначения Чокана адъютантом ни разу не побывал ни в одном из шести казахских округов-дуанов. У него были открыты уши для забавных слухов и сплетен, но когда речь шла о чем-нибудь серьезном, он и слышать ничего не хотел.

Чокан подумал, подумал и решил не делиться с генералом своими впечатлениями от поездки в Орду и Атбасар. Конечно, какие-нибудь второстепенные детали сообщить можно, но к чему Гасфорту мои мысли о казахском народе? У него и желания нет размышлять об этом.

Бывало, сам Густав Христианович затевал разговор об аульной жизни. Но при этом нес такую околесицу, что она ни в какие ворота не лезла.

Однажды он перебил Чокана, зашедшего к нему с очередным рапортом, неожиданным вопросом:

— А ведь правда, что у вас, киргиз-кайсаков, много лошадей?

Чокан ответил утвердительно и рассказал о баях, владеющих многотысячными табунами. Добавил и о том, как гибнут кони в суровые зимы, в гололед.

— Ну, а если построить конюшни и там держать лошадей?

Чокан рассмеялся.

— Я говорю совсем не о смешных вещах,— начал сердиться Гасфорт.

— Если не о смешных, то о невозможных, ваше превосходительство.

— Почему же невозможных?

— Потому невозможных, ваше превосходительство, что не построишь для тысячных табунов конюшен, не напасешься на них сена.

— И конюшни построить можно, и сена запасти.

— То есть как, ваше превосходительство?— подавляя тихий смех, спрашивал Чокан.

— А очень просто,— молодецки гремел басом генерал.— Сибирского леса хватит для конюшни не то что миллиону — миллиарду лошадей.

— Верно, ваше превосходительство, лес у нас есть, но вот как его доставить в степи?

— Построим дороги, выстелем на трудных участках лесом.

— А транспорт, где взять транспорт для перевозки леса?— не унимался Чокан.

— Используем возможности,— без прежней решительности и конкретности настаивал на своем генерал.

Услышав о возможностях, Чокан промолчал... Спор этот мог увести бог знает куда.

Правда, Гасфорт, увлекаясь беспредметными своими фантазиями, высказывал порой и красивые, в будущем не лишенные смысла, мечты.

— Говорят, ваша степь — плодоносная степь. Черноземные почвы созданы для выращивания хлеба. Что, если расширить земледелие, заставить скотоводов заниматься хлеборобством?

— Это было бы хорошо, но тогда придется, ваше превосходительство, переводить кочевников на оседлость,— заметил Чокан.

— Что ж, если надо перевести, то переведем,— отрубил Гасфорт.

— Легко сказать, ваше превосходительство. А сделать трудно, очень трудно.

— Почему ж трудно?

— Да потому, ваше превосходительство, что нелегко... Надо менять психологию кочевника. Веками она складывалась.

— А если приказать?— сказал, как шпорой брякнул.

Чокан даже вздохнул. Но ответил недвусмысленно, прямо:

— Приказы отдаются, чтобы их выполнять, а этот приказ не пройдет.

— Не пройдет, миленький? А что же тогда пройдет?

«Миленький» в лексиконе Гасфорта означало, что он уже начинает злиться.

— Воспитание, ваше превосходительство, только воспитание.

Густав Христианович уставился на своего адъютанта и не пожелал вдаваться глубже в эту проблему. Да и к тому же он крайне не любил, когда ему противоречили.

Недалекий, как все тщеславные и потому хвастливые люди, Гасфорт часто не понимал шуток.

В Омске той же осенью 1854 года ждали приезда из Петербурга начальника военных учебных заведений, великого князя Константина Константиновича. Естественно, наш генерал от инфантерии был озабочен не только общей церемонией встречи, но и своим внешним видом. Имея множество наград за свою долгую, более чем сорокалетнюю службу, он непременно хотел нацепить все свои ордена и медали. А они, как назло, не помещались на мундире. Он поделился своим огорчением с Чоканом, и тот ему посоветовал приколоть медали, которым не хватило места, на брюки, выше ботфорт.

Увы, генерал принял всерьез совет своего адъютанта. Как принимал всерьез и другие шутки.

— Тут, корнет, много говорят о Теккерее? Кто он такой? Впервые слышу такую фамилию.

— Кажется, заключенный в Омском остроге.

— Прикажи, чтобы его как-нибудь привели ко мне.

Спустя несколько дней спросил:

— Ну, нашел этого Теккерея?

— Нашел... Это, оказывается, английский писатель. Вот его портрет и книга «Ярмарка тщеславия».

Гасфорт повертел в руке книгу, похмыкал, похмыкал и ни в чем не упрекнул Чокана. Он не стеснялся своего невежества и редко обижался на адъютанта.

Поговаривали даже, что он балует Чокана и имеет на него кое-какие виды. В этой молве была какая-то доля правды. Одной из самых близких Чокану семей в городе была семья Карла Казимировича Гутковского. Дочку Гутковских, Катю, любимицу генерала, многие прочили замуж за Чокана.

Но Гасфорт вообще хорошо относился к Чокану, независимо от его будущей женитьбы.

Ему нравилась сообразительность корнета, его степной аристократизм и, как он считал, экзотичность.

И хотя сам Гасфорт чаще всего не понимал шуток,— он и представить себе не мог, что его, заслуженного генерала, можно высмеивать,— он от души смеялся, когда Чокан ловко копировал смешные черты омских чиновников. Густаву Христиановичу временами казалось, что Чокан не только адъютант, но и артист в его просвещенном доме. Ведь генерал считал себя театралом и комедии предпочитал всем другим спектаклям. Когда случалось бывать ему в Петербурге или Москве, он обязательно заглядывал в афиши, не пропускал пьес Гольдони, Мольера или Гоголя, искренне хохотал и в положенных местах выкрикивал своим баском —браво!

Что касается Чокана, то он, если и щадил порою Гасфорта,

то только в его присутствии. За глазами он высмеивал его, пожалуй, больше других. Высмеивал у Гутковских, высмеивал и при его жене. Высмеивал так же зло, как и других омских чиновников, не сообразуясь с табелем о рангах. И вот что любопытно — даже ближайшие родственники генерала смеялись вместе с остальными, никогда не рассказывая об этом Густаву Христиановичу.

Но почему Чокан был таким пересмешником? Почему он передразнивал сильных мира омского? Может быть, ему нравился успех? Может быть, он искал случая поразвлечь омскую публику? Нет! Много злости и гнева накапливалось у него в сердце. Вот он и выплескивал наружу чувства, не дававшие ему покоя. Он не дразнил, он издевался над невежеством, глупостью, жадностью, пустотой. Он верил Гоголю и Салтыкову-Щедрину. Где только в России не встретишь пустых голов! Есть они и в Омске. Но кто оградит нас от них? Как много ни думал Чокан над этим, ответа он не находил.

## Катерина

Пожалуй, только двух высокопоставленных военных чиновников Омска Чокан никогда не причислял к пустоголовым — полковника Майделя и уже знакомого нам Карла Казимировича Гутковского.

Барон Павел Федорович Майдель, происходивший из эстландских дворян, выходцев из Баварии, человек расчетливый, осторожный, далеко не прямой, и подкупал Чокана недюжинным своим умом, и отталкивал двуличностью, которую не так-то легко было распознать. Прибывший в Омск вместе с Гасфортом, он выполнял не только свои прямые обязанности в Правлении сибирских киргизов, но не забывал и о деликатных петербургских поручениях — наблюдать за чиновниками польского происхождения и другими официальными лицами, призванными осуществлять политику Российской империи на Востоке, в Средней Азии. Уж кто-кто, а Майдель превосходно знал все качества Густава Христиановича Гасфорта — и его преданность монарху, и генеральскую решительность, и пустопорожнюю звонкость его головы. Вот полковник Гутковский, товарищ военного губернатора, то есть заместитель Гасфорта, тот был куда как глубже и интереснее своего начальника.

Майдель не до конца доверял Карлу Казимировичу, несмотря на очевидную преданность того престолу и отличный послужной список. Не доверял, потому что недолюбливал поля-

ков, потому что завидовал ему, потому что, наконец, именно так подсказывал ему собственный тонкий нюх.

Впрочем, Гутковский вряд ли был крамольным человеком. Карл Казимирович, как наблюдал Чокан с малых кадетских лет, всей душой оберегал честь своего армейского мундира и вполне искренне мечтал о расширении границ Российской империи. Образованный офицер, закончивший кадетский корпус и Николаевскую военную академию Генерального штаба, он прошел выучку еще у князя Горчакова в бытность того генерал-губернатором Западной Сибири. Гутковскому уже не раз приходилось руководить сбором разведывательных данных о сопредельных ханствах Средней Азии, в частности, о Коканде и Кашгаре. Сравнительно недавно, года два назад, он встречался по поручению Петербурга с кокандским посланником Курбановым и обсуждал с ним возможности активизации русской политики в отношении этого обширного и богатого ханства.

Гутковский был озабочен организацией разведки в Средней Азии. Кто ее должен осуществлять? Русские путешественники или торговцы? Их так называемые секретные донесения пачками лежат в омских сейфах военного губернаторства. Весомых фактов в них мало. Ложные слухи, пустые сплетни... Серьезных данных там нет, а о сколько-нибудь полной картине и думать не приходится.

Чокан, на которого он обратил внимание еще в кадетском корпусе, где преподавал географию и геодезию, нравился ему и живым характером, восприимчивостью к знаниям, отвагой, и тем, что легко вписывался в сферу его служебных интересов. Из юноши будет толк, убеждался с каждым годом Карл Казимирович и приближал Чокана к себе, к своему дому.

Совместное пребывание на ярмарке в Атбасаре сблизило их еще больше. Гутковский увидел решительность Чокана, его умение разговаривать и со знатными людьми аулов, и с простым людом, увидел терпение и быстроту, с которой он делал свои зарисовки. Несомненно, он сможет выполнять более широкие и важные задачи, решать их до конца.

Он любит свой народ, в нем кипит молодая энергия. Он рвется к деятельности. Он свободолюбив. Пока еще он может встать на дыбы, но потом задохнется, устанет, запутается в русских колониальных сетях, как и другие свободолюбцы. Дальнейшее, кажется, ясно.

Надо предотвратить такой поворот судьбы Чокана, поставить его ум и энергию на службу Российской империи.

Об этом Карл Казимирович не раз беседовал со своей же-

ной Екатериной Яковлевной, которая тепло относилась к степному принцу. Одна-единственная дочь, названная именем матери, была любимицей семьи. Когда дочь подросла, ее, чтобы не путать двух Екатерин, стали величать Катериной, еще чаще, понятно, Катей, Катюшей.

Катюша-Катерина часто бывала и у бездетных Гасфортов. Густав прощал ей, как он говорил, сладкие выходки, баловал ее. Елизавета Николаевна относилась к Кате довольно холодно — никогда не рожавшая, она вообще была равнодушна к детям. Но в угоду мужу делала вид, что души не чает в девочке и, в конце концов, привыкла к ней. Так Катюша-Катерина милым ягненком паслась на лугах обоих домов.

Чокан еще совсем молоденьким кадетом часто бывал у Гутковских и тогда же подружился с Катюшей, которая была всего на два года моложе его. Первое время озорной Чокан даже обижал девочку и, случалось, доводил до слез. Избалованная, строптивая Катя, не прощавшая другим обид и поменьше, долго сердиться на Чокана не могла, и мир после очередной ссоры восстанавливался чуть ли не на следующий день.

Они привязались друг к другу, как брат с сестрой. Скучали, когда приходилось расставаться. Чокан, бывало, забегал к Гутковским в самое неурочное время, и старшие смотрели на это сквозь пальцы: им нравилась эта необычная дружба.

Наведывалась в корпус и Катя — дожидалась окончания классных занятий и на виду у всех уводила Чокана к себе домой.

Она училась в женской гимназии, а до гимназии у нее была гувернантка-француженка. Хорошо зная французский язык с самого детства, Катя охотно помогала Чокану, и успехами своими в чтении французских классиков он был обязан прежде всего своей отроческой подружке.

Но осенью пятидесятого года — Чокану оставалось учиться в корпусе еще около трех лет,— друзьям пришлось расстаться. Карл Казимирович с женой уехал отдохнуть в Петербург. Родители захватили с собой и дочку — и неожиданно ее удалось устроить в Институт благородных девиц с полным пансионом.

Чокан и Катя переписывались на первых порах, но письма никак не могли заменить личных встреч.

Расстались они полудетьми, а теперь были уже самостоятельными людьми.

Вскоре, после возвращения Чокана с Атбасарской ярмарки, произошла их новая встреча. Встретились совсем не так, как

они представляли себе, расставаясь. Не то, чтобы совсем чужими, но, во всяком случае, новыми друг для друга людьми.

И прежде всего они изменились внешне.

Катерина не без удивления смотрела на загоревшего под степным солнцем Чокана. Лицо его показалось девушке потемневшим, даже сумрачным. И усы, узкие черные усы. Значит, он стал совсем взрослым? Раздался в плечах, слегка пополнел. Но в офицерском мундире выглядит стройнее прежнего. Почему он так спокойно разговаривает? Раньше он был весь в движении, куда-то торопился. Откуда у него появилась выдержка? Вот уж никак не могла предполагать. Неужели это Чокан? И самоуверенный и быстро смущающийся? Смотри-ка, ничем не выдал своего волнения. Или он не волнуется и в самом деле?

А Катерина-Катюша? Она тоже заметно изменилась в глазах Чокана Угловатая, порывистая гимназистка стала серьезной слушательницей столичного института. Нет, она не бросится к нему на шею. Боже мой, ведь он ее однажды нес на спине! Какая она была маленькая. Не узнать в этой рослой, сохранившей, к удивлению Чокана, прежнюю тонкую талию, полногрудой девушке смешливую беззаботную девчонку. Да, она, кажется, красавица. Золотистые косы сбегают по плечам, когда-то курносый носик выпрямился, стал изящным. Не было у нее раньше и такого румянца, и таких густых темных бровей.

Первая встреча скорее отдалила, чем сблизила их.

Разговор был сдержанным, хотя и не лишенным лирики. Катерина вспоминала недавно прочитанные книги, восхищалась Петербургом, неожиданно для Чокана назвала Омск провинцией, и уж вовсе неожиданно спросила:

— Вы кого-нибудь полюбили, Чокан?

Он не ответил, мгновенно сообразив, что если ей рассказать об Айжан, вряд ли она поймет и, тем более, одобрит его выбор.

Однако и эта встреча имела свое продолжение. Да иначе и не могло быть. Они находились в одном кругу и тропки их постоянно пересекались.

Карл Казимирович приметил, что его Катюша стала скучать. И вспомнил об одном прекрасном средстве поднять настроение дочери. Она еще до отъезда в столицу научилась самостоятельно садиться на лошадь и совершать недалекие прогулки. Приобретя вкус к верховой езде, она не только не утратила его в Питере, а даже нашла время и возможность заниматься в женской школе манежа.

Вот Гутковский и подбросил Гасфорту спутницу в его выездах. Благо, лошадь для Кати выбрать было совсем не трудно. В губернаторской конюшне большой выбор иноходцев и рысаков, чистопородных и степных коней.

Густав Христианович, как и прежде, не мог отказывать ей в просьбах. Стоило Кате появиться в его кабинете, он откладывал дела и вызывал Чокана:

— Поедем, корнет. Мы же с тобой не имеем права возражать петербургской амазонке.

И, довольный своей остротой, шумно смеялся.

Иногда нездоровье мешало прогулкам Густава Христиановича — годы давали себя знать:

— Молодые люди, может быть, обойдутся сегодня без меня?

Тогда Чокан с Катериной уезжали вдвоем.

Конечно, им нравилась быстрая езда, нравилось, что на них в городе заглядываются прохожие, а в степи манят березовые колки и так вольно и упруго ударяет в лицо свежий, пахнущий травами ветер.

Им нравилось говорить друг с другом, позволять в словах легкие вольности и насмешки.

Чокан, не забывая об Айжан, нет-нет, да и посматривал на Катюшу не как на случайную спутницу. Нет-нет, да и появлялась — пусть робкая, неуверенная, но все-таки мысль — а что, если Катя станет его женой? Мысль возникала и тут же гасла: нет, такая жена вряд ли понравится моему народу, которому я должен служить. Она и рождена и воспитана в далекой от народа аристократической среде.

Однажды при нем, при Чокане, она с таким пренебрежением отозвалась об инородцах, имея в виду прежде всего казахов, что он вспыхнул и очень резко ответил ей.

Всю обратную дорогу они молчали, сухо попрощались, но через день встретились как ни в чем не бывало, и Катерина даже как-то потеплела к Чокану. Пренебрежительных высказываний он больше не слышал от нее. Она стремилась дать почувствовать ему, что смотрит на него как на равного и даже намекала — этого Чокан не мог не понять — на свою нежность, на свою возрождающуюся в новом качестве привязанность.

Они боролись со своими чувствами — и Чокан, и Катя. Кто знает, чем бы окончилась эта, пока молчаливая борьба, если бы в отношения между ними не вмешались сторонние силы.

Все началось с Павла Федоровича Майделя. Он стал завидовать Чокану, чей авторитет вырос после Атбасара, Чокану,

к которому благоволил губернатор, Чокану, оказавшемуся своим человеком в семье Гутковского. Подумаешь, азиат, а еще в зятья к полковнику метит. И хотя Майделю было совершенно безразлично, на ком женится Валиханов, ему очень хотелось бросить на него тень, поссорить его с Гутковскими и Гасфортом.

Тухфатуллин — ох уж эти денщики!— подробно донес Майделю об Айжан. И Павел Федорович подумал: сам бог мне дает возможность посеять семена раздора.

Жила в Омске одна баронесса, вдова такого же эстландского служаки, как и Майдель. Завсегдатайша не таких уж многочисленных омских салонов, дама разговорчивая и умеющая слушать, баронесса Бляу была осведомительницей Майделя и охотно выполняла его нечистоплотные поручения.

На этот раз Павел Федорович попросил ее умело и обдуманно пустить сплетню о Чокане. Баронесса без колебаний согласилась и, как опытная светская кляузница, безошибочно нашла самую удобную мишень: Елизавету Николаевну, жену Гасфорта, а уж заодно и Екатерину Яковлевну Гутковскую.

Как и обычно, она забежала к генеральше в тот час утреннего кофе, когда генерал находился на службе.

Ахи, охи, взаимные расспросы о здоровье.

— Ну, какой, Елизавета Николаевна, обольстительный адъютант у Густава Христиановича! Способный, говорят, молодой человек.

И Елизавета Николаевна, и случившаяся здесь старшая Гутковская кивнули головами:

— Да, да, отличный молодой человек!

— Степной принц!

Хвалили его дружно. Выбрав момент, баронесса елейным голоском поднесла пилюлю:

— А верно ли, что Чокан Чингизович вернулся из Атбасара уже женатым?

Наступило неловкое молчание.

— Значит, вы слышали об этом?

— Слышала, но право же, боюсь повторить.

— Мы же свои люди, дорогая. Вы от нас секреты не таите.

После брошенной искорки баронессе отступать было уже некуда.

— Представить себе не могу, но говорят, что Чокан Чингизович, русский офицер, образованнейший человек, султан, и женился в родном ауле на дочери своего раба.

— Быть этого не может!— чуть ли не в один голос произнесли генеральша и ее приятельница.

— И я, дорогие мои, не хочу верить. Не хочу! Но, увы, это правда!

Дамы по-разному восприняли слова баронессы.

Елизавета Николаевна сделала вид, что это сообщение ее расстроило. Она понимала, что такая весть может сильно огорчить Катюшу, но до самой Катюши ей не было никакого дела.

А вот Гутковская пришла в настоящее смятение. У нее даже голова закружилась. Это была внезапная и потому вдвойне горькая обида за дочку. Хоть она и с некоторым сомнением относилась к дальнейшему сближению Чокана и Кати и не считала, что их свадьба решенное дело, все же ей было известно — многие омичи думают иначе. Это произведет нехорошее впечатление. Как, наконец, к этому отнесется дочь? Словом, для Гутковской это был настоящий удар.

Своих мыслей она не выдала.

Овладев собой, только и сказала с сердцем:

— Да пусть женится на ком хочет!

Однако внимательная баронесса догадалась, что жене полковника это далеко не безразлично.

Сказать об этой новости Катюше мать так и не решилась, побоявшись, что дочь воспримет эту весть тяжелее, чем она сама. Оградить дочь от сплетен? Да разве это возможно в Омске?

Так и случилось. Катюша узнала обо всем помимо матери. И так же, как мать, никому не выдала своего горя. Сказалась приболевшей, слегла в постель. Но в противоположность матери твердо решила узнать обо всем у самого Чокана. В том, что он скажет правду, она не сомневалась.

Случай подвернулся быстрее, чем она ожидала.

Острота неожиданного огорчения уже притупилась — недомогание прошло, осталась только горечь. Чокан забежал навестить больную, но застал ее в полном здравии.

— Какая сегодня духота, Чокан!.. Небывало жаркий для Омска август,— Катя обмахивалась ладонями, как веером.— Парков у нас нет, садов нет, одна пыль. Поехать бы в лес, да лес далеко. А тут головная боль... Правда, сегодня мне уже легче.

Держалась она приветливо, как обычно.

И Чокан по своему обыкновению в несколько шутливом тоне принялся сравнивать Омск с Петербургом, сетовать на то, что нет здесь ни памятников, ни скверов, ни каналов с прозрачной водой, ни величественных соборов. А театры, а ночные фонари на проспектах!..

Шутливую речь Чокана Катя приняла вполне серьезно:

— Ты прав. Тому, кто пожил в Петербурге, в Омске жить уже не хочется. Понимаешь, не хочется.

— Не хочется, говоришь? Значит, ты так привыкла к столице. Ну, а для меня Омска хватит с избытком.

— Ты просто не видел настоящих городов, Питера не видел. Побывал бы там, не захотел бы здесь жить.

— Захотел бы, Катя, захотел! Приведись мне в Петербурге жить, торопился бы сюда вернуться.

— А если бы женился?

— Если бы и женился,— повторил он в утвердительном тоне слова Кати.

— Ну, а если бы жена не разрешила?

— Жена? Да я бы и не стал спрашивать у нее разрешения.

— Значит, ты не будешь считаться с ее мнением.

— Я думаю, она будет считаться с моим.

Разговор с каждой минутой становился значительнее и утрачивал обычный характер полушутливого спора.

— Катя!— голос Чокана прозвучал приглушенно и одновременно сильно.

— Я слушаю тебя, Чокан.

— Когда я в Омске, то знаю: здесь Иртыш, а за Иртышом — родная степь, кочевья моего родного народа. Омск мне дорог, потому, что я получил воспитание в этом городе. И здесь я связан со степью. Все, что я только способен сделать, я хочу сделать для моих казахов. Понимаешь, есть лестница культуры. Так вот, мы стоим на нижней ступеньке. А у меня нескромная мечта — приподнять свой народ хоть на одну ступеньку — но выше.

— Ну и что? Мне не совсем понятен ход твоих мыслей.

— Я говорю о простых вещах. Самых простых. Я должен быть вместе с народом.

— Значит, и твоей жене придется жить такой жизнью, которую ты себе избрал. Так?

— Безусловно!

...Черта была подведена. Углубляться дальше — означало бы идти на разрыв. Так, по крайней мере, подумала Катерина. И у нее не хватило решимости сделать этот последний шаг. Ведь с детских лет в тугой узел завязалась их дружба. Вспоминая те далекие, безгрешные дни, Катя прониклась жалостью к себе самой и Чокану. И зачем только они повзрослели? Почему нельзя вернуть прежнюю безоблачную легкость?

Было еще сказано несколько незначащих фраз, было вполне обычное прощание. Но когда Чокан ушел, Катерина со всей

ясностью почувствовала, что мысли его не с ней. Слух, дошедший до нее, не был лживым.

Возобновились головные боли. Он оскорбил, он предал меня, думала про себя Катя, и становилось еще невыносимее оттого, что все вокруг, как ей казалось, уже знают об измене Чокана. Омские кумушки опережали события и называли Валиханова ее женихом. Что они будут говорить теперь? Что скажут друзья, близкие? Если следовать романам из светской жизни, то она жертва несчастной любви и ей надо отправляться в монастырь.

Она искала выход и не находила его, не в силах избавиться от душевного смятения. Тогда Катя решила посоветоваться с матерью.

— Ты слышала, мама, говорят, Чокан женился или женится в ближайшее время.

Екатерине Яковлевне не надо было смотреть в глаза дочери, расспрашивать ее о чувствах к Чокану. Она и так понимала ее состояние, поэтому ответила как можно спокойнее:

— Говорят — это еще не значит, что женился или женится. Лично я, Катюша, не верю в это. Понимаешь, не верю.— Екатерина Яковлевна говорила не совсем то, что думала, но изображала искренность, как только могла. Чокан опомнится. Сделать женой свою служанку, почти рабыню — немыслимо. Для такого блестящего офицера... Мужчины увлекаются, совершают ошибки. Это ты должна знать... Я слышала, что она этакая степная красавица... Ну что ж... Встретился, понравилась она ему... Чокан же порох, вспыхивает мгновенно. Но пройдет время, и он откажется от нее. Вот увидишь. А тебе торопиться ни к чему. Ты еще молоденькая, у тебя все впереди. Будь спокойной, возвращайся в свой Питер и заканчивай институт.

Может быть, слова матери были и не такими, какие хотела услышать Катюша, но сам их тон, сама доброта подействовали на нее.

Через несколько дней Катюша укатила в Петербург. Накануне к Гутковским зашел Чокан, но это был визит вежливости. Он не пытался возобновлять того разговора, не пытался внушать девушке какие-то несбыточные надежды, да и она больше не вызывала его на откровенность. Он понимал ее состояние, как понимала и она, что Чокан принадлежит к числу людей, твердых в своих решениях.

Конечно, все это дошло и до Гасфорта. Постаралась прежде всего Елизавета Николаевна, проявив необыкновенное рвение и многое преувеличив. Но Густав Христианович отнесся к

этому довольно равнодушно. За Катеньку он не волновался — такой лебеденок найдет настоящего жениха. Он и прежде не восхищался ее дружбой с Чоканом. Да, сообразителен, интересен, мил в обществе: но инородец, азиат! Это даже хорошо — пусть прекратятся всякие разговоры о женитьбе. Что же касается самого корнета Валиханова, то почему он должен менять к нему отношение? Как был адъютантом, так и останется. В государственных делах найдут достойное применение и его энергия, и его знания, и его ум. В этих качествах молодому султану не откажешь.

### Близкие друг другу сердца

Пуще огня боялся Гасфорт одного грозного, как бушующий поток, горячего, как пламя, слова —«революция». Боялся с юношеских лет. И чем взрослее он становился, тем больше ненавидел и революцию и революционеров. В его верноподданнической офицерской душе царь представлялся самим господом богом на земле, а революция грозила уничтожить и царя, и царский строй.

Гасфорт избегал даже произносить страшное это слово. Оно не укладывалось в его голове, но он не мог не думать о нем.

Его потрясли сильнее Отечественной войны события на Сенатской площади в декабре 1825 года. Он был одним из тех верных престолу офицеров, кто непосредственно участвовал в подавлении восстания.

Он нескрываемо радовался жестокой расправе, учиненной Николаем над декабристами, и наивно думал — наконец-то наступит спокойствие. Но наступили дни революции 1830 года во Франции, а потом грянул в Европе 1848 год. Гасфорт принимал участие в подавлении демократических сил и немало гордился этим обстоятельством, хотя именно его часть потерпела жестокое поражение.

Не доставил радости генералу и следующий, 1849 год, отмеченный в России разгромом петрашевцев. Густава Христиановича, убежденного крепостника, едва ли не больше всего беспокоило стремление петрашевцев уничтожить в России крепостное право.

Когда генералу стало известно, что в омский острог по этапу доставлены два участника кружка петрашевцев, он преисполнился особой озабоченности: мол, пусть эти государственные преступники почувствуют всю силу справедливого возмездия. Должно быть, плац-майору острога Василию Кривцову, Ваське Восьмиглазому, как называли его заключенные, известна была

непримиримость генерал-губернатора. Со дня прибытия новых арестантов из Тобольска в Омск он не давал им покоя, придираясь ко всему, к чему можно было придраться и к чему нельзя.

Плац-майор, каналья, каких мало,— так о нем отзывались сами арестанты,— сообщал о своих действиях одному из адъютантов Гасфорта, молодому офицеру, родом из Прибалтики, а тот, в свою очередь, докладывал самому генералу.

Адъютант подзадоривал майора и, бог ведает, что бы еще мог натворить этот Восьмиглазый, если бы адъютант неожиданно не уехал.

Чокан в это время находился на ярмарке в Атбасаре.

Когда он вернулся в Омск, Гасфорт решил передать ему и дела, связанные с надзором над острогом. Генерал считал, что султан Валиханов, потомок самого Чингис-хана, невзирая на свою интеллигентность, будет достаточно твердо исполнять свои дополнительные обязанности, без всякого ненужного либеральничания.

Была и другая причина этого шага Гасфорта. Дело в том, что он начинал теперь побаиваться и самого Омского острога. Он ему казался пороховой бочкой, к которой петрашевцы вот-вот поднесут зажженный фитиль. А подступиться к делам заключенных, изучить их, чтобы все стало досконально ясным, ему мешали и собственная лень, и трусость. Так он тянул и тянул время. Теперь же, зная прилежность и сообразительность Чокана, он рассчитывал, что новый его адъютант и сам ознакомится с преступниками и составом их преступления и ему обо всем доложит.

Чокан без колебания принял поручение генерала. Оно его по-настоящему заинтересовало.

С понятием о революции Чокана познакомил еще в корпусе преподаватель истории Гонсевский, человек образованный и передовых взглядов. Он читал курс истории общественных движений и, кроме того, приглашал способных учеников к себе домой. Не только седая древность, но и XIX век были темами его занятий и бесед. Он не проходил мимо Великой французской революции 1789—94 годов, подробно рассказывал о ее наиболее значительных событиях и выдающихся деятелях. Чокан имел представление и о революционных потрясениях первой половины века в Европе, и о недавней революции 1848 года. Знал он, конечно, и о восстании декабристов, знал, что это было восстание дворян, стремившихся свергнуть плохого царя и посадить на его место хорошего. Он относился к ним с душев-

ной симпатией, слышал о них много лестного, но не разделял образа их действий.

О петрашевцах заговорили еще в корпусе. Сведения о них были отрывочными, противоречивыми; Чокан понимал свою неосведомленность и поэтому, когда представилась возможность мысленно увидеть полную картину, дал согласие Гасфорту выполнять и эту миссию, какой бы деликатной и сложной она ни была.

Свое знакомство он начал с истории Омского острога.

Омский каторжный острог находился на территории крепости, являвшейся тогда центром города. Крепость, с которой начал свое существование Омск, была заложена в 1716 году в изгибе Иртыша, там, где в него впадает речка Омь. Крепость была обнесена земляным валом со рвом и четырьмя воротами, при каждой из которых находились гауптвахта и военный караул. Острог, стоявший на краю крепости, был обнесен высоким бревенчатым забором с острыми кольями, сторожевыми вышками и тщательно охранявшимися железными воротами.

Крепость к тому времени уже потеряла свое военное значение, никакие набеги городу не грозили, но тем не менее она сохраняла воинственный характер: в ней размещались и генерал-губернаторство, и штаб Сибирского корпуса, и казармы линейных батальонов. Что касается самого острога, то он был предназначен для осужденных на ссыльно-каторжные работы — и солдат, и крестьян, и настоящих уголовных преступников, и тех, кто страдал за свои революционные убеждения. Большинство заключенных было русскими, но встречались среди них и поляки, и кавказцы, и башкиры, и калмыки.

Чокан в списках заключенных обнаружил двух петрашевцев — уже известного ему Федора Михайловича Достоевского и Сергея Федоровича Дурова... Знакомого по стихам поэта Плещеева в Омске не было: он отбывал наказание в Оренбурге, где служил рядовым в линейном батальоне.

Чокан прежде всего потянулся к Достоевскому.

Снова и снова перечитывал «Бедных людей». Вспоминал краткую и незабываемую встречу с Федором Михайловичем на берегу Иртыша.

Чокана давно уже волновали отношения «высших» и «низших», богатых и бедняков. Он наблюдал их в степных аулах и здесь, в Омске. Он не знал, как практически можно выйти из этого положения, а задавая вопросы своим знакомым и близким, убеждался, что и они не могут ответить.

Но если Достоевский так глубоко проник в жизнь городской бедноты, если он пишет о ней с беспримерным душевным сочув-

ствием, он, вероятно, думал и о том, как сделать ее, бедноту, счастливее. Он может знать то, что неведомо другим. Но почему тогда он оказался здесь, в казарме каторжников?

Он, Чокан, непременно должен встретиться с Федором Михайловичем, поговорить с ним откровенно.

Еще несколько дней назад такая встреча казалась недосягаемой мечтой, а теперь она приблизилась к нему вплотную, он мог осязать ее, притронуться к ней руками.

Чокан побывал у коменданта острога и выразил желание познакомиться с некоторыми заключенными, в том числе и Достоевским. Комендант, естественно, не был в восторге от этой просьбы, но и запретить посещение острога адъютанту генерал-губернатора он не имел никаких оснований.

Это любопытство Валиханова, вряд ли вызванное служебными обязанностями, не осталось вне поля зрения полиции, вне настороженных ушей полковника Майделя, но и помешать ему полиция не могла.

Пока идет подготовка ко встрече, пока хмурится Майдель, обдумывая, как понадежней поставить капкан смышленному этому инородцу в русском офицерском мундире, мы кратко расскажем читателям о Федоре Михайловиче Достоевском в остроге.

...Шел четвертый год его пребывания на каторге. Чем ближе становился срок его освобождения, тем терпеливей и хладнокровней относился он к страданиям и лишениям. Он привык к почерневшим бревенчатым срубам казармы, к затхлой и грязной комнате, к своим нарам, расположенным у самого входа. Привык к одеялу, сшитому из обносков, к жиденьким щам, слегка заправленным крупой, и на удивление вкусному острожному хлебу. Он знал всех своих соседей, хотя и держался несколько особняком (и в силу замкнутости своего характера и потому, что к дворянам настороженно присматривались каторжане из крестьян и солдат). Не стремился избегать физической работы, потому что работать все-таки легче, чем посреди шума и ругани лежать или сидеть на нарах в бездействии долгими зимними сумерками. После работы арестантов сразу же запирали и в узеньком зарешеченном окне всегда можно было видеть стоявшего на страже конвойного.

Читать при тусклом свете сальных свечей было почти нельзя, да и читать было, по существу, нечего. Зато как запомнился Федору Михайловичу чудом заполученный им более или менее свежий номер петербургского журнала.

Плац-майор Кривцов, глумившийся над ним в первый же день прибытия по этапу в Омск, жестоко издевался над писа-

телем, грозил ему кордегардией и розгами... Достоевский держался с угрюмым достоинством и огромной нравственной выдержкой, снискав к себе, спустя годы, если не любовь, то, по крайней мере, уважение со стороны каторжан.

Бодрствуя на нарах с полузакрытыми глазами, ощущая глубокую и постоянную физическую усталость, Федор Михайлович вспоминал прожитые годы, чаще всего обращаясь к 22 декабря 1849 года, завершившему восьмимесячное пребывание в одиночке Петропавловской крепости.

Их вывезли в закрытых каретах под охраной жандармов на Семеновскую площадь, оцепленную построенным в каре войском.

В ясное морозное утро четко раздавались слова команды, обращенные сначала к войскам: «На кара-ул!», потом к заключенным — «Шапки долой!»

Долго продолжалось чтение приговора полевого суда.

«...приговорили всех к смертной казни расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему».

Эшафоты и свежеврытые в землю столбы только после этих слов, прочитанных монотонным негромким голосом, приобрели свое истинное значение.

Он вспоминал теперь, в казарме, как вспоминал затем в течение всей своей жизни, минуты ожидания смерти, минуты, казавшиеся годами.

Вспоминал, как подали белые балахоны с колпаками, и крепостной священник тщетно призывал приговоренных к исповеди, как первых трех осужденных подвели к серым столбам и стали привязывать к ним веревками.

И еще одна команда — «Колпаки надвинуть на глаза!» и — клац! Солдаты, стоявшие у эшафота, взяли ружья на изготовку и прицелились.

И как неожиданно ударили барабаны, и подъехал экипаж, и офицер выскочил из экипажа, размахивая какой-то бумагой, и солдаты, не выстрелив, вскинули вверх ружья.

Достоевский и теперь, спустя три с лишним года, переживал свое тогдашнее состояние — прощание с жизнью, непонятный барабанный бой и чтение бумаги, привезенной флигель-адъютантом: смертная казнь отменялась императором, каждому было определено свое наказание — на каторгу, в арестантские роты, рядовыми на Кавказ и в Сибирь.

Потом ставили на колени, ломали шпаги над головой, символически лишая дворянского звания.

Какое это имело значение тогда и теперь?

Важно, что он прощался с жизнью, в которой мог бы сделать так много доброго и хорошего. И эта жизнь была ему возвращена.

Он не забудет никогда мороза в то петербургское утро, ощущения холода, уже переходящего в предсмертную дрожь. Как не забудет выданные после помилования, тут же на Семеновской площади, выданные как и всем арестантам — шапку, грязный овчинный тулуп и такие же сапоги.

В них он и доедет по этапу метельной зимней Россией сначала до Тобольска, а потом и до Омска, но на пути в арестантскую роту, в эту затхлую казарму он еще донашивал кое-какую домашнюю одежду, в том числе и белье.

Угреватый, всегда подвыпивший или пьяный плац-майор в первые же минуты их встречи приказал одеть все арестантское.

Ах, этот плац-майор Кривцов, Восьмиглазый!.. Это он кричал морячку-караульному, застав Достоевского больным, лежащим на нарах:

— Больной, говоришь! Вздор... Знаю, что ты потакаешь ему... В кордегардию его, розог!..

Спасибо коменданту, приостановившему экзекуцию...

А еще спасибо далекой юности, пансионату Леонида Ивановича Чермака, где ему привили вкус к гимнастике, к тяжелым физическим упражнениям.

Иначе как бы он справился с ломом и лопатой на ежедневных каторжных работах!

Лишенный возможности писать, иногда он чувствовал себя безнадежно одиноким, но, всматриваясь в арестантов, находил среди них людей по-настоящему добрых, умных и нравственно стойких.

...В этот день он только что выписался из тюремного госпиталя, где и отдохнул малость, и всласть попил крепкого чаю, и пользовался той свободой, о которой в казарме нельзя было и мечтать. Сегодня медицинское освобождение от «уроков» еще действовало, и он не пошел с ротой на берег Иртыша. Впрочем, он не стал бы прекословить, если бы ему приказали.

Дверь приоткрылась, и в сопровождении караульного в казарме появился офицер.

«Опять начнет кричать,— тоскливо подумал Федор Михайлович,— это они своей обязанностью считают».

Однако походка вошедшего явно не отличалась решительностью. Он будто бы медлил, будто бы собирался с духом. Могло быть и другое — просто не сразу привыкали глаза к тусклому сумраку казармы.

Достоевский исподлобья взглянул на стройного, не очень

высокого офицера и сразу отметил про себя, что он молод. И монгол. Или скорее киргиз. Если судить по скулам, чуть косо посаженным глазам и бровям вразлет — густым и широким у переносицы и суженным к вискам.

«Зачем он пожаловал и ко мне ли?»— подумал Федор Михайлович и не опустил глаз. На одно мгновение лицо офицера показалось ему знакомым, но только на одно мгновение.

Это мгновение уловил и Валиханов. Нет, он превосходно видел в сумраке. От волнения Чокан забыл фразу, придуманную полчаса назад, и теперь не знал, как обратиться к писателю. Он нисколько не походил на того Достоевского, которого ему однажды довелось встретить на берегу Иртыша, как не походил и на портрет, сделанный одним художником незадолго до ареста. На литографии писатель выглядел совсем молодым, большеглазым, задумчиво-грустным; галстук, повязанный косынкой, и не очень приглаженные волосы говорили, казалось, о некоторой аристократической небрежности. А на берегу Иртыша — это было всего каких-нибудь три года назад — он встретил человека с бледно-землистым лицом, на котором приметно выступали веснушки. С тех пор он посерел, осунулся, оброс редкой бородкой: не той пушистенькой, юношеской, что на рисунке, а неухоженной, мужицкой. Веснушек Чокан на этот раз что-то не обнаружил, зато по всему лицу — и на щеках с довольно резко обозначенными скулами, и на высоком лбу — темнели красные пятна, как у больного лихорадкой. Он как бы потерял свой возраст — можно было дать и сорок и больше, хотя Чокан отлично знал по документам, что писателю нет и полных тридцати трех лет.

Так они довольно быстро пригляделись друг к другу: Достоевский, испытывая постоянное на каторге чувство подозрительности, Чокан — преодолевая застенчивость. Слов, приготовленных для встречи, он не вспомнил и ограничился кратким официальным представлением:

— Корнет Чокан Чингизович Валиханов, адъютант Западно-Сибирского генерал-губернатора.

Однако слова эти он произнес мягко, даже робко, без всякой аффектации, как бы внушая собеседнику и тоном и негромкостью голоса, что и сам молод, и офицерское звание у него самое что ни на есть младшее, и должности своей он не придает значения.

— Заключенный Достоевский Федор Михайлович.

Он сказал это, по своему обыкновению, отрывисто и не очень внятно, привстав с нар и звякнув кандалами.

— А ведь я вас знаю, Федор Михайлович,— еще довери-

тельнее продолжил Валиханов, протянул ему руку и в то же мгновение почувствовал пожатие его влажной, худой и сильной руки.

— Простите, но, по-моему, я вас уже видел, где-то здесь, в Омске.— Достоевский смотрел по-прежнему пристально, исподлобья.— Скажите, пожалуйста, где?

— Скорее всего на берегу. Вы тогда разгружали баржи.

— Припоминаю теперь... Вы были среди кадетов. И кто-то из вас даже назвал мою фамилию.

— По отроческой своей наивности мы думали, что нам разрешат с вами поговорить,— сказал Чокан и тут же остался недоволен своими, как ему послышалось, книжными словами.

— Вы киргиз?— спросил Достоевский и, словно отвечая на невысказанную мысль Чокана, добавил.— Вы очень чисто говорите по-русски.

— Киргиз. По крайней мере, так русские нас называют. Мы кайсаки, казахи, Федор Михайлович.

— Кайсаки. Да, я знаю, киргиз-кайсацкая степь... Киргиз-кайсацкая орда. У нас еще говорят ордынец. Не правда ли?

— Я с вашего разрешения сяду, Федор Михайлович.

— Если не боитесь блох,— не очень весело ответил Достоевский.

— В юртах их сколько угодно,— и Чокан сел рядом с узником. И вкратце рассказал ему и о поручении Гасфорта, и о том, что не имело никакого отношения к поручению генерала — о своем, глубоко личном желании познакомиться с автором «Бедных людей».

— Вы сейчас делаете какие-нибудь наброски, пишете?— спросил напрямик Чокан, и Достоевскому этот вопрос не понравился.

— Нет, не пишу, никаких набросков не делаю,— сухо и отрывисто буркнул Федор Михайлович. Чокан ему понравился, но это еще не было основанием для откровенности, тем более, что он действительно ничего не писал в казарме и только в острожном госпитале делал кое-какие записи в книжке, хранившейся у фельдшера. А говорить о своих замыслах, о своих душевных переживаниях он считал совершенно излишним.

Не подозревая Чокана в лукавстве, в двойной игре, он не мог ему и довериться с первой встречи: суд, этапы, казарма, в особенности — казарма, сделали Федора Михайловича замкнутым, даже нелюдимым.

Это почувствовал Чокан и вовремя откланялся, получив согласие Достоевского на дальнейшие встречи.

В острог Чокан больше не заходил, да в этом и не было надобности. Достоевского, как человека образованного, время от времени посылали переписывать бумаги в инженерную канцелярию, находившуюся рядом с генерал-губернаторством. Один из инженеров, добрейший и интеллигентный Константин Иванович Иванов, женатый на дочери декабриста Анненкова, помогал, как мог, Федору Михайловичу. Порой он привозил его к себе домой под предлогом срочной работы — изготовления чертежей, кстати сказать, в инженерном училище Достоевский недолюбливал это занятие и делал чертежи неохотно и неряшливо, а теперь корпел над ними даже с некоторым удовольствием. Но корпел в самой канцелярии, а не дома у Ивановых, где была атмосфера дружелюбия, непринужденности, внимательности друг к другу.

Крамольных разговоров там вести было не принято, как не принято было хвастать и верноподданическими чувствами, но о Пушкине, Лермонтове, Белинском говорили с восхищением.

В небогатом этом доме и состоялась новая встреча Валиханова и Достоевского. Чокана пригласил Иванов, испытывая к нему симпатию и заранее предвкушая удовольствие от его анекдотов, изображающих чиновников Омска.

Чокан в присутствии Федора Михайловича старался не ударить лицом в грязь — рассказывал и об орденской ленте на подкладке калош, и о Теккерее в остроге.

Потом разговор перешел на скончавшегося не так давно Николая Васильевича Гоголя, и Чокан, не называя Достоевского, очень прозрачно намекнул, что есть писатели, которые продолжают дело автора «Мертвых душ» и «Ревизора» и находятся они совсем недалеко от нас.

Федор Михайлович ни словом, ни жестом не показал, что Валиханов говорит именно о нем, но в душе он испытывал дружеские благодарные чувства к симпатичному корнету, образованному степному принцу, почти юноше, удивительно сочетавшему в незаурядной и противоречивой натуре демократизм с аристократическими, несколько забавными замашками.

И когда Чокан стал настойчиво приглашать Федора Михайловича к себе, он ответил согласием, добавив, однако, что не всегда это от него зависит.

В ближайшее время тот же Иванов предоставил Достоевскому возможность побывать у Валиханова, снимавшего небольшую квартиру в доме богатого торговца Мирона Коробейникова, брата той самой Варвары, у которой Чокан останавливался с отцом в первый год своего приезда. Мирон, разбогатевший на торговле кожей, построил вблизи крепости, почти в

центре Омска дом: первый этаж был кирпичным, второй — сложен из сосновых бревен. Коробейников не брал со своего жильца платы, хорошо зная его отца и считая, что крепкие связи Чокана со степью могут пригодиться в торговых делах.

Достоевский, присматриваясь к Чокану, все больше и больше убеждался в том, что он не мальчик, не наивный юноша, как думалось вначале, а зрелый молодой человек, оригинальный и мыслящий. Он стал с ним разговаривать как с равным. Изредка делился с Чоканом воспоминаниями о пережитом, реже посвящал в некоторые свои замыслы.

Однажды он рассказал о своей острожной жизни, рассказал о том, как пробовали арестанты приручить орла с перебитым крылом и вывихнутой ногой, как орел не брал пищи из рук, не ел при людях.

— Небольшой орел, из породы степных.... Кажется, у вас его зовут карагутом.

Особенно драматично звучал конец этой истории. Орла сбросили с крепостного вала в степь, и он, махая больным крылом, ни разу не оглянувшись, бежал по сухой клочковатой осенней траве.

— А вот у нас в ауле, в Орде у отца приручали орлов. Только вылавливали их птенцами,— задумчиво молвил Чокан.— Значит, Федор Михайлович, будете писать об остроге?

Едва ли не впервые он увидел на лице Достоевского улыбку, застенчивую, грустную улыбку:

— Погоди, Чокан... вот избавлюсь от казармы...

Конечно, он будет писать, непременно будет. Да и не сможет он не писать, подумал Валиханов, мысленно выругав себя за назойливость.

О революции и революционерах они почти не говорили. Достоевский гневно высказывался против всякого насилия, тем более связанного с пролитием крови. Он недолюбливал и социалистов. Направление мыслей Достоевского, его общественные идеалы представлялись Чокану не очень ясными. Каким же путем идти к цели? Тысячелетиями шла борьба между патрициями и плебеями, но она так и не привела к свободе, к торжеству гуманизма. Если смотреть на движение истории, как на борьбу, то не увидеть конца пути.

— Что же тогда делать?— спросил Чокан.

В ответ Достоевский заговорил о христианской религии.

Спорить с Федором Михайловичем Чокан не стал, но и не поверил ему. Восемнадцать веков существует христианство, а мир не только не просветлел, но стал еще более мрачным.

Сомнения эти нисколько не мешали Чокану сближаться с

Достоевским, глубоко ценить его дружеские отношения хотя бы потому, что за всю свою сознательную жизнь он впервые встретил такого глубокого гуманиста. Любящий Россию и гордившийся ею, он не делил людей по цвету кожи и разрезу глаз. С любовью он относился к юношам и старикам. Достоевский любил человека.

Чокан читал Николая Новикова, передового русского человека, стремившегося еще в прошлом, XVIII веке, просвещать народ, подымать его нравственный уровень. Чокану нравилось, что Новиков был против пренебрежительного отношения к «инородцам». Чокан слышал, что и петрашевцы говорили о равноправии наций.

Считая и себя гуманистом, Чокан тоже много думал о равноправии. Когда-нибудь оно наступит во всем человеческом обществе. Но ближней мечтой Чокана было стремление поднять свой родной народ до уровня европейских народов, до уровня русских.

Каким же путем достигнуть этого?

Ответы Достоевского были куда туманнее даже гуманистических идеалов Чокана. А ему-то представлялось, что Федор Михайлович, такой талантливый, прошедший такую жизненную школу, должен все знать.

Чокан часто рассматривал географическую карту мира. Вот небольшие острова — Англия. За последние века она завоевала и часть Америки, и огромные пространства в Азии. Завоевала Австралию, властвует в некоторых странах Африки. Она держит народы в рабстве. И огромные колонии не могут противостоять маленькой Англии с ее высокой культурой. А Франция, а Испания? Но не будем говорить о них, посмотрим на крошечную Португалию, прижавшуюся этакой утицей к западу Европейского континента. Посмотрим на таких карликов, как Бельгия, Голландия. Ведь они владычествуют в больших отсталых странах, ведь они прочно оседлали их и ударяют пятками по их легким.

Россия тоже становится великим колониальным государством. Обширны завоеванные ею земли. В том числе и земля казахов. Когда же мы достигнем равноправия? Каким путем? Кто поведет вперед казахский народ?

Слушая горячие речи Чокана о своем народе, Достоевский порой видел в нем Дон-Кихота нашего времени. Не утопия ли сама мысль о том, что эту отсталую степь можно превратить в культурную страну?

Но вот сам Чокан? Он же настоящий степняк, родился и вырос в ауле, а ведь сколько знаний успел в себя вобрать! И в

истории сведущ, и в философии, и в этнографии, и в литературе. Естествознание изучал. И дело не в том, что закончил корпус. Разве мало неучей выходит из корпуса? Памятлив, восприимчив, любит читать.

Кого он напоминает? Уж не Лермонтова ли или лермонтовского Печорина? Он и сдержан, и быстр, он бывает серьезным и легкомысленным, резким и изысканно вежливым, разговорчивым и молчаливым. Как Печорин, он может затеять ссору и упрямо стоять на своем. Но в серьезном споре стремится победить не ловкостью, а доказательствами.

Однако многие мысли его, как расплавленный металл в печи. Бурлит и клокочет, но еще неизвестно, в какую форму выльется сплав. Чокан, видимо, мечтает стать политиком. Но политика, думал Достоевский, вряд ли может стать его призванием. Чокан, в конце концов, может разочароваться или, если шагнет за дозволенные пределы, погибнуть. Достоевскому очень не хотелось, чтобы его молодой друг ступил на опасный путь.

— Не знаю, Чокан, понравится ли тебе то, что я скажу,— начал однажды разговор Федор Михайлович,— только сперва я задам тебе один вопрос: ты ведь первый казах с европейским образованием?

— Вероятно, один из первых.

— Не думаешь ли ты, что надо решительно увеличить число таких людей в вашем народе?

— Верно, Федор Михайлович, но разве это так просто сделать?

— По-моему, просто: посылать казахских детей в русские школы.

— Нет, совсем не просто,— возразил Чокан,— вот уже больше ста лет, как началось наше подчинение России. И за этот век можно по пальцам пересчитать казахов, получивших некоторое образование. И дело не только в этом. Все мои грамотные земляки становились чиновниками царской администрации. Среди них пока не нашлось ни одного, кто бы самостоятельно подумал о положении родного народа, помог бы его развитию.

— А ты сам?

— Голос одного гуся не слышен. Это казахский вариант русской пословицы — один в поле не воин. Я одинок, Федор Михайлович, очень одинок.

— Вот я и говорю, степи необходимы просвещенные люди.

— Федор Михайлович, Федор Михайлович,— сказал не без горечи Чокан.— Я многих уговаривал послать своих детей в

русские школы в Омск и мне давали обещание. Не так давно. Во время поездки в Атбасар. Но ни один не сдержал слова.

— Значит, города побаиваются... А если приблизить школы к аулам. То есть, просто открыть там школы?

Чокан усмехнулся:

— Утопия!

— Не совсем понимаю...

— Несбыточная мечта пока. Кто же их будет открывать? Не только в аулах, но и в русских селах некому. Казахи наши неграмотны — это известно. Но из ста русских девяносто с лишним тоже не умеют читать и писать. Во многих селах жители и понятия не имеют о школах. Не видели, можно сказать, и не слышали.

Достоевский вздохнул:

— Да и в России есть еще такие места.

Разговор оборвался сам собой.

Думая над судьбой Чокана, Федор Михайлович высказал еще одно пожелание. Не поехать ли Валиханову в Европу — посмотреть, поучиться, прикоснуться к источникам передовой мысли человечества. Он, Достоевский, сам мечтал побывать в европейских городах, но суд и ссылка поставили крест на этой мечте.

Чокан снова усмехнулся.

— Не понимаю, что за причина для смеха?— даже немного рассердился Достоевский.

— Кто же пошлет меня, маленького адъютанта, в такое путешествие? Где я найду средства?

— Я слышал, Чокан, твой отец богатый человек.

— Что это за богатство? Наши баи — безденежные, а скот дешев. Да если отец продаст всех своих овец и лошадей,— что он, впрочем, никогда не сделает,— едва ли мне хватит денег и на год жизни в Европе.

Так оборвался и этот разговор.

Другое дело — литературные беседы. Они могли бы продолжаться бесконечно, но Достоевский всегда помнил, что ему надо в срок возвращаться в казарму. Он и так в последнее время пользовался поблажками.

...В свободные часы Чокан стремился прочитать все, что только можно было найти в Омске, написанное Достоевским и о Достоевском. «Бедные люди» сменялись «Двойником» и «Белыми ночами». В душе его звучали слова Белинского:

«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат».

Чокан гордился, что «Бедные люди» в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» названы Белинским на первом месте среди «замечательных явлений беллетристической прозы».

Не только Белинский восторгался «Бедными людьми». Критики из другого, официального лагеря, где раздавались и враждебные голоса, отдавали должное талантливому писателю.

Докладывая Гасфорту о своей первой встрече с Достоевским в остроге, Валиханов в самых лучших тонах говорил о его благонадежности и примерном поведении, одновременно не пожалев красок для прославления автора «Бедных людей».

— Ведь вы читали, ваше превосходительство, Достоевского?

— Да, да, конечно,— соврал Густав Христианович.

— После Гоголя это первый писатель России. Вот послушайте, что о нем говорит Белинский.

О Белинском Гасфорт кое-что слышал и хорошее и плохое, но как бы там ни было поверил ему больше, чем своему адъютанту.

И уж совершенно неожиданно для Чокана приказал привести Достоевского к нему на прием.

Беседы между генерал-губернатором и заключенным не получилось.

Густав Христианович бубнил что-то высокопарное о монаршей милости, о просвещении, о своем высоком долге, а Достоевский стоял, опустив глаза, односложно отвечая на генеральские вопросы, решительно избегая и просьб и жалоб.

Гасфорту он не понравился:

— Молчит, словно в рот воды набрал...

Но Чокан тут же отнес это за счет скромности Федора Михайловича:

— Скромный, говоришь, а петрашевец. Но раскаялся ли он?

— Безусловно, раскаялся, ваше превосходительство. Он сам мне об этом сказал.

Валиханов делал все доступное ему, чтобы как-то облегчить участь Федора Михайловича и даже ускорить его освобождение, хотя Гасфорту это было не под силу.

Адъютант довольно ловко играл на тщеславии генерала. Зная о соперничестве Гасфорта с графом Муравьевым-Амурским, генерал-губернатором Восточной Сибири, он частенько заводил речь о нем и хвалил порядки в Иркутске. При этом Чокан обычно ссылался на письма, получаемые им от бурятского ученого Доржи Банзарова, частенько приписывая ему то, что слышал от других. Так было достовернее, хотя Гасфорт и о Банзарове не имел ясного представления.

С Банзаровым Чокан познакомился еще кадетом в 1850 году, когда тот возвращался из Петербурга к себе на родину и остановился в Омске у знакомого читателю нашей книги Бабай-Оленя. Банзаров учился в войсковой русско-монгольской школе, а в год рождения Чокана поступил в Казанскую гимназию на казенное содержание, успешно закончил ее в 1842 году и сразу же был принят на филологическое отделение философского факультета Казанского университета.

К 1850 году он уже стал известным ученым, написавшим выдающуюся диссертацию «Черная вера или шаманство у монголов».

Чокану было всего пятнадцать лет, когда они познакомились. Доржи Банзарович уже приближался к тридцати. Высокообразованный исследователь, чье имя хорошо знали ориенталисты и в России и за рубежом, разговаривал с ним как равный с равным, пророчил ему большую судьбу. С той поры они изредка перебрасывались письмами. Чокан писал восторженные и благодарные, Банзаров, работавший чиновником особых поручений, грустные и краткие с пожеланиями заниматься прежде всего наукой.

— Ваше превосходительство, а знаете, граф Николай Николаевич с каждым днем становится популярнее.

— Тебе что, опять этот Банзаров пишет?— насторожился Гасфорт.

— Да, получил на днях письмецо. Большой гуманизм проявил он на сей раз.

— Ты изложи поточнее и покороче, а выводы я сам сделаю.

— Вашему превосходительству, очевидно, известны братья Бестужевы, осужденные по процессу декабристов.

Гасфорт кивнул головой и по тому, как он это сделал, Чокан сразу догадался, что фамилию эту генерал, может быть, и слышал, но подробности начисто забыл.

Быть может, у него, служившего на Кавказе, еще сохранилось слабое воспоминание об Александре Бестужеве, видном декабристе, сосланном в Якутск, а потом переведенного в действующую армию. Он и погиб в бою неподалеку от мыса Адлер. Но вряд ли ему что-нибудь было известно о его братьях, декабристах Николае и Михаиле, отбывавших каторгу в Нерчинске.

— Так вот, ваше превосходительство, Муравьев помог Бестужевым досрочно освободиться из Нерчинского острога, помог им устроиться в Чите. Я сам видел рисунок дома Николая Бестужева — вполне приличный дом, даже с мезонином. Рисунок самого Николая Александровича — он настоящий худож-

ник, и не без помощи Муравьева нашел применение своему таланту в Сибири. А Александр Бестужев — он подписывался Марлинский — столько книг интересных написал о Кавказе.

— Марлинский?— переспросил Гасфорт,— вот так бы и сказал. Я, кажется, читал Марлинского. На всякий случай, найди его сочинения о Кавказе. На досуге перечитаю.

— Я вам и Достоевского могу принести. Хотите?

— М-да, м-да,— промычал Густав Христианович, и на лице его появилось выражение сосредоточенного государственного раздумья.

На следующий день между двумя рапортами о делах, в общем, мало примечательных, Чокан как бы случайно обронил:

— Почему бы вам, ваше превосходительство, не сделать одного доброго дела, которое очень высоко оценят в России: что там будет граф Муравьев по сравнению с вами!

— Какое доброе дело, о чем ты говоришь?— насторожился Гасфорт.

— Спору нет, ваше превосходительство, Бестужевы талантливые братья,— спокойно продолжал Чокан,— но они рядом с Достоевским лишь холмики у подножья высокой горы.

— И какую же мораль ты хочешь преподнести мне, корнет?

— Самую простую, ваше превосходительство. Облегчите участь Достоевского, помогите ему скорее выйти из острога, сделайте все, чтобы и солдатская его служба была полегче. О вас будут говорить с благодарностью в просвещенном Петербурге, о вашем поступке узнают и в Европе.

Гасфорт поднялся с кресла, шумно вздохнул и, придав значительную осанку своей фигуре, задумчиво произнес:

— Как знать, может быть, ты и прав!

Чокан счел совсем не лишним польстить генералу, напомнив о его дворцовых связях.

— Вам будет это сделать проще, чем Муравьеву-Амурскому. Вас хорошо знают в придворных кругах и посчитаются с вашим мнением.

Густав Христианович протянул что-то очень самодовольное, благозвучное и непонятное, а потом добавил четким голосом, которым привык отдавать команды:

— Составь приличествующее письмо на имя управляющего III отделением Собственной его императорского величества канцелярии генерал-лейтенанту и кавалеру Дубельту. Надеюсь, понял меня.

Письмо было составлено, подписано и отправлено в Петербург. На освобождение Достоевского из арестантской роты, из острога, оно, вероятно, не повлияло, так как уже приближался

срок, утвержденный приговором, но так или иначе, оно сделало свое дело, сказавшись на солдатской службе Федора Михайловича, сыграло определенную роль в его производстве в унтер-офицеры, сказалось на либеральном отношении к Достоевскому его непосредственного начальства.

В Омске ему оставалось жить совсем недолго. Его переводили в Семипалатинский линейный батальон. Чокан пообещал быстро найти удобный служебный повод побывать у Достоевского на его полувольном новоселье.

## По Иртышу

Прошло немало месяцев, прежде чем Чокану представилась возможность поехать в Семипалатинск. Но время для поездки выпало не совсем удачное.

...Снег уже стаял, зазеленела молодая трава, давно прошел по Иртышу ледоход. Однако весенняя распутица затянулась. На северном берегу реки, так называемой русской стороне, лошади вязли в непролазной грязи. Пикеты находились друг от друга на большом расстоянии, и ехать этой единственной тогда дорогой было мучительно долго.

Чокан нашел, как ему казалось, наилучший выход. В последние годы Гасфорт заботился об открытии навигации по Иртышу. С его помощью, на купеческие деньги, положили начало судоходству к западу до Тобола, и к востоку до Зайсана и по Зайсану до устья Черного Иртыша. Несколько небольших суденышек, преимущественно баркасов, получили громкое название Омской флотилии. На баркасах перевозили грузы, реже — пассажиров.

В Семипалатинск вскоре отправлялся двенадцативесельный баркас. Чокана заверили, что пути ему не больше двух недель, а на лошадях бездорожьем не добраться и за месяц.

Чокану еще никогда не случалось совершать речные путешествия. Катанье на лодке возле Омска в счет идти не могло, хотя он испытывал удовольствие и во время коротких этих прогулок. Как, должно быть, заманчиво плыть и плыть, вдыхая свежий воздух, любуясь крутыми берегами, огибая зеленые острова.

Первый же день плаванья был чудесным днем. Еще вчера в Омске разразилась черная буря, вздымая тучи невесть откуда взявшейся пыли, а сегодня, в тихий солнечный день, мягкий ветерок был даже приятен. Иртыш разлился, кое-где его протоки сливались с основным руслом. Вода затопила и южный пологий берег, словно устремилась к родимой казахской степи.

Порой казалось — вокруг тебя не река, а море. Гладь выглядела спокойной, а быстрота сильного течения угадывалась разве что по стремительно несущейся с верховьев какой-нибудь коряге, да по ударам волны о борт баркаса.

Силу течения больше пассажиров чувствовали гребцы. Это можно было наблюдать по сосредоточенности их лиц, по напряжению мускулов и ритмичным взмахам весел. Как слаженно, с какой удалью работали они! Кто только подобрал такую команду — рослых могучих ребят, чью молодость не скрывали и черные бороды.

Похоже, все гребцы были русскими, за исключением одного человека, пожалуй, постарше остальных. Черты его лица напоминали казахские или какого-нибудь жителя Севера. Чокан долго не обращался к нему, но услышав, что его зовут Каранаром, спросил его о чем-то по-казахски. Тот не ответил. Еще раз спросил. Молчание. Должно быть, глухонемой, подумал Чокан, и махнул рукой.

...Он продолжал любоваться гребцами, их сноровкой и силой, их пребывающими в постоянном движении мышцами, мышцами твердыми даже на взгляд и стремительными, словно камни, обрушивающиеся с гор. Гребцы работали без устали. Пристанут к берегу, прикорнут на полчасика и снова борются с течением разлившейся реки.

Гребли молча, не переговариваясь, но время от времени затягивали песню. Грустную, протяжную песню. Один запевал, подхватывали все, даже Каранар. Нет, он вовсе не глухонемой, сообразил Чокан. Почему же он мне все-таки не ответил?

Весенняя свежесть, ясная погода, ночи у костра. Лучшего нельзя было и желать. Так бы в срок и дошли до Семипалатинска на баркасе, если бы не одно досадное происшествие.

Омская флотилия только на словах была флотилией. Немногие суда оказались приспособленными для перевозки зерна, муки, овощей и других продовольственных грузов; некоторые баркасы были сколочены на скорую руку, а другие отслужили свое на Волге и Урале и нуждались в ремонте. А тут случилось настоящее бедствие — такое количество мышей и в особенности крыс развелось на Омской флотилии, что никакого спасения от них не было.

Баркас, на котором плыл Чокан, правда, был подлатан, но боцман, как об этом узнали позднее, предупреждал капитана флотилии, что с выходом в путь надо повременить. Капитан и не подумал отменить свой приказ, только выругался. Что оставалось делать боцману? Откачать воду, наскоро привести в порядок посудину и отдать швартовые.

Плыли себе и плыли, а когда днище начинало, как шутили, слезиться — брались за черпаки. Возможно, так бы и дошли до Семипалатинска, если бы не те же крысы. В поисках затерявшихся между досками зерен они добрались до дна и прогрызли дыру, из которой хлынула вода. Черпаки уже не помогали. Направили баркас на ближайшую отмель, усиленно заработали веслами. Но баркас стал погружаться в воду. Гребцы с трудом маневрировали между верхушек деревьев, затопленных половодьем. Глубина повсюду была выше человеческого роста. Об этом можно было судить хотя бы по тому, что прибрежный тальник, растущий здесь, совсем скрылся под водой.

А баркас оседал все глубже и глубже. И тогда прозвучала команда спасаться вплавь.

Чокан раздумывал — сумеет ли он доплыть до берега. Плавать-то он умел, но преодолевать большие расстояния на воде ему не приходилось.

— Спасайтесь!— раздался чей-то сильный голос и, оглянувшись, Чокан узнал Каранара.

...Плыли они рядом. Каранар, хороший пловец, время от времени поддерживал плечом Чокана, когда тот начинал выбиваться из сил.

До берега все добрались благополучно.

Команде удалось спасти и баркас.

Неподалеку, как узнал Чокан от Каранара, находилась русская станица Коряковская, прозванная казахами Кереку.

Стали советоваться, как поступить дальше. Промокшие, усталые, растрепанные. Нечего было и думать, чтобы сразу всем идти в село. Споры решил Каранар.

— Я сильный, на меня можно надеяться. Сбегаю в Кереку, подготовлю ночлег и вернусь за вами. А вы пока посушите одежду. До вечера еще есть время. Надо снять все верхнее.

Посмотрел на Чокана и чуть улыбнулся, снисходительно и жалеючи:

— А сапоги надо помочь снять.

И стал стаскивать так энергично, что Чокан вскрикнул.

Затем Каранар разделся сам, отжал холщовые штаны и рубаху, тут же натянул их на себя и быстро зашагал в сторону вербной рощи. Через несколько минут он уже скрылся.

— О, господи, найдет ли он дорогу?— раздался чей-то неуверенный голос.

— Он — и не найдет? Не знаешь ты Каранара,— решительно ответил кто-то из гребцов.

— Настоящий батыр!— с восхищением отозвался Чокан.

— Батыр-то батыр, да как бы не испугались его вида. Здесь

народ осторожный, замкнутый, не каждого пустят ночевать. Так я слышал.

Эти слова были сказаны столь сурово, что не у одного Чокана в душе поселилась тревога.

Тревога эта оказалась далеко не напрасной.

Как ни торопился Каранар, вечер застал его в дороге. Он попытался войти в крайний домик станицы, но ворота оказались на запоре. Собака подняла неистовый лай. Каранар крикнул, потом постучал в ворота. Он видел слабый свет в одном из окон, но после его стука и этот огонек потух. Должно быть, хозяева ужинали при лучине, а когда услышали лай — на соседей бы собаки так не лаяли,— догадались, что стучит чужой. Кто может быть чужим? Бродяга, беглый каторжанин, разбойник. Варнак, одним словом. Варнак, он такой — и ограбит, и убьет. Поэтому у сибирских казаков принято закрывать ворота после захода солнца, запирать двери и не откликаться на незнакомый голос...

Каранар еще раз обошел дом, стучал в каждое окно, взывал — откройте, люди добрые!— но дом словно вымер. Продолжала заливаться собака, заблеяли овцы, замычала корова.

Не хотят открывать! А ведь есть же люди, наверняка.

Каранару стало холодновато — одежда-то не просохла. Он выругался и направился к соседнему двору. Такая же история произошла и там.

Он плелся от дома к дому и злился. Ну что за станица? Одни собаки. Никто не вышел ему навстречу. Никто!

Наконец, он очутился на площади в центре станицы. Рядом с церквушкой темнели очертания длинного помещения, похожего на сарай. Подойдя к нему вплотную, Каранар учуял лошадей и сразу же догадался, что это пожарная конюшня, какие обычно бывают в центре русских сел. Здесь стоит наготове телега с бочкой, в телегу впряжены кони. Да вот и каланча — как же он не разглядел ее сразу. Значит, здесь должен находиться ночной сторож. Может, он дремлет на телеге?

Каранар вошел в конюшню, лошади забеспокоились, расфыркались — то ли в предчувствии кормежки, то ли в ожидании выезда. Проснулся и впрямь дремавший в телеге чуткий и зоркий старик. Выглянул из-за короба и увидел незнакомого человека. Не иначе варнак! И вспомнил не такой уж давний случай в станице, когда ночью вырезали всю семью в одном зажиточном доме. Дело рук варнаков, думали тогда в Коряковке.

«Эге, да уж не из тех ли самых и ты?»— сказал про себя старик, сползая с телеги и, крадучись, пробираясь к каланче.

Старик, не мешкая, поднялся к пожарному колоколу и раскачал его. Звону этого колокола немедленно стал вторить и церковный. Станичный поп и псаломщик еще не выходили из церкви после вечерней службы.

Вся станица услышала набат. А так как однажды она уже горела, то станичники, кто в чем был, немедленно бросились к каланче.

Спустя несколько минут Каранар, не помышлявший о нависшей над ним опасности, понял, что он в кольце.

А старик, уверенный теперь в надежной защите и одолевший страх, закричал с каланчи во всю силу своих легких:

— Ребята, казаки! Варнак объявился...

— Где, скажи... Где?

— Здесь, в конюшне...

— Смотрите, не выпустите!

— Ой, темно, братцы, ой, темно!

Злые выкрики встревожили Каранара.

— Не бармак я, не бармак!— почти взмолился он.

— А это мы сейчас посмотрим. У тебя солома есть, дед?

— Есть.

— Подожги ее! Вот и увидим, что это за птица.

Нашлись у деда и серники, вспыхнула сухая солома и все увидели прижавшегося к стене сарая высокого бородатого человека в одном белье.

— Варнак, настоящий варнак!

Многие даже попятились назад.

— А ну, стойте!

Жесткий голос станичного атамана узнали все. Человек недобрый и решительный, он любил проявлять власть и, несмотря на мирное время, поддерживал военный порядок.

— Держите его!

Но охотников немедленно выполнить приказ атамана сразу не нашлось.

— Сила, должно быть, в нем немалая. Еще изувечит.

Каранар и не собирался сопротивляться. Он хотел рассказать и всем казакам и атаману о случившемся на Иртыше, однако, голос не повиновался ему, он стал заикаться от страха и, воспользовавшись замешательством, атаман рявкнул:

— Кольями его, ребятушки, кольями!

Кольев у пожарного сарая было в избытке, люди порасхватали их и начали избивать Каранара.

Другой бы свалился с первых же ударов, но могучий гребец вначале даже не покачнулся, только голову накрепко обхватил руками.

Казаки, подстрекаемые атаманом, разъярились вконец. Здесь и сам бог, не то что обыкновенный человек, не выдержал бы. А Каранар был самым обыкновенным смертным. Наступило мгновение, когда глухо и коротко взвыв, он рухнул без памяти.

Казаки продолжали бы бить и потерявшего сознание, не появись в самый накал самосуда человек, с которым считался и сам атаман. Это был его предшественник, самый уважаемый казак станицы, ставший на старости лет не только ревностным христианином, но и помогавший станичному попу справлять службу в церкви.

— Что вы делаете, православные? Прекратите!

Каранар глухо застонал.

— Хорошо, что живой,— старик покачал головой.— Вы больше его не трогайте. Неровен час — беда будет. Закон, он строгий...

— Так он же варнак,— попробовал кто-то возразить.

— Варнак, не варнак — понаедут суды, хлопот не оберешься. Да он, видать, из киргизов. Утром ужо разберемся.

На том и порешили, с тем и разошлись. Избитого Каранара оттащили по распоряжению атамана в кладовку пожарной и, как посоветовал старик, подстелили соломы, дали напиться воды, поставили на скамье у изголовья крынку кислого молока. Двери в кладовку, на всякий случай, закрыли на замок.

Один аллах знает, чем бы кончилась утром эта грустная история, если бы с рассветом в станицу не пришел Чокан и трое гребцов.

Ими овладело беспокойство сразу же после тревожного перезвона колоколов. Эхо дальнего собачьего лая — еще куда ни шло. Появился в станице чужой человек — вот псы и разбрехались. Но к чему, спрашивается, ночной набат. Зарева вроде нигде не видно... Да ведь и самому Каранару пора бы возвратиться.

Как только начало светать, Чокан двинулся в путь. К нему присоединились три товарища Каранара.

Станица уже давно пробудилась. Там и сям у завалинок и крылечек стояли казаки и обсуждали вчерашнее происшествие. Чокану нетрудно было узнать, что в Коряковке появился варнак и сегодня ему дадут жару. Сомнений не было, за варнака приняли Каранара.

Пришлось искать атамана. Тот пришел в станичное правление, взглянул свысока, по своему обыкновению, на Чокана и гребцов, поморщился — все они имели далеко не лучший вид, брякнул:

— Откуда это вы припожаловали, кто вы такие?

К счастью, дорожный чемоданчик Чокана уцелел, а с ним и все необходимые документы.

Атаман читал долго, вникая в смысл удостоверения адъютанта генерал-губернатора, и когда, наконец, понял — лицо его мгновенно преобразилось, приняв умиленное выражение. Заюлил: мы, дескать, во всем вам поможем, посочувствовал беде.

— Вы здесь варнака нашли,— холодно сказал Чокан,— думаю, что он с нашего баркаса. И, само собой разумеется, никакой он не варнак.

Вместе с атаманом они отправились вызволять Каранара. Попало бедняге здорово. Он еле двигался, весь в синяках, глаза заплыли. Постарались господа станичники!

Узнав Чокана, он даже всхлипнул.

— Что же вы с человеком сделали!— тихо и зло произнес Чокан.— Полечить его надо прежде всего. На ноги поставить! Вы виноваты — постарайтесь теперь загладить свою вину.

— Все сделаем, не извольте беспокоиться,— только и повторял атаман, в душе ругая и себя и станичников, ругая и этого корнета, черт его сюда принес вместе с этим варнаком.

В станице оказался не обремененный образованием лекарь. Но опыт какой ни есть у него был. Да к тому же и домишко рядом с его жильем оборудовали под госпиталь. Конечно, госпиталь это был только по названию, однако здесь хранились всяческие медикаменты и комната напоминала больничную палату.

Туда и поместили Каранара.

— Худо будет, если опухоль опустится вниз,— изрек лекарь,— а лечить с помощью господа бога попытаемся.

И принялся лечить травяными настоями, верблюжьим кислым молоком-шубатом, пенистым, острым и освежающим. Прикладывал к ушибам компрессы, пропитанные козьим жиром. А уж относительно харча для больного, для Чокана и для всей команды постарался станичный атаман.

На третий день Каранар уже стал на ноги. Трудно гадать, что тут сказалось: лечение или могучее здоровье, заложенное в его богатырском теле. Синяки кое-где еще темнели, однако загадочной «опухоли», которая «грозила опуститься вниз», и след простыл. Лекарь о ней больше не заикался.

Станичники помогли дотянуть до берега полузатонувший баркас, но о том, чтобы продолжать теперь на нем путь в Семипалатинск, и речи не могло быть.

Чокан договорился о перекладных и зашел попрощаться к Каранару. Выздоравливающий в одиночестве сидел на своей

койке. Как он обрадовался приходу гостя, как он его благодарил:

— Вы, мырза, я черная кость, простой человек. А вы меня спасли, под свою руку меня взяли.

— Не надо так говорить, Кареке. А на Иртыше кто меня спас? Это ты начал доброе дело, а я его только в меру сил продолжил, Кареке.

— Кареке,— задумчиво отозвался Каранар.— Так обычно говорят, когда уважают. Разве может мырза уважать черную кость? Разве так бывает?

— Всякое бывает на свете... Бывают, Кареке, плохие люди, бывают хорошие. Я хочу тебя считать хорошим человеком.

— О себе промолчу, но ты хороший человек, мырза. Вот ты хотел заговорить со мной на баркасе, а я не ответил. Ты, наверное, подумал, что я глухонемой. А у меня была своя причина. Я ведь знал, что ты из Орды, что ты — сын Чингиза. И потому вначале я недобрыми глазами посмотрел на тебя. Теперь я расскажу все, что таилось у меня на душе. Я тебя своим врагом считал, мырза. И вот почему...

Каранар неожиданно осекся:

— Я вот, разговорился, а не спросил: ты, мырза, готов меня выслушать?

— Говори, Кареке, жду...

— Недалеко от этих мест джигит по имени Араб выкрал из аула одну девушку, с ее, понятно, согласия. Житья ему здесь не стало. Он и подался за защитой к твоему отцу, султану. До султана дойти не успел. Там, не то твой старший брат, не то другой близкий родственник, отобрал у него жену, а самого Араба отдал русским властям и те отправили его в ссылку... Туда, где ездят на собаках... Спрашиваешь, кем он мне приходится? Дядя, родной брат моей матери... В народе, слышал, говорят так:

И у сучка защиту находит воробей,
Когда сучку он скажет — беднягу пожалей!

Но у твоего отца защиты не найдешь... Сказать тебе еще одну правду? Нет мне всю жизнь от этой правды покоя...

— Говори, Кареке, если начал.

— Ведь твои родственники по матери Каржасы? Не так ли? Я тебе о Мусе, сыне Чормана, скажу. Мой отец Карабек пас у него лошадей. Отец был выше и куда сильнее меня. Он верблюда мог поднять. Я о верблюде заговорил потому, что с верблюда все это и началось. Однажды от чормановского табуна отбился косяк коней. Отец отправился их искать и на-

ткнулся в степи на верблюдов. Разъяренный самец бросился на отца. Под отцом был быстрый конь. Отец от верблюда, верблюд за ним. Все ближе и ближе. Отец видит — на пути овраг. Он спешился и хотел скрыться в овраге. Но не тут то было! Благодарение Аллаху, в овраге валялся старый твердый корень. Отец размахнулся им, как палкой, и проломил верблюду голову. Тот упал замертво. А принадлежал верблюд брату Мусы — Исе. Вот отца и схватили и составили бумагу, что задержали при краже пятидесяти лошадей. Бумага есть, Чормановы — люди известные, кто поверит табунщику! И засудили отца, в Сибирь отправили... Я младший из семи его сыновей. Спасибо родичу из Семипалатинска — взял меня к себе, кормил, научил речному делу...

— Ну, а с твоими братьями что сталось, Кареке?

— У них судьба тяжелее, чем у меня. Бродили по аулам, побирались. Но вот один пошел работать к богатой русской вдове и приглянулся ей. Вдова заставила брата принять православную веру, и они, представь, мырза, поженились. Потом крестились и другие братья. Потом и мать... Ты на лошадях едешь в Семипалатинск? Да, говоришь. Значит, тебе на дороге встретится поселок Лебяжье. Кыик по-казахски. Там можешь повидать и мою мать. Звали ее Баршагуль, после крещенья стала она Варварой. Наши казахи смеются над ней, кличут ее Аруей, Сумасшедшей. Я её сам давно не видел... Переменилась, говорят, мать. Богомольной стала, а с мусульманами и не разговаривает. Такие, мырза, дела. Крещеных много не только в Лебяжьем, но и в других селеньях.

Чокан слушал и молча удивлялся. Он ведать не ведал до сих пор, что и среди казахов есть христиане. От Доржи Банзарова он знал, как некоторые ретивые миссионеры насильно крестили бурят и других жителей Восточной Сибири. Но чтобы крещение происходило в казахской степи и, видимо, добровольно — он слышал впервые.

— Спасибо тебе, рахмет за все, что мне рассказал. Выздоравливай, счастья тебе желаю.

— Погоди прощаться, мырза. Разговор еще не закончен. Пойми, я считал тебя своим врагом. В тебе я видел и родича Чингиза и родича Чормана. Я поклялся убить кого-нибудь из их рода. И когда ты сел в баркас, подумал: вот и настал срок, когда моя клятва исполнится. Бог дал мне на земле то, что я ждал с неба. Я сразу узнал тебя, но старался не смотреть в глаза. Погоди, думал я. И мой отец, и мой дядя скоро будут отомщены. Вдруг я увидел твой добрый взгляд. Вспомнил, как говорят о тебе многие омские казахи. Если небо в тучах и един-

ственная звездочка выглядывает из-за них, разве есть зрячий, который ее не увидит. Тобой, мырза, гордиться надо, а я хотел поднять на тебя руку. Мне было просто расправиться с тобой, но я хоть и темный человек, но понял — ты не виноват в несчастьях моего гнезда. Честь народа остановила меня, мырза.

— Не надо, Кареке, продолжать дальше,— осторожно перебил Каранара Чокан.

— Да ведь я и так все сказал!

— Тогда прощай, милый!

Чокан круто повернулся и вышел из избушки на курьих ножках, как назвал он этот маленький коряковский госпиталь. Пыльной улицей, обсаженной чахлыми молодыми деревцами, он направлялся к тому подворью, где его ожидали запряженные кони. Он не оборачивался назад, шел твердой походкой, печатая шаги. Так бывало с ним обычно в часы волнений и раздумий. Он умел скрывать и преодолевать свою растерянность. Так он, бывало, и в Омске, в трудных обстоятельствах, требовавших, казалось, медленных размышлений, вскакивал в седло и загонял иноходца до пены на боках. Собранность и быстрота неожиданно сочетались с его душевными переживаниями.

Он думал о Каранаре, о его смелости, о своей судьбе, подвергающейся так часто тяжким испытаниям.

На сто коней рожден один скакун.
Дает тулпара — тысячный табун.

Сколько кипящей в глубоких недрах силы таит мой народ!

### Православный купец Тургун

Оба берега Иртыша — и правый, и левый — были заселены сравнительно тесно. Но левобережье, так называемая казахская сторона, в эту весну опустело раньше времени. Аулы под угрозой большой воды откочевали в степь, и редко появлялся всадник вблизи словно вымерших зимовок. На правом берегу, более высоком, прозванном русской стороной, никаких изменений не произошло. Чокан, записывая названия казачьих станиц и поселков со слов одного сведущего попутчика, обратил внимание, что каждое русское название в казахском обиходе звучит совершенно иначе. Подстепное — Зергер, Лебяжье — Кыик или Бос-Бос, Долон — Максым, Грачевка — Аксак, Семиярка — Кпитан.

Эти станицы и поселки располагались неподалеку друг от друга. «Неподалеку» — по размашистой мерке просторов При-

иртышья. Расстояния тут словно по чертежу вымерены: двадцать пять верст! И не всегда легко одолеть эти двадцать пять весенней распутицей...

А ехать надо бы быстрее... Чокану не терпелось попасть в Семипалатинск, да еще побывать и в Лебяжьем, увидеть своими глазами православных казахов, старую Арую, мать Каранара.

Торопился Чокан, торопил коней ямщик, но кони, как их не подстегивай, не могут показать в распутицу своей прыти. Вот уже вторые сутки на исходе, а Лебяжьего нет и нет, хотя до него всего семьдесят пять верст: в сухую летнюю пору или по доброй санной дороге утром выедешь из Коряковки, а к вечеру прибудешь...

Лебяжье... Говорят, это одна из самых старых станиц, заложенных раньше Омска и Семипалатинска. Говорят даже, что здесь проводилась одна из первых русских ярмарок, на которой шел торг не только с казахскими аулами, но и с монгольскими и иными восточными купцами. Много известных людей вышло отсюда, семья друга Чокана по кадетскому корпусу Григория Потанина тоже имела отношение к Лебяжьему... Кажется, именно Гриша расхваливал его Чокану.

Лебяжье... Кыик... Наконец-то они въехали на его улицу. Чокан тут же подумал, как метко дают казахи названия. Кыик — это лоскут. Лебяжье расположилось под яром и в самом деле растянувшиеся к реке его улицы напоминают пестрый, неправильной формы лоскут.

Найти богатого крещеного казаха не составило труда. Первый же прохожий указал на высокий под зеленой крышей дом, возвышающийся среди других изб гусем в утиной стайке.

Они к нему и подъехали. Возле него стоял рослый плечистый казах в казачьей форме. У него были тонкие усики и ухоженная черная бородка. Как его приветствовать, подумал Чокан, по-русски или по-казахски. Но хозяин дома опередил его.

— Сдается мне, ты сын султана Чингиза,— сказал он на чистом казахском языке,— по нашим обычаям тебе первому надо отдать свой салем, как приехавшему.

— Ассалям алейкум!— смутился Чокан и сделал движение, чтобы сойти на землю.

— Сходить здесь не надо,— добавил чернобородый к своему ответному приветствию и пояснил,— здесь грязь, а у меня двор выстелен досками. Заезжайте туда. А зовут меня Тургун, сын Сабатая...

Откуда он меня знает, раздумывал Чокан, шагая по ладно замощенному двору. Только потом ему стало известно, что Тур-

гун еще прошлой зимой повстречал его в Омске, и местные казахи подробно рассказали о молодом офицере из Орды. Теперь Тургуну по узун-кулаку сообщили: сын Чингиза чуть не утонул в Иртыше и задержался в Кереку у русских казаков. Одно казалось не совсем понятным и даже загадочным для Тургуна: как это торе, адъютант генерал-губернатора, направился прямо к нему домой...

Острым своим зрением Тургун увидел приезжих, когда они еще на яру спрашивали дорогу. По звону колокольчика на дуге он догадался, что это путники по казенной надобности и, значит, остановятся в ямщицком доме. Когда же лошади повернули к его дому, чутье подсказало: да, это Чокан, без всякого сомнения Чокан!

Тургун больше обрадовался, чем встревожился. Шутка сказать, кто у него будет в гостях. И решил встретить, как положено по старым обычаям.

Сохраняя некоторую степенность, он и так и этак стремился угодить Чокану. Пусть он теперь православный, но в доме придерживался казахского порядка. И свернутые одеяла украшают сундук, положенные одно на другое, и кошмы на полу, и низенький столик для дастархана, чтобы обходиться без стульев.

— Кобылицу мы резали недавно, свежее мясо еще есть,— говорил он, для вида затачивая убойный нож,— но если у меня в гостях ханский потомок, я должен пролить кров скота. Выберу сейчас овечку пожирнее и помоложе.

Вышел во двор и по жалобному блеянию, вдруг прекратившемуся, стало ясно, что Тургун уже выполнил свое обещание.

— Я уважаю, мой мырза, и тебя и твоих предков. Я видел кошмы вашей Орды. Прошу тебя, войди в мое положение. Один человек, понимающий язык здешних птиц, спел их песнь:

За моря мы улетаем жить зимой,
Но выращивать птенцов летим домой.

Когда моему бедному многодетному отцу стало очень трудно, он согласился креститься. Я тоже считаюсь крещеным. Днем мы ходим в русскую церковь, а вечером не забываем о намазе. Мы остались мусульманами, жертвуем мулле, но православным об этом не говорим.

И, как бы в подтверждение своих слов, Тургун сразу же замолкал, когда в комнате появлялся прислуживающий ему русский парень.

Угощение, понятно, было обильным. В казане варилось не только мясо с белыми, как снег, прослойками сала, но и под-

паленная на огне овечья голова. Ну, а кроме этого, подали и копченую конскую колбасу — казы и карта — кушанье из толстой кишки, и просто холодное кобылье мясо из филейной части.

— Останешься еще на день, мой мырза, жеребенка заколю.

После чая, после калачей на сметане Тургун предложил отдохнуть. Как хочет гость — можно и по-казахски на полу, можно и на деревянной кровати. Чокан предпочел кровать и уже с давно не испытываемым удовольствием погрузился в мягкую перину под атласное одеяло.

— Если мой мырза не возражает, я прилягу рядом — на ковер. Поговорим перед сном...

— Я, Туреке, не видел всей вашей семьи. Только русского паренька и заметил. Кто же с вами живет под этой крышей?

— Ах, мырза, у честных слов стыдливости нет,— ухмыльнулся Тургун.— Вы прежде всего спрашиваете о жене. Так их у меня две: одна — русская, другая — казашка.

— Русская старшая или младшая?— улыбнулся Чокан.

— Старшая, я же крещеный!..

Оба рассмеялись.

— Ну, а дети?

— Пять сыновей и двое дочерей...

— Учатся?

— Только один... Почему только один? Да у нас такая школа — то ли она есть, то ли ее нет. Слабая, одним словом. Есть школы в Семипалатинске, Омске, Барнауле, но преимущественно для военных. А мы считаемся мещанами. Сыну же моему помог один сибирский житель. Ученый, по фамилии Банзаров. Слыхали?

— Так ты и Банзарова знаешь, Туреке?

— Когда он едет к своим бурятам или в Казань — останавливается в моем доме. Однажды он мне и сказал: сам ты неграмотный и сын останется без образования, если ты его не отдашь в школу. И увез в Казань моего старшего. Подготовил его и помог поступить — да не в школу, а в гимназию. В этом году кончает. После Казани пошлю его в Париж — пусть посмотрит.

— В Париж?— удивился Чокан.

— Да, в Париж, а почему ты удивляешься, мырза? Я, вот, бывал в этом городе.

Чокан и верил и не верил.

— В Париже, говоришь, бывал? Да каким чудом тебя туда занесло?

— Самым обыкновенным... Расскажу все по порядку. Этот дом принадлежал моему тестю, Терентию Казанцеву.

— Туреке, ты же говорил, что тебя так по-русски зовут.

— Ну и что же, говорил. Отец мне дал имя моего тестя. Так вот, и мой тесть и его отец разбогатели на добыче соли. Соляные озера Прииртышья — это целый клад для тех, кто умеет их искать. Торговали солью на внутренних рынках, и за границу стали вывозить. Казанцев-старший стал одним из руководителей Российского акционерного общества по торговле солью. Дом себе в Петербурге построил. Живет там, а в Омске и в иртышских станциях бывает наездами.

— М-да,— протянул Чокан,— я кажется, слышал, что в Омске действительно существует отделение этого общества. Ну, а тебя, Туреке, какая судьба свела с Казанцевым?

— Сблизился с Казанцевым не я, а мой отец, сын бая. Деятельный человек, он с юношеских лет научился торговому делу, частенько заезжал в Лебяжье. Казанцев приметил его и взял к себе в приказчики. Давал ему все больше и больше самостоятельности. Само собой получилось, что отец женился на сестре Казанцева и принял православие. Но отец и в ауле оставался своим человеком, держал у родственников скот и множил его.

— А сам?— спросил Чокан.

— И сам я с аулом не расстался и тоже выращиваю скот, но главное мое дело здесь, в Лебяжьем.

— А в Париж как попал?

— С тестем. Сопровождал его в торговых поездках. Даже одну зиму прожил во Франции.

— И языку научился?

— Еще бы! Если с французами жил... Хлеб могу купить. Ну и всякое такое.

Чокан заговорил с ним по-французски. Тургун понесся отвечать ему так бойко, что подумалось — ну, прямо иноходец на байге!

— Да-а-а... Теперь я верю, что и сын твой побывает в Париже. Ну, а все же как с ученьем других детей?

В темноте спальни Чокан почувствовал усмешку Тургуна:

— Им-то зачем учиться, мой мырза? Бог даст им способности — и без ученья выйдут в люди. Откажет бог — и ученье не поможет. Я в жизни насмотрелся и на тех и на этих. Самому-то мне не пришлось учить в школе ни арабскую азбуку, ни русскую. Подпишу свою фамилию — и ладно. Но со счета не сбиваюсь. И двойную бухгалтерию знаю. Дебит-кредит с закрытыми глазами подобью.

Оборотистый малый, подумал Чокан. И ум у него свой, са-

мобытный. Наверное, нашей степи нужны и такие люди. Знания в аулы они, понятно, не понесут. Но и в своем хозяйстве, и народу будут полезны.

Вслух Чокан спросил об одном:

— Помогает ли в торговых делах православие?

— Сказать правду, мой мырза, христианин ли, мусульманин — это все равно. Религия тут ни при чем. Жить надо уметь, благополучие устраивать. Скажи, мырза, чего добились казахи своим мусульманством?

— Да, ничего хорошего не добились.— Чокан тут был согласен с Тургуном.— Не знают они толком, кто бог, кто его пророк, их моленья-намазы — пустая трата времени.

— Правду говорит мырза. Но я вот о чем еще хочу сказать. Не знают наши казахи, что завтра будет. Кочуют и кочуют бедные, а жить становится все труднее и труднее. Что ни год, то меньше пастбищ, да и водопоев. Если так пойдет и дальше, можно опасаться, что негде будет пасти скот.

— Что ж, Туреке, это правда...

— А скажешь нашему казаху — живи оседло, как русские живут, он и слушать не хочет. Они и в торговле ленивы. А еще я тебе сообщу — есть казахи, которые боятся денег. Там, говорят, знак креста, и тебя могут незаметно перекрестить.

— Встречаются, говоришь, такие казахи... Я верю.

— Поговорим с тобой, мырза, о наших баях. Можно среди них встретить таких, что тысячами ворочают, а обыкновенной постели у них нет и, бывает, одеть нечего.

— Ну, таких баев и я встречал...

— Им надо выйти в люди!.. И народу нашему надо подняться. Так я говорю, мырза, или не так?

— Верная мысль, Тургун-ага,— согласился Чокан, подчеркнув свое согласие почтительным обращением.

Запомнив мысли собеседника, Чокан по опыту этнографа решил сегодня не задавать слишком детальных вопросов. Тургун уже устал и мог напутать. Сейчас лучше расспросить его о семейной жизни. И Чокан поинтересовался русской женой крещеного казаха.

— Она образованная?

— Нет, мырза. Негде ей было в Лебяжьем получить образование. Но я ее от души похвалю — умная она у меня, хозяйственная.

— Жена-казашка помоложе?

— Совсем молодая. Из бедной семьи. Я недавно женился. Подумал — и в доме поможет, и за детьми присмотрит.

— Значит, из хозяйственных целей,— рассмеялся Чокан.— А русская байбише не возражала?

— Почему бы она стала возражать?

— А потому, что не принято это в русских семьях. Русским нельзя открыто заводить токал.

— Ой, мырза, в иртышских русских поселках и казахских аулах многое теперь перепуталось. Лебяжинские русские так хорошо говорят по-казахски, что кочевники, приехавшие издалека, принимают их за своих сородичей. Некоторые лебяжинцы выпасают скот по-аульному, забивают на зиму коней, варят мясо в казанах и угощают бесбармаком по всем правилам. На вечеринках и русская и казахская молодежь нередко собирается вместе. Русские песни поют под домбру, казахские — под гармонь.

— А казахи режут свиней?

— Сами, правда, не режут, но свинину покупают.

В Кокчетавских степях, в Приишимье — сравнивал про себя Чокан родные места и Лебяжье — старые обычаи соблюдаются куда строже. Интересно, как тут обстоят дела с калымом. И снова задал «этнографический» вопрос:

— Ну, а как у вас сватаются, как женятся?

— Ты, наверное, о калыме спрашиваешь, мой мырза? Есть и у нас немало охотников получить калым за дочь. Поэтому бедному трудно бывает жениться. Вот и принимают многие христианство. Потом, глядишь, и на русских девушках женятся.

— А русские?

— Случается, и казашек в жены берут.

— Где же их находят?

— Чаще всего у жатаков, тех, кто не имеет своего скота и пасет скот у баев. Приходит такой казах в русское село, нанимается в работники и становится жатаком.

— А как оплату они получают?

— Да, какая там плата? Кормят их — и ладно. Часто в таком унижении держат, что дальше некуда.

Не во всех ответах Тургуна сводились концы с концами, кое-что оставалось неясным. Чокан решил продолжить свои расспросы о семейных отношениях в этом доме.

— Ведь у тебя есть мать-казашка, Туреке?

— Родная мать? Разве я не говорил, что моя мать — русская женщина?

— Говорить-то говорил, но я от надежного человека слышал о матери-казашке. А мы, казахи, и вторую жену отца называем матерью. Я даже имя назову — Аруя...

Тургун присвистнул от удивления:

— Ай, мырза, вы все знаете, а меня расспрашиваете. Да, к отцу пришла одна женщина с детьми, он сперва взял ее помогать по хозяйству, а потом увидел, что она порядочная и женой сделал... Но кто же это так подробно обо всем знает...

Чокану скрывать было нечего. Он повторил услышанное от Каранара, заодно рассказал и о самом Каранаре.

— Так смогу я, Туреке, повидать Арую?

— Едва ли. Не любит она наших казахов, обиделась на них. Дразнит их, ругает. И такой религиозной стала — прямо беда! Никто в Лебяжьем больше ее не молится, чаще не ходит в церковь.

— А в христианской религии она разбирается?

— Где же ей разбираться, она темная. Но такой ревностной христианки я нигде не встречал. Сам, рожденный от русской женщины, я с младенчества не расставался с крестиком на шее. Но я и мусульманин, как вам говорил. А она о мусульманстве и слышать не хочет, уши зажимает.

Занятно, подумал Чокан, и повторил свою просьбу:

— Может быть, я ее все-таки смогу повидать? А?

— Что ж, мырза, попробую с ней поговорить. Но особенно надеяться не надо. Я-то ей все объясню, поймет ли? Что вы услышите — одну ругань....

...Утром Тургун побывал в доме отца, повидался с Аруей и вернулся обескураженный.

— Я же говорил, мырза, ее ничем не возьмешь. Запричитала: «Никого из ваших казахов не хочу видеть, а придет — его лицо собачьей шкурой накрою и выставлю».

Почему собачьей шкурой? Что это, проклятие такое? Нет, не пойду к ней. Ничего интересного она мне не сообщит, а ругани я и без нее много слышал.

Так решил Чокан и стал торопиться с отъездом в Семипалатинск.

Снаряжая своего гостя в путь, Тургун позаботился как мог...

— Что говорят в народе о верблюдах?— спросил он Чокана и тут же ответил:— А вот что говорят: верблюд груза на пути не оставляет. И еще: это путь только для сильного верблюда, он грудью преграды сломит. В моем дворе такой верблюд есть. Я его выхолостил несколько лет назад, чтобы спокойнее был. В жизни он еще ни разу не уставал, любую поклажу везет, в беге быстрей коня, грязь одолевает легко, а по сухой земле мчит, как ветер. Я его запрягу в удобную бричку, зачем вам трястись на ямщицкой подводе. Но ведь можно еще

погостить у меня. На одну ночь останьтесь, на две, хотите — на много дней и ночей.

— Нет, Туреке, спасибо за гостеприимство. Не будем менять решений.

Приближались минуты отъезда. И бричка, действительно, была удобной, и верблюд выглядел сильным, выносливым. Смутил Чокана возница. Уж больно жалким, маленьким, ростом с десятилетнего ребенка, показался Чокану этот слюнявый, кривоногий старичок, несуразный и сморщенный, с щелочками вместо глаз, с одинокими седенькими тростниками на подбородке.

— Он-то хоть дорогу знает?— усомнился Чокан.

— Мырза мой, наш Елбегей всю степь объездил. И там, где побывал однажды, может ехать с закрытыми глазами. С детства он возится с верблюдами, характер их знает, даже бешеный верблюд его не тронет. Доедете благополучно.

...Однако в пути Чокан продолжал внимательно и недоверчиво присматриваться к старичку. И вдруг вспомнил, что уже встречал похожего. Везет же мне на таких забавных кучеров. Ах, ты мой Қанбак-шал, мое Перекати-поле! Мой легкий и грустный старик...

А верблюд без напряжения рысил по сухой дороге, и когда бричка чуть не застряла в грязи — вытащил ее одним рывком, послушный короткому взмаху руки Елбегея.

Тургун не обманул. Ему, лебяжинскому торговцу, крещеному капиталисту, можно верить. И уж никак нельзя отказать в деловитости. Своего он не упустит и, вероятно, бывает жестоким. Они, Тургуны, еще появятся в казахской степи. И будут враждовать с Қаранарами и попробуют заставить их работать на себя.

...Что-то бурчал Елбегей, неутомимо шагал верблюд размашистым своим шагом. Силой верблюд, вероятно, уступает только слону, но слонов видеть Чокану не доводилось. Қакой он неприхотливый! Поест горькой травы, примет из рук Елбегея большую горсть соли, черной от пыли, и больше ему, кажется, ничего не нужно. Но почему же он взревел так жалобно, так отчаянно, что этот его крик можно было сравнить только с плачем?

И когда верблюд плакал, Чокан думал о том, что это бедное животное и его ближние и дальние предки видели множество несчастий, реки людских слез. За долгую историю казахов и их предшественников в степи, за времена саков и гуннов каких только тяжестей не перенесли на своих горбах нары-верблюды, верные слуги кочевников! На трудных бар-

ханных дорогах великих пустынь — Гоби, Сахары, нашей Бетпак-далы — ветер, вздымая песчаные бури, открывает белые верблюжьи кости.

В одной казахской песне пелось:

Черный нар не поднял свой груз,
Заболели его горбы.
На джайляу брошенном — грусть,
Горький след кочевой судьбы.

Чокан думал о таких непохожих друг на друга своих знакомых, пытался как-то связать, обобщить свои впечатления, но это ему не удавалось.

Путь почти в двести верст от Лебяжьего до Семипалатинска подходил к концу. И занял он меньше суток.

## Семипалатинские встречи

Первое знакомство с городом принесло Чокану разочарование. Он знал, что Семипалатинск стоит на перекрестке торговых путей: с севера на юг — из Сибири в Среднюю Азию, и с запада на восток — в Монголию и Китай. Предприимчивые русские купцы знали эти пути еще до того времени, когда русские солдаты перешагнули Уральские горы.

Почти ровесник Омска, Семипалатинск представлялся Валиханову хорошо отстроенным городом, не намного уступающим резиденции генерал-губернатора Западной Сибири.

Где же город?— спрашивал себя Чокан, глядя на станичную улицу и неказистые ее домики. Ну, Кыик-Лебяжье, да и только. Только в Лебяжьем деревья повеселее и нет таких сыпучих песков. Порыв ветра — и сразу все вокруг потемнело. К счастью, это был всего лишь мгновенный порыв. Опять стало тихо. Песчаная буря — частое бедствие семипалатинцев — на этот раз не поднялась. Но и этого порыва было достаточно, чтобы песок проник под одежду, запорошил глаза и уши.

Кучер камчой указал на ворота. Мол, смотри, мырза. Крепостные ворота действительно производили внушительное впечатление и не уступали омским. Но своего прежнего назначения они уже давно, судя по всему, не выполняли. И стражи не было, и вал, когда-то огораживавший крепость, снесли за ненадобностью, и ров засыпали песком, благо его здесь хватает.

Довольно уютно выглядела казачья слобода со зданиями штаба, военного училища и больницы.

Воротами и слободой кончалось сходство с городом, с тем же Омском.

Станица, да и только, окончательно утвердился во мнении Чокан. Как-то здесь живет, как себя чувствует сейчас любезный друг Федор Михайлович?

Но только ли станица? Ведь есть здесь и татарская слобода с мечетью. В этом поселке живут и крупные и мелкие торговцы, здесь есть подворья купцов не только казанских, но из Коканда, Бухары, Кашгара, Ташкента, есть и харчевни на восточный лад, пахнущие жареной бараниной и острыми пряностями.

Но только ли станица и татарский поселок? На левом береру Иртыша, как успел заметить Чокан, светлели казахские юрты, стояли зимовки — дома казахов побогаче, прочно осевших здесь.

И все это вместе было городом, небольшим, но пестрым, занявшим широкую полосу Прииртышья, городом, который привык не удивляться новым лицам, как никто из встречных не удивился и бричке с верблюдом в упряжке, потому что верблюжьи караваны были здесь такими же обыкновенными, как пароконный короб русского поселенца, или проезд верховых из казачьей сотни.

Чокан вначале заехал не в штаб, а в семипалатинскую таможню. В одной половине большого деревянного дома находилась контора, в другой жил таможенный чиновник Исаев.

Только они остановились у ворот, как навстречу им вышла молодая русская женщина, светловолосая, с прямым пробором посредине, скромно и очень аккуратно одетая. Она взглянула на Чокана пытливыми, чуть запавшими глазами.

— Заходите, пожалуйста, заходите,— с грустной приветливостью сказала она, не скрывая живого любопытства.— Мы вас еще вчера к вечеру ждали. Только вы уж извините Александра Ивановича. Устал он, болеет. Заснул.

Для Чокана навсегда осталось загадкой, правда, не столь уж таинственной, когда успел его лебяжинский знакомый оповестить Исаевых об его приезде. Но в том, что его ожидали в Семипалатинске, никаких сомнений не было.

Позже Чокану стало известно, что Исаев не только болен, но и основательно выпивает. Узнал он и то, что гостеприимную хозяйку зовут Марией Дмитриевной, что она родилась и жила в Астрахани и там же кончила женскую гимназию, что в ее жилах есть и французская кровь...

За скромным, но мило сервированным, а потому и вкусным обедом Чокан сразу оценил и такт, и образованность и, главное,— своеобразность и притягательность Марии Дмитриевны.

— А ведь я немного знаю вас, Вали-хан,— улыбнулась

она,— только пока, пожалуйста, не спрашивайте — откуда. Это не такая большая тайна, чтобы ее долго скрывать, но лишних вопросов, признаться, я не люблю.

Вали-хан? Очень немногие называли его так в Омске. Но... Включаясь в игру, он вполне светски ответил:

— Я еще могу не выполнить приказ генерала, но желание дамы для меня — непреложный закон. Так, значит, ваш Семипалатинск называют чертовой песочницей?..

— Песка у нас действительно вдоволь. И в тихую погоду он вполне приятен. Особенно на берегу Иртыша. К песку я привычна, а вот к реву верблюдов привыкнуть не могу. Мороз по коже продирает. Я верблюдов и в Астрахани видела, но там они, честное слово, не такие голосистые. А тут трубят, как перед страшным судом. И ваш, на котором вы приехали, не исключение. Он прямо-таки испугал меня.

Так они беседовали, непринужденно и не затрагивая никаких сложных тем.

В столовую два или три раза заходил мальчуган, взъерошенный, с большими глазами матери, и она неизменно напоминала ему, что он должен готовить уроки.

— Учится уже?— спросил Чокан.

— Да, готовится,— неопределенно и как бы нехотя ответила Мария Дмитриевна.

Александр Иванович не просыпался. Из соседней комнаты, вероятно, спальни, порой доносилось его похрапыванье. Мария Дмитриевна краснела, догадываясь, что и Чокан его хорошо слышит.

...По лестнице застучали чьи-то тяжелые сапоги.

Мария Дмитриевна вышла в переднюю. Чокан различил удивительно знакомый голос.

— Боюсь, Павлуша опять не приготовил задания. Ленится. А у меня сюрприз для вас есть.

— Боже мой!— Догадался Чокан.— Да ведь это Федор Михайлович.

И ринулся к нему.

Они крепко обнялись, а Мария Дмитриевна стояла в стороне, наблюдая за эффектом неожиданной встречи.

Чокан нашел Достоевского изменившимся в лучшую сторону — исчезли и худоба и одутловатость. Он был тщательно и коротко подстрижен и солдатская его гимнастерка выглядела свежей и отутюженной.

— Мой Вали-хан, как загорел, посвежел... Вот теперь я вижу настоящего степняка, а не офицера губернаторства.

Достоевский говорил очень приветливо, но — удивительное дело — эффекта встречи как бы не получилось.

И в Омске он не был особенно разговорчив, но здесь, в квартире Исаевых, Чокан почувствовал скованность и в речи его, и в движениях.

В комнату снова влетел Павлуша.

— Здравствуйте, Федор Михайлович! Я приготовил урок, только не весь.

— Сегодня занятия отменяются,— вмешалась Мария Дмитриевна.

— Нет, почему же?— неловко пожал плечами Достоевский и посмотрел на Марию Дмитриевну с укоризной и нежностью.

— А потому, что такие встречи бывают раз в жизни,— раздельно произнесла она.— Разве вы не оценили, Федор Михайлович, моего сюрприза?

— Раз в жизни, раз в жизни,— глухо повторил он вслед за нею.

Разговор дальше что-то не ладился.

А когда к столу подсел симпатичный, но какой-то запущенный, неприбранный и к тому же с явного похмелья Александр Иванович, стали обмениваться и вовсе незначащими фразами.

— Может быть, водочки выпьем, господа? Под рыбку?

— Я водки не пью,— сказал Достоевский.— По-моему, и Чокан Чингизович не пристрастен к ней. Не так ли?

Чокан послушно кивнул головой.

— Не будем, Александр Иванович, утруждать Марию Дмитриевну. Вам, пожалуй, отдыхать надо, а мы с Вали-ханом навестим мою обитель...

Достоевский поцеловал руку Марии Дмитриевны, его примеру последовал и Чокан.

...Они прошли по пыльной улице к бревенчатой избе, стоявшей во дворе, обнесенном высоким забором. Протиснулись в калитку, сгибаясь в три погибели, и через минуту уже были в полумраке просторной комнаты, добрую четверть которой занимала большая русская печь. Ситцевая перегородка отделяла крохотную спальню.

Достоевский зажег свечу, и Чокан понял, откуда к табачному запаху примешивался запах прогорклого сала. Федор Михайлович вышел из комнаты, не закрывая дверь, и Чокан расслышал его просьбу, обращенную, видимо, к хозяйке,— поставить самовар.

— Жить можно, даже писать,— вошедший Федор Михайлович посмотрел на Чокана серьезными, но бог весть почему повеселевшими глазами,— вот только потолки низкие, с Петер-

бурга не люблю низких потолков. Чай будем пить, отличный чай, байховый... Рассказывайте, Вали-хан.— Потом поправился.— Рассказывай, мы же на брудершафт у Ивановых пили. Здесь, конечно, по государственным, губернаторским делам?

— Я же адъютант губернатора, человек подневольный, должен торговлей с Китаем интересоваться, щекотливые поручения выполнять. Это часто бывает любопытство. Да, вот и теперь...

И Чокан воспроизвел в лицах и разговор с Гасфортом, и ссору Гасфорта с Хрущевым, как она ему представлялась.

— Но самое увлекательное я вижу в поездках, во встречах. Вот и нынче с любопытнейшими людьми пришлось мне встретиться. С нашим ордынцем, принявшим православие и разбогатевшем на торговых операциях... Или с аульным богатырем — он стал гребцом Омской флотилии. Видел во мне врага, а нашел друга.

— Степь многого ждет от России. А я... Ну, вот и самовар готов... А я многое жду от тебя, милый мой Вали-хан. Ты — первый киргиз, образованный вполне по-европейски. Ты должен открыть степь, восток — для России, а русское просвещение, науку нести в степь.

— Федор Михайлович, а будешь ли ты писать о нашей степи?

— Не знаю, скорее всего, нет. Мне чужд Восток, я не бывал в ваших аулах. Степь видел из острога, а сейчас, вполне можно сказать, из казармы. Мне ведь днем без фельдфебеля и шагу ступить нельзя, хотя он добрый малый. А мне надо писать роман величиною с диккенсовы романы. Но об этом потом... Лучше скажи, как тебе Мария Дмитриевна?

— Божий ангел в чертовой песочнице,— не задумываясь, ответил Чокан. Одновременно он очень внимательно посмотрел на Федора Михайловича и сразу определил, что ему нелегко говорить на эту тему.

Снова перешли на воспоминания об общих омских знакомых, немногочисленных, но хороших.

Однако Чокан не был бы Чоканом, если бы на следующее утро не возобновил этого разговора. Начал с чего-то легкомысленного и смешного о женщинах и вдруг спросил в упор:

— Федор Михайлович, друг мой, была ли у тебя любовь?

— Любовь? Нет, пожалуй, не была. А увлечения, понятно, испытывал.

— Значит, ты не встречал женщину, которую был бы способен полюбить?

— Нет, в прошлом не встречал.

— А теперь, похоже, встретил.

— Ты о ком это говоришь?— вздрогнул Достоевский.

— О Марье Дмитриевне, конечно! По глазам твоим вижу, Федор Михайлович.— Чокан с озорством и нежностью добавил.— И по ее глазам.

Он искренне радовался за Достоевского. Значит, он не будет одиноким в Семипалатинске. Но ведь есть Исаев — человек неплохой... К сожалению, пьяница. Кажется, его увольняют со службы. Как они будут тогда жить? Если бы Мария Дмитриевна стала женой Федора Михайловича... Однако, спрашивать его об этом он, Чокан, не имеет права.

Достоевскому было пора спешить в казарму, Чокану — заниматься делами.

Они еще встречались и у Исаевых, и дома у Федора Михайловича. Но эти встречи были короче первой — долгой и откровенной.

Немного позднее Достоевский писал своему семипалатинскому другу Врангелю: «Валиханов премилый и презамечательный человек, я его очень люблю и очень им интересуюсь».

В Семипалатинске Валиханову предстояло выполнить деликатное поручение Гасфорта, связанное с недавним пребыванием в Омске петербургского высокопоставленного инспектора из генерального штаба Хрущева.

Дело в том, что в руках Хрущева находились материалы об «иноверцах» среди начальствующих омских персон. Далеко не безгрешен был и сам Гасфорт. Не в смысле казнокрадства, нет, но в умении окружать себя своими людьми. Немец-лютеранин, он содействовал тому, что и комендантом крепости стал тоже лютеранин, швед, генерал де Граве, как и начальником штаба — швед Кройерус. Много было и поляков, в их числе безупречно честный и прогрессивно мыслящий Гутковский.

Письма об иноземном засилии в Омске шли в Петербург давно, там знали об этом и, в общем-то, смотрели сквозь пальцы. Сыр-бор разгорелся из-за назначения еще двух не то финнов, не то шведов на очень хлебные по тем временам должности. Некоего Амондта сделали командиром линейного батальона, хотя он и понятия не имел о строевой пехотной службе, а другого — Гартлинга — выписали из Улеаборга на должность смотрителя омского госпиталя, как будто на месте нельзя было отыскать подходящего офицера.

Хрущев стал говорить по этому поводу с Гасфортом, но Густав Христианович возмутился, оскорбил инспектора, и самолюбивый петербуржец покинул кабинет и в тот же день выехал из Омска в Семипалатинск.

Однако самолюбие — самолюбием, а служба — службой.

Хрущеву стало известно, что на границе с Джунгарией и Восточным Туркестаном наряду с некоторым спадом российско-китайской торговли замечены спекулятивные и контрабандные операции компрадоров — китайских и иных туземных купцов с английской мануфактурой. Так как опыт Кяхты куда превосходил опыт Кульджи, возникла необходимость послать в Иркутск своего наблюдателя — офицера. Выбор кандидатуры и оплата прогонных входили только в компетенцию Гасфорта. Поэтому Хрущев и обратился к нему с официальным письмом.

Густав Христианович остановил свой выбор на Чокане. Вызвал его:

— Придется, корнет, поехать тебе в Семипалатинск. Вот познакомься с письмом Хрущева и реляцией с границы. Представься ему. Знай, что твой отец-командир не он, а я. Соответственно и держись. Тем не менее субординацию соблюдай. Не получится разговор — пусть это будет на его совести, а не на твоей. Ему самому надо было бы проехать в Иркутск и Кяхту, да петербургская фанаберия не позволяет. Вероятно, тебе предстоит далекий путь.

Чокан мгновенно сообразил, что он повидается с Федором Михайловичем, а потом и с Доржи Банзаровым, кратко ответил: «Слушаю, будет исполнено!» — и стал готовиться к отъезду.

...И вот он уже несколько дней жил в Семипалатинске, виделся с Достоевским и не раз предпринимал пока безуспешные попытки встретиться с Хрущевым.

Петербургский гость, увы, загулял. А уж если он начинал пить, да вдобавок в женском обществе,— здесь упорно поговаривали, что он схлестнулся с весьма легкомысленной и веселой дамочкой,— то остановить его было нелегко. Впрочем, Семипалатинское начальство только радовалось, что инспектор почти не занимался делами. Пускай его, нам же меньше хлопот будет. За глаза над ним посмеивались, а в глаза, естественно, льстили, и в тайную квартиру к пьяному столу доставляли дичь, белую и красную рыбу.

Валиханов знал, что рано или поздно его свидание с Хрущевым состоится и поэтому выспрашивал у знающих людей о положении здесь, в пограничных пунктах, в Сибири и на Дальнем Востоке.

К числу таких знатоков относился и уже немного известный читателям Александр Иванович Исаев. В дни своего просветления он был интересным собеседником, отлично представлял

обстановку и в Кяхте и на границе с Джунгарией. Представлял с точки зрения русского патриота, с точки зрения экономических интересов государства. Кстати, ему случалось бывать по таможенным делам и в Кяхте, где проводятся две ежегодные ярмарки, зимой и летом.

Это было время уже приходящего на убыль владычества в Китае манчжурской династии Цин, при которой к Китаю были присоединены Восточный Туркестан и Джунгария. Продолжалось великое крестьянское восстание — так называемая война тайпинов. Она отзывалась эхом и среди неханских народностей. Крестьяне-араты вновь подымали знамя батыра Амурсаны, боровшегося с угнетателями в прошлом, XVIII веке. Имя Амурсаны оживало, как оживает легенда. Беспокойно вели себя и мусульмане, не желавшие мириться с господством цинских властей.

Именно в эти тревожные годы в феодальный Китай энергично проникала Англия, провокационно затевавшая опиумные, а по существу империалистические войны. Не дремала и Франция, и уже появлялись в китайских городах миссионеры из Северной Америки, умело прикрывавшие религиозными целями свои торговые заботы.

Что касается России, то она продолжала укреплять с Китаем мирные, обоюдовыгодные экономические отношения. Несколько лет назад, в 1851 году, в Кульдже был заключен российско-китайский торговый договор, во многом похожий на тот, который действовал в Кяхте. Но в отличие от Кяхтинского договора торговля на западной границе производилась только на китайской территории.

В Россию из Синьцзяна шел чай, байховый и кирпичный, хлопчатка и шелк, всяческая мелочь, в том числе соломенные шляпы, а из России ввозились сукно, шерстяные ткани, кожа, металлические изделия.

Теперь, в середине века, появление на западной границе английского сукна было очень симптоматичным, как не могли не тревожить Россию и события в Центральном Китае.

Директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел Ковалевский как-то писал:

«Интересы наши в Китае слишком отличны от интересов других европейских держав... Взятие европейцами Пекина, как и взятие англичанами Герата, будут для нас одинаково чувствительны и не дозволяют нам, ни в коем случае, оставаться равнодушными зрителями... Первое парализует все наши начинания на берегах Великого Океана и Амура, второе ставит во власть англичан всю Среднюю Азию...»

Что происходит у нас, на границе с Джунгарией? Что происходит там, к югу и востоку от Кяхты?

Следовало ясно представить масштабы аратского движения, узнать экономику хозяйства, их быт, психологию. Ведь араты есть и на территории России. Как они чувствуют себя под эгидой генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева?

Словом, Валиханов понимал, что его поездка в Иркутск и Кяхту может быть поучительной, если уж не с государственной точки зрения, то хотя бы для расширения личного кругозора.

...Однако Хрущев все еще не давал о себе знать.

Ни из штаба, ни от уездного начальника не поступало никаких вестей. И когда Чокан уже окончательно потерял надежду и решил уезжать обратно в Омск, его позвали к Хрущеву.

Инспектор был суров и почти трезв. Он привык изъясняться с младшими офицерами, с нижними чинами только языком приказа. Кроме того, он был шовинистически настроен и косо смотрел на всех инородцев.

Прибытие офицерика с лицом явно монгольского типа удивило и раздосадовало его.

И когда Чокан отрапортовал, что является адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири, командира отдельного корпуса генерал-лейтенанта Гасфорта, он долго не мог прийти в себя. Бесцветное серое лицо его стало еще более тусклым. Удивление и досада сменились похмельным бешенством:

— Ты откуда?

— Из Омска.

— Какая судьба тебя ко мне принесла?

— Явился по вашему вызову.

— Я? Вызывал тебя?— Хрущев нагло расхохотался.— Тебя, азиата?

Чокан, усилием воли сдержав себя, очень спокойно ответил:

— Не меня именно, но офицера генерал-губернаторства.

— Так ты и есть этот офицер?— Хрущев продолжал смеяться.

— Извините, ваше превосходительство,— ответил Чокан, задетый за живое,— вы должны знать, что есть указ Петра Великого о защите офицерской чести. Прошу не забывать,— на мне тоже офицерский мундир.

Хрущев не читал этого указа, но знал о его существовании. Впрочем, указа не читал и Чокан, однако, еще в кадетском корпусе о нем подробно рассказывал преподаватель. Во время войны со шведами правая рука Петра князь Меньшиков избил одного известного офицера. Царь наказал своего любимца и

издал указ, решительно запрещающий подобные расправы и требующий отдавать под суд всякого, кто оскорбит офицерскую честь.

На Хрущева валихановские слова и его твердость подействовали отрезвляюще. Он только про себя подумал: петровские указы читает, черт возьми!

— Садитесь!— предложил он Чокану, уже не рискуя называть его на ты, и показал на одно из кресел возле стола.

Чокан поблагодарил с отменной вежливостью и продолжал стоять:

— Я тороплюсь, ваше превосходительство.

Хрущев посмотрел на него с полным недоумением.

— А зачем вы, собственно, приезжали?

— Явившись к вам, я выполнил поручение генерала.

— Какое именно?

— Поручение явиться к вам, ваше превосходительство,— тихо повторил Чокан.

— Я прошу доложить подробнее.

— Подробности мне неизвестны, они известны вам.

Чокан формально не переходил дозволенной черты. Но Хрущев, почувствовав, что молодой корнет над ним издевается, снова пришел в ярость, сжал кулаки, затрясся, вскочил с места и вплотную подошел к Валиханову.

— Еще раз напоминаю вам об указе Петра, ваше превосходительство!— только и сказал Чокан, сказал так тихо и с таким достоинством, что Хрущев задрожал мелкой, противной, как лихорадка, дрожью:

— Напоминаю, напоминаю! Я тебе напомню, я погоны с тебя сорву, в рядовые разжалую.

— Не от вас сие зависит, ваше превосходительство.

Хрущев окончательно взбеленился и никаких слов больше не нашел.

— Вон!— только и смог рявкнуть он.

Чокан по-военному повернулся и строевым шагом вышел из кабинета. Он тут же сообразил, что никаких неприятностей ждать ему не надо, потому что Гасфорт, в общем, не боится Хрущева, а Хрущев, памятуя о своем не по чину игривом времяпрепровождении в Семипалатинске, не станет писать доноса ни на Гасфорта, ни на его адъютанта.

...Прощание с Федором Михайловичем было коротким и печальным. Смотрели друг на друга с нежностью. Достоевский только и сказал:

— Очень прошу тебя, Вали-хан, найдешь мне Коран в рус-

ском переводе и Гегеля, передай с надежным человеком. И, по возможности, быстрее!

— Постараюсь, обязательно постараюсь!

Про себя он подумал: Гегель — это понятно, но зачем Федору Михайловичу коран?

Чокан возвращался в Омск так же, как и ехал сюда в Семипалатинск, по Иртышу. Но это был уже не многоместный баркас, а небольшая парусная шхуна.

Шхуну недавно построили в затоне, на пристани. Построили для начальника семипалатинского гарнизона Насонова, который и приказал солдату, опытному в речном деле, доставить Валиханова в Омск.

Парусную шхуну местные казахи называли желбезеком. Слово желбезек означает жабры, рыбьи жабры. Сам парус в казахском лексиконе до сих пор отсутствовал, потому что его не было в быту. Парус над лодкой всегда трепещет на ветру, он — в движении, он взаправду дышит, шевелится, словно жабры. И Чокан — в который раз! — отдал должное народной наблюдательности, народному словотворчеству.

И во время пути Иртышом, уже вошедшим в свои берега, но широким и после половодья, Чокан попеременно наблюдал то за парусом — желбезеком, гнувшимся под напором восточного ветра, то за солдатом, сосредоточившим все свое внимание на парусе и руле, то за дивными рощами берегов и порой открывающимся безграничным степным простором.

Солдат оказался на редкость молчаливым, да и Чокану не очень хотелось разговаривать.

Когда ему надоедало следить за парусом и даже за скользящими берегами, он принимался мурлыкать под нос какую-нибудь песню, но тут же останавливался, вспомнив, что создатель не наградил его ни голосом, ни умением петь, и снова погружался в свои смысли о семипалатинских встречах, о предстоящем разговоре с Гасфортом, о такой вероятной теперь поездке в Восточную Сибирь.

Парусная шхуна легко и быстро шла по зеленой иртышской воде.

Не прошло и пяти дней, как Чокан возвратился в Омск.

Он ничего не стал скрывать перед Гасфортом. Даже того, что похорохорился перед Хрущевым. Но Гасфорт, помня заносчивость инспектора и свою ссору с ним, только рукой махнул и полностью успокоил Чокана, не забыв при этом намекнуть на свои дворцовые связи.

Генерал расспрашивал Чокана о торговых делах, о вестях с границы, из Китая. Остался доволен осведомленностью сво-

его адъютанта. И только в одном он сомневался, желая замаскировать сомнением взволнованную свою растерянность. Дело в том, что Гасфорт не любил даже упоминания о крестьянских восстаниях. Он имел о них представление и по венгерской компании 1848 года, и по бунтам русских крепостных, сжигавших помещичьи усадьбы. Он и сам однажды подавлял такое восстание в Малороссии, как тогда называли Украину. Он попросту не представлял себе, что и в Азии, где так мало посевов и много кочевников с их бесчисленным скотом, могут происходить подобные явления. И не столько война тайпинов — китайских крестьян — беспокоила его, сколько слухи об аратах в самом Китае. Если они взбунтуются там, то могут взбунтоваться и родственные им араты, находящиеся под рукой России. И если это произойдет в Восточной Сибири, не отзовется ли это пагубно и в его генерал-губернаторстве? Конечно, случись что-нибудь неприятное у Муравьева, он, Гасфорт, был бы только доволен... Но ведь и себя надо оберечь от крайне нежелательных явлений.

Прежде чем послать Чокана в Иркутск и Кяхту, Густав Христианович написал официальное и вместе с тем доверительное письмо в Петербург князю Долгорукову. Ответ пришел не сразу и несколько неопределенный. Но там были нужные слова: «...не возражаем».

И Валиханов снова быстро собрался в дальний путь.

Он многого ждал от знакомства с населением Прибайкалья, стремился увидеться с Доржи Банзаровым, что было не просто интересно, но одним из самых заветных его желаний.

Непосредственные служебные поручения не казались Чокану слишком сложными и обременительными. Среди них, пожалуй, только одно было достаточно запутанным. Дело в том, что Кяхтинский трактат был заключен в 1727 году, когда Сибирь еще не разделялась на Западную и Восточную, и теперь претензии по этому трактату Цинские власти предъявляли то Иркутскому, то Омскому генерал-губернатору. Разобраться в этом, вероятно, было не так уж просто, но и не в тягость ему.

Во всяком случае, предстоящие официальные занятия не омрачали чувства Чокана перед новым путешествием.

## С генерал-губернатором у карты

Чокан ехал в Иркутск на перекладных, наиболее быстрый и едва ли не единственный тогда способ передвижения по степным и таежным просторам Сибири. Ямщицкие станции, похожие одна на другую, расположенные, как правило, у воды

в уютных заимках, порой щеголеватые и разбитые, порой опустившиеся и угрюмые ямщики, сытые кони, хорошо накатанная дорога...

Путники тех лет не могли и предполагать, что со временем здесь будет проложена великая железная дорога.

В этой самой дальней в его жизни поездке Чокан, уже привыкший к странствиям, отдыхал душой и против своего обыкновения редко вступал в разговоры с попутчиками и встречными.

Доехал он без приключений, преодолев меньше чем за три недели огромное, почти в две с половиной тысячи верст расстояние.

Об Иркутске он читал и слышал раньше, а перед самым отъездом зашел в библиотеку корпуса и внес в свою записную книжку кое-какие сведения и о городе, и о всем Восточно-Сибирском губернаторстве.

Ему было известно, что Иркутская зимовка — так вначале назывался будущий городок — была заложена русскими солдатами у впадения речки Иркутки в Ангару еще в 1661 году. Городок рос, стал городом, а с 1803 года, вот уже более полувека, здесь находится резиденция генерал-губернатора. Так Иркутск приобрел большое значение в жизни всей страны. Здесь велись политические и торговые переговоры с китайцами и монголами.

Все дальше и дальше проникая на Восток, утвердившись и на камчатской землице, Российская империя одновременно превратила Сибирь в край ссылок и тюрем. Еще в петровские времена сюда ссылались пленные шведы после русско-шведской войны. В Сибири отбывали наказание участники восстаний в Польше и Литве. Потом пошли декабристы, петрашевцы и другие государственные преступники. От Петербурга, от Москвы через пересыльный пункт в Казани тянулся этот печальный этапный путь с короткими остановками в городах, селах и почтовых станциях. Горький хлеб подаяний испробовали все сосланные в Сибирь. Чаще всего этот путь заканчивался Иркутском, а оттуда — в ближайшие и дальние остроги и селенья, заброшенные в тайге. Всю Сибирь называли просторной тюрьмой России, восточную ее часть — тупиком, а сам Иркутск — железными воротами.

Въезжая в город, Чокан обратил внимание на многие черты, роднящие его с Омском. И Омск расположен на холмах у слияния двух рек, и Иркутск возник на двуречье и взбирается на север по невысоким горным отрогам. Главная река Омска Иртыш проходит стороной, окружая город с юго-запада, а в

самом городе протекает речушка Омка. Главная река Иркутска — Ангара — разделяет город надвое. Силой стремительного своего течения Ангара поспорит с Иртышом. Да и сам город показался Чокану поболее Омска.

Лошадей ямщик остановил у дома Банзарова — его адрес был у Чокана. Он решил сразу же повидаться с Доржи и, конечно же, воспользоваться его гостеприимством, а уж потом побродить по городу и заняться своими делами.

Дом был двухэтажный и как многие двухэтажные сибирские дома имел кирпичный первый и сложенный из сосновых бревен второй этаж. Чокану понравились и нарядный фасад и широкие окна,— значит, в доме светло. Но, увы, хозяина на месте не оказалось — он отправился в какое-то длительное путешествие.

Куда же теперь ехать? Чокану присоветовали обратиться в «Белый дом», как по аналогии, что-ли, с Вашингтоном иркутские острословы прозвали городскую гостиницу. И надо же было так окрестить обветшавший, покосившийся домишко с почерневшими бревнами, который Чокан тут же мысленно сравнил со скелетом захудалого верблюда. Нет, ему совершенно не хотелось здесь жить. Сонный конторщик ему сказал, что комнаты получше он сможет получить в Горбатом доме, если только туда пустят: Чокана замечание это несколько рассердило. Но что делать — пришлось отправиться в Горбатый дом. Вопреки обидному прозвищу он выглядел вполне прилично, хотя действительно будто горбился на самом берегу Ангары. Дом, оказывается, принадлежал генерал-губернаторству. Чокан предъявил свои бумаги и его незамедлительно поместили в один из лучших номеров.

Наутро он пошел к генерал-губернатору. На его счастье граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский находился на месте. Обычно он любил поманежить посланцев своего соседа Гасфорта, но, узнав через адъютанта поводы, по которым приехал Валиханов, сразу же пригласил его к себе.

Умудренный опытом генерал, чей возраст уже приближался к пятидесяти, и очень молодой гасфортовский адъютант, понравились друг другу в первую же встречу. По казахской пословице — бег лисы оценит беркут, а зоркость беркута — лиса...

Умный молодой человек чем-то очень похож на Банзарова,— думал после беседы Муравьев. Да... Банзаров номер два. Только наш якут слишком разговорчив и даже суетлив, а этот — смотри какой выдержанный, даже степенный. Отвечает кратко, умеет слушать. Умен, очень умен, должно быть. У Банзарова

чувствуется усталость и пугливая настороженность. А Валиханов полон сил и, как неоперившийся птенец, готов к любому броску, к любой схватке. Пожалуй, он сильнее моего адъютанта.

Чокан и прежде был наслышан об уме, энергии и решительности Муравьева. Чокану импонировало и то, что он был гуманен с заключенными, что, заселяя Амур, он смело открыл ворота острогов. Сравнения по всем статьям были не в пользу Гасфорта. Он внушал доверие даже своей наружностью. Брюнет с темными, вороного отлива, волосами, с открытым лбом, худощав, даже поджар, потому что деятелен. И приятная манера говорить, без оттенка снисходительности, но с уверенностью государственного мужа. Вот у кого можно поучиться, не то, что у моего сиятельного Густава Христиановича.

Муравьев-Амурский с первых же минут беседы дал почувствовать Чокану, что он хорошо знаком с географией и этнографией Сибири. Он вооружился указкой и, свободным жестом открыв шелковую занавеску, пригласил Чокана поближе подойти к карте, занявшей всю широкую нишу в стене.

— Вот это и есть наша Сибирь.— Генерал обвел указкой ее территорию.— Географы подсчитали: по своему пространству Сибирь в три раза больше всей Западной Европы. Вам это известно?

— Известно,— мягко сказал Чокан.

— А вот известно ли вам, что центр всей Азии находится тоже в Сибири?

— Нет, Ваше превосходительство, этого я не знаю.

— Вот, смотрите.— Указка Муравьева скользнула по Саянам.— Здесь сливаются две речки — Улуг и Малый Хемдар. Сливаются вместе, чтобы стать Енисеем*. Местных жителей называют урянхайцами.

— И это я знаю,— не счел нужным скрыть Чокан.— Это народ тюркского происхождения. Их предки имеют родство и с нами, киргиз-кайсаками, как принято говорить.

— А сколько, вы думаете, людей проживает в Сибири? Не знаете, значит. Всего около двух миллионов, а маленькая Западная Европа вместила более четверти миллиарда.

Муравьев рассказывал увлеченно, со знанием самых неожиданных подробностей; знал он, как русские землепроходцы и мореплаватели, начиная с XVI века, продвигались на север и восток, как стала русской камчатская земля, как уходил

---

[1] На этом месте был построен город Белоцарск, впоследствии переименованный в Кызыл; ныне столица Тувинской автономной области. Прим. автора.

в плаванье отважный якутский казак Семен Дежнев, первым достигший пролива между Азией и Америкой, как он вбил первые колышки на мысе, названным впоследствии его именем. Рассказывал о мужественном Витусе Беринге, командире камчатской экспедиции, о Беринге, оценившем открытие Дежнева и погибшем на острове между двумя материками.

Муравьев с гордостью говорил о русских географических открытиях еще и потому, что сам снаряжал экспедиции и недаром к его фамилии было добавлено —«Амурский», и потому, что он принимал непосредственное участие в изучении этой реки, прежде всего ее устья.

Снова усаживаясь в кресло, Муравьев говорил о богатстве недр Сибири, о ее золотых приисках, о которых Чокан, естественно, не мог не знать.

— И ведь это не легенда, что Петр Великий, мир его праху, дал разрешение израсходовать тридцать шесть пудов золота для куполов собора в Тобольске. Но столько золотого запаса, сколько хранится в банках Англии и Америки, мы пока не имеем. Но будем иметь!

Тут Муравьев перешел к тому, что его особенно волновало:

— А ведь Америка тянется к Сибири, как и мечтает прибрать к своим рукам Аляску.

И с горечью заговорил о Крымской кампании, в которой Россия проигрывала одно сражение за другим.

— Однако на севере мы стоим прочно,— он приподнялся и опять подошел к карте. А вот здесь,— указка остановилась сначала на горах Алтая и Тарбагатая, потом на Тянь-Шане,— мы очень пассивны, даже медлительны. А ведь англичане,— я это доподлинно знаю,— из Индии стремятся в Среднюю Азию. Англичане действуют и хитро, и быстро. Вот вы торговыми делами интересуетесь,— я прикажу, чтобы вас детально ознакомили с некоторыми английскими приемчиками. Вы думаете, у них нет своих ушей и щупалец в Кяхте и у вас в Кульдже?

— Спасибо, ваше превосходительство, с благодарностью ознакомлюсь. Простите меня, я хочу обратить ваше внимание на Хивинское ханство. Оно ведь как бы на пороге России.

— Вот эту низменность,— генерал показал на восточное побережье Каспия,— надо как можно скорее взять под руку России, как и те горы, о которых я вам говорил. Вам понятно?

— Конечно, ваше превосходительство. Но нашему генерал-губернаторству такой поход не под силу.

— Я не имею в виду Омска,— улыбнулся Муравьев, догадавшись, что Валиханов принял его высказывание как укор Гасфорту,— я думал сейчас шире — о всей Российской полити-

ке за Востоке. И прежде всего нужно присоединить к России вот эти киргиз-кайсацкие территории. Они ведь сейчас под властью Коканда?

— Вот эти земли, да,— подтвердил Чокан.— Мне очень близки ваши мысли.

— Надеюсь, вы в этом деле будет играть свою значительную, я бы сказал, особую роль.

— Я не зря ношу мундир русского офицера, Ваше превосходительство,— привстал Чокан.

— Верю, верю!— Муравьев ладонью своей дотронулся до плеч Чокана.— Садитесь, прошу вас.

Чокан сел и тут же обратил внимание, что в кабинете Муравьева, впрочем, как и в кабинете Гасфорта, висела еще одна карта, карта национальностей Восточной Сибири с указанием плотности населения. Вот где наглядно проступала разница между Западной Европой и этой частью Азиатского материка. Примерно такая же картина и в его краю. Как и когда заполнятся людьми эти бескрайние просторы? Должно быть, и Муравьев не даст ему ясного ответа, как не дали его и омские администраторы. А ведь ему еще надобно узнать об аратах. И Чокан решил разыграть удивление.

— Боже мой, боже мой! Как много у вас в Восточной Сибири разных народностей!— и, растягивая слова, начал перечислять,— юкагиры, тунгусы, якуты, монголы, буряты, дауры, камчадалы.

— Вы всех не перечислите, корнет, утомитесь... Да, и я уже утомился от них. Лучше скажите, как там поживает Густав Христианович? Какими еще сувенирами пополнилась его коллекция?

— Есть у него эта страсть, есть,— лояльно ответил Чокан, еще не предполагая, куда могут завести шутливые эти вопросы.

— Хранит, как и прежде, огрызок карандаша, которым он подписал соглашение во время Венгерской кампании?— С той же лукавостью допытывался Муравьев.

Чокан не выдержал и расхохотался. Дело в том, что когда анархиста Бакунина, известного в Сибири под прозвищем «Саксонского короля», везли через Омск в далекую ссылку, его пожелал увидеть Гасфорт. Во время аудиенции генерал расхвастался перед революционером своим участием в Германштадском сражении, а Бакунин заметил, что именно там русские войска были разбиты, а войска-то были под его командованием. Но это нисколько не помешало Гасфорту и в дальней-

шем извлекать из жилетного кармана исторический карандашик и с важностью упоминать о Германштадте.

Поэтому и расхохотался Чокан. Но он тут же сообразил, что негоже смеяться над своим генералом и, согнав с лица улыбку, заметил:

— И тем не менее Густав Христианович был отважным командиром.

— Почему же тогда вы рассмеялись?

— Что поделаешь, ваше превосходительство, и у больших людей бывают свои забавные недостатки.

Муравьеву пришлась по душе тактичность Валиханова. Обладая бесспорным чувством юмора, он мог бы позлословить,— благо Гасфорт давал для этого всяческие поводы...

Умен офицер, ничего не скажешь.

Но даже с умным младшим офицером из инородцев граф Муравьев, верный слуга царя и российский патриот, решительно не пожелал обсуждать положение инородцев и, тем более, откровенно излагать принципы государственной политики в этой области. Тем более, и с бурятами, и с другими народностями Восточной Сибири далеко не все было просто и благополучно.

Чокан именно так понял поведение генерал-губернатора и воздержался от попыток возобновлять с ним разговоры на эти обоюдоострые темы.

Теперь он окончательно убедился в том, что встреча с Доржи Банзаровым, которая представлялась ему самой важной в поездке, окажется еще более плодотворной и в ознакомлении с положением сибирских народностей.

Что касается русско-китайской торговли, то ничего катастрофического тут не происходило. Прошло сто лет и еще четверть века с той поры, как в Пекине графом Саввой Лукичом Владиславичем-Рагузинским был подписан Кяхтинский договор, определивший политические и торговые отношения между двумя странами. Перенесение торга из Урги в Нерчинск и Селенгинскую Кяхту шло на выгоду русским купцам, избавившимся от хлопот по перевозке товаров нелегкими степными и горными дорогами Монголии.

Многие положения договора устарели, как пожелтела бумага и выцвели чернила самого документа. А китайцы, равно как и русские, поднаторели во взаимных обманах. В секретной инструкции Цинских властей, опубликованных в «Московских ведомостях» в 1852 году, недвусмысленно было сказано, что «секретов, относящихся до торговых дел своих внутри на месте... русским отнюдь не открывать, ибо это то самое зло-

вредное открытие и послужило к возвышению цен на русские товары, между тем, как свои доходили до самой низкой цены и тем коммерции и государству нашему делался вред». А вслух маньчжурские чиновники поднимали ажиотаж вокруг цен на товары, цену пустяшной пуговицы доводили до цены верблюда и строчили письма в Петербург, в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, а из Министерства эти письма с визой «проверить» пересылались в Омск или Иркутск.

Ознакомившись с перепиской, касавшейся спорных вопросов в торговле, а равно и посредничества китайских компрадоров между Кяхтой и английскими экспортерами, Чокан мог сказать себе, что часть поручений уже выполнена.

Теперь оставалась желанная поездка в Кяхту, где-то там находился сейчас и Доржи Банзаров.

Чокан скрыл от Муравьева свое знакомство с Доржи и так повел разговор, что граф сам назвал фамилию просвещенного бурята.

— Это феномен, настоящий феномен,— отозвался о Доржи Муравьев,— равного ему среди местных ученых нет. Талантливый человек, деловой... Вот только к водке пристрастился, опускается.

Муравьев не сказал главного: Банзаров был обременен чиновничьими обязанностями, а сам губернатор больше интересовался Амуром, нежели этнографическими исследованиями. Ему были, в общем-то, безразличны научные интересы Доржи, а он именно в этом смысле порисовался перед Валихановым. Чокан же сделал вид, что он удивлен рассказом Муравьева.

— Подумать только, из бурятов выходят такие люди!

И тут же сказал о своем желании побывать в Кяхте.

— Поезжайте, это очень поучительно,— согласился Муравьев.— Кстати, познакомитесь с Банзаровым, он же вас и познакомит с Кяхтой. Банзарову я напишу письмо, а в Иркутске вас обеспечат срочным транспортом.

...Путь из Иркутска в Кяхту шел южным берегом Байкала до впадения в озеро Селенги, а дальше вдоль этой реки.

По левую руку синел озерный простор, порой закипавший белыми гребнями волн. Направо раскинулась тайга, курчавились горы, светлели сквозь деревья гранитные сопки.

Но необыкновенные краски природы, как ни мечталось в свое время Чокану повидать Байкал, мало его занимали сейчас. Он больше думал о Банзарове, вспоминал краткую встречу с ним в Омске, свое смущение восхищенного подростка перед обаятельным ученым, который может стать опорой для инородцев России, в особенности, Сибири.

Из произведений Банзарова он пока прочитал только его диссертацию «Черная вера или шаманство у монголов», напечатанную в 1846 году в Ученых записках Казанского университета. С этой диссертацией его ознакомил в корпусе преподаватель Николай Федорович Костылецкий, сравнивавший написанный на материалистической основе, полный глубокого научного понимания и настоящих открытий труд молодого ученого с известными работами немецкого философа Людвига Фейербаха о сущности христианства.

Чокана «Черная вера» заинтересовала не столько философской стороной, сколько описаниями шаманских ритуалов и понятий, следы которых он находил и в жизни казахов. Ему и теперь хотелось поговорить об этом с Банзаровым. Но еще больше стремился Чокан обменяться с выдающимся бурятом мнением о судьбе нерусских народов в России, побеседовать с ним о политических идеалах, чтобы укрепить свои знания и позиции.

Мечты увлекали его вперед, а лошади не слишком торопко тащили бричку вдоль русла Селенги у подножья Яблоневых гор, отрогов Саянов. Потом тайга вновь густо обступила путников и только возле Лебединого озера лес начал заметно редеть и, наконец, сменился равниной.

Говорят, есть птицы с такими могучими голосами, что кажется, крик их раскалывает землю, а подойдешь к ней,— она всего с кулачок. Так и Кяхта, можно сказать, прославленная на весь мир Кяхта вблизи разочаровала Чокана.

— Только-то и всего,— пожал он плечами. Впереди был поселок, умещавшийся на ладони. Ну, а если обойтись без гиперболы, Кяхту можно было сравнить с небольшой казачьей станицей на Иртыше. Более или менее прямой выглядела только одна центральная улица. Остальные расползались по оврагам и ущельям. На дне одного из оврагов поблескивала струящаяся вода. Ямщик сказал, что это и есть речка Кяхта. Речка? Про себя Чокан подумал, что это не речка, а плакучий ручеек. На площади единственный мало-мальски приличный, сложенный из кирпича дом принадлежал русско-монгольской школе. Рядом расположились торговые лавки. Они, как объяснил Чокану все тот же ямщик, сейчас на запоре и открываются только в ярмарочные дни.

На той стороне городка торчала маковка церкви, кажется, кирпичной.

— Это и есть Троицко-Савская церковь, самая большая церковь по южную сторону Байкала. А вот эти длинные дома —

казармы. Солдатушки купцов охраняют. И наших, и китайских. А вот там уже Монголия.

Ямщик, как водится, остановил лошадей у постоялого двора. Из открытых окон доносились громкие голоса спорящих, восклицания, хохот.

— Что это за сборище?

И осведомленный о всех деталях кяхтинской жизни ямщик объяснил, что там режутся в карты или играют в шашки. А какая игра без выпивки. Пьют араку — хмельной напиток из простокваши, и тарасун, хлебную самогонку. Собираются здесь те, кто служит на границе. Преимущественно казаки, буряты и русские. Напьются — тогда дело до драки доходит. Слышал я, забивали и до смерти.

Тем временем шум в окнах усилился. Очевидно, шла потасовка.

— Может, подождем, ваше благородие, заходить?

Чокан еще не успел ответить ямщику, как на улицу вывалился казачий урядник с лицом, заросшим рыжей бородой. Он был без фуражки и не очень твердо держался на ногах. Мурлыча какую-то песенку, он вначале не обратил внимания на Чокана, и только поравнявшись с ним, бросил взгляд сначала на ямщицкую повозку, потом на него и остолбенел.

— Чо-кан, Канаш!— крикнул он и бросился его обнимать.— Ты что, не узнал меня? Да это же я, Гриша...

С превеликим удивлением Чокан узнал Григория Потанина.

— Гриша, керей мой золотой!

Даже слезы сверкнули на лицах друзей.

Они так бы и стояли, обнявшись, но вслед за Потаниным из постоялого двора вышли еще несколько подвыпивших казаков, которые окружили их и осыпали грубоватыми насмешками, но, разглядев в Чокане офицера, отправились восвояси.

Разговор начался не сразу. Уж слишком неожиданной была эта встреча. Они пристально рассматривали друг друга, продолжая и радоваться, и недоумевать. Чокан знал, что Потанина отправили проходить казачью службу на восток, но не предполагал, где именно он находится. А Потанин ни сном, ни духом не ведал, что Валиханов может приехать сюда, в Кяхту, и глядел на него так, как глядят на свалившегося с неба.

Как-то они обменялись письмами, но Гриша писал тогда совсем из другого места. Чокан, занятый поездками, вовремя не ответил, и переписка оборвалась.

Через несколько минут Чокан уже знал, что эскадрон, в котором служит Потанин, расположился в казармах, что на границе сейчас спокойно и ученья проводятся редко. Поэтому

казаки от безделья и захаживают в постоялый двор, а он, Потанин, считает ненужным отделяться, хотя, хотя...

— Вот что, Канаш,— сказал он гортанно, как произносят аульные казахи, подчеркнув, что он не забыл язык,— поедем ко мне.

— В казарму?

— Да, нет... По дороге я тебе скажу свой секрет. Вообще-то я живу вместе со всеми служивыми, но...

И ямщик повез их в сторону, указанную Потаниным.

— Как бы это тебе растолковать, Канаш,— застенчиво начал Потанин.— Понимаешь, казаки не имеют права жениться, когда служат. А служить мне...— он безнадежно махнул рукой.— Но молодость, молодость. Она не дает покоя, обжигает тебя. Я здесь нашел свою Баян.

— Баян?— переспросил Чокан.

— Да, Баян-слу.

— Значит, ты влюбился, Гриша? Значит, у тебя есть девушка?

— Представь себе. И нет между нами ни Карабая, ни Кодара, которые нам могли бы помешать. Нет и, думаю, не будет. Вот мы и договорились пожениться, сколько бы лет не продлилась служба. Зовут ее Лаврская, Александра Викторовна. Младшая сестра одного здешнего ссыльного. Знает, понимаешь, монгольский и китайский. Сейчас она учительницей в Кяхтинской школе. Изучает жизнь монголов и бурятов. Меня хочет приобщить к этим занятиям.

— Как это хорошо, когда Баян и Корпеш увлекаются одним и тем же,— сказал Чокан, думая о своем.

Александра Викторовна была дома.

— Ты, кажется, навеселе,— мягко погрозила она Григорию, но тут же осеклась, увидев Чокана.

— Друг мой по корпусу Чокан Валиханов,— представил Потанин гостя.

— Ой, как же,— засуетилась она.— Гриша очень много о вас рассказывал. Очень рада, даже счастлива вас видеть.

Лаврская сразу понравилась Чокану. Да она и не могла не понравиться. Хорошенькая, ладная, умная, должно быть, и образованная, судя по рассказам Гриши. Чего еще надо желать?

— Ну, мужчины, займитесь воспоминаниями, а я похлопочу немного.

Александра Викторовна оставила друзей вдвоем.

— Ты что меня так разглядываешь, Канаш?

— Да вот, твою бороду изучаю. Помнится, у тебя не было ни бороды, ни усов.

Чокан не сказал Григорию, что пышная эта растительность отнюдь не красила его и так не очень привлекательное лицо. Но Потанин без всякого смущения ответил:

— Казаки считают, раз перевалило тебе за двадцать — без бороды ты не казак. Вся красота в бороде, милый мой. Вот я и начал бриться, чтобы она скорее выросла.

— Понимаю,— сочувственно протянул Чокан.— Понимаю.

А сам подумал о том, что вот повезло же Грише, а ему не очень везет. Красивая россиянка Александра Викторовна. Но разве Айжан не красавица среди казашек? Их нельзя сравнивать между собой, как нельзя сравнивать два разных, но по-своему прелестных цветка. И все-таки, он сразу почувствовал одну существенную разницу. Лаврская уже поднялась на одну из вершин культуры, а его Айжан бродит только у подножья этой первой горы хребта. Чекану стало обидно за Айжан, обидно за себя... Какие незабываемые часы провели они в окрестностях Сырымбета! Пусть так мало времени было отпущено им, это время не выходит и не выйдет из памяти. Куда приведут радостные и горькие эти пути? Сколько бы он ни думал о себе и Айжан, будущее не представлялось ему ясным.

Как и всегда, приближаясь к границам своих мечтаний, Чокан терялся. «Будь что будет»— произнес он по обыкновению про себя и перешел к житейским кяхтинским делам.

Судя по некоторым обрывочным фразам Потанина, его собираются определить на ночлег в квартире Лаврской. Он и спросил напрямик:

— Так мы здесь и останемся?

— Конечно, здесь!— улыбнулась вошедшая Александра Викторовна.— Вы оба теперь мои дорогие гости.

— Значит, решено?— Чокан улыбчиво посмотрел на Потанина.

— Конечно, решено!— в тон приятелю ответил Григорий.

Чокан сказал, что ищет Доржи Банзарова и было бы неплохо взять его в компанию.

— Доржи у нас свой человек, мы дружим с ним. Сейчас пригласим его,— ответил Потанин,— он живет недалеко отсюда.

Однако выяснилось, что Банзаров в отъезде и вернется в лучшем случае завтра.

## Неотомщенная обида

Здесь мы должны рассказать об одном событии, которое едва не привело к тяжким последствиям. Случилось это событие в доме Лаврской и связано было с приездом Чокана.

Однако начнем по порядку.

Потанин рос среди казахов и так хорошо знал их обычаи, так пристрастился к ним, что не только не забыл их в Кяхте, но даже следовал им куда чаще, чем в Омске. Он любил есть мясо, приготовленное как в ауле и предпочитал говядине мясо степных курдючных овец. Вокруг Кяхты у кочевников монголов водились такие отары. Здешние овцы были крупнее казахских. Сядешь на овцу — до земли ногами не достанешь. А курдюки, курдюки!.. Овцы нагоняют жир, питаясь на выпасах горьковатыми и сочными травами. Мясо у них столь сытное, что будь ты хоть превеликим обжорой, и то много его не съешь.

Вот таких овец и закупил Потанин подешевле для своего эскадрона. Жирная овца стоила всего рубль серебром. Надобно мяса — едут в отару и привозят барашка.

Так с одобрения Александры Викторовны поступил Потанин и в день приезда Чокана. По дороге он думал о чабане, пасшем эскадронных овец. Его он встретил однажды возле Селенги, жалкого, оборванного, заросшего, как медведь, однако, могучего телом. Потанин сразу признал в нем казаха и, вероятно, казаха-борца. Так оно и оказалось. Бедняга назвался Кадыгулом, сказал, что отбывал ссылку, но промолчал о том, почему он был сослан, а Потанин и не стал расспрашивать — зачем бередить старые раны. Зато тут же предложил Кадыгулу пасти их небольшую отару. Нечего и говорить, как тот охотно согласился: чабанское дело — самое привычное!

Теперь Потанин задумал свести Кадыгула с Чоканом. Пусть Чокан убедится, что и здесь его друг не забывает родных казахов, а заодно вместе обсудят, как помочь обездоленному вернуться домой, да, кстати, и узнают, какие-такие грехи привели его в Сибирь.

Он быстро нашел отару и прежде всего решил обрадовать чабана доброй вестью — попросить суюнши. Рассказал Кадыгулу о своем госте — Чокане, сыне Чингиза, и пригласил его к себе в Кяхту. Эффект получился обратный. Кадыгул так изменился в лице, будто к его босым ногам приложили горячие угли. Он стал так подергиваться и тяжело дышать, словно его схватило удушье. Потом присел на корточки со страдальческим видом.

— Что с тобой? Сердце у тебя, видать, болит?

— При-падок,— только и вымолвил Кадыгул.

Потанин помог ему прилечь поудобнее на траве, взял руку, послушал пульс. В самом деле, сердце его билось учащенно. Но никаких других признаков болезни он не нашел. Попросил мальчика-бурята, помощника Кадыгула, неотлучно находиться при нем. Справил свои хозяйственные дела, увидел, что чабану лучше, и вновь стал уговаривать его поехать в Кяхту, встретиться с Чоканом. Кадыгул отказывался, уверяя, что припадок может повториться. Ничего не поделаешь, пришлось возвращаться одному.

Потанину и в голову не пришло, что чабан схитрил.

Да, он и не был Кадыгулом.

Ескара,— так звали чабана,— уже немного известен читателю по первым главам книги. Сын барымтача Кожыка, внук Макаша, он, тем не менее, никогда не принимал участия в барымте и других набегах. Когда Чокан вернулся из Атбасара, враги Кожыка, а в их числе прежде всего Чингиз, написали прошение на имя генерал-губернатора: «Там, где живет этот вор, мы жить не можем, и если вы хотите, чтобы мы остались жить, избавьте нас от него». Кожык и в самом деле продолжал набеги, беспокоил аулы. Несмотря на слово, данное Наркыз, Чокан уже никак не мог поддерживать его. Солдаты схватили Кожыка со всеми сыновьями. Не отпустили они и Ескару, самого тихого и трудолюбивого из них. И хотя весь аул заступался за Ескару, его не пощадили. Суд вынес приговор и всех Макашевых угнали в ссылку. Где-то в пути пожилой Кожык заболел и, не выдержав тягот, скончался. А сыновья дошли до Итжеккена, края, где ездят зимой на собаках.

Там они спасались тем, что ловили рыбу. Однажды в бурную погоду их лодка перевернулась. Из всех молодых Макашевых спасся один Ескара, одолевший вплавь не одну версту. Потом он сбежал из того сельца, где их поселили. Он шел наугад, знал одно — надо идти в сторону заката солнца, но не имел точного представления, где его народ, где его степь. Ескара шел, вооруженный палкой из лиственницы, твердой, как железо. Вначале боялся заходить в редкие зимовки, а для пропитания бил зверя в тайге, искал съедобные коренья и ягоды. Потом звери стали попадаться реже, а зимовки и селенья чаще. Пришлось просить милостыню, чтобы не умереть с голода.

Он шел и шел, куда глаза глядят, пока на берегу Селенги не подобрал его Потанин. На всякий случай Ескара скрыл свое настоящее имя, но мог ли он предполагать, что его спас друг

сына злейшего врага? Мог ли он даже во сне вообразить, что Чокан, сын Чингиза, находится в нескольких верстах от его отары? Не от страха у него забилось сердце, нет — от ненависти и желания отомстить. Вот потому он и прикинулся больным. А про себя подумал: ну, погоди, волчий щенок! Если уж ты пришел в мою сторону, тебя мои руки достанут. Запачкавшись в твоей крови, я буду отомщен. Пусть сам умру, но умру счастливым. Я умею бить зверье своей палкой. Медведя убивал, а сына Чингиза и подавно убью. Да и лук монгольский теперь есть у меня...

Потанин вернулся в Кяхту поздним вечером. Объяснил, что долго искал чабана.

И только когда после ужина легли спать, он подробно рассказал Чокану о Кадыгуле, его внезапном припадке и отказе приехать сюда. Чокан почуял что-то неладное.

— Ты говоришь, он настоящий казах?

— Что, по-твоему, я не отличу казаха от бурята или татарина? Самый настоящий казах. Скорее всего кокчетавский.

— Беглый, ты в этом уверен?

— Не сомневаюсь...

— Да, ссыльных казахов много,— вслух произнес Чокан.— Ссылали их прежде, ссылают и теперь. Но почему он испугался именно меня, не пожелал видеть? Значит, его несчастье связано со мной или с моим отцом. Наверняка...— Чокан помолчал.— Убежден, что это один из сыновей Кожыка. Только эта семья во всем обязана своим несчастьем отцу и мне.

И Чокан рассказал историю Кожыка, сына Макаша.

— Не сомневаюсь, он беглый... И постарается мне отомстить. Даже сегодняшняя ночь может быть небезопасной.

— Да... Задал ты мне задачу в первый же день нашей встречи,— вздохнул Потанин.— Ну, ничего... Выставлю на ночь охрану из нашего эскадрона.

А про себя подумал, что дисциплина у солдат неважная, разбаловались они и вздремнуть им на посту ничего не стоит. Поставлю их для спокойствия Чокана, но сам не засну. Будем беседовать, ведь мы и в самом деле соскучились...

Ни Чокан, ни Григорий ничего не сказали обо всем этом Александре Викторовне, Саше. Зачем волновать ее зря...

Ужин не совсем удался, хотя молодая хозяйка и постаралась. Чокан наотрез отказался выпить, да и ел плохо. Глядя на него, сдерживал аппетит и Григорий. Саша попробовала их уговаривать, но из этого ничего не вышло. Не хотят, ну и не надо. Может быть, я сама сплоховала. А вслух сказала:

— Что же, давайте располагаться на отдых!..

Хозяева избы, в котором жила Лаврская, были людьми одинокими. Кроме комнаты с отдельным входом у Саши, на случай гостей в хозяйской половине пустовала еще одна комната с широкой деревянной кроватью. Там и устроились Чокан с Григорием.

Потанин, как и обещал, вызвал двух казаков.

— Но знаешь, Канаш, я думаю, все обойдется. Никакой сын Кожыка сюда не придет, если это действительно он. Не примечал я за ним решительности. Тихоня. Сила у него есть, а смелости никакой.

Чокан вспомнил, что из всех сыновей Кожыка только один был смирным и даже боязливым. Но и о нем Чокану говорил сам Кожык уже после суда в Омске при неожиданной их встрече:

— Вы, ханские потомки, ненавидите род Макаша. Ни о чем не буду вас просить. Только Ескару прошу оставить. Вы уже свершили черное дело. Наступит наш день — отомстим, не наступит — на то воля аллаха. Но помни — и на месте пожара пучок травы остается. Пусть среди моих внучат нет мальчика. Но говорю тебе — мой сын Ескара ни в одном моем набеге не участвовал, до сих пор он был таким кротким, что и травинку изо рта овцы не мог вырвать...

Чокан вспомнил Наркыз, пожалел Кожыка и согласился ему помочь, прощая прошлые и нынешние угрозы. Но потом случилось так, что своего обещания он не выполнил.

...По рассказу Потанина уж очень походил на Ескару этот Кадыгул. Если он научился так хитрить и притворяться, значит, и злобу он накопил. Говоря же — дайте срок, и волчонок укусит по-волчьи.

Нет, не успокоился Чокан, хотя они на широкой хозяйской кровати и говорили совсем о другом.

Собственно, это было продолжение разговора с Александрой Викторовной, когда Потанин ездил в отару. Чокан удивился ее жизненному опыту, зоркости наблюдений. Катя Гутковская, ее ровесница, была, пожалуй, образованней и начитанней. Но что она знала об окружающей жизни? А Саша меньше года в Кяхте и успела уже так много увидеть, так много узнать, так изучить бурятский и монгольский быт.

Она рассказывала Чокану о сходстве монголов с бурятами, об общности многих их обычаев и фольклора и о приметной разнице в языке. Рассказывала, как в их религии переплетаются шаманство и ламаизм, тибетско-монгольское ответвление буддизма. Рассказывала о шаманах, изгоняющих из больных злых духов. И тогда Чокан привел ей в пример казахских бак-

сы, по сути своей и даже обличью тех же шаманов. Александра Викторовна припомнила, как однажды помогла роженице и помогла удачно. С тех пор окрестные буряты стали называть ее русской, которая умеет шаманить, и наперебой приглашали, словно профессиональную акушерку, принимать роды. Александра Викторовна пожаловалась, что далеко не всегда ей удается помочь матерям, хотя бы потому, что их очень много, а она почти всегда занята. Пожаловалась и на то, что в большинстве аймаков никаких фельдшеров нет, а образованных врачей и подавно. Вот бы ей самой получить медицинское образование. Может быть, тогда она проникла бы и в тайны тибетской медицины. Монастырские лекарства бывают и в самом деле чудодейственными. Но никто, кроме посвященных, не знает, какие травы и в какой пропорции идут на их приготовление,— ламы строго следят за тем, чтобы никому не были разглашены эти секреты. А посвященных становится все меньше и меньше. Еще она рассказывала Чокану, что монголы не всегда погребают тела умерших,— иногда их выносят на войлоке в степь и кладут прямо на землю головой в ту сторону, куда укажет лама, и труп становится добычей хищников и полудиких собак. Страшным показался Чокану и другой монгольский обычай: когда религиозный старик в шестьдесят-семьдесят лет считает, что он закончил жизненный путь, он уединяется с согласия родственников в степи или в горах с небольшим запасом пищи и, понятно, его вскоре растерзывает зверье... От мрачных этих рассказов она перешла к более легкомысленным и, как это ни удивительно, связанным с ламами — служителями культа и одновременно монахами. Каждая семья выделяет в монастыри одного из сыновей. Поэтому лам среди монголов великое множество. Молодые люди с удовольствием становятся ламами. И, объясняя почему, Александра Викторовна стыдливо опустила глаза. Дело в том, что молодые, скрепляя свой брачный союз, идут в храм-доцан, и невеста остается там на ночь не с женихом своим, а ламой, которому религия запрещает жениться, но не запрещает проводить время с чужими невестами. Александра Викторовна развеселила Чокана, а он стал смущать ее намеренно наивными расспросами, и она даже обиделась немного.

Так на шутливых тонах оборвался серьезный разговор и Чокан продолжил его уже с Потаниным в эту тревожную ночь.

— Сибирские народы,— увлеченно утверждал Григорий,— талантливые, умные, восприимчивые. Если монгол или бурят получает образование, он может звездой просиять в ночи. И пример тому — наш Доржи Банзаров. В истории Востока, в

наше время он —феномен. Может быть, даже гений. У него самые высокие и светлые мечты. Он стремится поднять родной народ, упорно ищет пути для него.

— Но ведь не нашел. И, вероятно, не найдет,— невесело откликнулся Чокан.

— Что верно, то верно. Многие мыслящие люди ломали головы над будущим и не добивались ничего.

— Однако ж, искания продолжаются. И прекращать их нельзя. Сама жизнь — искания и надежды.

— Твоя правда, Чокан. Я тебе немного расскажу о Банзарове. Его здешняя жизнь у меня как на ладони. Единственный в своем роде бурят. Но вначале несколько слов, не имеющих прямого отношения к Банзарову. Вероятно, одним из самых умных дипломатов среди русских колонизаторов прошлого века был граф Савва Владиславич Рагузинский. Соглашение между Россией и Китаем, определившее границы двух государств, было подписано им в 1727 году и именовалось буринским.

— Верблюжьим, значит?— спросил Чокан.

— Нет, это слово производное не от буры-верблюда, а от названия реки Буреи. На ее берегу расположился лагерь русского посла. Словцо-то скорее всего тюркского происхождения. Тюркские корни здесь часто встречаются. Есть, например, река Аргунь. А один из казахских родов называется Аргын. Связь тут очевидна. Ведь гунны шли с востока через нынешние казахские степи. Но я отвлекся от графа Рагузинского. Так вот, заключив договор, он подал мысль о создании хошунов — военных отрядов из местного населения.

— Хошун — по-монгольски, косун — по-казахски. И одинаковое значение, и звучание одинаковое,— заметил Чокан.

— Не спорю с тобой. Так вот, хошуны стали зерном будущих казачьих отрядов. Преимущественно бурятских.

— Значит, теперь у бурятского войска и чины как у русских казаков?

— Именно так. Есть и десятники, пятидесятники, и сотники. Есть даже, представь, наказной атаман. Теперь наказной атаман — сын известного бурятского тайчи —Дымбала Галсанова. Он вместе с моим отцом окончил Омское казачье училище и хорошо знает русский язык... Но о Дымбале потом. Я тебе о Доржи сейчас расскажу...

Он родился в 1822 году на берегу Селенги в семье пятидесятника Банзара Боргонова. Доржи был самым способным из пяти сыновей Банзара. Учился он сперва у ламы — монгольскому языку, а потом отец отдал его в Троицко-Савскую вой-

сковую русско-монгольскую школу. Через четыре года Доржи ее закончил с похвальной грамотой. Тогда его решили послать в числе четырех бурятских мальчиков в Казанскую гимназию на казенное содержание. Поехали они в сопровождении премудрого ламы Галсана Никитуева, поступили, но уже на следующий год один мальчуган сбежал, а двое не вынесли резкой смены климата и, тяжко заболев, умерли.

— Жаль!— невольно вырвалось у Чокана, ему всегда хотелось лучшей участи для своих собратьев.

— Конечно, жаль. И тем удивительнее,— продолжал Потанин,— что Доржи за шесть лет исключительно успешно закончил курс гимназии и в том же, 1842 году поступил на филологическое отделение философского факультета Казанского университета. Ректором университета тогда был ставший известным всему миру великий русский математик и прогрессивный мыслитель Николай Иванович Лобачевский.

— Говорят, он не только выдающийся ученый, но и очень гуманный человек.

— Да, Чокан, это так...

— Продолжай, Григорий, продолжай...

— Доржи за четыре года закончил университет. Овладел европейскими языками — французским, немецким, латинским. Выучил санскрит — язык древней и средневековой Индии, фарси и татарский. Лично Лобачевский после защиты диссертации о «Черной вере» утвердил его в ученой степени кандидата наук по разряду монголо-турецкой словесности.

Чокан не мог слушать равнодушно Потанина, то и дело перебивал его вопросами и восторженными восклицаниями.

— Ты не хуже меня знаешь, Чокан, что в Казанском университете находились такие наши востоковеды, как Аристов, Ковалевский, Котельников. Они восхищались Банзаровым, когда он был еще студентом. Специалистов по китайскому и маньчжурскому языкам было очень мало и Доржи, изучивший иероглифы, был не только слушателем, но и помощником преподавателей.

А после получения степени кандидата покровители Банзарова направили его в Петербург, в Академию наук. Но тут молодой ученый сразу столкнулся с препятствиями. Оказывается, необходимо было правительственное решение, чтобы остаться в Петербурге.

— Как инородцу?— спросил Чокан.

— Представь себе, не как инородцу, а как русскому казаку. Казаку, не прошедшему двадцатипятилетней службы в войске, служить в другом месте воспрещается. Я это на своей

шкуре испытал. Больше года Банзаров терпеливо ждал в столице решения. Написал после «Черной веры» еще несколько научных работ, приводил в порядок книги и рукописи на восточных языках, хранившиеся в библиотеке и архивах Академии, собранные отцом Иакинфом Бичуриным, Шмидтом и другими учеными. Скромного бурята уже называли львом ориенталистики-востоковедения.

— И в конце концов?

— И в конце концов,— грустно продолжил Потанин,— сенат решил не оставлять Банзарова в Петербурге и сам царь согласился с этим.

— Вот, бестолочь,— не сдержался Чокан, очевидно, относя к разряду бестолочи и царя.— И что же они решили дальше с Банзаровым?

— Дали ему чин коллежского секретаря и назначили чиновником особых поручений при главном управлении Восточной Сибири, родного Забайкалья.

— Хитро придумали...

— То-то, мой друг. Действительно хитро придумали. Быть чиновником особых поручений в родном краю,— значит, наблюдать за своими соотечественниками, следить, чтобы они, боже сохрани, не выступали за свою свободу, чтобы вольномыслие не распространялось среди коренных народов — бурят, тунгусов и других. Словом, такой чиновник — шпион у себя на родине. Представляешь, на какие изощренные муки его обрекли. Человек он тонко чувствующий, высокообразованный... Невольно закрадывается сомнение,— а не сознательно ли пошли на это те, кто так бесцеремонно вмешивался в судьбу ученого бурята. Но и это еще не все.

— Да ты, Григорий, договаривай до конца.

— Прежде, чем послать в Иркутск, его направили поближе в Казань на такую же должность.

— А для чего?

— Думаю, для предварительного обучения. В Казани и вокруг нее живут татары, тоже инородцы, которые издавна подумывают о своей независимости, и у них есть свои секреты. Так вот, понятно — привыкай вызнавать секреты, чтобы приехать в Забайкалье уже опытным в особых делах.

— И то правда,— сказал Чокан,— горькая правда.

Беседу прервал неожиданный собачий лай. Вовсю заливалась Дуська — забавное черненькое коротконогое существо с кисточками на ушах и обрубленным хвостом. Александра Викторовна выпросила ее еще щенком у каких-то соседей. Дуська поумнела, стала необыкновенно чуткой, но почти не

подросла и по-прежнему производила забавное впечатление выпученными, как у куклы, глазами и всеми своими повадками. Однако смешная Дуська была и верным сторожем. Из рук незнакомых людей пищу не принимала, различала своих и чужих, недоброе угадывала издалека. Саше она была преданна необыкновенно. Стоило Чокану сделать вид, что он укладывается в комнате Александры Викторовны, как Дуська начала свирепо рычать, и Чокан тут же прекратил шутку. Под общий смех Потанин сказал, что и с ним Дуська поступает совершенно невежливо.

Но сейчас она залаяла так неистово, что тут уж было не до шуток. Потанин невольно потянулся к сабле, висящей над кроватью, а Чокан вытащил из-под подушки свой пистолет. В их комнату вошла встревоженная Саша, накинув пальто на плечи. В комнате было темно, как и на улице. Молодой месяц уже поднимался над горизонтом, и друзья давно погасили пятилинейную лампу. Дуська продолжала лаять.

— Зря она не будет. Значит, кто-то чужой,— сказала Саша.— А вы-то чего взбудоражились. Может, просто кто-то мимо прошел?

— Нет, это, наверняка, он,— обратился Потанин не к Саше, которая ничего не знала об Ескаре, а к Чокану.

— Он? А кто это «он»?— спросила Александра Викторовна, взволнованная тем, что от нее что-то скрывают.

— Позже скажу, Саша, сейчас не беспокойся.

— Говоришь «не беспокойся», а сам же напугал.

— Что, так и будем сидеть сложа руки?— вмешался Чокан.— Давай выйдем и посмотрим.

— Что мы там будем смотреть?— Еще больше заволновалась Саша.

Прихватив оружие, вышли на улицу. Сторожевые казаки, как и предполагал Потанин, сладко похрапывали. Сразу за домом начинался глубокий овраг, заросший кустарником. Дуська с лаем бросилась в заросли. Через несколько мгновений, похоже, она настигла кого-то. Лай то совсем стихал, то поднимался с новой силой. Казалось, кто-то обороняется от собаки, но боится выдать себя. Ринуться вслед за Дуськой в глубокую и мрачную темноту оврага ни Чокан, ни Потанин не рискнули. Наконец лай собаки стих. Вскоре из оврага выбежала Дуська и, миролюбиво взвизгивая, покрутилась возле своей хозяйки.

Вернулись в дом. Саша высказала предположение, что из тайги в поселок забрался дикий кабан. Мужчины ей поддакнули, чтобы она больше не задавала никаких вопросов.

Друзья легли снова в своей комнате, а Саша — в своей.

Прежняя беседа уже не возобновилась. Чокан тихо спросил:

— Неужели и вправду он?

— Бог его знает. Давеча я тебе не сказал, но в окне будто бы видел человека. Но теперь можно спать спокойно.

Потанин не ошибся. Ескара действительно дважды подходил к окну. И в первый раз, когда еще горела керосиновая лампа.

Но расскажем обо всем подробнее.

Ескара и в Кяхте предавался горьким мыслям о своей злосчастной судьбе. Он знал — нет теперь у него ни братьев, ни отца. Есть родные тропы кочевий, но нет родного аула. Осталась сестра Наркыз. Хоть бы ее увидеть, к ней вернуться. Она уже была просватана за Кульгару, сына Медебая, но ведь свадьбы не было. Тогда Медебай хотел породниться с Кожыком, захочет ли он сейчас. Мужчин нет, остались одни вдовы да сироты... А тут еще эта встреча Наркыз с Чоканом вблизи Атбасара В степи поговаривали, что она увлеклась им. Как на это посмотрит Кульгара и сам Медебай. Бедная Наркыз! Черная кость потянулась к белой кости. Забыла, что джигит из ханского рода для нее недосягаем, как солнце в небе. Насмешку падкого до женщин султана не могла разглядеть. Они умеют кружить головы, эти торе. А теперь Наркыз — дочь преступника. И Чингиз, отец Чокана, помог осудить отца и братьев. Мог бы помочь Чокан, но не помог. Значит, не захотел, значит, согласился и с своим отцом, и с «майырами»...

Уже в Кяхте Ескара познакомился с одним татарином, тоже беглым и тоже из кокчетавской степи. Они быстро сблизились, как сближаются женщины, родившие детей в один и тот же месяц. Они ничего не таили друг от друга, потому что одинаково пострадали, испытали одни и те же муки, сосланных в сибирскую даль. Только у татарина было одно преимущество,— он знал русский язык, а с русским языком и дорога домой короче. Так они сговорились идти вместе, стали понемногу готовиться, и Ескара обрел надежду встретить в родной степи родную сестренку, облегчить ее участь.

В это самое время от Потанина ему стало известно, что в Кяхте появился Чокан. Что лучше, думал Ескара про себя, отомстить ханскому отпрыску за все свои обиды, пролить его кровь или тихо сбежать к Наркыз. Нет, лучше уж не повидать сестру, но отомстить.

Он дождался ночи, решив прежде всего убедиться, что сын главного обидчика действительно здесь. На постоялом дворе

узнал — из офицеров тут никто не останавливался. К казарме и подходить боялся. Вспомнил, в каком доме чаще всего бывает этот бородатый урядник. Пробрался туда и сразу приметил свет в одном окне. Крадучись, подошел вплотную и увидел обоих сидящих — Потанина и сына Чингиза. Пожалел, что сразу не прихватил с собой оружия — и топор, и монгольский лук он прятал на той стороне оврага вблизи землянки, где жил кокчетавский татарин. По-звериному быстро метнулся туда. За луком. Хоть и топором он владел хорошо, но лук — лучше! У бурятов он перенял умение посылать стрелы в цель. Даже пристрастился к луку. И теперь, схватив из тайника это старинное оружие кочевников, да еще засунув за пояс топор, побежал обратно. Ветви хлестали по лицу, но он и не чувствовал их.

Свет в окне уже не горел, но ставни были распахнуты, и в темноте он скорее угадал, чем увидел — сын Чингиза лежит ближе бородатого казака.

В это самое время и залаяла проклятая собака. Бежать? Нет, второго такого случая не будет. Он привстал на одно колено, вытащил березовую стрелу, ощупал ее металлический наконечник и начал целиться. Сильным рывком так оттянул тетиву, что лук согнулся и скрипнул.

— Теперь пора!— но на какой-то краткий миг его опередили. Раньше, чем он выпустил стрелу, его схватили чьи-то ловкие руки, и стрела вместо окна ушла в небо.

Еще мгновение, и Ескара уже лежал на спине, а кокчетавский татарин, склонившись над ним, яростно шептал:

— Бежать, только бежать — схватят!..

И, схватив за ворот, поволок его, обессиленного и обезволенного, в овраг.

А тут уже выходили из дома люди и, зло взвизгивая, мчалась вслед собака.

Татарин потом объяснил Ескаре, что направлялся к землянке и вдруг издалека увидел Ескару, выходящего с оружием. Сразу заподозрил неладное, поспешил за ним и — благодарение аллаху — отвел беду.

Что из того, что они спаслись? Ескару терзала досада — его обида так и осталась неотомщенной.

...А нам пора снова вернуться к Чокану.

Потанин заснул сразу, убежденный, что ничего не случилось, и теперь не случится Но Чокану не спалось. Он не сомневался,— что это был Ескара. Перебирал в памяти все, связанное с Ескарой и его отцом, восстановил во всех деталях

разговор с Муканом, сыном Жолтабара, разговор дружеский и откровенный.

— Пойми, Чокан, твой ханский род виноват в несчастьях Кожыка,— и прошлых, и недавних. Кожык стал вором, потому что твоя орда его обидела. Еще Кенесары, родич твой, обозлился на Макаша, отца Кожыка, за то, что тот поддерживает Есенея. В одну ночь от их больших табунов осталась в руке одна уздечка. Вот они и стали барымтачами и ворами. Макаш начал, Кожык продолжил. И как продолжил!.. А теперь поговорим о сыновьях Кожыка. Кто-кто, а отец лучше всех знает, как ценить сыновей. Люди считали всех его сыновей, кроме Ескары, способными идти лихими дорогами отца. Но сам Кожык — хочешь верь, хочешь не верь,— всем сыновьям предпочитал тихого и замкнутого Ескару. Он,— говорил Кожык,— самый сообразительный. Легкомысленных повадок у него нет, а мужество скрыто от чужих глаз. Он станет опорой нашего рода, а если произойдет с нами несчастье — сумеет отомстить. Сегодня он кроткий, а завтра — самый отважный.

Вот тогда и подумал Чокан, что не следует ему вмешиваться в темную эту историю. Не следует хотя бы потому, что он, Чокан, сын своего отца.

Но судьбе было угодно, чтобы пути Чокана и Ескары перекрестились вдали от родных мест. А вдруг он поступит по завету отца? И Чокану стало немного страшновато. Он так и не смог уснуть, вслушивался в шорохи, приподымался, подходил к окну, слегка завидуя ровному похрапыванию Потанина. Так он дождался рассвета и восхода солнца. Снова вставал и снова ложился, пока неосторожным движением не разбудил Григория.

— Смотри-ка, уже утро, знатно я выспался,— потянулся Потанин.— Ну, а ты как спал?

— Да, немного поспал,— отвечал Чокан, скрыв от друга свою бессонницу, чтобы избежать лишних расспросов. Чокан больше всего стыдился своего страха.

— Может быть, поспишь еще немного, а я с тобой за компанию. Какой-то ты серый сейчас, вид у тебя усталый. Не хочешь? Ну, будем подыматься.

...Тревога весь день не покидала Чокана.

Не прошла она и после того, как Потанин еще раз съездил в отару и застал там только мальчика-бурята, сказавшего, что Кадыгул больше не возвращался. Потанин не придал значения отсутствию чабана, а Чокан истолковал это по-своему.

Рассеянно наблюдал Чокан и за игрой казаков в чехарду, когда Потанин повез его показать свою сотню. Служивые

развлекались после строевых занятий. Прыгали, словно малые ребята, а победители крутили самокрутки из крепкого табака, презентованного за выигрыш.

И обед прошел не так, как хотелось бы Григорию и Саше. Чокан не разговаривал, мало и вяло ел отлично приготовленную свежую баранину.

Только известие о возвращении Банзарова в Кяхту привело Чокана в хорошее настроение. Улетучились тревожные мысли о Ескаре.

Верхом они поехали на свидание с Доржи.

## Связанные одной судьбой

Банзаров не случайно отсутствовал в Кяхте. Уже наслышанный о приезде Валиханова в Иркутск, он готовился повидаться с ним там. Еще во время встречи с Чоканом-подростком в Омске, он проникся верой в его ум, в его человеческие качества и следил, насколько это было доступно в Восточной Сибири, за его судьбой. Он считал, что Чокану нельзя ограничиваться образованием, полученным в кадетском корпусе, а надо продолжать ученье дальше. Он ему так и сказал тогда, а ведь получилось иначе. Как жалел Доржи, что Валиханов оставлен адъютантом генерал-губернатора. Да, но ведь и он, Банзаров, после университета и успешных занятий наукой выполняет теперь грустные обязанности чиновника. Так что и в этом их судьбы неожиданно оказались схожими. Тем более, ему хотелось поговорить с Чоканом, с удивительным Чоканом, как он его называл про себя.

Доржи уже совсем было собрался в Иркутск, как вдруг стало известно, что Чокан выезжает в Кяхту. Но именно в Кяхте ему не хотелось устраивать встречу. Не то это было место. Даже для Банзарова играло роль то обстоятельство, что Чокан был представителем ханского рода, потомком Чингиза. И прибыл он издалека — за многие тысячи верст. Но, главное, он был мыслящим представителем своего народа, и — значит!— гостем не только Доржи Банзарова, но и всего бурятского народа. Он достоин всенародных почестей, он должен увидеть настоящие бурятские аилы, лучшие пастбища, заповедные уголки природы, познакомиться с обычаями и культурой, побывать, наконец, на празднестве, устроенном в его честь.

Он выбрал для этой встречи живописный уголок на берегу Гусиного озера между Кяхтой и Верхнеудинском. Что поделаешь, пришлось обратиться за помощью к богатому буряту

Юмсуну Шодоеву, представителю знатного рода, еще в начале прошлого века связавшего себя с Россией. Прапрадед Юмсуна в 1711 году получил звание тайши, соответствующее званию старшего султана в казахских степях, и возглавил всех бурят, населявших подветренную сторону Байкала. Звание тайши передалось Юмсуну по наследству, как получил он в наследство и многочисленные стада. Любители преувеличивать утверждали, что в нагорьях он пасет сорок, а в низинах — десять тысяч голов скота. Но даже будь бы у него и в десять раз меньше, все равно он оставался богатым, если прибавить к этому бойкую торговлю рыбой и звериными шкурами. Юмсун в свое время закончил русско-монгольскую школу, а своему сыну дал возможность учиться в Петербургском университете.

Юмсун дружески относился к Банзарову, встретил его хорошо и не отказал ему в просьбе, но отнесся к ней на первых порах довольно сдержанно. Дело в том, что он хотел заручиться согласием Муравьева-Амурского, благоволившего к нему. Без советов генерала тайши обходился редко, а кроме того этот праздник был удобным поводом пригласить самого Муравьева. Правда, Шодоеву до сих пор никак не удавалось заполучить в гости генерала, избегавшего, в противоположность своему предшественнику Пестелю, пышных приемов у местной бурятской знати. Но, быть может, теперь Муравьев приедет хотя бы затем, чтобы Валиханов рассказал в Омске, как уважают генерал-губернатора подвластные ему инородцы. Тогда все сложится наилучшим образом и Юмсун пройдет в дамки, скушав две шашки.

Муравьев-Амурский, к удовольствию Шодоева, сразу же ответил на приглашение, пообещал,— правда, не очень твердо,— приехать и одновременно поддержал просьбу Банзарова принять Чокана с почетом.

Словом, Юмсун без промедления стал готовиться к большому празднику по всем правилам бурятского гостеприимства. Тщательно обдумал он, и какие подарки следует преподнести гостям. Для графа он выбрал шубу из собольих мехов с воротником из выдры. Валиханову нашел подарок чуть поменее — серебряное седло, отделанное золотыми украшениями.

Всего этого Банзаров не знал и возвратился в Кяхту слегка раздосадованным, но от своих намерений не отступил. Он уже было собрался навестить квартиру Лаврской, где по его сведениям остановился Чокан, как вдруг увидел всадников, приближающихся к дому.

С Омской встречи прошло не так уж много лет, но как они

оба изменились! Поэтому и молчание после кратких взаимных приветствий длилось чуточку дольше, чем следовало. Они всматривались друг в друга. И если Доржи понравился вид возмужавшего Чокана с его начинающими пушиться усами, с острым и ясным взглядом, то сам Доржи производил грустное впечатление. Он сник, посерел, надломился. Лоб избороздили морщины, поредели волосы, черные когда-то глаза и выцвели и помутнели, на белках появились голубоватые прожилки. Он похудел и утратил свою прежнюю плотность. Много, видно, пришлось ему пережить!

Доржи с первых же минут стал называть Чокана на ты, как близкого человека, а Чокан обращался к Доржи, как почтительно обращаются к старшим — на вы.

— Что ж, Чокан, поедем! Ты готов?

Начальную букву его имени он произнес густо, с присвистом.

— Куда, дорогой Доржи, хотите вы меня везти?

— Как куда? К моим бурятам, к народу.

И Банзаров подробно рассказал о задуманной им поездке на берег Гусиного озера. Чокану пришлась по душе затея Доржи, но вслух он вежливо ответил, что все это, конечно, заманчиво, однако он всего-навсего адъютант, маленький военный чиновник и удобно ли ему оказывать прием не по чину.

— Какой может быть разговор, Чокан!— воскликнул Банзаров.— Ты не только гость из Западного губернаторства, ты потомок Чингиза, которого чтит наша бурятская знать. Ты по крови и монгол и казах, а с казахами буряты издавна связаны. Ты еще увидишь, сколько общего у наших народов. И если не тебя угощать, так кого же?

Словом, договорились они быстро. Чокан, выполнив свои служебные нетрудные дела, охотно покидал Кяхту. Григорий, чтобы отлучиться от эскадрона, должен был спросить разрешения у своего начальства. Поэтому он обещал подъехать вместе с Сашей на несколько дней позднее к старому городку у впадения Нижней Ангары в Байкал.

Тронулись на ямщицкой телеге, но дорога, как предупредил Банзаров, не везде была проезжей, и для последнего отрезка пути к Гусиному озеру взяли также оседланных коней.

Скрылся из виду пограничный поселок, впереди синела тайга.

Пейзаж вначале как бы не трогал друзей.

— Значит, ты твердо решил стать ориенталистом,— начал Банзаров,— а если так, то тебе и Сибирь надо изучить. Ты читал труды Палласа, Фишера, Миллера?

— То, что можно было достать в Омске,— полностью. Особенно Паллас меня заинтересовал. Он исследовал и жизнь казахов.

— Ну, и как ты смотришь на его исследования?

— Знаете, Доржи, некоторые его наблюдения мне кажутся поверхностными, а выводы опрометчивыми...

Банзаров пошлепал губами от удовольствия:

— Говоришь, некоторые... Я тебе скажу — многие! Хочешь, поведаю тебе один секрет?

— Я буду гордиться, если вы мне доверите свои секреты, Доржи?

— Тебе, конечно, известно, что в русской общественной мысли намечается сейчас два течения,— славянофильское и западное. Так вот я, несмотря на то, что принадлежу к малой нации, что я житель колониальной окраины империи,— настоящий славянофил. Отдаю должное русскому народу... В Петербургской Академии наук, особенно среди наших востоковедов, много немцев. Мне пришлось с ними спорить, спорить с доказательствами в руках. Касательно народов Сибири, например. И Фишеру, и Шмидту это не понравилось. Практически они меня не пустили в свою среду.

— Очень даже понятно,— тоскливо отозвался Чокан,— храм науки они считают личной собственностью. Священной собственностью, к тому ж. В Омске или Иркутске еще можно нашего брата в чиновниках держать при своих конторах. На короткой цепочке, чтобы далеко не заходили.

— Ты ведь сюда приехал по официальному поручению. И чтобы...

— Чтобы с вами, Доржи, встретиться, чтобы познакомиться с судьбой народов Восточной Сибири,— подхватил Чокан слова Банзарова.

...Кони подымались в гору, простодушный ямщик-бурят напевал что-то очень долгое и тихое, даже не пытаясь понять, о чем с таким увлечением беседуют его седоки.

А они говорили об историках, о Завалишине и Щапове, которым тоже приходится нелегко, о том, что плоды честного труда каждого ученого рано или поздно увидят свет и принесут пользу.

— Вы, Доржи Банзарович, продолжаете писать?

— С горестью сознаюсь, материалов собрано много, но почти не пишу. Хочу подражать финну Кастрену. Отличный языковед и этнограф, академик. Человек уже не молодой, но неутомимо путешествует по тем землям, где есть народности и племена финского происхождения. А это чуть ли не все по-

бережье Ледовитого океана. И, заметь, пешочком ходит, пешочком. Русский север исходил. Приобье отлично знает. Вот кто примера достоин! С тех пор, как я вернулся к своим бурятам и монголам, стараюсь тоже странствовать... Любить надо свой народ, тогда и жизнь его узнаешь... Я вот и тебе советую больше побродить по своей степи. Только, пожалуйста, без офицерского мундира.

— Спасибо за совет, Доржи.

Болезненный, преждевременно стареющий Банзаров в полете мыслей, в своих замыслах, в отзывчивости своей сохранил молодую энергию. А его знание истории и жизни родного народа представлялось Чокану неисчерпаемым родником.

— Мы с тобой дети кочевников,— продолжал между тем Доржи под меланхоличный перестук колес.— У наших народов не было письменности, китайцы и европейцы в этом смысле оказались счастливее нас.

— А загадочные надписи на енисейских скалах?— робко перебил Банзарова Чокан.

— Ты это к месту вспомнил. Они и меня волнуют. Но их же еще не расшифровали.

— Простите, что перебил...

— Да что там! Не лекцию же я читаю.

— Для меня ваш рассказ дороже лекции.

Доржи взял у ямщика кнут и продирижировал им, как дирижирует порой указкой лектор на кафедре.

Чокан рассмеялся.

— Так вот, древнюю историю народов монгольского происхождения мы познаем, изучая устные сказания.

— И мы так же.

— Кое-что записали на бумагу китайцы, кое-что наши ученые ламы.

— А у нас, вы знаете это лучше меня, Доржи, немного записали ходжи, пропагаторы ислама. Вместе с исламом — от правды не уйдешь — появился и арабский алфавит.

— О религии, Чокан, мы еще поговорим... Известно ли тебе, буряты считают, что они произошли от черно-синего быка, а монголы от голубого волка борто-чино и прекрасной лани гоа-марал?

— А у нас,— опять не удержался Чокан,— один из кипчакских подродов называется Тор-айгыр — гнедой жеребец... Не правда ли, Доржи, на белом свете многие народы верят, что они произошли от животных. Я уж не говорю о Ромуле и Реме, вскормленных волчицей... Тотемизм — распространенная форма древней религии.

— Не спорю с тобой. Ты — к счастью — не академик Шмидт. Слушай дальше. У тех, кто повел свое начало от черно-синего быка, выделился род булаганов. Должно быть, это и есть буряты. А знаешь, кого у нас называют булаганом?

— Нет, конечно, а вот что такое булты по-казахски, скажу: это соболь.

— И булаган тоже соболь. Нет сомнения, что эти слова одного корня. Видно, мы с тобой, Чокан, задолго до Чингисхана породнились. Считать по нынешнему летоисчислению, так еще до рождества Христова Западное Прибайкалье принадлежало государству гуннов. А через несколько веков этими же землями завладело большое уйгурское государство. Гунны, уйгуры — это тюрко-язычные народы. Немудрено, что в монгольских языках множество тюркских слов.

— А у бурят было свое государство?

— Пробовали создавать единые ханства, но они быстро распадались.

— Отчасти также было и у нас.

— Знаешь ли ты, Чокан, что даже Чингиз не смог полностью подчинить всех якутов?

— У казахов, как вы знаете, сложилось иначе.

— Русские начали продвижение в Сибирь в середине XVI века, а в бурятские края пришли лет через семьдесят-восемьдесят. Вошли с севера. Наши буряты никакого сопротивления не оказывали, присоединились добровольно. И вот что характерно — русские солдаты переиначили слово «бурят» на «брат».

— Значительная часть казахов тоже встала добровольно под руку России. Только на юго-востоке мои соплеменники еще подчинены Кокандскому ханству. Ну, а дальше как складывалась судьба бурят?

— Дальше начались притеснения — и экономические, и духовные. Ты, Чокан, слышал слово «Ясак»?

— Еще бы не слыхать! По-казахски, правда, произносится «жасак». У нас это слово обозначает также военное соединение. Вошло оно в обиход со времен Чингис-хана. Можно предположить, что первоначально так именовались военные потери. Словом, это не что иное, как контрибуция — побежденные платят победителям.

— Народы Восточной Сибири не по лингвистическим толкованиям, а на своей шкуре распознали смысл ясака.

— Да и Западной тоже.

— Мне привелось читать указ Петра Великого. Там сказано яснее ясного: «объясачить местное население». А прак-

тически это выглядело так: от каждого дыма, то есть дома, семьи — соболь.

— Но не все же у вас охотники?

— Все не все, но добывали. Куда деваться? Благо, тайга рядом, а в тайге соболей... Вот и получалось, я об этом из документов знаю, что в XVIII веке едва ли не треть доходов царской казны составляли сибирские соболи.

— Могу добавить, когда Ермак победил Кучум-хана, то был пленен и увезен в Москву сын его Маметкул. Есим выкупил брата за тысячу соболей — подарил их жене Ивана Грозного.

— С той поры и продолжаются эти взятки-подарки. Тысяча соболей для чиновников многовато, иной и десятком не погнушается. Страдает от поборов больше всех черная кость, ламы и нойоны лучше умеют выкручиваться. Взять тот же ясак. Собирали его преимущественно люди из белой кости, а платили люди из черной кости — кыштымы.

— Да и у нас в степи дело обстоит, примерно, так,— поддержал Чокан Банзарова.

— Однако никто из сборщиков ясака не мог превзойти в жадности царских служак средней руки. Был в Забайкалье такой атаман Пахомов, сущий разбойник. Называли его у нас Бабага-ханом. Истощилось народное терпение, возмутились буряты, решили убить атамана. Пахомов успел сбежать и в руки повстанцев попался только его прихвостень из местных — Шадриков. Не пощадили его, нет... Повсеместно разгорались волнения. Екатерине Второй пришлось сюда направить и для расследования, и для того, чтобы потушить возможный пожар, секунд-майора Щербакова. Потом и генерал-губернатора, и гражданского губернатора, и даже тайшу Дымбы Галсанова отстранили от должностей. Их бы и осудили, если бы не заступничество царского министра князя Голицына. После этих событий со сбором ясака стало несколько легче. В уплату налога стали принимать и скот, и деньги. Но по-прежнему туго приходятся тем, у кого не было ни того, ни другого. Многие закрепощали себя, шли в казенные рудники или в работники к нойонам, уплатившим за них ясак.

— У нас таких картин в полном масштабе наблюдать, пожалуй, нельзя, однако многое схоже. Свои Бабага-ханы, во всяком случае, имеются. Князь Светлов, например, ничем не лучше Пахомова. Недаром народ прозвал его Аспетеу — Безрассудным.

...Столько же общего в судьбе бурятов и казахов обнару-

жили наши собеседники и в способах духовного угнетения народов.

С душевной болью рассказывал Банзаров, как православные миссионеры, направляемые колониальными расчетами самодержавия, умело воспользовались борьбой буддийского ламаизма и древней черной веры — шаманства.

— Ты знаешь, Чокан, и в твоей ордынской аристократии находятся охотники за чинами и у нас они есть тоже. Некоторые из них добровольно приняли крещение. Нойоны Чиминдорджиевы крестились еще в 1693 году и стали Степановыми. Ох, и натерпелись от новоявленных православных, в особенности — от братьев Андрюши и Митюши — мои буряты. Крещеные перебежчики есть не только среди белой кости, но и среди черной. Был такой Онохов, к примеру. Крестился, стал сборщиком ясака и таким зловредным, что даже тайша Дамба Дугар Иринчеев розгами избил его и заставил возвратиться к многорукому Будде. Да и сам тайша за несколько лет до этого крестился, но ламы так застращали, что он горько раскаялся. Одни пугают небесными карами, другие угрожают оружием, третьи — просто секут. Казалось бы, религия — деликатное дело, но выходит иначе. Я даже с нашим архиепископом Нилом из-за этого рассорился. Человек, можно сказать, гуманный, сын ученого, а защищает насилие. Словом, говорю, приобщайте словом! А он отвечает: «Что делать, если люди по темноте своей словесным уговорам не поддаются».

— Таких нилов, Доржи Банзарович, можно встретить и на Иртыше, и на Яике, и на Волге. А вы сами верите в бога?

— Нет, Чокан, я атеист.

— И я тоже.

— Значит, дорогой мой потомок Чингиз-хана, мы с тобой мыслим одинаково. Только человеческое общество не скоро освободится от религии, от насильственного ее распространения. В нем, кстати, проявляется и духовное угнетение.

— Умно, великолепно сказано!— воскликнул Чокан.— Этих ясных вещей не понимают царские власти. Они стремятся сблизиться с колониальными народами, привлекая на помощь религию. А правильно ли это? Ислам чаще мешает сближению, чем помогает ему. Возьмите к примеру крымских татар, не раз изменявших России. Зачем же тогда русским государственным деятелям покровительствовать исламу? Зачем через казанских проповедников мусульманство распространяется в степи?

...В дороге порой необходимо и помолчать, чтобы подумать о своем. Но приумолкнув на некоторое время, и Чокан, и Дор-

жи как бы продолжали про себя взволновавший их разговор. И мысли их, словно огонь, вспыхнувший на степном ветру, клонились в одном направлении. Они оба чувствовали себя немножечко Дон-Кихотами, ибо цель их жизни казалась прекрасной и благородной, но было трудно, даже невозможно достигнуть этой цели, физически ощутить будущее. Руки, протянутые к нему, хватали воздух.

Банзарову не терпелось познакомить Чокана с жизнью бурят. И для этого берега Гусиного озера были едва ли не самым подходящим местом. Сюда, к холмистым берегам, коегде заросшим лесом и кустарником, к зеленой воде съезжались и бедняки-кыштымы, и богачи-нойоны, и ламы, и шаманы, и пестрый пришлый люд. Если выполнит Юмсун свое обещание, то Чокан услышит песни, увидит игры, погрузится в мир незнакомого ему доселе народа.

Юмсун и впрямь постарался как мог. Он готовил народный праздник, как принято у бурят, как принято в казахской степи. Говорят, у каждого казаха есть сорок сородичей. Так и буряты, самый многочисленной народ Восточной Сибири, живут тесно связанными между собой родами. Весть о празднике пошла из улуса в улус, из аила в аил.

Сколько юрт, больших и малых, раскинулось на берегу! Чокан зорким взглядом сразу приметил Орду, как назвал он про себя белую и крупную, словно очищенное от скорлупы гусиное яйцо среди куриных яиц, юрту тайши. Рядом с ней белели юрты поменьше — гостевые или сыновние. Серые юрты кыштымов были поставлены на отлете. Словом, все было так, как в его родной степи, где рядом с богатыми байскими юртами из белой кошмы серели неприглядные юрты караши — бедняков черного аула.

Дозорный встретил Доржи и Чокана за версту от аила и привел к белокошменной юрте, что стояла рядом с главной. Юрта очень походила на казахскую, но отличалась прямизной подпорок и более плоской крышей, поддерживаемой столбами. И внутри многое было как дома. Многое, но не все! Чокан с интересом смотрел на скульптурные изображения буддийских божков, развешанные на стенах, на шелковые ковры, расшитые картинками, очевидно, из буддийской мифологии, на абажуры с яркими цветными кисточками.

Хозяин юрты встретил их приветливо и немногословно. Как тут же узнал Чокан, это был младший брат Юмсуна, Дамден, он же и его помощник по управлению улусом.

— Брату нездоровится, но он надеется завтра увидеть дорогих гостей!

Угощение было обильным. Если так угощает младший брат, что же ждет нас у старшего,— не без опаски подумал Чокан. Сперва внесли бульон, сваренный из жирного мяса годовалого жеребенка. Чокан слышал, что буряты не доваривают мяса. Еще по дороге Банзаров рассказал ему и о другом блюде — сырой печени, которая подается вместе с кусочками жира и сварившейся крови.

— И как только можно есть недоваренное?— шепнул Чокан Банзарову.

— А ты не смущайся и ешь. Убедишься, что вкусно.

В это время подали голову жеребенка, точнее, лобную часть его головы. Обычай весьма походил на казахский. Но тут появился и желудок, начиненный кровью, показавшийся Чокану малопривлекательным. Однако именно этой пищей хозяин угостил его из своих рук. Асату — так называется по-казахски этот способ угощения. И отказаться от асату — значит, обидеть хозяина. Дамден широко улыбался, большую, чуть ли не с ковш, ложку он поднес ко рту Чокана. «Эх, была не была!» Чокан проглотил и кровь, и кусочки сырой печени. Хорошо еще, что пищу обрызгивали чем-то похожим на уксус и, кроме того, выручал крепкий бульон-шуля, напоминавший казахскую сурпу. Что касается недоваренного мяса, то оно, в общем, пришлось по вкусу Чокану.

Поели и отяжелели, прилегли, но о сне не могло быть и речи. Чокан ворочался с боку на бок и охотно принял предложение Дамдена проехаться вдоль берега озера.

Свежий и влажный ветер дул в лицо. Манила зеленая кромка дальнего северного края. Здесь же берег был песчаным, а сквозь прозрачную воду под лучами закатного солнца светился крупнозернистый песок. Наступал час, когда на водопой выходили птицы.

Все всадники, сопровождавшие Чокана, были охотниками. Буряты, правда, теперь не охотились с ястребами и орлами, хотя в прошлом ловчие птицы были и у них в чести. Но зато каждый — прекрасный стрелок. Из ружья и, в особенности, из лука.

Странное дело — гуси нисколько не боялись охотников. Гоготали, подымали головы, словно с любопытством поглядывая на всадников, и продолжали заниматься своим делом. Стадо не поднялось и тогда, когда первая стрела вонзилась в беспечную гусыню, неловко взмахнувшую крыльями и упавшую навзничь. Только встревоженный гогот разнесся по озеру. Тем временем охотники выпускали одну стрелу за другой, безошибочно попадая в цель. Не отказался от соблазна и Чо-

кан. Ему подали лук, он с уважением ощупывал старое степное оружие и несколько раз натянул тетиву.

Вскоре лучники с удовольствием приторачивали к седлам убитых птиц. Попали или не попали в гусей стрелы Чокана, но и он в этот вечер выглядел удачливым охотником.

Они проехали вдоль озера и даже выкупались в прозрачной и теплой воде залива. Рыбы в заливе было видимо-невидимо, словно ее нарочно выпустили сюда, как в пруд.

— Вы ведь не ловите этой рыбы, а почему?— спросил Чокан.

— Хватает рыб получше в других озерах. О байкальском, например, омуле слышал?

Довольные и усталые возвратились в аил.

Валиханова и Банзарова проводили в гостевую юрту. Приятно было растянуться на пушистой, отлично выделанной медвежьей шкуре. Шкуру разостлали поверх толстой, пружинящей, как матрац, кошмы. А вместо одеял приготовили чапаны из верблюжьей шерсти.

Когда потушили лампу, прикрепленную на столбе, Чокан увидел над головой — полог купола был приоткрыт — кусочек темного неба со слабо мерцающими звездами. Усиливался ветер с Яблоневых гор. Отчетливо слышались ровные и глуховатые всплески волн. До озера было рукой подать. Ночное дыхание озера напоминало ему Кусмурун, детство. И, как в детстве, его быстро убаюкал ритмичный шум прибоя.

Чокан и проснулся от знакомых с дальних аульных лет звуков — ржанья, высвистов, перестука копыт. Банзарова рядом уже не было. Чокан вышел из юрты. Наступал час привязи жеребят и дойки кобылиц. Вольная эта суматоха, выкрики молодых всадников, сердитое ржанье двух неожиданно подравшихся жеребцов возвращали Чокана в отчий аул, в Орду. Там, бывало, он сам вскакивал на коня, носился вместе с другими мальчишками и падал. И снова мчался верхом, не чувствуя ушибов, не принимая потом жалости бабушки или матери.

Как захотелось ему и сейчас помочь молодому коневоду-буряту справиться со строптивой кобылицей, поскакать на неоседланном коне навстречу подымающемуся солнцу. Но, увы! Положение знатного гостя и офицерский мундир не позволяли Чокану быть самим собой.

Неожиданно он увидел подъезжающего к нему Банзарова. Доржи сделал то, о чем только что размечтался Чокан. Сел на подвернувшуюся лошадь и вместе с пастухами стал наводить порядок в табуне. С виду неловкий и тихий Банзаров, ка-

бинетный ученый и чиновник особых поручений, оказался отличным наездником и обыкновенным аильным бурятом по своим привычкам.

— Доброе утро, Чокан! Хорошо ли отдохнул?

— Доброе утро! Отдохнул прекрасно. Скажите, сколько же табунов доится у Шодоева?

— Думаю, три-четыре табуна,— отвечал Банзаров,— посмотри, какие длинные привязи. На каждую можно привязать до сотни жеребят.

— Значит, способ жебей?

— Жебей?— переспросил Банзаров.— А что это такое? Не слыхал такого слова.

— Если перевести — учащенный шаг кобылицы. Практически же доят сперва с одной стороны. Пока пройдут привязь от начала и до конца, наступает срок новой дойки. Тогда кобыл доят уже с другой стороны привязи.

— Правильно, так доят и у нас. Есть и название этого способа. Выпало оно у меня из памяти... Кажется, нас приглашает к завтраку тайша.

И действительно, Дамден повел их в юрту старшего брата — Юмсуна.

Двенадцатикрылая юрта Шодоева так поразила Чокана богатым и необычным убранством, что он не сразу обратил внимание и на хозяев этого просторного — хоть на коне въезжай — дома из белых кошм. Словно светились яркие краски — и на дереве, и на шелке занавесок, и на дорогих коврах. Не веревки, а ленты пестрыми кисточками свисали сверху и по бокам...

Чокан не успел разглядеть сразу изображения буддийских святынь — надо было знакомиться с Юмсуном.

Тайша выглядел значительно моложе, чем предполагал Чокан и сколько ему было на самом деле. А ведь Юмсун Шодоев, как это вскоре выяснилось, учился в казачьем училище вместе с отцом Чокана — Чингизом. Но полнота Юмсуна скрывала морщины, а редкие усы и бородка без единого седого волоса могли бы принадлежать мужчине и лет тридцати. Одет он был в национальный бурятский костюм с позументами, но носил русские ордена и медали.

В юрте он был не один. Второго, бритоголового, облаченного в ярко-желтый халат не халат, плащ не плащ, переброшенный через левое плечо, обнял Банзаров. Он оказался хамбо-ламой Гусиноозерского храма-доцана Галсаном Никитуевым, тем самым добрым человеком, который отвез мальчика Доржи в Казанскую гимназию.

Словом, и хозяева и гости были так или иначе связаны между собой узами давних отношений.

Юмсун обратил внимание, с каким любопытством рассматривал Чокан религиозные реликвии.

— Дорогой мой гость, должно быть, мало знаком с буддизмом и мы попросим нашего ламу кое-что рассказать.

Галсан Никитуев прежде всего показал небольшую, отлитую из чистого золота скульптуру Сакья Муни, главного буддийского божества. Сакья Муни сидел на корточках и смотрел на восток. Серебряные фигурки изображали других богов.

Слова Никитуева почти не доходили до ушей Чокана — он восхищался тонкостью и красотой художественной работы талантливых мастеров. Религиозное назначение скульптур его не волновало. Он и золотого Сакья Муни воспринимал прежде всего как произведение искусства.

Даже завтрак, не такой обильный, как ужин у Дамдена, но лучше приготовленный и более разнообразный, для Чокана прошел как бы незамеченным.

Что касается самого Юмсуна, то он, несмотря на свое подчеркнутое равнодушие и уменье тактично вести беседу, проигрывал рядом с Никитуевым и, кроме того, показался не в меру самодовольным и хитроватым. Не очень внятно, избегая прямо называть причины, он сказал о задержке праздника на четыре-пять дней. Однако не так уж трудно было догадаться, что Юмсун с честолюбивым нетерпением ждет приезда генерал-губернатора.

Отсрочка праздника не принесла, однако, никакого огорчения Чокану. Скорее, наоборот. Он многое успеет повидать в эти дни.

Продолжая знакомство с буддийскими религиозными ценностями, начатое в юрте тайши, он с Банзаровым побывал в ближайшем храме-доцане и снова упоенно любовался народным искусством. В торжественной тишине храма орнаментальные узоры вдыхали жизнь в ковры и занавеси, будто пальцы безвестных художников через десятилетия и века передавали ему, Чокану, трепетное свое тепло.

Коллекция Юмсуна, которой он так гордился, тускнела рядом с сокровищами доцана.

Еще более поучительным для Чокана оказалось знакомство с обыденной жизнью бурят. В каких только юртах он не побывал — и богатых, и средненьких, и просто бедных. И убедился в том, что если бурят хорошо живет,— так нет этому «хорошему» предела. А если уж плохо, то плохо до крайно-

сти, до нищеты! И как много общего было в этих байкальских контрастах с контрастами в казахской степи. Куда меньше сходства наблюдал Чокан в области религии. И буддизм и шаманство пустили среди бурят глубокие разветвленные корни, не в пример мусульманству у казахов. Ну, а христианство ни в Забайкалье, ни в степи не находило пристанища и скиталось, можно сказать, бездомным.

А вот в народном творчестве, фольклоре — и музыкальном, и сказочном, и эпическом — буряты не уступали казахам. Чокан успел получить представление и о любовных лирических поэмах, и о песнях, и о героическом эпосе. Уже становился легендой и песней отважный вожак народного восстания в XVIII веке, храбрый батор Амурсана. Многие его черты, детали его детства иногда совпадали со штрихами биографии Махамбета, о котором Чокан, тогда еще аульный мальчик, слышал поэтический рассказ акына Жаманкула. Поразил Чокана своим монументальным размахом, своей великолепной образностью эпос «Гэсэр». Долгими днями передают, главу за главой, сказители эту необыкновенную бурят-монгольскую «Илиаду», вершинное произведение народного поэтического мастерства. В ней значительно и прекрасно все, даже описание лошадей. Уж на что искусны казахские акыны, изображающие Тайбурыла или другого сказочного коня, но создатели «Гэсэра» здесь превзошли их.

С благодарностью слушал Чокан бурятские песни, напоминавшие ему и казахские, и татарские. Их обычно исполняли в сопровождении инструмента, сходного с волшебной дудочкой-сыбызгой, вырезанной из озерного тростника. Ее протяжные мягкие звуки вместе с песней бередили душу, заставляли дрожать от восторга.

В отличие от казахов буряты еще с давних времен создавали свои танцы, на редкость самобытные, ни с чем не сравнимые, проникнутые любовью к тайге и озерам, к лесным перелескам и степям. Танцы, увиденные Чоканом, были посвящены преимущественно охоте и в стремительных движениях передавали мужество, ловкость, зоркость, охотничий азарт.

Чокан настолько увлекся ознакомлением с бытом и культурой бурят, что его нисколько не обрадовал приезд главного гостя. К тому же, и к разочарованию Юмсуна, им оказался не Муравьев-Амурский, а всего-навсего его посланец, атаман Байкальского казачьего войска Прохор Кафтыров. Потомок Христофора Кафтырова, оставившего горькую недобрую память в Восточной Сибири своей жестокостью, атаман не уступал своему деду бесшабашной грубостью, самодурством, го-

товностью пускать в ход нагайку или саблю. От него доставалось и чиновникам, и своим казакам, а уж о бурятах и эвенках нечего и говорить.

Напомним читателю, что первые войсковые казачьи отряды из бурят и эвенков возникли в Восточной Сибири в 1727 году по замыслу недюжинного дипломата графа Саввы Рагузинского. Эти отряды верой и правдой служили России на границе с Маньчжурским Китаем. Спустя лет семьдесят из среды сотников был назначен атаманом бурятский богач Бадулаев. Когда он состарился, атаманом стал его сын Гомбо Цыренов. Незадолго перед приездом Чокана в Иркутск царские власти передали бурятское войско под начало русским офицерам. Кончилось не только бурятское атаманство, но и сотниками стали русские казаки.

— Если бы они еще плохо несли службу,— с горечью говорил Банзаров Чокану,— это куда бы ни шло. А то ведь служили честно. И вдруг им перестали доверять. Как говорится, головы срубили, а туловище оставили...

Появление Кафтырова на берегах Гусиного озера было, очевидно, одним из звеньев политики недоверия и устрашения. Мало ли что может произойти на таком празднике? И разве случайно привел атаман чуть ли не полусотню вооруженных казаков. Чокан очень удивился и другому сообщению Банзарова. Лама Галсан Никитуев, сыгравший благородную роль в годы отрочества Доржи и в какой-то мере его нынешний добрый старинный приятель, был негласным и верным осведомителем генерал-губернаторства. Могли быть шпионами и ямщики, и джигиты, сопровождавшие Чокана и Доржи. Всюду соглядатайство, с грустью подумал Чокан и вспомнил, что Доржи бывает с ним откровенным только наедине.

Наедине состоялся у друзей разговор и о национальном неравенстве в Восточной Сибири.

— Царские власти балуют наших нойонов, опираются на них, однако до конца им не доверяют. Надобно прижать — прижмут так, что кости затрещат. И вообще относятся к ним пренебрежительно. Князьками называют. А у вас как, Чокан?

— А у нас руководителей округов именуют султанами. Официально именуют. Между тем султаны только в Турции, пожалуй, и остались... Султан такого-то округа... Разве он царствует, наш султан? Разве у него есть в руках власть? Это ведь и звучит иронически... Я уж как-то предлагал в губернаторстве: давайте, говорю, будем называть их султанчиками...

— Это уж откровенная издевка!

— А султан, по-вашему, не издевка? Так и будет: у вас — князьки, у нас — султанчики.

— Но есть еще одна сторона дела: такой наш князек, как Шодоев, считает себя в своем улусе Буддой. Но перед русскими властями бегает куропаткой.

Доржи говорил серьезно, уводя Чокана от шуток к раздумьям.

— Бегает куропаткой,— повторил Чокан,— и тянется перед самым младшим российским чином. Капралу старается угодить. У нас даже поговорка есть: лучше ближний капрал, чем далекий жанарал.

— Вот Кафтыров не генерал, чин у него невеликий. Но увидишь, Чокан, как будет перед ним лебезить наш Юмсун.

Так оно и получилось. Еще вчера исполненный важности Шодоев не ходил, а выступал, не говорил, а изрекал. Но сегодня он и ростом вроде поубавился, постоянно отвешивая поклоны атаману, и выправку свою потерял, и так откровенно заискивал перед Кафтыровым, что Чокану и Доржи тошно было смотреть.

Атаман свысока поглядывал на бурят, только к Чокану он относился уважительно. Чокан понимал, что это идет от генерала Муравьева. Кафтыров не только был свидетелем приема в Иркутске, но еще получил инструкцию от генерал-губернатора о соблюдении этикета по отношению к омскому офицеру. Чокан высказал Банзарову свою догадку, но, оказалось, что Доржи и сам правильно оценил поведение атамана.

Тем временем подошло начало праздника, шумного, суетливого, веселого, как межаульные казахские тои.

По своей всегдашней привычке Чокан из уймы пестрых разнохарактерных впечатлений отобрал главные и мысленно расположил их по порядку. Он стремился прежде всего отметить своеобразные черты состязаний у бурят, найти те виды, которых нет у него на родине. В состязаниях, как в песнях и танцах, находит выход душа народа.

На первое место Чокан поставил борьбу палванов. В бурятской борьбе все откровенно, побеждает сила и выносливость. В ней отсутствуют сложные приемы, умение подножками и бросками вводить в заблуждение друг друга, как это принято у казахов. Здесь все просто, даже одежда — короткие штаны и узкий ременной пояс. И выходят не отдельными парами, а все вместе и как бы пританцовывают,— хлопая себя по бедрам и коленям, приседают, молитвенно гладя землю, и только после этого ритуала попарно вступают в схватку. Для победителей, разделяемых, как и у казахов, на три класса — выс-

ший, средний и малый, выделяется девять наград, в их числе шкуры соболя, куницы, домашний скот.

Второе место в этой своей условной классификации Чокан отдал искусству укрощения коней. Мгновенно накинуть аркан, вскочить на коня, никогда не знавшего всадника, подчинить его своей воле и силе в те минуты, когда он мчит тебя по степи... Подчинить, покорить, приручить!.. Какой ловкостью и храбростью надо для этого обладать!..

Третьим в этом ряду Чокана оказалось искусство, хорошо знакомое казахским конникам-джигитам,— на полном скаку поднять с земли серебряный рубль. Бурятские джигиты усложнили эту и без того требующую отменной ловкости игру. На земле оставляют шапку и вкладывают в нее плеть. Всадник на полном скаку должен схватить эту плеть и заменить ее своей. Больше всего Чокана удивило, что каждый из двадцати участников состязаний блестяще выполнил задачу.

И, наконец, четвертое место в наблюдениях Чокана заняла стрельба из лука. Он и до праздника любовался меткостью охотников, отстреливавших гусей на берегу озера. Он видел, и как бьют птицу в лет. Но на этот раз стрелки попадали в крохотные мишени, находясь от цели шагов за сто. Не допускали промахов и когда проносились на всем скаку примерно на этом же расстоянии от мишени. Изумительная меткость!

Праздник еще не окончился, а Чокан уже делился с Дорджи своими впечатлениями. Они спустились с холмика, где сидели на кошмах вместе с Юмсуном, Кафтыровым и их свитой. Подошли к своей юрте, а потом направились к озеру.

— Лук и стрелы,— медленно растягивал слова Банзаров,— кочевые народы знают с давних времен. Но прежде стрельба из лука была военным искусством, а теперь это только игра, традиция...

— Лук бессилен против пушек, против ружей... Знаете, Дорджи, какую пословицу придумали казахи? Даже батыру довольно одной пули как баю — одного джута.

— Метко сказано! Как стрела в цель попала!

Дорджи с Чоканом, все дальше и дальше удаляясь от гостевой юрты, от праздничного шума, шли вдоль спокойного залива и рассуждали об общности судеб своих народов, о том, как близко соприкоснулись их непростые личные судьбы.

## Где же главный узел?

Оглядываясь назад, восстанавливая деталь за деталью три коротких праздничных дня, Чокан пришел к выводу, что в обычное время увидеть столько интересного ему не удалось

бы и за месяц. Ничто не ускользало от зорких его глаз. А если он становился в тупик, не понимая смысла того или иного обычая, тут на помощь приходил Банзаров со своими подробными и точными объяснениями. Это было продолжением сибирских уроков, которых Чокану не заменили бы лекции в любом, самом уважаемом учебном заведении.

Много было поучительного, интересного, случались, понятно, и забавные истории.

Еще перед окончанием праздника Юмсун Шодоев с важным видом предупредил Банзарова, что приготовил подарок для Чокана. Соболью шубу, предназначенную для генерала, он решил преподнести Кафтырову, а Чокана задумал теперь одарить породистым конем под позолоченным седлом. Чокан поразмыслил и отказался от подарка, мотивируя это тем, что до Омска в седле ему не доехать. Юмсун тогда предложил ему пятьдесят соболей для шубы, но Чокан вспомнил разговоры о взятках и не принял и этого дара.

Банзаров, одобряя в душе Чокана, попросил Шодоева устроить охоту-засаду. Чокан опередил ответ Юмсуна:

— Охотиться в разгар лета, по-моему, нет смысла...

Стало понятно, что Чокан больше не хочет обременять Юмсуна какими-бы то ни было просьбами.

Чокану уже не терпелось уехать вдвоем с Банзаровым. На том и порешили. А маршрут выбрали самый заманчивый: добраться до Селенгинского острога, а там нанять парусную лодку и спуститься на ней к Байкалу.

Как задумали, так и сделали... Ветер надувал рыбацкий парус, лодка шла по течению быстро, как скаковая лошадь. Неожиданно перед ними раскрылся спокойный в этот день Байкал. Решили и по озеру плыть на лодке, не удаляясь от берегов.

— Не дай бог разразится шторм,— предупредил Чокана на всякий случай Доржи,— тогда придется причалить к любому удобном уместу, даже если жилья вокруг не будет.

Но пока на море — как и старожилы, и песни называют прекрасное это озеро,— под легким ветром искрилась мелкая рябь. Отвесные слоистые берега, по которым ученые прочитают в будущем всю геологическую историю этих мест, отражались в воде вместе с лиственницами, кедрами и березами, склоняющими к зеркальной глади свои могучие ветви.

Чокан опускал руку в воду, и ладонь становилась зеленоватой. Вода была такой прозрачной, что на сравнительно большой глубине отчетливо просматривались разноцветные донные камни. Чокан бросил в озеро медную монету. Он считанные

секунды наблюдал, как она, вибрируя, устремилась в глубину, но в какое-то мгновение потерял ее из виду — лодка шла слишком быстро.

— Ну, как тебе нравится наше море?— спросил Доржи.— Ты слышал раньше о нем?

— Слышать — слышал, читал немного. А ведь правильно говорят, что это чудо.

— Хочешь, я тебе коротко расскажу о нем.

— Даже если не коротко, я весь внимание.

— Тогда слушай! В мире нет такого большого пресного озера, как Байкал. Больше шестисот семидесяти верст в длину, девяносто пять верст в ширину... Правда, по краям оно сужается. Есть такие глубины, что голова кружится — до трех верст доходит. Наш Байкал — озеро двадцати семи островов, а самый большой из них — знаменитый Ольхон — семьсот с лишним квадратных верст. Триста рек впадает в озеро, а вытекает одна Ангара. Вокруг — высокие отроги Саянских гор.

Чокана, как всегда, удивляла память Банзарова, его умение обращаться с цифрами. Чокан обычно округлял цифры, а если стремился быть точным, то пользовался только записями.

— Я тебя, должно быть, утомил,— спохватился Доржи, уловив напряженное выражение лица Чокана,— хочешь, тогда послушай сказку... Старый Байкал из трехсот своих дочерей больше всего любил одну: избалованную, своенравную Ангару. Стала она взрослой девушкой, заскучала в родном доме, принялась мечтать о женихе. Прослышав о прекрасном и мужественном Енисее, она во что бы то ни стало решила повидаться с ним. Строг был отец, суров. Догадался об ее желании и скалами преградил ей путь к джигиту...

Доржи замолчал. Упругие прозрачные волны ласкали лодку.

— Ну, а что же случилось дальше?— нетерпеливо воскликнул Чокан. Он отнесся к сказке с детским простодушием и пытливостью исследователя.

— Я говорил, что Ангара отличалась своенравием и даже упорством. Незаметно для отца добралась она до скал, разрушила их, пробила себе путь и вырвалась на волю к Енисею. Понравилась богатырю смелая красавица и полюбил он ее.

— Ну, а как же остальные дочки?— засмеялся Чокан.— Остальные триста так и не покинули отчего крова, они и прежде покорялись воле отца, отдавали ему все свои богатства и не помышляли о лучшей доле, а теперь, давно состарясь, и не вспоминают о поступке своей смелой сестры ..

Много и других сказок рассказал Чокану Доржи за время их долгого путешествия на лодке. Но легенда об Ангаре вошла в душу Чокана не только своей поэтической прелестью, но и самою сутью. Разве не отразилась в ней мечта бурятской женщины о лучшей доле, о стремлении выйти из семейных оков?

Да, старик Байкал, ты в самом деле суров и характер у тебя не из легких. Тихий днем, ты приветствуешь и ласкаешь гостей, а к вечеру, словно вспомнив свою непокорную дочь, начинаешь волноваться, и тогда косматые гребни, как белые густые седины, появляются на волнах.

Дальше плыть в утлой лодке рассерженным озером было рискованно. Друзья причалили к берегу.

Несколько раз им приходилось ночевать там, где их заставал шторм. В пути было интересно смотреть на причудливые скалы, кустарник и отмели. Но ночлег там бывал далеко не всегда приятным. Досаждали комары. Тучами вились они над путниками, и от небезболезненных их укусов становилось не по себе. Спастись можно было только в шалаше рыболова-эвенка, но там Чокан прямо-таки задыхался от дыма, который нисколько не мешал хозяевам.

Штормы сменялись штилями, прохлада — жарой, позади остались и тучи комаров. Наконец их лодка оказалась в устье Баргузина, где Чокан смог познакомиться с жизнью и бытом эвенков, чьи селения расположились на этой части побережья Байкала.

Здесь был небольшой острог, созданный в начале прошлого, XVIII века, и в здешней казачьей сотне тоже служили эвенки, народ, когда-то не без успеха воевавший даже с Чингизханом, но потерявший свою былую силу и теперь совсем немногочисленный. Царские власти относились к ним пренебрежительно, угнетали как могли, однако, и среди них имели своих подручных.

К таким подручным мог принадлежать и близкий родственник известного эвенкийского тайши Хортицы-батыра местный богач и есаул Юнгойн. С ним-то и решил свести Чокана Банзаров. Жилище владельца трехтысячного стада оленей и казачьего офицера нельзя было сравнивать с пышной юртой Юмсуна. Сложенный из длинных жердей и облицованный берестой, он скорее напоминал пастушеский шалаш-времянку. Да и внутри не было ни ковров, ни шелковых занавесей. Только земляной пол устилали звериные шкуры. Но и здесь Чокан увидел фигурки божков, вырезанные из крепких, как металл, пород — лиственницы и пихты. Пусть это было не золото и серебро, но резчики по дереву вложили столько души и вкуса

в эти скульптурные изображения и неповторимые узоры орнамента, что от них нельзя было отвести глаз.

А хозяин был приветлив и мил, рассказывал об эвенках, потчевал мясом только что прирезанного молодого оленя. Обед начался, как и у бурят, сырой печенью с теплой кровью. Потом подали очищенного от костей, мелко нарезанного сырого омуля, похожего на желтоватое желе. Чокан ел с трудом, только чтоб не обидеть Юнгойна, а к рыбе только притронулся, хотя Банзаров, уплетавший омуля за обе щеки, утверждал, что нет пищи целебнее этой.

Чокан не отказался и переночевать здесь, на этих шкурах. Как я могу обидеть гостеприимного эвенка, думал он про себя? И щедро был вознагражден за свою выдержку.

С удовольствием посмотрел он на следующий день игры, очень похожие на бурятские. Только здесь набрасывали аркан не на коня, а на оленя.

Чем ближе знакомился Чокан с жизнью эвенков, тем больше теплоты испытывал он к ним, понимая, что не по своей вине находятся они на такой низкой ступени культуры. Понравился ему и Юнгойн. Нет, он не был, как показалось сперва Чокану, послушным подручным властей. Добрый и застенчивый, он имел открытую душу и, это было видно по всему, пользовался уважением сородичей.

Многое можно было посмотреть еще.

И Юнгойн, и Банзаров уговаривали Чокана погостить подольше, проникнуть в отдаленные уголки на востоке Байкала, заглянуть и в поселения чукчей. Но, увы, времени на все не хватало.

Он уже успел полюбить Байкал, схожий на географической карте с парящей чайкой. Баргузин находился примерно между ее крыльями. Теперь, возвращаясь в Иркутск, они решили взять курс на мыс Святой нос.

На прощанье Юнгойн еще раз проявил свою щедрость. Он подарил Чокану оленью доху, украшенную национальным орнаментом, высокие сапоги-торбаса с подвешенными к голенищам копытцами олененка и шапку-кухлянку с вшитыми в нее припушенными оленьими рожками. Примерив этот экзотический наряд, Чокан подумал про себя: ну, теперь я ни дать ни взять — омский мой приятель Бабай-Олень в молодости. Спасибо, Юнгойн! Спасибо, дорогой!

...И снова в путь. Байкальская волна сначала легко покачивала лодку, потом, с приближением к заливу, образованному ущельем, шторм усилился. Чокан и Доржи уже стали сомневаться — достигнут ли они Святого носа, затянутого туча-

ми. Но у самого мыса ветер неожиданно стих, словно ему преградили путь горы. По спокойной воде они причалили к берегу.

Обессиленных, их приютили в одиноком рыбацком шалаше. Не притронувшись к еде, выпили кисловатый и чуть хмелящий напиток, приготовленный, кажется, из дикого проса, и, даже не просушив одежды, легли прямо на толстые подстилки из морских водорослей.

Чокан спал крепко. Сказались и усталость от качки, и добрая порция домашней бражки.

— Вставай, Чокан, вставай! Уже полдень.— Чокан не без удивления увидел склонившегося над ним Доржи.

Он вышел из шалаша, все еще не понимая как следует, что произошло вчера. Зажмурился от слепящего солнца. Умиротворенный Байкал светился прозрачно-зеленоватой, словно застывшей гладью.

В эти минуты Чокан с болью подумал о контрасте между щедрой на тепло и краски природой и жалкой бедностью многих обездоленных народов, заброшенных на берега прекрасного озера.

И вскоре, благодарно улыбаясь немолодой хлопотливой рыбачке, он ел, преодолев свою обычную брезгливость, не обращая внимания на неопрятность жилища, на щербатую ложку, рыбу, приправленную луком, который, должно быть, рос неподалеку отсюда в Баргузинской долине.

А Банзаров, не упуская случая посвятить Чокана в историю и географию Прибайкалья, рассказал ему забавную историйку о том, как один ревностный православный миссионер укрепил икону святого Серафима на вершине горы, причем сделал это тайно, ночью, а потом лгал, что видел во сне божьего праведника, и божий праведник, дескать, сам водворил свое изображение над Байкалом. Простодушные эвенки с той поры и стали называть мыс Святым носом.

Чокан недолго колебался, когда Доржи предложил ему на той же лодке по пути в Иркутское зимовье на Ангаре добраться до острова Ольхон.

— Видишь сам, погода установилась отличная.

Но Чокан уже привык к нраву Байкала. И в этот день озеро на самом деле было спокойнее обычного, а слабый попутный ветерок ускорял ход лодки.

...Никак не ожидал Чокан встретить на Ольхоне большой, особенно по сравнению с Баргузином и Святым носом, посе-

лок с крепкими сосновыми срубами. Буряты, русские жили здесь дружно, перенимая друг у друга обычаи, делясь рыбачьим и охотничьим опытом. Берестяных шалашей и юрт здесь не встречалось.

От Ольхона было совсем недалеко до Иркутского зимовья, а там и до города — рукой подать.

Здесь, на зимовке, произошла самая неожиданная встреча. Неожиданная только для Чокана, потому что Доржи очень рассчитывал на нее.

Только причалила лодка — к ним уже бежали Потанин и Лаврская.

Восклицания, улыбки, смех, даже слезинки, набежавшие на загоревшие щеки Чокана.

И хотя уже прошли сроки возвращения в город, все сошлись в одном: денька два надо провести здесь, на берегу Байкала, в уютной зимовке, окруженной тайгой.

Степняк, только два раза в жизни плававший по Иртышу, Чокан так привык к лодке, к шуму воды за кормой, к всплескам волн, к заповедному озерному простору, что тут же предложил друзьям прокатиться по Байкалу. К тому же в тайге нет-нет да и одолевала мошкара, а подальше от берега ее не было.

— Значит, в лодку, друзья! За мной!

И они поплыли, и тайга приветливо зеленела им вослед, и старик Байкал, словно не желая мешать их беседам, едва покачивал скользящую по его глади лодку. А ведь как он пошумел нынче ночью! Сейчас же только временами налетал легкий ветерок.

О чем только они не говорили! Спорили, как завзятые политики, об Англии и России, о том, что Англия всюду, куда только возможно, протягивает свои расторопные руки, что земли ее разбросаны чуть ли не по всему земному шару и что кулак всегда крепче ладони с разжатыми пальцами. О том, что западные страны, и прежде всего Англия, тянутся к Центральной, Средней и Восточной Азии. А эти края соседствуют с Россией, и Россия должна препятствовать проникновению англичан к своим границам. Говорили о том, что слабым странам, отсталым народам трудно жить без опоры. И все четверо сходились на том, что этой опорой может быть только Россия.

Как же складываются и как должны бы складываться отношения между Россией и подчиненными ей народами? Как бы помогли здесь дружба, понимание друг друга, теплые, родственные, можно сказать, отношения! А где они? Почему царское

правительство несправедливо относится к инородцам, унижает их? Тому пример — малые народы Сибири.

А легко ли крепостным крестьянам в самой России? Знает ли радость жизни простой трудовой люд? Есть ли мужественные борцы за их права? Бесспорно, есть и были. Вспоминали декабристов, петрашевцев, с уважением называли имена Белинского и только что заявившего о себе Чернышевского...

Но как жестоко расправилось с ними царское правительство?!

Сибирь стала краем ссылки и каторги. А жизнь у ссыльного или, тем более, каторжанина, хуже рабской, хуже крепостной.

— Сколь мстительны бывают цари!— с иронической усмешкой сквозь зубы процедил Банзаров.— Когда в Угличе был убит наследник престола маленький Дмитрий, у колокола, сзывавшего народ, вырвали язык, а сам колокол «сослали» в Сибирь! Трудно поверить, но это так. Колокол и сейчас, кажется, в Нерчинске.

— Да, это редкостный случай в истории цивилизованного государства,— добавил Чокан.— Что касается ссыльных, то как начался их поток, так до сих пор и не прекращается.

И в памяти всплыло изможденное лицо Достоевского. Как он там в Семипалатинске, мой Федор Михайлович?

— Шлют к нам в Сибирь ссыльных, посылают казаков на охрану границ, едут и добровольные поселенцы. Но по-прежнему Сибирь малолюдна,— рассуждал Потанин.— Просторы великие, богатства под стать просторам, а населения — меньше двух с половиной миллионов.

— Ну, а дальше как?— спросил Чокан.

— Надо отделить Сибирь от России и провести границу по Уральскому хребту.

— И давно это ты придумал? Зачем это нужно, собственно говоря?— Чокану явно не понравилась такая мысль.

Потанин заговорил о крепостничестве, которому конца-края не видно, о промышленной слабости России, о том, что и Французская революция 1789 года и революция в Европе 1848 года не смогли в России пустить глубокие корни.

Банзаров, поддерживая Потанина, сетовал на то, что в России не научились ценить людей передовой мысли не только в гуманитарных науках, но и в технике.

— Вспомните изобретателя Ивана Петровича Кулибина. Гениальный механик. Первым построил паровую машину. А умер в безвестности, на хлеб денег не было. Его изобретением лихо воспользовался француз Шаапт и стал знаменитым.

— Доржи, Доржи,— с горечью добавил Потанин,— а сколько умных и смелых людей подымали свой голос против рабства... Власти уничтожили их и делают все, чтобы о них забыли.

— Мыслящая Россия не забудет,— вставил Чокан.— Ты, все-таки, ответь на мой вопрос: почему Сибирь надо отделить от Российского государства?

— Потому, что Сибирская Россия будет развиваться быстрее крепостной. И не думайте, что эта мысль принадлежит только мне. Есть такой историк Афанасий Прокопьевич Щапов.

— Читал статьи Щапова. Очень интересные статьи,— живо откликнулся Чокан.

— Я даже имел случай познакомиться с ним. Он не только образованный ученый, знаток истории и этнографии Сибири, но и заступник малых народностей. Фишеру и Миллеру не чета,— Банзаров умел воздавать должное тем, кого он любил.

— Однако и такие люди, как Щапов, могут ошибаться,— возражал Потанину Чокан.— Россия едина и нам, малым народам, отлучаться от России никак нельзя.

— А путь Америки?

Но тут и Чокан и Доржи наперебой заговорили и о рабстве в республиканской Америке, и о том, как тяжко живется там индейцам. Согнанные со своих земель они находятся на грани вымирания.

Споры о Сибири, о метрополиях и колониях продолжались бы еще долго. Но тут подала голос молчавшая до сих пор Александра Викторовна:

— Ау, друзья. Я не вмешивалась в ваши разговоры, и была терпеливой слушательницей. Вы, кажется, собрались сегодня разрешить все трудные вопросы. Кто только до вас не ломал голову над ними, кто не скрещивал копий! И какие мыслители! Думают об этом и ваши сверстники, будут думать и те, кто придет после вас. Оставьте истории разрубить узлы. События развиваются быстро. А на вашу долю выпало — честно помогать народу. В полную меру сил. И не старайтесь решить то, что пока неразрешимо.

— Правильно говорит наша Шура. Поддерживаю не из вежливости, а потому, что сердцем согласен. Как ты думаешь, Чокан?

— Точно так же, Доржи. Но в одном я буду спорить с Потаниным, с Щаповым, с кем угодно. Россия будет развиваться не разделяясь, а, наоборот, объединяясь и расширяясь. Как бы

сейчас ни было плохо, но наши судьбы, судьбы наших народов только с ней. Что вы скажете, Доржи, по этому поводу?

Доржи замялся. Снова заговорил о Сибири Потанин, но его тут же перебил Чокан.

— Очень тебя прошу, Гриша, расстанься с этими идейками. Они сами по себе глубоко неверные, да и тебе могут повредить. У российских полицейских чуткие уши. А тогда, поди, доказывай.

— Теперь об этом вслух говорят, Чокан.

— До поры до времени.

Потанин помрачнел:

— Может быть, ты и прав. В царской России открыто высказывать свое мнение нельзя.

— Друзья, друзья!— снова подала голос Александра Викторовна.— Вы на небо посмотрите, на небо.

Небо заволакивали черные тучи, готовые вот-вот закрыть солнце. Тревожная тишина стояла вокруг. Ни малейшего ветерка, ни ряби на озере. Так бывает только перед бурей.

— Ау, друзья!— повторила Лаврская.— Мы слишком далеко заплыли от берега. Давайте возвращаться побыстрее. Буря может разразиться каждую минуту.

Лодка взяла курс к берегу. Это была видавшая виды, но не бог весть какая устойчивая лодка, которую мог бы легко опрокинуть разгулявшийся часом позже шторм.

Ветер исподволь набирал силу, и когда они причаливали, вдоль береговой кромки уже закипала пенная белесая полоса.

Разговор дальше не вязался, главный узел так и не нашли и, тем более, не распутали.

Наступало время расставания.

## *ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ*

# ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ

### Горести и надежды

После знакомства с Банзаровым Чокан уже другими глазами смотрел на самого себя. Возвратившись в Омск, отчитавшись в итогах поездки и, разумеется, не делясь при этом с генералом главными своими впечатлениями, он погрузился в адъютантские будни, читал рапорты со всех концов степи, исправно докладывал их содержание, сочинял бумаги в Петербург и ответы окружным султанам. Но когда кончались служебные хлопоты, им нераздельно владели мысли о своей судьбе. Он упрекал себя в самонадеянности, в том, что еще так недавно преувеличивал свои знания о Сибири, о народах Востока. Перечитав труды Доржи Банзарова, послушав его самого, Чокан представлял теперь бурятского ученого горой, а себя сопкой у ее подножия.

Каким осведомленным оказался Доржи в вопросах этнографии и восточной политики, с какой глубиной вникал он и в историю сибирских народов, в особенности — тюркского происхождения, монгольскую историю и историю бурят! Чокан считал, что знает эпоху Чингиз-хана, но знания Банзарова перед его собственными выглядели морем рядом с малым озером.

Он сам, Чокан, был потомком Чингиза, его отец носил громкое это имя и хвастал, без конца хвастал великим своим предком. С тех пор, как Чокан помнил себя, он помнил и неизменное это хвастовство. Порою и он сам начинал думать так, как думал отец, и гордость именитым происхождением волновала его юную кровь.

В кадетском корпусе после чтения русских книг чувства его поостыли. Возникал иной облик Чингиза — облик кровавого завоевателя с характером по-звериному жестоким. Правда, Гутковский на лекции по истории военного искусства назвал его однажды великим полководцем, но никаких доказательств в пользу этого определения не привел.

Однако и Доржи, бесконечно далекий от оправдания зло-

деяний Чингиза, отдавал должное его уму, проницательности и воинскому дару.

Об этом можно прочесть, утверждал Банзаров, в «Золотой тетради» — «Актан дебтер». Она знакомит и с предками Чингиз-хана, и прежде всего с ним самим, и с первыми его преемниками. «Золотая тетрадь» написана уйгурским алфавитом на монгольском языке. В Европе ее перевода еще не было.

Чокан с пронзительной грустью вспомнил отдельные детали того разговора.

Банзаров очень заинтересовал петербургских востоковедов своими рассказами об «Актан дебтер». В один голос они упрашивали его перевести уникальное произведение на русский язык. И Доржи пообещал, но не выполнил своего обещания. Чокан стал распрашивать, почему, но ответы Банзарова, не лишенные логики, все-таки были невразумительными. Банзаров ссылался на недостаток времени, на трудности самого текста, в котором проза перемежается стихами и образная речь носит отпечаток национального своеобразия. Что могло быть увлекательнее и нужнее такой работы, подумал про себя Чокан. А Банзаров продолжал жаловаться на большой объем «Актан дебтер», вздыхая по поводу того, что перевод требует и точности, и ясности, и яркости, и вдруг неожиданно для Чокана закончил упованием на бога.

— Вот если всевышний позволит...

— И когда же это может произойти?

— Думаю об этом, думаю, но все мы в его воле...

В этом разговоре, точнее в словах Банзарова, звучали и некоторая усмешливость и серьезные нотки, горькая неуверенность в себе.

Теперь, когда их разделяли тысячи верст, Чокан силился найти источники этой неуверенности.

Банзаров вошел в его сознание прежде всего большим ученым. Посвяти он себя целиком науке, востоковедению, он сделал бы немало открытий. Но власти связали его руки и обрекли на немоту язык, назначив исследователя чиновником особых поручений. Трудные житейские обстоятельства, необходимость служить, да еще расслабленная воля помешали ему решительно отказаться от ненавистной должности. Как бы ни был он гуманен, ему приходилось быть заодно с царскими властями, а не с родным народом. И как бесконечно тяжко бывало ему тогда, когда буряты подымали свой голос против слагающегося порядка. Случались и волнения, порой довольно значительные. Они подавлялись с беспощадной жестокостью, нередко с применением оружия. И всякий раз Доржи считал

и себя виновником народных бед, но продолжал выполнять обязанности чиновника.

Урывками, от случая к случаю занимаясь наукой, лишенный близких друзей, с которыми можно было бы делиться своими переживаниями, он стал заглушать горе водкой. Подолгу избегает спиртного, говорил Потанин, но если уж начинает пить, то запойно, много дней и до беспамятства.

Странствуя почти полмесяца с Банзаровым, Чокан настороженно присматривался к нему и удивлялся, что Доржи в рот не берет вина. Но в канун расставания уже на своей иркутской квартире он поставил на прекрасно сервированный в честь гостя стол китайскую водку и опрокидывал чарку за чаркой, произнося все более пылкие дружеские тосты. Он хмелел на глазах, речь его с каждой чаркой становилась бессвязней. Под конец он расплакался, рассказывая про свои горести. Говорил, что долго не проживет, обнимал и целовал Чокана, просил его доделать то, что не успел сделать он сам. Утром проснулся угрюмым, неразговорчивым. Стал опохмеляться так же жадно, как и пил накануне. Уговаривал и Чокана, но непьющему Чокану неведомы были муки похмелья. Доржи снова плакал уже у ямщицкой брички, повторяя:

— Свидимся ли еще раз?

Но эти горькие штрихи не перевешивали обаяния трезвого Доржи, и Чокан продолжал восхищаться его умом и образованностью.

Он мысленно решил догнать Банзарова в его книжной начитанности, собрал в Омске много доселе известных ему только понаслышке книг русских и иностранных путешественников по Востоку — современных, средневековых и древних. Прилежно взялся за чтение, стал делать необходимые выписки. Но не только в образованности он задумал состязаться с Банзаровым. Доржи нигде не бывал, кроме Казани и Петербурга, кроме родного Прибайкалья. Путешествовал он преимущественно по географической карте, а Чокан еще подростком мечтал о дальних странствиях. Теперь, кажется, настало время осуществить юношеские мечты. Но откуда взять средства, кто его может послать?

Вот так, в усиленных занятиях, в раздумьях о Доржи и о себе, в обычной служебной сутолоке генерал-губернаторства проводил Чокан первые месяцы 1855 года.

Во второй половине февраля военные и чиновные круги Омска были взволнованы известием о смерти Николая Первого. Повсюду вывешивались траурные флаги. Опечаленный Гасфорт ходил сам не свой. Переживали смерть императора

и многие офицеры. Многие, но далеко не все. К ним принадлежал отчасти и Чокан.

По-настоящему потрясла его другая смерть. В те же дни вместо ожидаемого от Банзарова письма он получил краткое известие от своего иркутского знакомого Гомбоева:

«Банзаров умер».

Вспомнил последнее свидание. Горькие слова: свидимся ли? Не свиделись! Еще раз перечитал строчки Гомбоева и не заметил собственных слез. Не мог прийти в себя несколько дней. Гасфорт при очередном рапорте обратил внимание, что его адъютант расстроен.

— Не можешь опомниться после смерти государя?— сочувственно спросил генерал.

— Вы угадали, Ваше превосходительство,— тихо солгал Чокан, не желая называть Гасфорту истинную причину печали.

Одновременно с петербургским сообщением о смерти Николая в Омск пришло и другое: царем стал сын Николая, ныне Александр Второй.

О новом царе думали по-разному. Гасфорт волновался главным образом потому, что не знал, как отнесется к нему Александр. Может быть, и его, Гасфорта, время приходит к концу. Меняется императорский двор, многие министры чувствуют себя непрочно.

В военных кругах, да и не только в военных, смерть Николая связывали с поражениями в Крымской кампании. Долго держался героический Севастополь перед превосходящими объединенными силами французов, англичан, турок. Многие тысячи воинов пали смертью храбрых. Среди них прославленные флотоводцы Лазарев, Корнилов, Нахимов.

Умершего царя винили в поражениях. Даже в народе поговаривали, что император, прозванный Николаем Палкиным за свою грубость, своеволие, жестокость и солдафонство, прямолинейный и глухой к чужим мнениям, словно каменный идол, руководил не умом, а кулаками.

И то, что ему на смену в разгар проигрываемой войны пришел более выдержанный, спокойный, более гибкий и прислушивающийся к другим,— разумеется, прежде всего к дворянским,— голосам Александр, вселяло некоторые надежды.

Первейшая из этих надежд — надежда на скорое окончание войны. Если не на победу, то хотя бы на выправление положения, на то, чтобы выйти из тяжкой Крымской кампании с честью.

Одним из главных источников военных неудач и пораже-

ний, как и многих других явлений, наносящих ущерб государственному достоинству, было экономическое и общественное отставание России от стран Западной Европы. Чтобы преодолеть это отставание, следовало прежде всего избавиться от крепостного права, главной беды в стране. По слухам, молодой Александр, постепенно приобщаемый к государственным делам в качестве наследника престола, с юности придерживался такого же мнения. Сейчас ему тридцать семь лет,— возраст настоящего мужчины. Как царь, он вовремя взял в свои руки бразды правления и в его власти осуществить задуманное прежде.

И главная надежда, личная надежда Чокана, связывалась с улучшением положения колониальных народов. Чокан слышал о поездке Александра, тогда наследника престола, не достигшего полных двадцати лет, по многим губерниям России. Побывал он и в Западно-Сибирском губернаторстве, центр которого находился тогда еще в Тобольске, знакомился, пусть поверхностно, и с жизнью казахов. Побывал он и на Кавказе. Значит, есть надежда, что одновременно с уничтожением крепостного права он улучшит условия общественной, культурной и хозяйственной жизни многочисленных, как тогда называли, инородцев, населяющих преимущественно окраины Российского государства.

Вскоре после известия о смерти Николая и о вступлении на престол Александра из Министерства внутренних дел пришло предупреждение о подготовке делегации дуанов-округов Западной Сибири. Бумага составлена была в неопределенных выражениях. Не указывался в ней и точный срок, и даже сама суть торжеств — то ли печальных, похоронных, то ли связанных с коронацией нового государя, отложенной им самим до окончания войны. Гасфорт сразу же развил кипучую деятельность и послал гонцов с приказом по дуанам, чтобы все старшие султаны и некоторые младшие без промедления начинали готовиться к весьма почетной и государственно важной поездке.

Гасфорт решил, что его адъютант Чокан, если и не официально, как уступающий им в офицерском чине, то, по крайней мере, негласно должен возглавить султанов, в частности, затем, чтобы умело решить деликатные религиозные вопросы, связанные с отношением мусульман к православным обрядам. Он приказал и ему готовиться к этому вполне безопасному, но достаточно далекому путешествию. Сразу возражать Чокан, конечно, не стал, но, увлеченный совсем иными планами, по-прежнему погруженный в чтение книг ориенталистов

востоковедов, он поспешно обдумывал благоразумный повод для отказа от этой поездки.

Тем временем среди султанов только и было разговоров, что о предстоящих торжествах. Вспоминали о коронации Николая Первого, о своих подарках, привезенных царю, и о том, как их отдарили.

По-прежнему было неясно,— приглашают их на траурную церемонию или на коронацию.

Наконец, министр внутренних дел сообщил, что торжество коронации откладывается на неопределенные сроки, а теперь посланцы со всех концов государства должны отдать долг покойному императору.

Возглавил депутацию Западной Сибири сам Гасфорт. В нее, кроме представителей русского населения и свиты генерала, входили: старший султан Кокчетавского дуана подполковник Чингиз Валиханов, его младший султан бий Чопек Байсарин, волостной правитель Аккошкар Кишкентаев; старший султан Баянаульского дуана сотник Муса Чорманов, младший султан хорунжий Шекербай Малгельдин; старший султан Акмолинского дуана подпоручик Ибрай Жайыкбаев и младший султан Бегалы Коныркулжин; старший султан Каркаралинского дуана Кусбек Таукин и младший султан Таттибек Казангапов, известный домбрист и композитор.

И снова Гасфорт свой выбор среди адъютантов остановил на Чокане. Быстро соображает, умен, образован, и, конечно же, экзотичен. Выбор-то Гасфорт сделал, но и сомнения его одолевали непрестанно, такой уж он был непоследовательный.

Густав Христианович рассуждал примерно так:

Чокан быстр и решителен, но не слишком ли? Он умен и образован, но надо ли ему многое брать на себя? Он острослов, и притом язвительный острослов. Но если в Омске шуточки сходили ему с рук, то в Петербурге они могут бросить тень и на Валиханова, и на самого Гасфорта.

Однажды генерал пригласил Чокана проехаться с ним за город и долго вразумлял своего адъютанта:

— Субординацию надо соблюдать, мой милый. Вести себя,— он запнулся,— как это говорится в русской пословице, тише воды, ниже травы. Не суетиться, вопросов не задавать, а самому отвечать скромно и кратко. Свои остроты забыть. С учеными, со штафирками не встречаться. Столица тебе не Омск. Уразумел, мой милый?..

Чокан почтительно поддакивал. Спорить с генералом, когда он входил в раж, было бесполезно. Возражений, как известно, Густав Христианович не терпел.

Но чем дальше распалялся Гасфорт, тем горше становилось Валиханову. Кажется, совсем недавно адъютантская должность представлялась ему приятной. Кто из офицеров не мечтал о ней. А теперь она оборачивалась другой стороной. Кто такой адъютант? Лакей? Лакей на посылках. Что захочет левая нога генерала, то он и обязан выполнять.

Нет, на этот раз он не поедет в столицу.

Совершенно неожиданно для Чокана обстоятельства стали складываться в его пользу.

Примерно в это время в Омск приехал Семипалатинский прокурор или, как тогда именовалась эта должность, стряпчий уголовных дел барон Александр Егорович Врангель. Будущий выдающийся дипломат и ученый-археолог, а сейчас совсем молодой, чуть старше Чокана, юрист, он исполнял в Омске едва ли не первое сложное поручение Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Поручение это не имело никакого отношения к его прямым обязанностям, но Врангеля в Петербурге знали как способного человека, к тому же известной фамилии, и готовили его исподволь к новому поприщу.

Поручение было и общим и очень конкретным.

Крымская война подходила к концу, но и за многие тысячи верст от этого театра военных действий Англия продолжала активную политику проникновения в Среднюю Азию через Индию. Царской России важно было этим попыткам противопоставить свою силу, отодвинуть государственные границы на Юго-Восток. Взятие Алматы, вскоре переименованной в укрепление Верное, явилось уже одним из звеньев обширного плана воссоединения казахских земель и борьбы с Кокандским ханством, а, следовательно, с англичанами.

Врангелю и надо было собрать материалы об английском проникновении, свести воедино мнения омских губернских деятелей о том, как его приостановить, помочь правительству выработать конкретные меры, предваряющие подчинение России Среднеазиатских ханств.

Врангель и в Семипалатинске пытался найти нужные ему факты, но их было очень мало.

Там же, в пыльном и пестром городке на Иртыше, Александр Егорович сблизился с Федором Михайловичем Достоевским. Он знал его раньше как писателя, восхищался им, и теперь облегчал, как только мог, его жизнь в Семипалатинске. И делал это не только из сочувствия к тяжкой участи изгнанника, а из личной потребности общаться с ним. Никогда не одобрявший жестокость Николая, проявленную и к декабри-

стам и к петрашевцам, Врангель даже стеснялся перед Достоевским своего чиновничьего мундира и советовался с ним, как советуются со старшим.

Они проводили время на квартире Александра Егоровича, куда более просторной, чем жилье Достоевского, уезжали летом на остров, как уезжают столичные жильцы из Петербурга на дачу, купались, валялись на прибрежном песке, поверяя друг другу многие сокровенные мысли.

Уже в лютые предвесенние бураны 1855 года узнали они о смерти Николая и вступлении на престол Александра Второго.

Достоевский остро переживал неудачи в Крымской войне, надеялся, как и Врангель, на нового царя, связывая с ним и судьбы России и свою судьбу.

Однажды Александр Егорович заговорил с Федором Михайловичем о русской политике на Востоке, в Средней Азии и в том числе о поручении, недавно полученном им, о предстоящей поездке в Омск.

Достоевского поразило, как хорошо ориентируется в сложных этих делах Врангель, какими широкими познаниями он обладает.

— Со мной советоваться бесполезно,— напрямик сказал Федор Михайлович,— но я назову одно имя: Чокан Валиханов. С ним говорить поучительнее, чем с Гасфортом. Вот помяните мое слово.

Достоевский рассказывал о Чокане, как о шекспировском герое, сравнивая его то с принцем датским Гамлетом, то с мавром Отелло.

— А сейчас он как беркут в западне. Простор ему нужен, простор для высокого полета!

Глаза Достоевского сияли. Куда девался его обычный тусклый взгляд, его несколько угрюмая сдержанность. С таким восхищением в это время он мог говорить только о Марии Дмитриевне Исаевой, по которой так тосковал после перевода ее мужа в Кузнецк.

Глаза Достоевского сияли еще и потому, что именно Мария Дмитриевна прислала ему письмо, в котором не сочла возможным жаловаться на бедствия свои, подчеркнув тем самым силу натуры, но одновременно нашла верные искренние слова о достоинствах Вали-хана, как чаще всего они называли его между собой.

— Люблю Чокана!— Говорил Федор Михайлович.— Необыкновенная личность! Ни у кого я не встречал такой человечности. И вот что удивительно; ведь совсем молодой офицер,

а умеет о своей степи думать в государственных масштабах. Да только ли о своей степи...

И вот тут-то Врангеля осенила мысль, что Валиханов может и есть тот самый человек, которому следует поручить исследование малодоступных и совсем недоступных для европейцев среднеазиатских территорий.

Федор Михайлович подтвердил, что Валиханов и доверия достоин и способен на подвиг. А сам вспомнил палисандровый ящик, который ему подарил Чокан. В ящичке том Достоевский хранил самые дорогие ему бумаги, хранил записи для будущих книг.

...Подготовленный этим разговором к встрече с Чоканом, Врангель не очень огорчился, узнав, что Гасфорт выехал в Аягуз и беседа с ним отдаляется на неопределенные сроки. Неделей раньше, неделей позже — какая разница! Но зато он получает возможность вдоволь наговориться с Валихановым.

Несколько огорчало другое обстоятельство. В Омске упорно говорили, что Гасфорт решил взять Валиханова с собой в Петербург. Не помешает ли это и Врангелю, и самому Чокану?

Чокан понравился Врангелю с первой же встречи. И с первой же встречи они совершенно откровенно говорили друг с другом, потому что их объединял словно невидимо присутствующий на беседах общий их друг Достоевский.

От литературных новостей, от неизбежных, в особенности со стороны Чокана, насмешливых высказываний в адрес омских и семипалатинских деятелей они довольно скоро перешли к вопросам мировой политики. Александр Егорович не раз мысленно удивлялся зрелости и неожиданности суждений Чокана, многие из которых приходились ему по душе.

— Не могу спорить с тем, что сегодняшний соперник России — Англия. Это, конечно, так.— Ораторствовал Чокан.— Но почему мы забываем об опасности, исходящей от Германии. Вы присмотритесь, что там происходит. Союзный сейм и таможенный союз уже восстановлены. Пруссия настойчиво играет роль объединителя. Я читал речи Отто Бисмарка. Он еще покажет свои коготки. Вот увидите, Германия уже на нашем веку станет одной из сильнейших держав Европы, на равных будет бороться и с Англией, и с Францией. А пока они уже забрасывают свои куруки-петли и на берег Тихого океана и в Среднюю Азию.

— И вы уверены в этом, Чокан Чингизович?

— Безусловно, уверен! Обратите внимание, кто прежде всего изучал в наше время Сибирь, Среднюю и Центральную Азию. Гумбольт, Паллас, Фишер, Миллер.

— Да, но многие из них — деятели нашей Российской Академии наук.

— Это не меняет сути. Вот и теперь Азию продолжает исследовать Риттер. Вы знакомы с его трудами?

— Немного, поверхностно.

— А я перечитал, признаюсь. Даже размечтался однажды,— вот бы перевести их с немецкого на русский язык. Полнее его и земли и воды Центральной и Средней Азии еще никто не описал.

— Так, значит, по вашему Риттер писал с немецкой точки зрения?

— Нет, Александр Егорович, этого я не говорю. В настоящих знаниях нет национальной окраски. Достижения науки едины для всего человечества. Но развивают науку, естественно, высококультурные страны. Германия близка к вершинам культуры. Устремления ее заходят очень далеко, и не только в области знаний.

— Чокан Чингизович, я целиком согласен с вами!..

— Я вам приведу один новехонький пример. Германия пробует свои силы в международной разведке. В Индии появился известный путешественник Адольф Шлагинвейт. Ученый пруссак, заметьте! Может быть, действует по прямому поручению Бисмарка. Сначала крутился вокруг Ост-Индии, потом переметнулся на запад страны и проник в Центральную Азию. Где-то в Кашгарии след его потерялся. Уж не расправился ли с ним Вали-хан? Уточнить это нелегко...

...Беседы Врангеля и Чокана затянулись на несколько дней. Гасфорта все еще не было в его генерал-губернаторской резиденции, и, предоставленные самим себе, они то выезжали верхом в недальний лесок, то плавали на лодке по Иртышу.

Говорил больше Чокан, Александр Егорович слушал. И задавал вопросы, касающиеся преимущественно Средней Азии. Уточнял отдельные детали, прояснял для себя общую картину и одновременно убеждался, что Достоевский не зря хвалил Валиханова. Да, Федор Михайлович нисколько не ошибался, не преувеличивал, думал Врангель. Интереснейший человек и патриот, настоящий патриот. Вот только иногда мешают ему мелкие с точки зрения российской государственности и очень уж настойчивые заботы о своем народе. Но это не такая уж беда.

И Врангель пришел к твердому убеждению, что нет более подходящего человека для разведывательного путешествия в Среднюю и Центральную Азию, нежели Чокан Валиханов.

Однажды Александр Егорович напрямик высказал это

свое мнение Чокану и в ответ получил неожиданно краткое согласие, потому что Чокан едва ли не в первый день беседы понял, куда клонит Врангель. Согласие с одной, столь же немногословной оговоркой:

— Если отпустит мой генерал.

### Гасфорт гарцует, празднует, фантазирует

Глубоко переживая смерть Николая Первого, Гасфорт меньше всего заботился о спасении души покойного императора. Ему, в конце концов, было безразлично — в рай ли, в ад ли она попадет. Гасфорт не имел никаких особых оснований жалеть Николая, да и умер тот сравнительно в возрасте — пятидесяти девяти лет. Умер, проиграв Крымскую кампанию и потеряв уважение в своей стране и в мире. Густав Христианович находился в состоянии печали и даже психологического расстройства совсем по другой причине: он беспокоился за свою судьбу. Покойный царь его знал, может быть, даже любил. Придется ли он ко двору его сына или теперь ему не ждать монаршей милости? Хорошо, если Александр Второй не обойдет его своим вниманием. А вдруг обойдет? Что будет тогда с ним?

Так переживал Гасфорт, старчески поплакивая по ночам и ничего не предпринимая. На счастье Густава Христиановича в Омск в эту пору приехал из Петербурга генерал-майор барон Сильвергельм, создатель военной карты Западной Сибири. Он привез Гасфорту личное письмо председателя Сибирского комитета князя Чернышева. Князь дружески предупреждал генерал-губернатора, что новый царь имеет серьезные виды на Среднюю Азию. И он, Гасфорт, должен быть хорошо осведомлен в этих вопросах и иметь свои практические соображения. Следует, писал далее князь, присмотреться к Алмате — укреплению Верному, ко всему Семиречью и подумать вместе с другими о возможностях продвижения дальше на Юг и Запад.

«Если Вы, дорогой мой Густав Христианович, сочтете необходимым последовать моему в высшей степени благожелательному совету,— заключал Чернышев коротенькое свое письмо,— надо надеяться, что это должным образом оценит государь-император».

Гасфорт захорохорился, засуетился и немедленно предпринял поездку в сторону Аягуза. Сборы, как всегда, были шумными и довольно бестолковыми. Тарантас, запряженный восьмеркой лошадей, тройки, многочисленные верховые

должны были являть впечатляющую торжественную картину. Старик Гасфорт любил и погарцевать верхом, считая себя в душе непревзойденным кавалеристом, любил и небрежно развалиться в тарантасе рядом со своей Лизхен, непременно сопровождавшей его во всех государственных вояжах.

Пестрая эта кавалькада направлялась в Аягуз и, как было задумано, дальше в Копал и Верный через Семипалатинск. Гасфорт решил, что к городу надо приблизиться не чинно и медленно, а на полной скорости. Разгоряченных лошадей так гнали, что их с риском для собственной жизни едва остановили услужливые чиновники у самого берега Иртыша. Иначе бы тарантас с генерал-губернатором и его супругой опрокинулся в реку.

Но,— тут надо отдать должное самообладанию Густава Христиановича,— он как ни в чем не бывало вышел из экипажа и надменно кивнул встречающим.

В Семипалатинске все было, как подобает. Даже в колокола звонили.

В Аягузе встреча вышла куда более скромной, а по результатам своим и подавно нестоящей. Лазутчики донесли, что со стороны Кокандского ханства замышляются нападения и на Копал, и на Верный. Не желая подвергать опасности ни себя, ни супругу, Гасфорт воспользовался известием о разливе озера Алакуль и приказал возвращаться.

В сущности, Гасфорт праздновал труса, но решил отметить успех своей экспедиции и послал в Омск гонцов, чтобы готовили торжества в честь счастливого завершения вояжа.

Путь обратно избрали полегче, но он неожиданно оказался труднее. Уж больно плохи были дороги вдоль восточных склонов Чингизских гор, через перевал Чаган, Абралы, Каркаралы и Баян-аул. Губернаторский тарантас изрядно растрясли,— он мог вот-вот развалиться. Губернаторшу устроили в другую повозку, а сам Густав Христианович храбро сел в седло. Но храбрости этой хватило ненадолго. После первого верхового перехода генерал понял, что лихого кавалериста из него больше не выйдет. Ему устроили мягкое сиденье на верблюде, но и тут ему пришлось нелегко.

Бедняга так устал, что вновь послал гонца с приказом отложить им же назначенные празднества.

Въехал Гасфорт в свою столицу без шума и тут же слег на несколько дней под наблюдение госпитального врача.

Как только он появился вновь в своем кабинете, секунд-адъютант Алмазов доложил ему о Врангеле. Мол, приехал

чиновник такой-то, дело у него секретное, рассказать может только вам.

Гасфорт и бровью не повел. Чиновник, видимо, был не очень значительным лицом, и генерал не торопился его принять. Генералу Омск представлялся двором без ворот. Одни въезжают, другие уезжают. Одни требуют, другие просят. Поток движется бесконечно. Он привык к приезжим и тяготился ими. Даже к относительно деловым встречам относился без особого восторга и находил любой повод, чтобы оттянуть аудиенцию. Да и что может быть такого срочного. В России, в общем, ничего не горит, а если и вспыхивают какие-то искры, то царские власти быстро их гасят. Так и шагает себе Россия и будет долго еще шагать. Чего же ему, Гасфорту, нарушать свой заведенный порядок, чего же ему спокойно не заниматься подготовкой очередного праздника, с помощью которого он прославит себя и утвердит, как ему казалось, свое положение.

— Потом, потом,— ответил он адъютанту,— скажи, что обязательно приму, а пока пригласи на праздник.

Праздники, пусть не вполне уместные, целиком поглощали Густава Христиановича, к тому же на этот раз отвлекали его и от насущных забот, и от волнений по поводу перемен на престоле.

Он вникал и в то, как должны быть одеты русские казаки и селяне, и какие угощения им надлежит приготовить,— пельмени, обязательные сибирские пельмени, блины, сдобные пироги... Что касается киргиз-кайсаков, то им вменялось в обязанность поставить белые юрты, привезти красивых девушек и джигитов, устроить байгу, состязания борцов-балуанов, пригнать дойных кобылиц и овец, чтобы еды было вволю. Генерал, конечно, велел обеспечить и охрану праздника, заранее определить места на берегу Иртыша, где будут расставлены солдаты.

Суетились чиновники и офицеры, мчались гонцы в Омск и из Омска. Не остался в стороне и Чокан, отвечавший за подготовку казахской части программы праздника. Со всех дуанов, охватывающих Омск полукругом,— Кокчетавского, Баянаульского, Акмолинского, Каркаралинского — прибывали удостоившиеся приглашения. Разрешили бы приехать всем, кто пожелает, так Омского побережья не хватило бы. Но списки были составлены заранее,— в них вошли полностью и те, кто намечался для поездки в Петербург, и те богатые опытные хитрецы, без которых не обходился ни один той.

Прибыл на праздник и Чингиз. Его привез Жайнак, кото-

рый после Атбасарской ярмарки поселился в Орде и стал кучером султана. Больше двух лет не виделся с ним Чокан. И если в отце он не обнаружил особых перемен, то Жайнака и узнать сразу нельзя было,— пополнел, стал ухоженным, а щегольские усики делали его привлекательным и даже красивым.

Чокан в письме домой просил, чтобы приехала и мать. Родители сразу распознали хитрость сына. Если приедет мать,— значит, приедет и Айжан, снова прислуживавшая ей. Но Чингиз по-прежнему опасался сближения сына со служанкой. Благо, нашелся и повод,— Зейнеп располнела, у нее пошаливало сердце, и поездка в Омск казалась ей слишком утомительной. Она только взяла у мужа обещание, что он обязательно возвратится в Орду с Канашем.

Спрашивать об Айжан у отца не имело никакого смысла,— он все равно не сказал бы сыну правды.

А друг детства Жайнак, не глядя в глаза Чокану, как-то странно говорил о том, что сестра и видеть не хочет молодого султана, что она к нему охладела и не может простить того, что он проехал мимо нее, возвращаясь из Атбасара.

Жайнак заученно произносил эти слова, и Чокан не знал — верить ему или не верить, как не знал и того, что говорить именно так приказал строго-настрого своему кучеру Чингиз.

У нас еще будет возможность подробнее рассказать о встрече отца и сына, а пока нас ожидает праздник, затеянный Гасфортом.

Все шло, как говорится, по предначертаниям генерала. Опытные аульные хитрецы в суете и выдумке не отставали от русских чиновников. Чокан был твердо убежден, что и национальные игры, и убранство юрт, и угощения будут такими, как хотелось Гасфорту.

Чокан был убежден и в другом, главном для себя — Врангель сумеет ему выхлопотать поездку в Среднюю Азию. Чтобы поездка эта стала еще реальнее, Чокан решил, что следует некоторым уважаемым казахам, которые скоро отправляются в Петербург, внушить свои мысли и соображения. Может ведь и так случиться, что они повторят их министру, а то и самому царю.

Но как ему душевно поговорить с этими султанами, если между ними и им уже давно возникло отчуждение, если они начинают подымать носы, втайне считая себя не хуже ханских потомков и уж, конечно, побогаче их. Запросто подойти к ним мешала Чокану и его степная аристократическая гордость,

нет-нет, да и дававшая знать себя в его отношениях с аульными баями.

Единственным человеком, близким Чокану, был его дядя Муса, сын Чормана. Но когда он высказал ему свои мысли, Муса пожал плечами:

— Не унижай, Чокан, своей большой головы. Это они здесь, в Омске, лебезят перед властями и кудахчут. А в Петербурге никто из них и рта не раскроет. Что ты будешь стараться зря?

— А вы, дядя Муса?

— А что я... Голос одинокого гуся в стае не слышен. Зачем я буду выделяться?

Чокан подумал, подумал и пришел к выводу, что дядя прав. Какое дело до его устремлений всем этим султанам и биям. Они и так безмерно рады, что их выделил Гасфорт. Им кажется, что умершие отцы и деды благословляют их на этот почетный путь. Они упоены предстоящим празднеством, и самодовольство переполняет их, словно вспененная илистая вода.

Итак, праздник начался. Настал срок, когда Гасфорт со своей многочисленной свитой выехал к берегу Иртыша на удивленье всем собравшимся.

Впереди восьмерка лошадей мчала заново отремонтированный губернаторский тарантас, в котором восседал Густав Христианович со своей супругой. За ними следовала свита в повозках, запряженных тремя и двумя конскими парами. По обе стороны, вздымая придорожную пыль, скакали верховые.

И вновь раздался колокольный звон.

И не азан — приглашение к молитве — выкрикивали муэдзины в мечетях, а громкогласные глашатаи, проинструктированные главным муллой, ринулись в толпу и славили жанарала.

Случившийся рядом с Гасфортом смельчак-священник, подавляя насмешку, негромко сказал:

— Только царю воздаются такие почести.

Густав Христианович бросил на него уничтожающий взгляд:

— А я кто? Неужели не царь Прииртышья?

Праздник шел своим чередом. В первый день звучали русские песни, иртышские казаки состязались в джигитовке. На второй день преобладала казахская речь, казахские игры. Гасфорт чувствовал себя, словно гусь на озере. Он радушно одаривал приветственными словами и своих омичей, и приезжих. Врангелю, находившемуся в свите и представленному ге-

нерал-губернатору, тоже выпало счастье услышать его поздравление с прибытием в сибирскую столицу.

Врангель, как и многие другие, не был в восторге от праздника. Он понимал, что Густав Христианович явно хватил через край, оторвав от дел стольких людей. Это и превышение власти, которой наделен наместник, это и отдаление от народа, а не сближение с ним. Вслух этих мыслей Врангель, конечно, не высказывал, и, смешавшись с губернаторским окружением, делал вид, что одобряет происходящее, одновременно подумывая, как лучше всего поставить об этом в известность молодого царя.

После праздника состоялась и аудиенция.

Гасфорт еще до беседы удивил Врангеля несуразными своими речениями и решениями. В ходе самой беседы Гасфорт, сам того не ведая, сумел подтвердить, что это впечатление не случайно.

Разглагольствуя о необходимости просвещать кочевников и изменять формы и методы их хозяйствования, генерал-губернатор ступил на свою любимую стезю — к прожектам развития коневодства.

Он рассказывал о баях, владеющих огромными табунами коней, табунами в десять, и даже в пятнадцать — двадцать тысяч.

— Только вот беда; низкорослые это кони, легкие в весе. Пусть они выносливы и терпеливы, пусть они пасутся и зимой, если нет гололедицы. Но какая от них польза государству? Конину, кроме самих кочевников, никто не ест, это мясо не для базаров. А кумыс?.. Говорят, чахоточным его полезно пить. Говорят, вообще здоровью поправление. Но мне, например, кумыс не по вкусу. Пусть другие кобылье молоко пьют.

— И что же вы предлагаете?..— осторожно остановил Врангель словоохотливого генерала.

— Я предлагаю, я предлагаю,— Гасфорт искоса взглянул на молодого чиновника тем взглядом, который считал орлиным,— сократить ненужные стране табуны и начать выращивание скаковых лошадей. У меня есть кавказский опыт и у батюшки моего чистокровных аргамаков в конюшнях держали.

— Значит, и в степях вы предлагаете построить конюшни?

— Именно в степях,— конюшни, конезаводы. Всех лошадей перевести на стойловое содержание...

...Тут Густава Христиановича остановить было уже нельзя. Он не раз излагал суть своей реформы, излагал ее и Чокану. Для него не существовало никаких препятствий; ему и лес в

тайге рубить и доставлять его,— хоть конным, хоть верблюжьим транспортом на любые расстояния в далекую степь представлялось вполне осуществимым делом. Он готов был даже проложить на случай осенней слякоти дороги и вымостить их досками.

Все это было совершенно беспочвенной фантазией. Врангель про себя отметил только одну здравую мысль, высказанную генералом,— о переселении безземельных крестьян из Европейской России в Сибирь. Но эта мысль была слишком разумной, чтобы принадлежать Густаву Христиановичу.

Врангель пожелал успеха Гасфорту в осуществлении его интересных идей. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и все-таки генерал разглядел насмешку:

— Вы думаете, построить конезаводы и вымостить дороги невозможно?

— Что вы, что вы!.. Если только вы сами возьметесь за это, дело пойдет на лад.

Маленькая лесть немедленно достигла цели.

— Даю слово, я все возьму в свои руки!— Воскликнул генерал и учтиво дал понять, что аудиенция окончена.

Врангель облегченно вздохнул, покидая кабинет генерал-губернатора. Он устал от его многословия. Что же касается основного своего вопроса, ради которого он и прибыл, то он изложил его суть во время второй встречи.

На этот раз сперва говорил Врангель, а Гасфорт слушал. Слушал упоенно, потому что с некоторых пор им владела мечта прославить свою старость доблестным военным походом. Трудностей он не видел. Он помнил только, как взял граф Перовский Ак-Мечеть, город Кокандского ханства, как сразу приобрел известность полковник Хоментовский, вонзив свое копье в сердце предгорий Тянь-Шаня, неподалеку от берегов Или, и основав на месте селенья Алматы форпост Верный.

Он слушал и уже не слушал. Вернее, слушал только самого себя, погружаясь в честолюбивые думы. Внезапно он схватил указку и подскочил к карте. Ткнул указкой в укрепление Верное и, описав небольшую дугу, в город Ак-Мечеть, Перовск.

— Наша святая обязанность — наступать. Вот здесь наступать!— фразы были короткими, обрывистыми, словно команды.— Обезвредим врага. Захлопнем ему рот. Пойдем вглубь.

— Прошу прощенья,— мягко, но настойчиво перебил генерала Врангель,— поход этот легким не будет. Вспомните,

как лилась кровь под Ак-Мечетью. Да и Хоментовскому экспедиция далась не так уж просто.

Гасфорт тут же вспомнил о потерях Перовского и совсем непритворно вздохнул:

— Что правда, то правда!.. А вы как считаете? Какие меры необходимо нам предпринять.

— Я никаких мер не могу посоветовать. Но есть соображения Азиатского департамента, подкрепленные мнением Его императорского величества.

Гасфорт отошел от карты, сел, лицо его приняло выражение почтительности и восхищения.

— Активные действия нельзя начинать, не разобравшись в том, какими силами располагают среднеазиатские ханства, что происходит там теперь... Ташкент связан с Кокандом, Коканд с Бухарой, Бухара с Кашгаром...

— Значит, надо начинать разведку?

— Именно так. И направить туда умного человека.

— Откуда?

— Конечно, из Омска.

— Вот бы только нашелся такой человек у нас!— И запнулся, продолжая молча шлепать губами, втайне размышляя, где же его взять, умного и хитрого? Генерал верил только в силу, подчиненную ему, в собственную силу и ум, наконец, но умных и ловких умом, годных для решения государственных задач, что-то не примечал вокруг себя в Омске.

— У вас и найдется,— спокойно, отнюдь не загадочно, произнес Врангель.

— Фамилию назовите, миленький, фамилию!

«Миленький» в устах Гасфорта означало крайнюю степень раздражения, но Врангель этого не знал.

— Чокан Валиханов!

Глаза Гасфорта стали круглыми от изумления. Он не только считал Чокана способным молодым человеком, но даже любил его. Однако, ему и в голову не могло прийти, что этот офицер-инородец может быть использован для такой ответственной миссии.

— Вы удивляетесь?— спросил Врангель.— А, по-моему, другой более удачной кандидатуры в Омске не отыскать... Бесспорно, умнейший человек здесь.

Гасфорт про себя подумал: значит, и умнее меня. Побагровел от обиды и, одновременно, от досады, что не сам назвал этому молодому чиновнику фамилию адъютанта: выходит, губернатор не разбирается в своих же людях.

А Врангель, как бы не замечая замешательства генерала, продолжал:

— Вы не возражаете, если остановимся на Валиханове? Отлично! Так и будет доложено государю.

— Государю, говорите?— переспросил Гасфорт, смиряя свою гордость с благоразумием, и, входя в роль, загарцевал.— Одобряю, одобряю! Мой воспитанник! Если он принесет пользу престолу и России, я могу только радоваться.

На том и договорились.

Гасфорту, возглавившему депутацию Западной Сибири в Петербург, до поездки оставалось совсем немного времени. Надо ли, чтобы его сопровождал и Чокан? Сам адъютант, имея в виду необходимость тщательной подготовки к путешествию, не выразил желания ехать. Его поддержал и Врангель. А Густав Христианович вспомнил выходки Чокана, его не всегда уместное острословие и даже обрадовался в душе: так будет спокойнее.

## Отец и сын мечтают о разном

Единственным человеком, горевавшим по поводу отказа Чокана ехать в Петербург, был Чингиз.

Он больше, чем когда бы то ни было, понимал теперь правоту Драгомирова, давно утверждавшего, что времена ханов канули в Лету, темную реку забвения. Трудно приходится и ханским потомкам. На первых порах только им предоставляли султанство в дуанах-округах, но постепенно богатые баи из черной кости все чаще и чаще становились правителями, а чингизиды все реже и реже. В числе шести старших султанов сейчас оставалось только два ханских потомка — он, Чингиз, в Кокчетау, и Кусбек, сын Тауке, в Каркаралинске. Но и Кусбека, оказывается, уже снимали с должности после многочисленных жалоб земляков. Ходили слухи, что каркаралинским султаном станет Кунанбай, сын Ускенбая (отец поэта Абая — прим. авт.) из рода Тобыкты, не имеющий никакого отношения к ханской крови. Вот и гнется на ветру Чингиз пучком травы, чудом сохранившейся в пустыне.

Султан чувствовал себя утлым суденышком в бурном море, и у него была только одна надежда, один спасительный маяк — это Чокан. Пусть не однажды он его обижал,— и в детстве, и в кадетскую пору, и уже совсем недавно. Но ведь сын же!..

Своего ты ударь,— не сбежит твой джигит,
А чужой — и закованный в цепи,— сбежит!

Вспомнил Чингиз поговорку. И мысленно обратился к сыну: ты еще молод, Канаш, горяч. Перебесишься и вернешься под мой кров, к моему сердцу.

Чингиз обрадовался, когда Чокан стал адъютантом. Он знал, что адъютант не кучер, не слуга, что адъютантами у царя ходят генералы. С ними советуются, их уважают. Знал он, что и Гасфорт балует Чокана. Прислушиваясь к каждому известию из Омска, Чингиз возносил мольбы аллаху: поддержи моего сына, помоги ему продвинуться по службе.

Стоило дойти до Орды слуху, что делегацию дуанов на траурную церемонию в Петербург возглавит чуть ли не Чокан, как Чингиз пришел в восторг. Он проникся уверенностью, что поедет вместе с образованным своим сыном, знающим язык времени; кто как не сын поможет ему утвердить свое положение, сведет его с высокими чиновниками, а, может быть,— подумать только!— поможет обратиться к самому царю.

С такой надеждой и приехал в Омск Чингиз. Сын встретил его с открытой душой и теплотой. Для этого существовало несколько причин.

Прежде всего он жалел отца. Жалел, потому что понимал,— уважение к нему убывает с каждым годом, а жалоб и заявлений на него с каждым годом становится все больше. Чего доброго, начнут их разбирать,— тогда он может оказаться в положении Кусбека. Сейчас он живет за счет аулов, за счет народа. А на что будет жить, если лишится звания старшего султана? Какие такие богатства есть у него, чтобы не бедствовала семья. Иногда в руки Чокана попадали письма, направленные против отца. С горьким чувством и нарушенного, и исполненного долга он не давал им хода.

Некоторые действия отца нравились Чокану. Только он один среди старших и младших султанов области применял в аулах русские законы. Не так уж часто, но применял. А ведь остальные вершили суд и расправу по старинке, по «кошменным книгам». Вот и росло недовольство Чингизом прежде всего тех, кто привык самоуправствовать в степи.

Чингиз, пока единственный из султанов, сделал первые, пусть робкие, шаги для распространения знаний. За последние четыре-пять лет из Кокчетавского дуана отправили около десятка мальчиков в фельдшерские и ветеринарные училища в разные города. Родители не пускали своих детей, боялись, что их будут крестить. Так Чингиз нашел выход — послал чуть ли не насильно сирот, а их родственникам выплатил деньги. Он верил, что дети вернутся в аулы знающими свое дело мо-

лодыми людьми, послужат примером для других, и сами аульчане по-иному посмотрят на знания.

Чингиз стал и первым подписчиком в степи на периодические издания. В Омске выходил раз в неделю офицерский листок управления сибирских казахов, печатавшийся на двух страничках: одна на русском языке, другая — на татарском. Мало того, что он прочитывал его сам, так заставил подписаться на это единственное в те годы подобие газеты еще человек двадцать влиятельных казахов. Довольный этим, Чокан как бы поощрил отца к чтению и выписал ему на свои деньги петербургскую газету «Русское слово».

У отца Чокан находил и такие привлекательные черты, как любовь к устным поэтическим преданиям. С детства он запомнил, как привечал отец акынов и сказителей. Чингиз не только слушал, но и записывал, собирал фольклор. Время от времени он посылал сыну свои записи.

Да и к чтению отец был далеко не всегда безразличен. Прежде он ограничивался религиозными книгами святого Аллаяра, Ходжи Ахмета Яссави, Сулеймана Бакиргани, а теперь обратился и к историческим трудам — к хронике Тимура, «Батур-намэ» и другим. Отец был достаточно скрытным, но Чокан догадался, что он решил испробовать свои силы в обобщении казахских исторических сказаний. Тогда он послал ему в Сырымбет три тома «Истории Киргиз-Кайсацкой Орды» Алексея Левшина. Чингиз привез в Омск эти книги. По репликам и даже по характерным пометкам на полях можно было судить, каким внимательным и критическим читателем левшинского труда оказался отец.

Откуда же он приобрел столько знаний? Видно, за это время он и кроме Левшина прочитал довольно много. Все объяснилось просто. Книги в ауле отца остались после хазрета Науана, сына Таласа, сосланного властями по доносам старого муллы Галиакбара. Науан и в самом деле открыто выражал недовольство христианскими миссионерами, а в одном ауле заставил только что обращенных в православную веру сжечь Евангелие. Вероятно, столь яростный поступок и послужил против него самым серьезным обвинением.

— А жена его жива?— спросил отца Чокан.

— Говорили недавно, ее подобрали мертвую на улице в Кокчетау. Горевала, бедствовала, голодала.

Чокан вспомнил, сколько хорошего о Гульшахре — ее чаще называли народным именем Кокеш — высказала ему Айжан там, в горах. И в эти минуты он никак не мог простить себе, что на обратном пути из Атбасара в Омск он не заехал

в Кокчетавскую станицу разузнать об участи Науана, разыскать Кокеш, помочь им. Он представил себе переживания Айжан, сердечно привязавшейся к этим милым и необычным супругам, ревнителям мусульманства. Но заговорить с отцом об Айжан он не мог и не хотел, зная его непримиримое отношение к девушке.

Тем не менее эта преграда не помешала в Омске более тесному сближению отца и сына.

Дело было в том, что Чокан только теперь разглядел добрые дела своего отца, отдал должное его культурным начинаниям, первым искоркам знаний, сулящим в будущем светлый огонь. Больше, чем Чингиз, переменился сам Чокан. Быстрый на решения и поступки порывистый юноша попал в житейские переделки, познакомился с людьми, которые научили его уму-разуму, и понял, что достигнуть цели одним прыжком нельзя. Торопливость чаще всего бывает помехой, а не помощницей. Ведь и мечту легче осуществить, если ты вооружен спокойствием и рассудительностью. Конечно, горячему Чокану не просто давались эти качества, но он усилиями воли стремился их приобрести.

Сыграли свою роль и встречи с Доржи Банзаровым. Когда они обдумывали пути прогресса для своих народов, сама собой возникала необходимость выдержки и терпения. Нелегко было и в мыслях поднять столь быстро их патриархальные края до уровня культуры и сознания передовых государств.

Немало времени пройдет, прежде чем не только инородцы, но и низы России, ее трудовой люд, самый многочисленный в нации, поймут необходимость перемен.

Русский народ боролся за свою независимость, за лучшее будущее и силой оружия — незабываемы имена Степана Разина и Емельяна Пугачева, и умом просветителей, таких, как Николай Новиков и Александр Радищев. Боролся и борется, но ясности и определенности в этой борьбе нет.

Ни Чокан, ни Доржи еще не представляли себе, как и когда сами русские освободятся от гнета.

У Валиханова и Банзарова хватало воображения и понимания в этих условиях лишь на то, чтобы в какой-то мере перенимать опыт русских просветителей Новикова и Радищева. Они сходились на том, что развитие общества следует оставить во власти самой истории, а свои силы сосредоточить на пробуждении народного сознания, используя прежде всего школы и печать. Эти идеи, рожденные среди русских, с каждым годом охватывают все более широкий круг сторонников, но всходы их пока небогаты. Россия отстает от европейских

стран в развитии печатного слова, а ее колониальные окраины значительно отстают от центра. Значит, окраинные народы в первую очередь должны догнать русский народ по экономическому и культурному уровню. Что будет дальше — покажет сама жизнь.

После встречи с Банзаровым Чокан пробовал искать пути для достижения этой цели, но не то что дороги, даже тропинки не разглядел. Как ее обнаружить, как ее проложить? Немногие грамотные казахи образованы только по-мусульмански. Читают не на родном языке, а на татарском или арабском, вовсе непонятном их землякам. Русским языком владеют, умеют читать и писать лишь некоторые султаны, представители аульной знати.

Так и не смог придумать Чокан верных способов достижения грамотности. Теперь, после смерти Николая Палкина и восшествия на престол Александра Второго, склонного, как думали многие, к просветительству, перед Чоканом замаячил огонек надежды.

Может быть, дотянуться до нового царя, изложить ему кое-какие свои мысли, думал Чокан. Только как это сделать? Робкая надежда возникла и тут же рухнула в связи с возможностью поехать на траурную церемонию. Нет, он отвлечется от своих занятий, будет только лакеем у генерала. Да и сама печальная обстановка исключает просьбы, исключает возможность аудиенции. Правда, те, кто едет отдать долг покойному царю, вероятно, будут участвовать и в торжествах по случаю коронации. Вот на этих торжествах куда как уместнее просить царя помочь далекой окраине. Особенно, если это сделать не одному, а опираясь на всех султанов во главе с Чингизом. Может быть, попытаться так сделать, может быть, пора посоветоваться с отцом? В лоб, говорить прямо, пожалуй, не стоит, но постепенно готовиться к важному этому разговору уже время.

Отец стал восприимчивее, мягче, пристрастился к чтению, у них появились общие интересы.

Вместе с тем и Чингиз нашел сына повзрослевшим и более благоразумным.

Но пока Чокан раздумывал, как приобщить отца к своим идеям, отец первый решил использовать сына для осуществления некоторых своих честолюбивых замыслов.

Однажды во время чая с обычными аульными лакомствами, приготовленными Зейнеп, Чингиз нежным сердечным обращением — Канашжан! — начал разговор на трудную, давно не дававшую ему покоя тему. Начал, как всегда, издалека.

— Мать моя против моей воли отдала меня в русское училище. Я ведь и не представлял себе, какие преимущества дает русский язык. Я и теперь знаю его плохо, иногда не нахожу очень нужных слов и огорчаюсь. Порой переделываю их на наш лад, порой и вовсе забываю. А вот военные чины знаю наизусть от прапорщика до фельдмаршала.

И в подтверждение стал их перечислять скороговоркой, нигде не искажая.

Чокан рассмеялся.

— Чему смеешься?— вмиг вспыхнул отец.

— Это я так... Вы, отец, действительно их знаете.

— Ну, то-то. Ты думаешь, что я уж ничего не понимаю. А теперь ты сам мне скажи, в чем смысл графства, например, или дворянства?

— Дворянство, отец, опора царя, высшее наше сословие. Ну, а графское достоинство присуждается дворянам, особенно отличившимся в служении государству.

— Я так и предполагал, Канаш. А помнишь ли ты Ахмета Жантурина?. Он живет в устье Тобола, где река вливается в Уй. Ахмет, потомок Абулхаир-хана...

— Как же, отец, помню. Мы ведь бывали в его доме.

— Хорошо, Канаш, что не забыл. А я помню и другое. Ахмет говорил, что от Абулхаира пошло четыре ветви — Нуралы, Ералы, Айшуак и Букей. И только потомки Букея приобрели дворянское звание. Орда Букея стала ханами нашего времени — дворянами.

— Кажется, это так. На траурные торжества он верно тоже едет? Вот вы там и увидитесь...

— А еще мне скажи, Чокан, значение слова «князь».

— Это совсем большое слово,— несколько туманно ответил Чокан. Он только теперь догадался, куда клонит отец и по каким ступенькам он хочет подняться.

— Ты бы мог, Канаш, и подробнее сказать. Князь в России — как у нас истинные ханские потомки. Ханами у нас могли становиться только те, у кого в крови было ханство. Вот Аксак Темир Гурегли (Хромой Тимур). Сколько он народов покорил, какими только земными богатствами не владел, а ведь ханом никогда не назывался, права не имел. Так и остался эмиром.

— Вы от кого это слышали, отец?

— Не слышал, а читал. В «Зафарнаме» читал, в родословной тюрков Абдулгази Бахадур-хана. Точно знаю. И князь не может быть князем, если в его жилах не течет княжеская кровь. Так я говорю, сын?

— Так-то так, но почему вы об этом завели речь, отец?

— Мир моих надежд, сынок. Ты меня должен понять. Бароном или графом я быть не смогу. А до дворянина дотянуться должен. Не следует ли нам с тобой попытаться?

— Чем вас так прельстило дворянское звание?

— Да как же им не прельститься, сынок, если мы все ниже и ниже скатываемся. Наш предок Чингиз-хан, как говорят, повелевал миром и солнцем. Его сын Джучи-хан основал Золотую Орду, его власть распространялась не только на казахов, но за Волгу и Яик. Наш более близкий предок Аз Жанибек объединил руководителей всех трех ханских жузов, и они распались только после смерти нашего вчерашнего предка Аз Тауке. Мой дед Аблай, вечная ему слава, расправил свои крылья дальше границ кочевий Среднего жуза, ему подчинялись и киргизы в предгорьях Алатау и Жагалбайлы-Жаппасы в Малом жузе. После него твой дед Уали был ханом только Атыгай-Караулов, Кереев и Уаков. Почти семисотлетнее наше ханство закончилось на покойной твоей бабушке Айганым. Мне остались только жалкие остатки — чин султана... Когда в нашей Сибири упразднили ханство и образовали округа-дуаны, все шесть султанов назначались из ханских потомков. А теперь среди старших султанов только я один из чингизовского гнезда. И у младших султанов дела обстоят так же. Нынче султанами становятся люди черной кости. Хотя бы уж из знатных семей, а то так — и отец ничем не славен, ну, а мать даже настоящей женой по мусульманскому закону не была.

— Может быть, отец, вы преувеличиваете?

— Где уж там преувеличиваю. Возьми старшего султана Акмолинского дуана Ибрая, сына Жайыка. Если разобраться, так он вовсе и не казах. Спрашиваешь, а кто же? Естек он. Неужели ты не слышал, что казахи так называют башкир.

— Ну, а как он попал к нам?

— Эх, сынок, это целая история. Горы Акана ты знаешь, а есть еще Зерендинские горы, с озером у подножья. Когда подъезжаешь к Зеренде, по правую руку можно приметить невысокий холм: это могила батыра Кошкарбая из аула Ногай-Караул. К этому Кошкарбаю и пришел в поисках защиты сбежавший от солдатской службы жайыкский естек. Звали его, кажется, Гимадааддином. Но его настоящее имя забыли. Жайык да Жайык. Он немного знал Коран, религиозные обряды, и Кошкарбай назначил его у себя в ауле муллой, а муллу найти тогда было очень трудно. Вот Жайык и стал обучать детей Кошкарбая.

— Так он и сам, наверное, был неграмотным.

— Конечно, малограмотным. Но ты слушай дальше. Кошкарбай не любил Кенесары и воевал с ним вместе с русскими. После поражения Кенесары всем участникам сражений стали раздавать чины и награды. Генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков вспомнил и о Кошкарбае, послал его на собрание в Караоткель. Кошкарбай испугался, что ему дадут чин и одновременно заставят креститься,— боялся он, как оказалось потом, зря! Вот Кошкарбай и послал вместо себя Жайыка. Да еще дал ему письмо на имя князя и приложил к письму перстень-печатку, полученную когда-то от Сперанского.

Чингиз сделал паузу, посмотрел на Чокана, как бы спрашивая, интересен ли рассказ.

— Очень интересно!— вслух воскликнул Чокан.— Но я хочу знать, что случилось дальше.

— Жайык, оказывается, немного знал и русский язык. Вручил письмо князю, чем-то ему понравился, о чем-то с ним поговорил...

— Разумеется, скрыв, что он бедный солдат из башкир.

— Ну, разумеется, скрыл... А Горчаков, конечно, поверил и печати, и самому Жайыку. К тому же припомнил, что Кошкарбай сильный батыр, но совсем неграмотный. И назначил младшим султаном в аулы Караул-Ногая не его, а Жайыка.

— Ибрай это его сын?— перебил Чокан отца.

— Именно его сын. Но я тебе еще не все рассказал. Ведь Жайык женился на пленной калмычке, служанке Кошкарбая. Ибрай и стал их первенцем... А теперь послушай сегодняшнее продолжение этой истории. Ибрай вырос, дослужился до старшего султана, начал задирать нос. Как-то с ним встретился акын Шаупкель из Караулов. Ибрай заносчиво посмотрел на поэта и стал его поддразнивать: «Ну-ка, высмей меня хорошенько, дам тогда и коня и чапан». Шаупкель во весь голос и пропел:

Твой отец, Ибрай,— естек, твоя мать — калмычка,
Делать слуг из беглецов — байская привычка.

Ибрай так оскорбился, что стал раскачиваться от злости из стороны в сторону. Тут уж не до коня и чапана, подумал перепуганный акын Шаупкель и, чтобы спасти себя, тут же сочинил второе двустишие, как бы перечеркивающее первое:

Коль шести дуанам трудно, то один Ибрай берет
На свои большие плечи шестикратный груз забот.

— И все же, отец, высмеял он Ибрая крепче, чем похвалил!

— В общем, Ибрай стал приметным в степи, пошел в гору. Сказалась кровь отца. Получил он и мусульманское, и русское образование, понравился омским властям, и лихо сумел отобрать звание старшего султана у Коныр-Кульджи. А Коныр-торе белая кость. Попробуй теперь Ибрая выбить из седла.

— Да, сидит крепко,— усмехнулся Чокан, словно одобряя пройдоху.

— И другие ханы из черни ничуть не лучше,— хмуро продолжал Чингиз,— хочешь, чтобы я их тебе назвал? Так я тебе назову деда.

— Чормана, что ли?

— Нет, не Чормана, а его отца Кучика. Только слушай внимательно.

Чокан придвинул стул к отцу, отхлебнул уже остывшего чая, задумчиво вертя в руке поджаристый баурсак.

— Самые многочисленные аулы между Акмолой и Омском принадлежали и принадлежат роду Кульсары-Керей. Их аульные баи Амен и Сейтен приходились Кучику дядями по матери. Кучик рано остался без отца, и мать привезла его в свой родной аул. Он болел с детства кошменной чесоткой — кийз-котыр. Его так и прозвали Котыр-Кучик. Дядя отправил юного племянника в табун пасти коней и подарил ему в насмешку чесоточного стригунка. Дескать, каков всадник, таков и конь. Кучик едва не расплакался, но мать его успокоила, наплела ему сказку про доброго волшебника Кадыра, посулила счастье от черного чесоточного стригунка. Аллах ведает, где тут быль, а где вымысел, но правда такова, что Кучук в свой аул привел сотню добрых коней, потомков того двухлетки. И начал богатеть. Правда, кличка за ним осталась... Вот как становятся знатными в наше время. А молва идет за ним следом:

Ты бая этого не тронь —
И сам чесоточный, и конь...

Чокану эта история что-то не понравилась:

— Да мало ли что за глаза говорят, отец. За спиной хула — хоть кулак! Лишь бы в глаза не говорили...

— Вот то-то и оно, Канаш. В глаза и нам не скажут. Но мы дожили до того, что сами прямо в глаза не можем смотреть этим выскочкам из черни. Это мы, потомки великого хана...

— Вы правы, отец... Радости в этом мало!— Чокан разделял печаль отца и знал, что тут его не утешишь.

— Вот и осталась у меня одна надежда, одна опора во времена нашего падения. Это ты, Канашжан...

На глазах отца появились слезы. Крупные настоящие слезы. Он вытащил из кармана платок и медленно начал их вытирать.

Чокану стало бесконечно жалко отца. Обруч ханского потомка сжался, больно сдавливая тело и душу Чингиза. Смысл долгого этого разговора стал ясен. Отец задумал облегчить свое жалкое положение, по крайней мере, дворянским званием. О княжеском достоинстве, понятно, нечего и мечтать. Ну, хорошо! Выклянчит он дворянина. А дальше что? Чокану приходилось встречать во время своего путешествия в Иркутск и Кяхту таких дворян из инородцев. Что же, они еще могут петушиться перед своим народом, но сникают перед царскими чиновниками. Посмотришь на их бедные головы и видишь, что они так и маслятся подхалимством, так и подрагивают от страха, так и клонятся к земле от униженности.

Чокан не высказал своих откровенных мыслей отцу, не желая его обижать, не стал отрицать возможностей получить дворянство, но сказал, что это не так легко сделать.

Чингиз ответил ему в том смысле, что вот, даст бог, поедем в Петербург и там попробуем разобраться. А здесь он, отец, рассчитывает на помощь сына. И тут же добавил:

— Ладно, сынок. Если все это так сложно, торопиться не будем. Лишь бы тебя скорее повысили.

Слова Чингиза были далеко не искренними. Он больше всего стремился подняться сам, а в знаниях и успехах Чокана видел только лестницу для своего восхождения.

Их беседы продолжались еще не раз, и каждый стремился добиться своей цели, каждый мечтал о своем. Впрочем, это не мешало им тепло относиться и хорошо понимать друг друга.

В это же время начались переговоры между Чоканом и Врангелем.

Чингиз еще не знал, что Чокан отказался ехать на торжества в Петербург. Он даже вручил сыну пачку ассигнаций для расходов в дороге и столице, зная, что казна не слишком щедра на этот счет,— старшим султанам на поездку отпускает по рублю в сутки, младшим — по пятьдесят копеек, столько же и адъютантам, а урядникам и того меньше. Чокан взял эти деньги нехотя — ему не хотелось огорчать отца отказом, как не хотелось и вводить его в расходы.

Но когда с поездкой была обретена ясность и на ней уже не настаивал сам Гасфорт, а перед Чоканом уже возникал дальний маршрут в Среднюю Азию, было никак нельзя оставлять в неведении отца. Они и так недавно помирились, а ведь это могло дать новый повод для ссоры.

— Карл Казимирович, дорогой!— обратился Чокан к полковнику Гутковского, товарищу военного губернатора и председателю правления сибирских казаков.— Вы хорошо знаете и меня, и отца. Не сочтите за труд, объясните ему, почему я должен ехать в Среднюю Азию и почему в связи с этим мне не следует участвовать в траурной церемонии в Петербурге. Он вам поверит больше, чем мне. Буду откровенен: отец, чего доброго, может подумать, что я не хочу помочь ему осуществить некоторые его желания. Вопрос, знаете ли, чести. А я, напротив, уверен, что в той обстановке, которая, вероятно, сложится в Петербурге, ничего не смогу ему сделать. Вы, очевидно, догадываетесь, о чем идет речь.

— Догадываюсь...— и Гутковский чуть прищурил умные близорукие глаза.— Догадываюсь, и представьте, не до конца уверен, что и вы, Чокан, совершенно равнодушны к этому.

— Вы проницательны, Карл Казимирович...

— Почему проницателен? Просто уже не первый год знаю вас, а с отцом вашим постараюсь поговорить так, как вы хотите.

Приглашенный к Гутковскому Чингиз сперва насторожился, держал ухо востро, слушая, как полковник расписывает ему ум и знания Чокана. Но он не смог скрыть довольной улыбки, когда Карл Казимирович изобразил сына подымающимся вверх по ступенькам карьеры.

— А ключик дальше,— доверительно тихо говорил Гутковский,— у самого государя, у Александра Второго. Понравится ему сын — значит, праздник будет и у отца.

После этих слов Чингиз почувствовал себя в кабинете полковника, как беркут в силках. Чингиза не так интересовало, куда поедет Чокан и что он будет делать в Туркестане, как сам факт внимания к нему государственных людей. Он захмелел от похвальных слов, раскис и стал пространно и чувствительно благодарить Карла Казимировича за высокую оценку сына:

— Я всегда знал, что вы думаете только о добре для нашей семьи. Рахмет вам, спасибо за вашу откровенность, спасибо за то, что вы свою высокую голову принижаете до моей. То, что вы считаете хорошим,— хорошо и для меня. Пусть будет все так, как вы говорите.

Но потом добавил уже по-деловому, заглядывая вперед:

— Я не обижаюсь, что он сейчас не едет в Петербург. Ну, а как с торжеством коронации нового царя?

— Пока еще говорить об этом рано, Чингиз Валиевич. Что касается аудиенции у царя, то надобно, чтобы дело было, уважительное дело. Человек или должен прежде понравиться, или завоевать уважение. Не так ли?

— Так, так, Карл Казимирович. Молю бога, чтобы Чокан совершил большое дело и о нем узнал сам белый царь...

Чингиз покинул Гутковского и польщенным, и несколько огорченным: все-таки выходило не так, как он задумал.

Спустя несколько дней он в составе депутации Западной Сибири выехал в Петербург. Возле Гасфорта суетился полненький, розовощекий титулярный советник, чиновник областного правления Дабшинский, хорошо знавший и татарский, и казахский языки.

«Вот бы и моему Канашу также пришлось побегать»,— подумал Чингиз, и на душе у него неожиданно стало спокойнее.

### Чингиз рад, Чингиз обижен

Поездка в Петербург на панихиду по умершему царю принесла мало удовольствия Чингизу. Радовался он, пожалуй, только тому, что в составе депутации не было Чокана. Замучился бы он там на побегушках. Не могло быть и речи, чтобы в той столичной сутолоке младшему офицеру из инородцев можно было показаться на глаза не только государю, но даже министру. Однако имя Чокана все-таки достигло ушей царя. Стало известно о высочайшем согласии на его путешествие в Среднюю Азию.

Гасфорт, будто бы он сам добился этого, говорил Чингизу, по своему обыкновению увлекаясь и строя несбыточные планы:

— Важно, чтобы твой сын был жив-здоров и хорошо выполнил задание. А потом — дело пойдет: с земли он подымется на самое небо. И я для него испрошу должность,— Гасфорт помедлил и выпалил,— председателя правления сибирских казахов. Дальше уже не за горами генеральский чин. Да, да! Представляешь: твой Чокан — и генерал. Значит, твоя фамилия будет прославлена.

Чингиз кланялся, благодарил:

— Вашими заботами, ваше превосходительство.

Несмотря на эту приятную весть, Чингиз в Петербурге чув-

ствовал себя ущемленным, как и большинство казахов, входивших в депутацию.

Он так рассказывал Чокану:

— Поселили нас на постоялом дворе — так он называется. Это, понимаешь, густо заселенный аул, большой, словно целый округ. Остальные дома куда ниже его, всего в два этажа (Чингиз гордился, что запомнил это слово и старательно делал ударение на первой букве «э»). Нижние этажи занимают лавки, на верхних этажах — гости. Там мы и жили. Показалось нам вначале — ничего, а потом поняли, что к чему. Нас, казахов, и других «простых» депутатов поместили здесь, а кто познатнее да побогаче — тех определили в гостиницы — праздничные, красивые дома. Омские власти — туда, депутатов Кавказа — туда, посланцев эмира бухарского — туда. Из всех казахов в гостиницу попал только Мендыгерей Букейханов со свитой. Он старше меня — и по возрасту, и по чину. Я и пошел его поприветствовать. Оказывается, он в рай попал, а мы во двор. Да, да. Двор и есть двор. Правильно назвали. Ему в помощники дали одного из петербургских татар — ловкого, знающего и русскую и мусульманскую грамоту, он все интересное в столице Мендыгерею показал. А наш Дабшинский уже дорогой пыжился и пьянствовал, в Петербурге же совсем запился. Казахов он не любит — матерился, насмешничал, даже руку подымал на некоторых султанов. Нам ведь капрал страшнее генерала. Капрал рядом — попробуй на него пожаловаться! Все же он так разозлил нас, что мы хотели Гасфорту доложить. Да где там! Ехал генерал отдельно от нас, жил в своей гостинице. Всего один раз нас собирал, и то куда-то торопился. Редко мы видали его макушку.

Еще нам трудно было из-за одежды. Ты же знаешь, богатые казахи любят похвастать меховыми шубами. И лисьими, и хорьковыми, даже соболиными и на бобровом меху. Такие легкие шубы для торжественных случаев. От холода мы спасаемся в шубах волчьих или медвежьих. Это ведь тебе известно. Но в июльскую жару и в легкой шубе можно задохнуться. Вот и прели наши султаны. Без тяжелого чекменя из верблюжьей шерсти они и показаться не смели. Я-то, правда, взял простенький чекмень с черным шелковым верхом. Так на меня косо посматривали. А над обувью моей просто смеялись. У всех черных сапоги до бедер с подкладкой из кошмы, а у меня мягкие ичиги с портянками. Прозванье им дали, ичигам моим,— чингизовские короткие сапоги или сапоги на гвоздях. Думаешь, приятно было мне это слышать?

С деньгами и вовсе было худо. Нет денег — нет и лошадей.

Вон Мендыгерей Букейханов со своим татарином в фаэтоне разъезжал. Куда захочет — туда и катит. А мы, сибиряки, и извозчиков простых не нанимали. Дорого! Пешком далеко не уйдешь: Петербург — он большой. Уставали каждый день, думали, скорее бы домой.

Чингиз задавал вопрос Чокану — почему сибирские казахи оказались не в такой чести, как Мендыгерей. Отец и сын поразмышляли вместе и пришли к общему выводу. Дело в том, что Букейхановы больше сделали для царской России, чем все остальные. Мендыгерей, сын хана Джангира, потомок Абулхаира. Абулхаир первым со своим Малым джузом перешел на русскую сторону. Когда русские крестьяне во главе с Емельяном Пугачевым восстали против царицы Екатерины и помещиков, то хан Нуралы, сын Абулхаира, участвовал в подавлении восстания. У сибирских казахов такого человека не было. В начале этого века ханство Малого джуза разделилось на две орды: к востоку от Яика правили родичи Нуралы, а к западу, между Яиком и Волгой, букеевская Орда во главе с сыном Абулхаира — Букеем. После смерти Букея ханом стал Джангир. Ну а теперь его место занял Мендыгерей. Мендыгерей учился в Саратовском кадетском корпусе и закончил его. Он стал настоящим офицером, участвовал в русско-турецкой войне и получил награды за храбрость. В русской армии получил чин полковника, настоящего полковника, а не пожалованного в полковники за султанство.

Один из сыновей Аблая — Касым, затем и его внуки — Есенгельды и Саржан, Кенесары и Наурузбай — подняли восстание против России. Примерно в это же время в Букеевской Орде восстали казахи, возглавляемые Исатаем Таймановым и Махамбетом Утемисовым.

— Вспомни, отец, эти времена,— в раздумье говорил Чокан,— ни мой дед Уали-хан, ни ты, мой отец, ничего не могли поделать с Кенесары вместе с русскими войсками. Его только смогли отогнать к подножьям Алатау, и не такие уж многочисленные киргизы расправились с ним, привезли его отсеченную голову в Омск. А хан Джангир, правда, не без помощи царских войск, подавил в крови восстание Исатая и Махамбета. Вот он и возвысился перед царем. Поэтому и Мендыгерея уважают больше, чем вас.

Словом, депутаты сибирских казахов были обижены. Они не считали себя виноватыми перед Петербургом, и в Петербурге узнали про все это. А так как в ближайшее время предстояла коронация нового царя Александра Второго, то решили как-то поправить дело. Из Министерства внутренних дел и

сибирского комитета пришли указания: тщательно отобрать достойных представителей из округов-дуанов и обеспечить их приличествующей празднику одеждой. Личное предупреждение получил генерал-губернатор Гасфорт.

Гасфорт особенно не ломал головы над тем, кто должен поехать на коронацию. Конечно, в основном, те же, кто находился в составе первой делегации. Другое дело — лучше их подготовить. Но чтобы ублажить петербургские власти и не брать на себя слишком большую ответственность, он решил составить характеристики на каждого депутата и отправить их министерству на утверждение.

Генерал поручил, как это бывало и в прошлом, написать такую бумагу Чокану. Материалы в Омске имелись, некоторые сведения пришлось собрать.

В первом варианте список выглядел так:

*Чингиз Валиханов,* подполковник. Советник областного правления сибирских киргизов, старший султан Кокчетавского дуана. Потомок ханов Среднего жуза, сын Вали-хана и ханши Айганым, принявших русское подданство и сотрудничавших с русскими властями. Закончил казачью офицерскую школу в Омске, в 1843 году участвовал в подавлении мятежа Кенесары Касымова и за это был награжден золотой медалью на александровской ленте. Порядочно говорит по-русски.

*Муса Чорманов,* есаул, старший султан Баянаульского дуана. Род Аргын, подрод Каржас. Сын бия Чормана Кучикова, с тринадцати лет участвовавшего в разбирательстве родовых тяжб. Сам стал младшим султаном с шестнадцати лет. Получил чин хорунжего за участие в подавлении мятежа Кенесары Касымова, выполнял важные военные поручения в Восточной Сибири. Владеет русским языком.

*Ибрай Жайыков,* прапорщик, старший султан Акмолинского дуана (темную историю его происхождения Чокан по совету дяди Мусы не изложил, она может дать повод для насмешек русским властям). Принимал участие в походе против Кенесары и за это произведен в офицеры. Владеет русским языком.

*Кангожа Татенов,* сотник, старший султан Кокпектинского дуана. Потомок Джангира, брата хана Аблая. Внук Джангира, прадед Кангожи — Орыс — получил за свои заслуги перед русскими властями чин капитана. Первый среди казахов Среднего жуза он был награжден золотой медалью. Его сын Татем, дед Кангожи, тоже был капитаном и, как старший султан, возглавил род Уаков в Прииртышье. Его сын Бапы, был есаулом и ездил в числе знатных людей области на корона-

нию Александра Первого. Сын Бапы Кангожа имеет военные заслуги перед властями. Понимает русский язык.

...Составлять характеристики надо было кратко и так, чтобы они не вызывали сомнений в Петербурге.

Заминка вышла с депутатом от Каркаралинского дуана. Последнее время здесь сменяли друг друга в качестве старших султанов потомки хана Борака — Кусбек и Жамантай. Они соперничали между собой, ссорились, не желали ни в чем уступать и, наконец, стали писать доносы. Один на другого. Их лишили звания султанов. Тогда влиятельные казахи выдвинули на их место Кунанбая, сына Ускенбая, из рода Тобыкты. Сам Кунанбай сопротивлялся, но его уговорили местные бии и в Омске его утвердили старшим султаном. Однако ехать в Петербург Кунанбай не захотел, он готовился к паломничеству в Мекку, а предложил вместо себя Таттимбета, сына Казангапа. Тут в Омске вспомнили, что брат Таттимбета Куттымбет ездил на коронацию Николая Первого, имел чин поручика и медаль на андреевской ленте. Вспомнили, что и сам Казангап служил в царских войсках и имел кое-какие заслуги. Казангап даже попал в известный айтыс акына Биржана с поэтессой Сарой:

Почет Казангапу дается шутя,
В роду знамениты уже с колыбели.
Здесь все при чинах, при богатстве, при деле,
Жена здесь — полковник, полковник — дитя.

Словом, биография бия Таттимбета Казангапова вполне устраивала Омские власти. Его поездке содействовало еще одно обстоятельство: Таттимбет справедливо считался незаурядным композитором и домбристом. Одно было плохо — он совсем не говорил по-русски.

Депутацию разрешили пополнить и младшими султанами. Выбор тут предоставили старшим. Чингиз попросил внести в список бия Атыгай-Караульской волости Чобека Байсарина, а из Алеке-Байдалинской волости Аккошкара Кишкентаева. Ибрай взял себе в спутники Бегалы Конуркульджина, султана и ближайшего своего помощника, а Муса — хорунжего Шекербая Малгельдина, баянаульского заседателя, и своего младшего братишку — двенадцатилетнего Аужана.

Список отправили в Петербург и сразу же начали заниматься обмундированием депутатов, дотошно обсуждая чуть ли не каждую деталь. Согласились на том, что это будет сравнительно легкая одежда национального покроя и с национальным орнаментом вместо золотых позументов, которые в аулах

называли «дарами царя». Материал отпустили хороший и поручили мастерам-татарам пошить чекмени, шаровары и ичиги.

Не была повторена ошибка прошлой поездки и когда речь зашла о переводчике. Дабшинского, успевшего всем поднадоесть своим пьянством и грубостью, не взяли, а привлекли в качестве переводника муллу местной мечети тюменского татарина хальфе Халила, начитанного мусульманина, получившего в Томске и русское образование. Сравнительно молодой человек лет тридцати пяти, он бывал во многих русских городах, да и хорошо знал сибирских казахов.

И хотя Чингиз по-прежнему жалел, что Чокан остается в Омске, настроение у него несколько улучшилось. Судя по всему, поездка обещала быть с его точки зрения куда более полезной и интересной. И он и другие султаны рассчитывали, что на этот раз меньше будет обид и неприятностей.

## В Петербурге и в Москве

Так оно и вышло. Даже погода выдалась хорошая. Тогда от Омска до самого Петербурга их преследовал дождь, и они подолгу задерживались на ямских станциях. А теперь и солнце во всю светило, и смотрители, предупрежденные властями, быстро меняли лошадей. Вдвое быстрее, всего за какую-нибудь неделю депутаты одолели немалый этот путь. Все было хорошо, только вот пришлось подтянуть животы, потому как поесть вдоволь горячего свежего мяса и бульона-сурпы нашим султанам на ямских стоянках никак не удавалось: молоко, яйца, калачи — ими сыт не будешь. А всяких копченостей они, по совету знающих людей, взяли самую малость.

Петербург встретил депутатов светом, теплом, уходящими белыми ночами. Прежней хмурости как не бывало. И поместили их не на постоялом дворе, а в богатой гостинице. Кому отдельные номера попали, а некоторые жили вдвоем и втроем — так даже веселее. Ели все вместе в большом зале, ели пищу, заказанную по их желанию ловким Халилом. Правда, с мясом опять случилась неприятность. Все они вместе со своим муллой-переводчиком брезговали прикасаться не только к свинине, но и к баранине, говядине, птице. Ведь скот резался без молитвенного слова «бисмилла». Устроители торжеств прознали об этом и поручили столичным татарам забивать овец или там быков по всем мусульманским правилам в присутствии гостей. И султанам очень понравилось такое внимание. Теперь и с городом можно было как следует позна-

комиться. Благо, у гостиницы всегда стояли фаэтоны, приготовленные для депутатов.

Что же увидели наши султаны в столице, которую толком и рассмотреть не успели в прошлый приезд? Им запомнились только размеры города. Прежде они считали Омск дворцом, а свои зимовки овечьими кошарами. Рядом с Петербургом-Петербором сам Омск казался овечьей кошарой. Обычная церковь в столице была несравнимо выше самой главной в Омске. А уж о дворцах нечего и говорить. Орда генерал-губернатора (ордой они по аульной привычке называли дворец) рядом с Ордой белого царя — словно малая копешка возле огромной скирды.

Едва ли не больше всего удивлялись они камням, пошедшим на строительство. Камень, который русские называют известняком, встречается в родных горах. Из него сооружали надгробья на могилах известных казахов, но ветер и дождь подтачивают его. На могилу Айганым привезли голубоватый камень из Самарканда. На него смотрели как на чудо. Но после одной откочевки на джайляу, когда зимовка оставалась без должного присмотра, камень исчез, похищенный каким-то бессовестным человеком! Видели казахи и мрамор-мармар на могилах знатных баев и на русских кладбищах в Омске или в Кзылжаре-Петропавловске. Ну, понятно, и драгоценные камни встречали в кольцах, в женских украшениях. Но такое количество домов, сложенных из камней, сверкающих, как зеркала, просто ошеломило их. А набережные реки Невы и каналов! А церкви, в особенности церкви!

И среди церквей — прекраснейший Исаакиевский собор.

Расторопный Халил все разузнал о Петербурге и о соборе и рассказал, как умел, султанам.

— Сам город заложен царем Петром в 1703 году, больше полутора столетий назад, а первая церковь Исаакия, деревянная, начала строиться через семь лет. Та деревянная церковь скоро сгорела, как погибла и вторая, построенная при жизни Петра. Третий собор задумала воздвигнуть Екатерина, потом Павел, но нынешний Исаакий стали возводить в 1818 году. Да, и теперь, в 1856 году, еще продолжаются отделочные работы внутри собора. Петр Первый чтил святого Исаакия. И у святого, и у Петра день рождения — 30 мая. А Исаак по-мусульмански Исхак.

— Астапыралла!— воскликнул один из султанов, а за ним и остальные.— Разве могут у нас быть одинаковые святые? У нас и гяуров.

Мулла Халил с важностью стал объяснять, что и в Коране

и «Интиле»— в христианском Евангелии,— встречаются одни и те же имена.

Султаны слушали внимательно, но именно этим словам тюменского татарина до конца не поверили. Мало ли что можно говорить!

Вот Исаакиевский собор вызывал только одно восхищение. Какие каменные столбы, какие колонны! Как их только везли сюда?

— А вот как,— рассказывал Халил,— вырубали на месте, в каменоломнях, далеко отсюда. Бревнами мостили дорогу, чтобы не погрузнуть в болотах. Арканами волокли.

— И сколько же конных переходов?

— Должно быть, сто, не меньше,— храбро отвечал Халил, толком не знавший, сколько времени ушло на их доставку.

И опять все удивлялись:

— Ой, хитро, ой, как хитро! Долго, значит, катились камни.

Знал бы сам Халил, каких усилий стоило привезти в Петербург итальянский и финляндский мрамор!

И еще удивлялись султаны золотой облицовке куполов.

— Настоящее золото? — спрашивали.

— Червонное!— отвечал Халил.

— А сколько ж пудов?

— Сто двадцать...— не моргнул и глазом мулла.

Удивление было столь велико, что и на восклицания сил не хватило. Впрочем, если мулла и преувеличивал, то не так уж намного, если на один только главный колокол собора весом в 1800 пудов, отлитый из старых медных монет, дополнительно пошло двадцать фунтов золота и пять пудов серебра. И не столь далек был от истины один из султанов, глубокомысленно заметивший, что церковь все золото глотает.

Рассказал мулла кое-что и об истории Петербурга, о том, как его строили. В представлении казахов возникло множество людей в черных чекменях — кулы, рабы, как по-своему назвали они крепостных крестьян. В жидкую грязь болота уходили бревна, на бревна укладывались камни. Люди работали и умирали, а на их место приходили новые. Страшно было подумать, сколько костей умерших строителей покоится сейчас под площадями и улицами города.

Очень уж запомнились султанам скульптурные памятники Петербурга. Вначале они даже пугались, встречая их. Им объяснили, что памятники изображают царей, полководцев, героев эпоса. Одни, очень набожные, приходили в ужас, вспо-

миная мусульманский запрет на изображение человека. Мол, пусть это делают гяуры, а мы у себя такого не позволим. Другие, менее религиозные, огорчались: как это нашим предкам не поставлено ни одного памятника!

Однако на всех, и менее и более религиозных, самое большое впечатление произвел памятник Петру Первому работы французского скульптора Фальконе. Медный всадник, воспетый Пушкиным.

Им понравились и царь, и конь. Как настоящие, как живые. Могучий царь, батыр! И конь — как тулпар! И змея, раздавленная копытом...

— Все правильно!— сказал пожилой старший султан.— Вот почему только медвежья шкура вместо седла?

— Аксакал говорит правду!— поддержали его остальные.— Белому царю не подобает сидеть на шкуре. Разве в казне нет денег для дорогого седла царю, для дорогой сбруи?

Но это был, по мнению султанов, единственный недостаток скульптуры.

...Так они ходили и ездили по Петербургу, смотрели во все глаза на его диковинки и хотели смотреть еще и еще, пока не стало известно, что им вместе со всеми другими депутатами надлежит выезжать в Москву, потому что коронация проходит не в нынешней столице России, а в ее прежней, древней. Самым волнующим для наших казахов оказалось известие, что они поедут туда не на лошадях, как обычно, а поездом.

Поезд!

Они слышали что-то вроде сказки, что есть на свете От-арба, огненная телега. Она едет сама с помощью огненной силы. К ней прицепляются другие телеги, уже без огня. И в них можно погрузить целый родовой аул со всем его имуществом.

Слышать-то они слышали, но видеть еще не приходилось. Да, правду сказать, и смотреть не очень хотелось. Усмирить лошадь может каждый казах, но как справиться с таким огнедышащим айдахаром, с таким драконом?

Однако отступать было некуда. Едут все — значит, надо ехать и нашим депутатам, иначе они пропустят зрелище великого тоя, ради которого и отправились в это путешествие.

Еще и пяти лет не прошло с того дня, как открылась железная дорога между Петербургом и Москвой, первая в России, если не считать пригородного пути от столицы до Царского села. Когда Николаю Первому показали проект дороги, ему не понравилось, что она виляла между лесами и болотами. Царь долго смотрел на карту, взял линейку и по линейке

провел прямую линию, приказав именно так вести строительство. Стоимость строительства удорожалась в два-три раза, но ослушаться царя никто не посмел.

Дорога называлась николаевской. Так назывался и вокзал, где собрались депутации перед отъездом в Москву.

...Вагон показался им вполне удобным. Больше пятистенного дома у сибирских казаков. И сидеть там было удобно. Но все-таки наши депутаты побаивались: а вдруг закружится голова? Что с ними будет, когда От-арба поедет? Ожидали с тревогой и даже не заметили сразу, что уже находятся в пути. В окнах мелькали уже не привокзальные строения, а деревья... И казалось,— поезд стоит на месте, а навстречу ему быстро и плавно, словно река, текут перелески и редкие домики. Тут они ощутили легкое покачивание и поскрипывание вагона. Отрывались взглядами от окон, чтобы улыбнуться друг другу. Страх прошел. Впрочем, путешествие было столь необычным, что и ночью они не смыкали глаз.

В Москву приехали полные впечатлений и очень уставшие, но даже усталость не помешала им с любопытством разглядывать город, о котором они слышали не меньше, чем о Петербурге. Они знали, что Москва объединила русский народ, живший когда-то разобщенными княжествами. Знали, что Москва долго была столицей России и что Петербург можно сравнить с юртой молодых — отау, отделившейся от большой отцовской юрты, когда молодые повзрослели.

Улицы Москвы по сравнению с петербургскими показались узкими, дома — приземистыми, низкими. В Петербурге было больше нарядной сверкающей красоты, как в новом доме, где только что отпраздновали свадьбу. Москва, на их взгляд, была тяжеловесней, основательней, старше, больше, наконец.

Долго они ехали узкими извилистыми улицами. Когда показался Кремль, Чингиз вспомнил пословицу: нет дороги, которая не кончается.

О Кремле имел хоть какое-то представление один лишь Чингиз. Быть может, еще Муса. Во всяком случае, в офицерской школе в Омске о нем рассказывали довольно много. Но и Чингиз удивленно смотрел на высокие зубчатые стены с башнями, увенчанными острыми и высокими каменными шатрами, а за ними купола церкви.

Немного знал о Москве и мулла Халил. Он только и сказал, что было время, далекое время, когда войско Золотой Орды во главе с Едиге дошло до Москвы, осаждало Кремль, и осажденные, обороняясь, лили на головы наших предков, штурмующих стены, кипящую воду.

И еще мулла запомнил, что в Москве есть и сейчас много татарских названий. Дескать, река Яуза от татарского слова «Жауыз» — «Злодей» так зовется. И Арбат тоже татарское название: «арба»— телега и «ат»— лошадь. И Балчуг — берег Москвы-реки — от слова «балшик» — грязь, так назвали. И, говорят, действительно, этот низкий берег затопляла вода, размывала вязкую глинистую почву.

Наших гостей поселили не в гостинице, а сняли для них дом у купца на этом самом Балчуге. Просторный дом, хороший. Но и денег купец взял немало. Все посчитал: и дрова, хотя летом топить было ненадобно, и воду, что привозили бочками из реки, и мытье полов, и стирку белья, и даже жир для лампы... Словом, вышло ни много, ни мало по десять рублей с каждого человека на неделю. Купцу заплатили сполна из дворцовых средств.

Что здесь понравилось сибирским казахам — так это воздух. По сравнению с петербургским здесь дышалось как на джайляу.

Халил после того, как устроились, предложил идти смотреть город. Но в первый день наши депутаты заленились — хотелось отдохнуть с дороги. Говорили:

— Мы его уже видели. Город как город.

Хотя многие думали про себя: а надо бы посмотреть. Это в Петербурге дома одинаково высокие и, если не считать дворцов, похожи друг на друга. Здесь же пестрота. Есть дома-верблюды, есть и мелкие овечки.

...Тут подошел день коронации. Так как она должна была проходить в Успенском соборе, в Кремле,— возник вопрос: можно ли заходить мусульманам в православную церковь? Чингиз в Омске, еще в свои молодые годы, бывал в церкви и ему пришлись по душе христианские обряды — не такие беззвучные и однообразные, как моления мусульман.

Тем более, Чингизу хотелось присутствовать на самой коронации. И это можно было бы сделать. Устроители празднеств предоставили мусульманам право выбора: можете идти в татарскую мечеть Москвы, где тоже отмечается торжество, а хотите — вот вам приглашение посетить Успенский собор в Кремле. Султаны после такого известия стали присматриваться друг к другу, изображая ревностных поклонников ислама. Чингиз побоялся, что его могут осудить спутники, и поступил так, как все — отправился в мечеть.

Самым ловким оказался мулла Халил. Под каким-то предлогом он остался в купеческом доме, а как только все ушли

в мечеть, благочестивый переводчик заторопился в Успенский собор.

Вот так и получилось, что из всей депутации только один переводчик и увидел, как венчали на царство Александра Второго.

Султаны простили Халилу мелкое его притворство уже за то, что он подробно рассказал, как все происходило. Его поразили и богатые украшения трона — всякий там бархат, золотые орлы, корона, сверкающая бриллиантами, и скипетр, и еще что-то, похожее на золотой меч с крестом. Такие подробности мулла запомнил лучше, чем ход самого венчания. Говорил он и о том, как заиграли гимн, а когда его попросили объяснить, что такое гимн — гимене, он сравнил его с хвалебным кюем.

— Когда же появился царь, все склонили головы и скрестили руки,— продолжал мулла.— Я тоже склонил голову, но глаза обратил в сторону трона. Хотел подойти поближе, поближе. Сделал несколько шагов вперед, чувствую — меня оттесняют. Ну, думаю, хватит. Тут белобородый поп,— он показался мне молодым,— начал венчанье. Смотрю, царь на коленях перед ним стоит. Это мне не очень понравилось.

— А узнал-то царя?

— Узнал по портретам... Этот белобородый надел на царя корону и дал ему в руки скипетр и этот золотой меч. А потом я уже ничего не мог ни понять, ни увидеть.

— И так многое повидал. Еще жалуешься.

Султаны принялись в один голос так шумно упрекать своего хальфе Халила, что у него, и так оглушенного и музыкой, и колокольным звоном, совсем заложило уши.

На обед в Грановитую палату наши гости не попали, а шествие войск им удалось посмотреть.

Видели они в Омске казачью кавалерию и русскую пехоту в парадном строю. Слышали, как играет омский военный оркестр. Но сравнивать омские торжества с московскими все равно, что сравнивать мышь с верблюдом.

Выезжают всадники на белых конях. Всадники — генералы и среди них царь в генеральском мундире. Сколько белых коней, сколько генералов!

А оркестры!.. Как они гремят. Так и гром не гремит в лютую летнюю грозу.

Смотрят степные полковники, подполковники, есаулы, наряженные в свои чекмени, обшитые орнаментом, как выступают хорошо вымуштрованные войска, слушают громкие марши и кажется им, задыхаются в волнах разбушевавшегося моря.

Если так проходят войска в Москве, то как же они проходят в Петербурге, на Марсовом поле. Там участвуют не только сухопутные части, но и морские!

Депутаты-казахи после парада в честь коронации говорили друг другу:

— Безумцами были те наши деды и отцы, которые хотели сопротивляться народу, который имеет такие города, такое войско и такую музыку.

## Завершение царского тоя

Вдоволь насмотревшись всяческих диковинок в Петербурге и Москве, казахи теперь хотели взглянуть на самого царя. На протяжении всех торжеств мечта эта была почти недостигаемой и только под конец она стала казаться более доступной, но близко к себе еще не подпускала.

Поговаривали, что царь начал принимать в своей резиденции по отдельности то представителей народов Кавказа, то балтийцев, то Малой и Белой Руси, и, наверное, должна была дойти очередь и до сибирских казахов.

И вдруг пронеслось: примет! Примет одновременно делегации западносибирских и оренбургских казахов, не объединяя их с представителями других народов.

Разделение казахов на два губернаторства произошло еще в середине XVIII века. Два генерал-губернатора: оренбургский — Неплюев и сибирский — Горчаков по указанию императрицы Екатерины Второй принялись определять границы вечно споривших между собой казахов Среднего и Малого жузов. На совет съехались бии с обеих сторон. Губернаторы и передали им право провести пограничную линию. Бии из своей среды выбрали арбитром известного своей справедливостью Жазы. Он-то и предложил считать границей двух жузов реку Обаган. По западному ее берегу начиналась область оренбургских казахов, по восточному — сибирских.

Сибирское ханство прекратило свое существование в 1832 году, что же касается Оренбургской области, то она в самом начале века разделилась на два ханства — Букеевскую орду и Уральскую. Уральское ханство распалось в 1809 году после смерти Жанторе, сына Айшуака, а Букеевская орда здравствовала до 1845 года, года смерти хана Джангира, сына Букея. После этого и у Оренбургских казахов были созданы, по примеру сибирских, округа-дуаны во главе с правителями, старшими султанами.

На торжество коронации из Оренбургской области прибы-

ло две депутации — одну возглавил старший султан Мендыгерей Букейханов, в нее входил и знаменитый музыкант, создатель многих кюев — Даулеткерей, сын хана Шигая, другую, уральскую группу привез правитель Ахмет Жантурин, в ее составе находился Алтынсары Балгожин, отец будущего просветителя Ибрая Алтынсарина.

Сибирские казахи вспоминали, что тридцать лет назад во время коронации Николая Первого царь, по словам Сартая Чингизова, отдавал предпочтение оренбургским казахам, теплее их встречал. Так показалось самому Чингизу и в дни траурной церемонии. Но теперь этой разницы не чувствовалось и, может быть, поэтому сибиряки и оренбуржцы проводили дни и в дороге, и в Петербурге, и в Москве в дружбе и согласии. Вместе обсуждали события, вместе удивлялись праздничному великолепию и вместе приходили к горькому выводу, что с каждым годом казахов стискивают круче и жестче. Не о народе шла, понятно, речь, а о них самих — о знати, о султанах. Влияние их падает, царские чиновники не очень-то считаются с ними, вожжи в степи забирают в свои руки.

Вот бы рассказать об этих притеснениях самому царю на приеме!

Ох, как у них разбегались глаза, как они растерялись, проходя из одних дверей в другие, минуя многочисленные коридоры, и не было числа дверям и коридорам, а у каждых дверей стояли на карауле гвардейцы в мундирах, которые можно было принять за генеральские. Эти гвардейцы так неподвижно, так каменно умели застывать, что признаки жизни угадывались, пожалуй, только по мигавшим ресницам.

Казахские депутаты еще до приема насмотрелись всласть на генералов. У себя в Оренбурге и Омске (в Орынборе и Омбы) им казалось, что выше Игельстрема или Гасфорта никого и быть не может. А здесь таких гасфортов полным полно. Здесь такие гасфорты жмутся в сторонке перед теми, у кого побольше власти и орденов.

Пробившиеся к султанским седлам казахи хвастались друг перед другом званиями хорунжих, капитанов, майоров, реже подполковников, совсем редко полковников. А здесь таких офицеров, как овец в отаре. Да, что там майоры или полковники! Вот, например, среди кавказцев есть и генералы. Значит, не гордиться надо, а сетовать на свою судьбу.

Следуя из коридора в коридор, степные депутаты притомились, а когда их, наконец, пригласили в приемный зал, то и вовсе растерялись, запомнив только предупреждение своих генералов: мол, заходите скромно, с выражением преданности

и покорности, склонив головы и скрестив руки на груди. Всемогущий Аллах, помоги! Спины ломило, пот выступал на лоснящихся лицах, а тут не передохнуть, не присесть. «Память отшибло и душа выскочила», как говорил позднее Чингизу Муса.

И все-таки каждый старался поднять глаза и запомнить. Этот рыжеусый и, пожалуй, красивый человек на самом высоком кресле в центре и есть царь. Вот он приподнялся и кивком головы как бы поздоровался с ними. А им что? Отвечать или нет? По обе стороны — министры, министры, министры. При орденах и лентах! Куда там ленты, которыми их жаловали в Орынборе или Омбы...

Министр государственного имущества генерал-адъютант Киселев зачитал Указ о награждении, а князь Чернышев, представитель сибирского комитета, раздавал награды.

Чингизу присвоили звание полковника, Мусе — полковника, а его двенадцатилетний брат Аужан неожиданно сделался хорунжим.

Тут же вручали и деньги — кому пятьсот, кому четыреста, а кому и сто.

И вдруг Чингиз обомлел: Гасфорт давал ему знак — выступить от всех казахов.

То, что он говорил об аллахе, благословляющем белого царя,— это точно. Но сумел ли он сказать что-нибудь путное, ни сам он, ни его спутники так никогда и не узнали.

А царь милостливо кивал головой, впрочем, не соизволив вымолвить ни единого слова в течение всего приема.

Сибирские депутаты даже слегка разочаровались. По простоте душевной они думали, что у земного бога все не так, как у людей, а он оказался обыкновенным человеком с круглой головой и рыжеватыми усами.

Вечером им вновь повезло: они опять увидели царя. Кто-то сказал, что в этом зале обычно проходят музыкальные вечера для царской семьи и ее свиты. Устроители праздника решили попотчевать высоких зрителей образчиками искусства окраинных народов. Узнав о Даулеткерее и Таттимбете, включили их в программу дворцового концерта. Вот этому-то обстоятельству больше всего обрадовались казахи.

И Даулеткерей и Таттимбет славились в своих краях исполнением народных кюев и композиторским талантом. В редкие свободные вечера в Петербурге и в Москве наши депутаты упрашивали музыкантов усладить их слух, усаживались в кружок и начиналось соревнование, в котором обычно не было победителя. Мастерство Даулеткерея и Таттимбета было оди-

наковой силы и им никогда не случалось переигрывать друг друга. Каждый исполнял свои — удивительные и неповторимые — кюи. Кюи Таттимбета посвящались преимущественно походам, битвам и народному горю. «Бозайгыр» — «Серый жеребец», «Таргыл бука»— «Полосатый бык», «Ала Байрак»— «Пестрый байрак», «Кокей Коскен»— «Мечтания» рассказывали языком музыки о трудных военных временах и печали разграбленных аулов. Кюи Даулеткерея «Мелодии Срыма», «Аргынгазы», «Кенес» воспевали восстания в Малом жузе, а такие его кюи как «Девушка Акбала», «Желдирме», «Соловей» отражали картины обычной жизни кочевий.

Но какой бы сюжет ни избирали эти народные композиторы, они достигали таких человеческих глубин, так волновали сердца, что равнодушию среди слушателей не оставалось места.

И вместе с восторгом загоралось желание, чтобы эту музыку услышали и в столице России, услышал бы и царь: вдруг он поймет степные души.

...Зал этот походил на юрту своей округлостью, кресла ступенчато поднимались с передних рядов к задним. Справа от широкой занавешенной сцены была ложа царя, слева — министров.

Яркий свет лился сверху, волшебно отражаясь в хрустальных подвесках.

Казахи изумлялись и свету, и занавесу, который вот-вот должен был распахнуться... Они боялись разочароваться, потому что несколько вечеров назад побывали на оперном спектакле, в котором ничего не поняли и так были оглушены оркестром и хором, что у них разболелись головы и после первого же акта они вернулись к себе домой и зареклись посещать театры, кроме Таттимбета и Даулеткерея, исправно ходивших в оперу при каждом удобном случае. Султаны и теперь бы не пошли, если бы не выступление их земляков.

Теперь они задыхались от нетерпения и гордости. Извечные любители состязаний, они ждали, когда же зазвучат домбры Таттимбета и Даулеткерея.

Наконец-то открылся занавес. Свет оставался только на сцене, освещая и императорскую ложу. Сжавшись в своих креслах, наши депутаты глядели во все глаза. Зашептались: «Вон государь сидит, вон он!» Но когда же зазвучат домбры?

Снова, как тогда, в театре, играл оркестр, пели хором, пели по одному и вдвоем. Только все это было долго и непонятно. Когда же зазвучат домбры?

Терпению уже приходил конец, хоть возвращайся домой.

Но тут со сцены были произнесены имена Таттимбета и Даулеткерея.

Ох! Слава аллаху! Они замерли в ожидании. Больше всего боялись — найдет ли отзвук в этом круглом зале тихий голос домбры?

К богу, к пророку, ко всем мусульманским святым обращались они с молитвами.

И вот раздались звуки первого кюя. Даулеткерей играл «Желдирме». Звуки были отчетливыми — чистыми и гулкими. Казахи сидели в самом конце зала, но казалось — домбра звучит рядом. Аллах внял их мольбам. Желдирме — Вдохновение. Это — бег коня, нарастание скорости до предела, рождение песни... После кюя «Желдирме» — кюй «Ыскырма» — «Свист». Свист степного раздольного ветра, пахнущего жусаном — полынью, свист, то еле слышный, затихающий, то сулящий грозу и дождь. И вдруг наступила тишина. И все захлопали в ладоши. Захлопали и казахи. И кто-то, самый зоркий из них, углядел, что царь дотронулся ладонью до ладони.

Ох, слава аллаху!

Не уступил Даулеткерею и Таттимбет. Старался не смотреть в зал, чтобы не смутиться. Вспомнил степь, ударил по сухим струнам. Размечтался, вошел в силу. И кюй был о мечте — мечте молодого джигита. Снова били в ладоши, снова заглядывали в царскую ложу.

Словом, все прошло как нельзя более удачно.

После окончания концерта, сбившись в плотную кучку, депутаты ожидали, когда же к ним присоединятся Даулеткерей и Таттимбет. Пока они так и не возвратились со сцены к своим. Вдруг они появились откуда-то из бокового входа. Шли неторопливо, как подобает победителям. Шли важно — и тут-то старшие и младшие султаны увидели, что на парадных чекменях музыкантов сверкают золотые медали. Откуда, как? И музыканты степенно объяснили, что их пригласили совсем в другую — такую богатую комнату, где находился царь. И царь сам им жал руки, говорил: коп рахмет! Спасибо! И сам пожаловал медали.

Старшие и младшие султаны сперва обрадовались. Еще бы! Ведь это их скакуны получили призы на петербургской байге.

Обрадовались и тут же огорчились. Огорчились и начали завидовать. Медали-то у домбристов, а не у них. Домбристы возвысились, а не они.

Они, султаны, некоторые из них потомки ханов, исправно

несут царскую службу, а вот им не довелось подержаться за государеву ручку, получить от него самого награду.

Они тузы, они главные люди в степи, а почет их слугам — музыкантам.

Вот и попробуй тут не огорчиться, вот и попробуй тут подавить зависть!

## Тайное письмо Таттимбета

Нашим музыкантам не было никакого дела до радостей и огорчений своих петербургских спутников — султанов. Завидуют? Бог с ними. Не они помогали их успеху, не в их силах что-нибудь теперь изменить. Они добились почета своим мастерством, своей музыкой, поднявшей их на широких песенных крыльях.

Впрочем, Даулеткерей и Таттимбет на почет, оказанный им, смотрели неодинаково. Даулеткерей принадлежал к белой кости, Таттимбет — к черной.

Даулеткерей чуть больше гордился похвалой, но ему не приходила мысль использовать ее на благо своих земляков. Он был предан самому искусству и нисколько не считал для себя, потомка хана, зазорным встречаться с композиторами и домбристами из народа. С таким, например, неповторимым певцом степи, как прославленный Курмангазы, сын Сагырбая. Он не только встречался с ним, но и состязался и, бывало, оказывался побежденным, и тогда не огорчался поражением, потому что песня есть песня и поединок есть поединок.

Может быть, здесь сказалась традиция Букеевской орды, где вопреки распространенному мнению, что аристократы далеки от искусства, и сам Букей, ее основатель, и многие другие ханские потомки сами умели складывать песни, сами сочиняли музыкальные поэмы — кюи.

Однако Даулеткерею, ханскому потомку, не пришло и в голову задумать и сделать то, что сделал Таттимбет, который, хотя отец его был влиятельным человеком, брат — поручиком, чувствовал свою связь с народом и недолюбливал аристократов.

Свой замысел Таттимбет держал в строгом секрете.

Когда уже было решено, что он будет участвовать в тое Александра Второго, накануне отъезда в Петербург Таттимбет по обычаю своих сородичей поехал к правнуку Қаздауҫты Қазбека — Алшимбаю за добрым напутствием. Алшимбай, к тому времени ставший почтенным старцем, давно отошел от разбирательств родовых тяжб, сторонился сборищ, не покидал

пределов родного аула и даже своей юрты. Но дом его по-прежнему считался ордой биев этой стороны, и к нему многие обращались за советом перед дальней дорогой, перед любым большим начинанием. От прадеда Казбека, от деда Бекболата, от отца Тиленши Алшимбай перенял такие драгоценные качества, как прямоту и справедливость. Взятки он ненавидел. Как говорится, и тала не кусал, и травинки не жевал. Презирал и своих взяточников, и царских, тех, что заглатывают верблюдов с шерстью, а лошадей с поклажей. Жил по правилу — родственников не слушать, совести не терять. Его однажды хотели сделать старшим султаном, но он отговорился незнанием русского языка и русских законов. И хотя он уже давно уединенно доживал свои годы, у него по-прежнему продолжали бывать люди, искавшие справедливого совета.

Старик особенно обрадовался приезду Таттимбета, когда узнал, что певец поедет в Петербург к белому царю. Заговорил о взятках и поборах — чего только не собирали в этом году. То на выздоровление жанарала, то на коронацию. Овец опять угоняли, лошадей, в особенности — стригунков. Из одного Каркаралинского дуана было отправлено более ста двухлеток. Думали, их отправили прямо в столицу, а оказалось, что свои же султаны поделили их между собой. Возмущенные казахи написали об этом в Омск, но никакого ответа не получили. Кому же еще сказать? Царю? А как до него дойдет письмо?

— Слышал я, Таттимбет,— сказал старик,— ты не боишься раскрывать рта. Я знаю, ты, и только ты один говорил перед нашими султанами о нуждах народа. У тебя хватит мужества обратиться и к самому царю. Ты расскажешь ему, что терпит народ от местных властей. А нельзя будет рассказать, письмо ему передашь.

Так наказал Таттимбету, так благословил его Алшимбай. И музыкант дал слово справедливому бию исполнить этот наказ.

Праздничная суматоха подходила к концу, но подходящий час так и не наступил. Не наступил он и когда Таттимбет стоял перед царем, вручавшим ему медаль. То ли храбрости не хватило, то ли неудобным показалось: тебя награждают, а ты с просьбой. Да и Даулеткерей стоит рядом.

Теперь он уже знал, что второго такого случая не будет. Значит, надо передать письмо и вначале его написать. Тут никого не попросишь. Выскочит слово из-за тридцати зубов — станет достоянием тридцати родов. Здесь можно верить только самому себе. Перед отъездом в Петербург он виделся с Чо-

каном, которого считал народным заступником, и едва не упросил Чокана подготовить послание царю. Он отзывчивый, он согласится сразу, да потом раздумал сам Таттимбет: зачем подводить хорошего человека? Письмо может не понравиться, руку Чокана сразу узнают. Чего доброго, еще накажут.

Оставался один выход: написать письмо самому. Таттимбет пожалел, что он не знал русской грамоты, да и по-мусульмански получалось у него не всегда понятно. Ничего, разберут. Найдется толкач у белого царя.

Улучив свободный час в гостинице, когда все остальные депутаты разбрелись кто куда, Таттимбет дал мысленно обещание аллаху зарезать в честь этого события барана и приступил к сочинению письма.

Строка, спотыкаясь непослушным конем по бездорожью, бежала справа налево. Казахские слова путались с татарскими, татарские с арабскими. Тяжела ты, ох, как тяжела, мусульманская грамота! Как говорится, не продашь ты на базаре больше того, что привез на базар.

«Благочистивому уа уважаемому улуг падишаху Искандеру сыну Миклая сыну Раумана хиз рату послание...»

Вывел, задумался и пошел дальше, словно отесывая крепкое дерево тупым топором.

Писал о жадности властей, о том, как они находят любую причину отобрать у кочевника то овец, то коней, а то верблюдов, прикрываясь то его падишахским именем, то именем его генералов. Перечислил, как наказал ему Алшимбай, все поборы перед коронацией.

Хотел написать еще о многом другом, но сил не хватило.

Написал, перечитал и мучительно стал думать: ставить свою подпись или пусть будет письмо «круглым» — так называли в степи анонимные жалобы.

Нет, «круглое письмо» отправлять нельзя — его могут не прочитать. Ну, а если подписать,— не попадет ли он в ту яму, что пытался выкопать для других? Пошлют майыра расследовать, вернется майыр богатым и скажет, что все здесь ложь. А вдруг царский майыр окажется честным? Тогда все будет хорошо.

Вспотев от волнения, он вспомнил Алшимбая, вспомнил свое обещание зарезать барана и твердо вывел:

«Таттимухаммед, сын Казангапа, искать в ауле Нурбике Чанчаровской волости, Каркаралинского дуана».

И еще хотел поставить печатку, которую вместе с кольцом дал ему в дорогу Алшимбай.

Хотел, да раздумал. Ведь печатка была именная, бийская.

Пусть у старика не будет неприятностей, а в случае удачи я скажу: не меня благодарите, а нашего справедливого бия.

...Уже в Омске, сразу после возвращения из Петербурга и Москвы, Таттимбет обо всем рассказал Чокану. Чокан по городскому обычаю обнял музыканта и поцеловал его, исколовшись густой бородой:

— Я очень рад за вас, Татти-ага... Что поделаешь, если письмо не дойдет до царя. Может быть, и так. Но будем верить, что дойдет. Тогда ваши желания исполнятся. Александр не такой злой, как его отец. Александр, думаю, хороший царь.

— Значит, он был в разладе со своим отцом, как ты с Чингизом?

Чокан вместо прямого ответа на вопрос сказал:

— Я много доброго жду от него. Дай бог, чтобы он шел по верному пути.

— Аминь!— скрепил Таттимбет молитвенным восклицанием слова Чокана, но тут же обеспокоенно спросил:

— Чем же все-таки закончится история с письмом?

— Решились вы на этот шаг, наберитесь терпения.— Чокан, по-сыновьи ласково взглянул на музыканта.— Но в трудный день я вас не оставлю. Я не позволю вам одному подставить под удар свою усталую спину. Вместе подымем груз, Татти-ага.

Прежде чем вернуться в свой аул, Таттимбет на пути из Омска заехал к Алшимбаю и рассказал, как выполнил его наказ.

Старый бий даже прослезился:

— Ты родился настоящим джигитом. Я думал, посылаю на байгу слабого стригуна, а ты оказался сильным аргамаком. Пусть ярче разгорается твоя звезда, мой милый. Хорошо, что твои кюи услышал Петербор. Пусть услышит Петербор и твое слово в защиту народа.

С этой поры и Таттимбет и Алшимбай никому не раскрывали своей тайны, только и думали о письме с тревогой и надеждой, боясь даже представить себе, что этот, с таким трудом сочиненный листок может просто затеряться в одном из тысяч столов петерборских канцелярий.

Письмо было событием в их жизни, они считали его своим большим и смелым делом, и Алшимбай ежедневно молился о благополучном исходе, считая свою мечту мечтой всех окрестных казахов.

## Узун-кулак

Еще не повидав Таттимбета, Чокан уже знал, что казахские кюи понравились царю и он похвалил певцов. Узнал он, как и все, благодаря узун-кулаку.

Быстроту узун-кулака сравнивают и с птицей, и с ветром, и с молнией. Сколько бы ни исследовали этот способ передачи новостей, так бы и не докопались, кто его изобрел, кто занимался его усовершенствованием.

Узун-кулак можно изучать всесторонне.

Например, он имеет историческое значение, Да, да — историческое. Все заслуживающие внимания события передавались и современниками и потомками именно с его помощью.

С точки зрения философской узун-кулак — длинное ухо — соединил сообщения из множества коротких ушей отдельных людей в одно пространное обобщенное известие, охватывающее чуть ли не весь степной простор.

В узун-кулаке есть и простой житейский смысл: откуда черпали бы новости жители кочевых аулов, если не было у них ни печати, ни телефона, ни телеграфа, ни школ с грамотными учителями?!

Спору нет, узун-кулак некоторые факты преувеличивал, другие приуменьшал, иногда что-нибудь так подправлял, так перекрашивал, что сам факт становился другим фактом. Но подобные искажения происходили не столь уж часто.

Сам рожденный в народе, он оставил заметные следы в народном сознании.

Как из самого Петербурга узун-кулак доставил известие о наших музыкантах, того Чокан так и не узнал.

Во всяком случае «Северная пчела» со статьей Владимира Даля, посвященной концерту, пришла в Омск значительно позднее. Выдающийся знаток русского языка, знаток казахского быта автор повестей на казахскую тему «Майна» и «Бикей и Мауляна» восторженно отозвался о Даулеткерее и Таттимбете, высоко оценил их талантливое мастерство, справедливо удостоенное золотых медалей.

Чокан радовался этому, как радовался и врученным певцам из царских рук наградам. Он еще смотрел на Александра Второго романтическим взглядом. Наслышанный, что в детстве царь воспитывался известным русским поэтом Василием Андреевичем Жуковским, добрым и даже сентиментальным и в стихах и в жизни, Чокан считал, как и многие другие, что у Александра должна быть нежная душа и,видимо, поэтому он решил уничтожить крепостное право.

Чокан далеко заходил в своих раздумьях и предположениях. Царь не случайно слушал музыку колониальных народов, рассуждал он, и если он оценил наши кюи, наши песни, не оценит ли он справедливо и нас самих? Ведь это может привести к уравнению прав наций, входящих в состав России. Как бы это было бы хорошо!

Чокан вообще любил музыку, в том числе и свою родную казахскую. Вероятно, он не знал слов Абая: «Человек со своего рождения открывает для себя мир музыки». Но Чокану был известен праздник Шильдахана, устраиваемый в честь рождения ребенка. Ему рассказывали, как торжественно отметили родители вместе с ханскими потомками и гостями из обычных аулов его появление на свет. Радовались, что первенец Зейнеп оказался мальчиком. Зарезали кобылицу, пригласили домбристов. Игры и состязания продолжались несколько дней. Но в эти дни вряд ли слышал и тем более воспринимал музыку Чокан. Говорят, ребенок начинает различать звуки только после сорокового дня. И можно утверждать, что первые звуки, дошедшие до младенческих ушей Чокана, были колыбельными песнями Кунсулу.

Поэтому и юношей он называл ее не Кунсулу, а Кунтайапа, мама Кунтай. Как мягко и душевно пела она! Он и мальчиком засыпал под баюкающие мелодии ее песен. Он мальчиком привык, что в Орду часто заезжали музыканты. В детстве ему мечталось стать исполнителем кюев, домбристом, певцом. Но природа отказала Чокану в этом таланте: он не обладал сильным голосом, а пальцы его оказались неловкими и неумелыми. Поговаривали, что в их роду не бывало ни настоящих композиторов, ни исполнителей. Это не совсем так,— родной брат Чокана Кангожа в совершенстве овладел искусством игры на домбре и даже прославился как музыкант.

Так или иначе, Чокан считал, что музыка ему не подвластна, и, уезжая из Орды учиться, даже не помышлял заниматься ею. Однако в кадетском корпусе он увлекался уроками музыки и получил некоторое музыкальное образование. Как помнит читатель, на Атбасарской ярмарке он пытался записывать не только тексты исполнявшихся там песен, но и музыку к ним нотными знаками. Думал отдать их своему преподавателю для обработки, но, к сожалению, и нотные записи были украдены вместе с рисунками.

Пробовал он восполнить как-то потерю в Омске, но сюда приезжало мало хороших исполнителей, и из этой затеи толком ничего не вышло.

И только послушав кюи Таттимбета перед его поездкой в

Петербург, Чокан понял, что перед ним вдохновенный мастер. Все слышанное им раньше не шло ни в какое сравнение с его музыкой, с его игрой.

Вот бы послушали нашего Таттимбета в столице, мечтал Чокан. Теперь эта мечта исполнилась, даже превзойдя свои пределы. Думалось — казахская песня поднялась высоко, высоко, и вместе с ее полетом неизмеримо выросло уважение к ней...

Мечты были сладкими и, увы, обманчивыми.

С нетерпением Чокан ожидал возвращения депутации из Петербурга. Он хотел услышать больше живых подробностей, чем принесли узун-кулак и заметка в столичной газете. Депутаты вернулись, Чокан их стал расспрашивать о концерте, а они только плечами пожимали:

— Да это все одна суета. Ничего значительного не произошло.

Огонек ревностной зависти, вспыхнувшей еще в Петербурге, в пути разгорелся сильнее. Никто из султанов не пожелал умножать славу музыкантов.

Слушая равнодушные ответы, Чокан не стал обижаться. На кого обижаться, зачем?.. Пускай себе степные тузы считают музыку уделом праздных. Это ведь только такие степные тузы могут с достоинством повторять, что из их рода не вышел ни один акын, это они придумали лживую пословицу:

Кто не ленив — тот сапоги сошьет,
А кто бесстыден — песенки поет.

Забыли они, что песня звучит и в честь рождения ребенка, что без песни и праздник не праздник, что песня и раны излечивает и провожает человека в могилу.

Всю жизнь казах неразлучен с песней. В песне запечатлены следы народной радости и народной печали. И тот же узун-кулак передает эти песни не только современникам в ширь пространства, но и потомкам в глубь времен.

Узун-кулак — это длинные и чуткие уши народа. А короткие уши? Короткие уши принадлежат тем, кто дальше мелких забот повседневной жизни ни видеть, ни слышать ничего не хочет.

Вот что такое короткие уши. К ним можно было бы отнести и Чингиза. Что греха таить, временами и он бывал завистлив к чужой славе и равнодушен к песням. К радости Чокана так не случилось на этот раз. Нет, его отец не походил на всех остальных султанов, входящих в депутацию. Сказались перемены последних лет, а, может быть, и растревоженная

песнями память о молодости. Он умел неплохо играть и на казахских и на русских инструментах — домбре, мандолине, гармонике. Негромко, но приятно напевал под их сопровождение. Мать его Айганым в порыве религиозных увлечений властно воспрепятствовала ненужной и даже вредной, по ее мнению, страсти сына. Что же, ему иногда приходилось бывать послушным. Домбру и мандолину он забросил навсегда, но в течение всей жизни остался отзывчивым слушателем музыки. И теперь, во время долгого путешествия в Петербург и Москву, он частенько с удовольствием слушал и своего Таттимбета и букеевского Даулеткерея, порою подразнивая их и заставляя состязаться. Он справедливо относился к ним, не выделяя Таттимбета, как своего, не отличая Даулеткерея, как человека белой кости. Он их полюбил за музыку.

Не только Чокану, но и многим другим искренне и увлеченно рассказывал Чингиз о концерте, рассказывал без поверхностных «прекрасно» и «восхитительно», а о самих кюях, о силе их звучания, о том, как свистел во дворце степной ветер, когда играл Даулеткерей, и как закрывал глаза Таттимбет, представляя мечту джигита.

Другие султаны словно сговорились молчать. Смолчали они и о другом, что их призвали в Петербурге обучаться русской грамоте и отдавать детей в русские школы. Правда, там они согласно кивали головами и даже вслух обещали исполнить эту просьбу. Но в Омске и своих аулах первыми отказались посылать своих сыновей учиться.

Кто вернулся из Петербурга в самом приятном расположении духа, так это Гасфорт. Он стал генерал-адьютантом, что позволяло ему свободно заходить во дворец. Грудь его украсил орден Владимира второй степени на голубой ленте. К тому же его наградили тремя тысячами рублей золотом. Верный своему характеру, он недолго раздумывал, чем отметить эти вскружившие его седую голову почести. Конечно, праздником, притом на широкую ногу! И, не дожидаясь личного отъезда из Питера, послал гонца в Омск с приказом начать подготовку к новым торжествам в степи по случаю коронации.

Генерал, исполнявший обязанности губернатора во время отсутствия Гасфорта был хорошим воякой, знал толк в походах и строевых делах, но как и где проводить праздники — понятия не имел. Он посоветовался с чиновниками, участвовавшими в подобных затеях Густава Христиановича, и всю подготовку к торжествам перепоручил Валиханову.

Не то, чтобы с огромной охотой,— Чокану не очень хоте-

лось отрываться от книг,— но все же он принялся за выработку программы праздника. Прежде всего определил место — горы Бурабая, край озер, хвойного леса, гранитных скал. Там начинал свое ханство его дальний предок Аблай, оттуда утверждал свою власть и пытался распространить свои владения его дед Валихан. В детстве сказочная краса заповедного этого уголка промелькнула перед ним, и теперь он сможет вдоволь на нее насмотреться.

Генерал не стал возражать, а вскоре прибыл и Гасфорт, утвердивший место и время праздника. Во все дуаны срочно разослали приказы о новом тое у подножия Бурабайских гор.

Густав Христианович попутно, как о чем-то малозначительном по сравнению с праздником, сообщил, что царь согласился с предложением Азиатского департамента отложить на некоторый срок путешествие Валиханова в Среднюю Азию, Кашгар. Пока Чокану предложили заняться изучением Семиречья, которое только начинала осваивать Россия. Почти одновременно ознакомиться с новой областью поручили в Петербурге известному географу Петру Петровичу Семенову, и Чокан уже планировал встречу с ним в Семипалатинске, чтобы присоединиться к одному из его маршрутов или, по крайней мере, посоветоваться по поводу своей будущей большой поездки.

Но все это еще было далеко впереди, а пока Чокан набрасывал по карте линии своего собственного пути на гасфортовский праздник, стремясь побывать во всех шести дуанах сибирских казахов. Пути получались кружные, но увлекательные. К Бурабаю вела дуга через Баян-аул, Каркаралы, Кокпекты, а обратно он решил возвращаться через горы Чингиза, Аягуз, Прибалхашье. После переправы через реку Чурубай-Нуру добраться до Ишима и дальше берегом Кулайгыра держать направление на отцовскую орду.

Осуществить такой план не представляло больших затруднений, но неожиданно Чокан оказался в плену новых тяжелых обстоятельств. О них Чокану принес известие все тот же узун-кулак. Наркыз, дочь Кожыка, бесстрашная и пленительная Наркыз бросилась в реку, свела счеты с жизнью.

Весь многочисленный род уаков взволновался и глубоко опечалился. Многие акыны откликнулись на смерть девушки прощальными песнями-естирту. Прославленный кобызист Среднего жуза из рода уаков Дайрабай сложил хватающие за душу кюи — «Рано ты ушла, сестра» и «Утонула наша дорогая». Узун-кулак передавал, что их нельзя было спокойно

слушать и вслед за кюями люди могли произносить только молитвы.

Чокан терзался. В его ушах звучали скорбные мелодии песен. Ему казалось, что он виноват в ее смерти. Ведь он обещал Наркыз остановить своего отца, обещал заступиться за Кожыка. Но он не смог сдержать своего слова, потому что слышал, как стоял в аулах плач после набегов барымтача. И все-таки... Чокан не мог успокоиться, не побывав на месте событий, не услышав, как жила Наркыз все последнее время. Значит, предстояло изменить маршрут поездки в Бурабай, составленный им же и уже подписанный Гасфортом.

В те самые дни, когда Чокан зашел в тупик, раздумывая, как же сказать обо всем этом генералу, к нему от отца примчался Жайнак, сообщил о болезни матери и передал просьбу родителей срочно приехать в аул.

Мать действительно болела. Она располнела, часто задыхалась, жаловалась на боли в сердце. Недавно сердечный приступ уложил ее в постель, и она боялась, что больше не встанет. Но приступ прошел, боли прекратились. Когда же она узнала, что сын выезжает в степь длинной круговой дорогой и может не побывать дома, ее взяла в тиски жестокая обида. Как только Канашжан не понимает, что я истосковалась по нему, подумала она, и велела ему сообщить о своей тяжелой болезни.

Жайнак, излагая просьбу матери, сказал всю правду, чтобы избавить Чокана от лишних волнений. А Чокан, в свою очередь, сказал Гасфорту только о болезни Зейнеп, умолчав о ее выздоровлении.

Гасфорт досрочно отпустил Чокана в Орду, предоставил ему возможность распоряжаться своим временем, но предупредил, что он не должен опаздывать в Бурабай и там, на месте, обязан взять в руки подготовку к тою:

— А мать ты успокой, дай бог ей здоровья!

Чокан на следующий же день отправился в дорогу, взяв с собой одного Жайнака.

Друг детства не узнавал Чокана. Куда девалась его мягкость и сговорчивость, он стал резким, себялюбивым, скрытным. Жайнак недоумевал, почему они из Омска поехали не напрямик к джайляу Кулайгыр, где сейчас расположилась Орда, а через Петропавловск и вдоль Ишима. Чокан грубо оборвал миролюбивый вопрос Жайнака:

— Не твое дело, рыси себе и рыси, да помалкивай.

А сам думал о том, чтобы скорее добраться до аула Кожыка, до тех мест, где был его аул и разузнать, как же все

произошло. И только после этого встретиться с матерью и отцом.

Так они и ехали: впереди Чокан, а за ним на почтительном расстоянии, словно решивший молчать всю дорогу, обиженный, сгорбившийся в седле Жайнак.

## Власть печального кюя

Весь долгий путь берегом Ишима Чокан оставался хмурым, неразговорчивым. Его обычно открытое лицо было непроницаемым. Даже оделся он скромно, по-дорожному, и не каждый смог бы признать в нем офицера.

Если кто и догадывался о цели его поездки, так это Жайнак. Ловкий, сообразительный, не теряющийся в любом положении, умеющий, как говорится, проскользнуть через колечко, он после первой неудачной попытки не приставал больше к Чокану с расспросами и не стремился его развлекать.

Но и дорога через Кзылжар, избранная молодым султаном, и давние разговоры, ходившие в народе после ярмарки в Атбасаре о том, что сын Чингиза встречался с дочкой Кожыка, и совсем недавний узун-кулак о смерти Наркыз, и скорбный кюй Дайрабая «Рано ты ушла, сестра», дошедший до Орды, и прежде всего само настроение Чокана убеждали Жайнака: их поездка, отклонение в сторону от отчего джайляу связана только с Наркыз. Но почему так замкнут Чокан, так расстроен? Почему он думает о погибшей Наркыз, а не о живой Айжан? На эти вопросы Жайнак ответа не находил. Он знал, что сверстника его детских игр в народе считали слишком влюбчивым, но до сих пор он не придавал этому значения.

А в душе Чокана звучали отголоски прощального кюя. Он его слышал только в отдельных отрывках, и лишь воображение рисовало ему картины, одну печальнее другой. Мысленно он разговаривал сам с собой, и даже не с собой, а с Наркыз. Вспоминал все короткие и такие разные встречи с ней. Гордую девушку, метко стрелявшую из лука. Девушку, вскружившую ему голову на качелях алты-бакан. Убитую горем дочь Кожыка, схваченного солдатами и уже доставленного в Омск вместе с сыновьями перед ссылкой в Сибирь. Вспомнил свое прежнее обещание Наркыз заступиться за ее отца. Вспомнил, как побывал в доме, где остановилась в городе Наркыз. Уже и след ее простыл, а равнодушный хозяин не стал вдаваться в подробности, убежденный, что встреча с Чоканом не сулит ей ничего доброго. Вспомнил Чокан и ту ночь в Кяхте, когда его подстерегал Ескара.

Была у Чокана еще одна встреча с Наркыз, такая горькая, что он стремился изгнать ее из памяти...

Теперь, оставив Чокана в пути, расскажем, что же произошло с Наркыз.

...Когда отца и братьев захватили в ауле солдаты и связанными повезли в широкой армейской телеге в город, родные и близкие побоялись их провожать. И только одна Наркыз приехала с ними в Омск. Вначале она бежала за трусившими рысцой лошадьми, не обращая никакого внимания на окрики и угрозы командиров. Уже потом урядник пожалел девушку, покоренный ее храбростью и настойчивостью, и разрешил ей сесть в телегу.

Измученный отец ласково и твердо взглянул в глаза дочери:

— Ты родилась девочкой, но я тебе дал имя Нара — одногорбого верблюда, чтобы ты была мужественной, терпеливой. Ты оправдала мои надежды. Будь и впредь такой. Умоляю тебя, приказываю: не преклоняйся перед врагом, не топчи свою гордость.

Слова отца Наркыз запомнила как знак, вырубленный на камне. Она не обратилась к Чокану, хотя он и мог бы ей помочь. Чокан был сыном Чингиза, ханским потомком, и, значит, ее врагом.

Наркыз порывалась уехать с отцом и братьями в ссылку, в края, где ездят на собаках. Но их отправили по этапу, отправили незаметно. Как она ни просила, ей даже не показали направления, куда их повели. Что ж, пришлось возвратиться домой со случайно подвернувшимися попутчиками.

В родной степи она не пошла куда глаза глядят, не пошла и в свой аул. Путь ее лежал к полесью Чагалака, где жил сын Медебая, Кульгара, за которого она была сосватана еще в детстве. Преданный ей, тихий с виду, невежественный и дурной характером Кульгара не нравился девушке. Когда дома все еще было в порядке, она твердо решила не выходить за него замуж, но теперь ей показалось кощунством нарушить отцовское благословение. Покойный Медебай до самой своей смерти дружил с Кожыком, и Наркыз думала, что поступит правильно, связав свою судьбу с Кульгарой. Не память Медебая чтила она — благословение отца.

Вскоре она добралась до аула и тихонько вошла в дом Кульгары. В полесье Чагалака, находившемся в стороне от больших степных дорог, ничего не знали о несчастье, свалившемся на голову Кожыка и его сыновей. Не знал ничего об этом и Кульгара. Он давно хотел видеть Наркыз своей же-

ной, сопровождал ее в поездках то ли в качестве жениха, то ли просто джигита. В последнее время он разуверился в своей невесте, понял, что она не желает быть с ним.

И вдруг перед ним Наркыз. Он был удивлен и обрадован.

— Слушай, Кульгара,— сказала она ему без предисловий,— если хочешь, чтобы я стала твоей женой, приезжай завтра ночью в наш аул и без шума увези меня. Выкради!.. А пышной свадьбы у нас не будет — обойдемся без нее.

Кульгаре оставалось только повиноваться. Так Наркыз породнилась с домом Медебая.

Родство это продолжалось, однако, недолго.

Тихий Кульгара, Белобровый, как называли его вокруг за светлые брови, выделявшиеся на смуглом до черноты лице, оказался на редкость вздорным человечишкой. Он не посмотрел, что она сама, если разобраться, пришла к нему, начал припоминать прежние свои обиды, ругаться, то и дело пускать в ход кулаки.

Может быть, Наркыз и снесла бы это. Мало ли как в аулах не издеваются мужья над своими женами. Удел казахской женщины — молча терпеть. Но однажды гордость Наркыз была окончательно втоптана в грязь.

Случилось это во время осеннего переезда аула с джайляу на зимовку. Зимой Кульгара жил отдельно от родичей, от братьев в лесу по соседству с русским селом, а летом пасли скот и переезжали вместе. Спор между родичами разгорелся по пустякам, из-за шалостей детей. И во время спора Наркыз услышала, как Кульгару укоряют младшим братом по отцу от молодой жены Медебая. Дескать, этот мальчишка, которого называли забавным именем Мук вовсе и не брат ему, Кульгаре, а родной его сын. Дескать, Медебай глядеть не хотел на него, никогда не признавал своим.

Вот ты какой, разгневалась Наркыз. И с неумолимой решимостью потребовала от мужа ответа — так это или не так. Припертый к стенке Кульгара возражать не стал. Он ответил побоями и такими оскорбительными ругательствами, что дальше идти было некуда. Он не пощадил сосланного отца Наркыз и тоже облил его грязью. Этого Наркыз ни забыть, ни простить уже не смогла.

Наркыз задумала отомстить и отомстить жестоко.

Они в это время перебрались с джайляу в дом с печным отоплением. По ночам было уже холодно. С вечера Наркыз хорошо протопила печь кизяком, подбавила в кумыс для мужа белены, и когда он заснул без памяти, закрыла дымоход и ушла, накрепко захлопнув двери.

Кульгара так и не проснулся. Убедившись, что он мертв, Наркыз покинула полесье Чагалака. Оставаться ей здесь или даже уйти в соседний аул было нельзя. Родичи Кульгары, конечно, посчитают ее единственной виновницей смерти брата и тут же расправятся с ней.

Наркыз боялась не только наказания, даже смерти, сколько жестоких надругательств. Пускай уж лучше русские судят ее по закону. Закон справедливее и мягче казахских обычаев. Так она пришла в соседнюю казачью станицу Петровскую или Акжар, Белый овраг, по-казахски. Пришла в станичное правление и все рассказала, не утаивая правды. Ее выслушали и быстренько отправили в Омск. Суд рассудит, пусть уж там разбираются. Так Наркыз поместили в крепость до окончания следствия.

Здесь наступило время открыть страницу памяти, которая больше всего страшила Чокана. Да и мы, признаться, до сих пор умалчивали о ней в нашем повествовании.

После возвращения из Сибири Гасфорт вновь поручил Чокану ознакомиться с тюремными делами. Неожиданно он обнаружил папку по делу Наркыз, дочери Кожыка, пришедшей с повинной по поводу убийства своего мужа Кульгары, сына Медебая.

Сам не свой, он тотчас поехал к начальнику тюрьмы и суховатым любезным тоном, подавив охватившее его волненье, попросил устроить ему встречу с заключенной. Начальник тюрьмы, не доискиваясь причин, рад был оказать адьютанту генерал-губернатора эту пустячную, с его точки зрения, услугу.

— Может быть, вас оставить вдвоем?

— Как вам будет угодно... Я лично не настаиваю.— Отвечал Чокан безразличным тоном, содрогаясь от мысли, что начальник тюрьмы останется на их встрече. К счастью, этого не случилось.

...Конвоиры ввели Наркыз и вышли. Чокан сперва просто ее не узнал. Но сверкнули прежние, только глубоко запавшие глаза и жалкое подобие улыбки на миг осветило ее лицо. Сквозь рваное платье из мешковины темнело худое тело. Так, должно быть, одевали раньше казахи женщин-преступниц, заворачивая их в черную кошму-кебенек и сажая задом наперед на черного ишака или черную корову. И возили для посрамления из аула в аул.

Кто черный саван одел
Не возвратится вовек.

Вернуться с позором — удел
Того, кто одел кебенек.

Исхудавшая, измаявшаяся Наркыз... Как выступают скулы на лице, как обтянут кожей подбородок. Косточки видны, а шея стала тоненькой, тоненькой. Чокан растерялся, жалость переполнила его. Он только и смог сказать, показав на мягкое коричневое кресло:

— Садись, Наркыз!

Первым чувством, овладевшим женщиной при встрече, было удивление. И зачем ее привели именно к нему? Удивление тут же сменилось раздражением и злостью. Перед ней сидел враг отца, ее враг.

— Я уже устала сидеть, мой торе. Если тебе есть, что мне сказать, я могу выслушать и стоя.

А что ей мог сказать Чокан? Все ясно и так. Вполголоса он произнес первые пришедшие на ум слова:

— Просто захотел повидать тебя, Наркыз.

— Ну, гляди, гляди. Вот я вся перед тобой. И жизнь у меня теперь такая, как я. Что тебе надо еще посмотреть или услышать?

— Ничего мне не надо, Наркыз. Только я жизни, не смерти желаю тебе. Не могу и думать о твоей смерти. Понимаешь?

— Жизни, жизни... Да разве можно так жить?

— А если попытаться тебя освободить из тюрьмы?

— Освободить. А куда я пойду тогда?

— Потом подумаем... Жизнь подскажет...

— Вот ты твердишь, торе, «жизнь, жизнь...» А я тебе повторяю — нет у меня жизни... В скелет заживо превращаюсь, могильную землю чую. Нет, ты меня лучше не освобождай. Ни мне этого не надо, ни тебе. Понял?

— Не совсем. Объясни, Наркыз.

— Что тут объяснять? Я останусь в живых, ты умрешь. Понял хоть теперь?

Чокану тяжело было слышать все это, но он насильно рассмеялся.

— Почему ты смеешься, торе? Ничего смешного не нахожу.

— Ведь ты, Наркыз, говоришь неправду. Нельзя тебе верить.

— Я же ясно сказала: ты меня освободишь, а сам умрешь. Ты что — в воде не тонешь, в огне не горишь, пуля тебя не берет, сабля не режет?

— Неужели ты серьезно решила меня убить? — Чокан

опять насильно улыбнулся.— Спорить готов, что нет. И я найду способ освободить тебя. Делай потом, что хочешь. А сейчас ты вернешься в свою камеру. И не удивляйся, если тебя скоро выпустят.

Наркыз продолжала стоять, пошатываясь от усталости. Много она передумала за эти минуты. Еще вчера она, казалось бы, твердо знала, что вспыхнувшее тогда в Атбасаре чувство к Чокану давно погасло, что любовь сменилась непреодолимым желанием отомстить за отца и братьев, пролить ханскую кровь. Когда она осталась с ним вдвоем в кабинете, она уже мысленно видела, как расправляется с врагом. Но вот прошло немного времени — и ей уже стало жаль молодого, вспыльчивого, насмешливого торе с такими добрыми и понимающими глазами, которые пронизывают тебя, волнуют, излучают тепло.

— Пока прощай, Наркыз.— Чокан встал и шага на два приблизился к ней.— Если тебя выпустят, а я уверен, что это будет, ты обязательно найди меня. Прежде всего тебя надо одеть, а уж потом поговорим...

...Расставшись с Чоканом, Наркыз еще продолжала думать об убийстве, даже соображала, где найти нож, чтобы припрятать его под полой. Но мысли эти уступали место другим. Сердце женщины, пусть измученной, изголодавшейся, рвалось к ханскому потомку с новой силой.

Чем же все это кончится, размышляла она в камере, не глядя на других арестанток, не отвечая ни на какие их вопросы. Потянуться к нему? Но ведь Чокан был недостижим, как недостижимы звезды на небе. На что она может надеяться? Что можно придумать? Ничего! Нет, она не убьет Чокана. А за что его убивать? И разве можно убивать свою собственную мечту? Но и видеть его больше она не должна. Лучше уж самой умереть...

...Чокан сдержал свое слово. Ее действительно вскоре освободили. Должно быть, он сумел доказать что обезумевшая от горя Наркыз наговорила на себя. Свидетелей убийства не нашлось, и дело закрыли: много еще темного в аулах.

Наркыз зашла в дом, где обычно останавливалась, раздобыла кое-какую поношенную мужскую одежонку, выбралась на петропавловскую дорогу, и вскоре ее взяли к себе в арбу какие-то казахи, направлявшиеся в соседние с аулом Кожыка края.

Попрощавшись со своими попутчиками, Наркыз добралась до родных мест. Слухи о гибели отца и братьев подтвердились. Но Ескара, оказывается, скрывался здесь. Сородичи пря-

тали его от властей и помогли сестре встретиться с братом. Ескара пас табун лошадей у богатого бая Оте. Он очень обрадовался Наркыз, старался привести ее в чувство, подкормить, одеть. Но сестра, узнав, как погибли в лодке отец и братья, как скитался по тайге Ескара, горевала еще сильней. Ей больше не хотелось жить.

Однажды в светлую ночь она поехала с Ескарой сторожить лошадей. Ночные выпаса находились там, где речушка Акан Борлык впадала в Есиль. На слиянии рек шумел водоворот, а над ним подымалась каменная стена оврага, гладкая, словно вырубленная руками человека. Гребень этой стены зарос густой арчой. Глухой этот уголок называли Куз-кия. Говорили, что там водится много змей.

Наркыз облюбовала Куз-кия для постоянных прогулок. Ее не пугали ни густые заросли, ни рассказы о змеях.

— Что ты ходишь туда, милая?— с тревогой спросил однажды сестру Ескара.

— А вот пойдем со мной,— ответила Наркыз.

Они взобрались вместе на гребень Куз-кия.

— Смотри,— сказала сестра брату,— видишь, какой простор раскрылся. Вот там наши джайляу на берегах Койбагара и Жасылбагара, когда-то там стояли юрты, и мы беззаботно резвились. Не вернется наша прежняя жизнь.

Ескара тяжело вздохнул. Он тоже неузнаваемо изменился, как и сестра. Считали его прежде в семье безропотным, поручали ему самую неблагодарную работу — то доить кобылиц, то варить курт и взбалтывать кумыс, а то и кизяк собирать для топлива. Терпенье в этой семье не почиталось высоким качеством, не ценили в нем и добродушие, и молчаливость.

И только отец говорил:

— Погодите, дети, наш Есим — отец так называл сына, отбрасывая «кара»,— наш Есим всех вас обойдет. Знаете присловье:

Мяч и асыки истомят вконец,
Закон удачи жизненной суров.
Кто ест курдюк и кто пасет овец,
Обгонит истощенных игроков.

Он будет хозяином родовой крыши, и скот у него будет.

Кое в чем отец, сам игрок в жизни, ошибся. Родовая крыша оказалась разрушенной, не стал Ескара хозяином. Но обычаи семьи Кожыка берег, обрел гордость, решительность, желание и готовность отомстить.

— Послушай, Наржан,— говорил он сестре,— наш род

уничтожили ханские потомки. Не так ли? Вспомни только... Если бы Кенесары не разорил нашего деда Макаша, не угнал его скот, отец бы не сел на коня барымты. Правду я говорю?

Наркыз согласно кивала головой. Она это знала и раньше, знала не хуже, а, быть может, и лучше Ескары.

— Значит, правду говорю. Значит, ты понимаешь, сестра, и то, что отец барымтой мстил ханским потомкам, мстил несправедливо разбогатевшим. А его называли вором Кожыком. Подросли дети в гнезде, оперились и уже не могли спокойно сидеть дома. Рыскали по степи с отцом.

— И только ты, Ескара,— прервала брата Наркыз,— был единственным среди нас, ждущим добра от бога.

— А как меня отблагодарил бог!— угрюмо сказал Ескара.

— Да хоть тем отблагодарил, что оставил тебя живым.

— Сестра, сестра... Что толку в такой жизни? Я только об одном и думаю, об одном доверяю своей подушке, а теперь доверю тебе. Понимаешь, о чем?

И тут Ескара подробно рассказал про свое бегство из тех краев, где ездят на собаках и умирают от цынги, побоев, ледяного холода и жестоких бурь. Рассказал, как задержался в одном городке, где потеплее, и занимался привычным делом — пас овец. Как встретил офицера, сына Чингиза, и задумал его убить. Рассказал, и почему из этого ничего не вышло.

До чего же совпадали наши желания, с болью отметила про себя Наркыз. Что же тут удивительного: ведь чувство мести проросло из одних зерен, на одной почве. Только у Наркыз побеги мести высохли, потеряли силу, а у Ескары шли в рост с каждым днем. Сестра смотрела на него и убеждалась — не может он успокоиться. Он весь изогнут и заострен, как сабля. Но она, пожалевшая и полюбившая Чокана, не должна позволить брату его убить. А как это сделать? И снова ею овладело чувство безнадежности: она должна умереть.

Пусть ее могилой станет водоворот под скалой Куз-кия. Дна не видно — глубоко. Она здесь купалась. Прыгнуть с утеса в воду — и конец. Только вот беда — выросла она на берегу реки и плавает, как рыба. Может и так произойти, что всплывет измученная и, сама того не желая, возвратит себе жизнь. Значит, надо сделать так, чтобы наверняка утонуть.

В ясный и теплый вечер она поднялась на Куз-кия вместе с братом. О том, что происходит у нее в душе, она не выдала и намеком.

— Месяц-то сегодня светлый, как молоко. Присядем, брат, посмотрим вокруг.

Наркыз пристроилась на самом краю скалы, свесив ноги в обрыв. Ескара прилег чуть в сторонке. Вспоминали о пережитом и вслух и молча. Любовались степью в свете неполной луны, находили знакомые с самого детства холмы и овраги.

Думалось, почему же эта красота, освещенная то солнцем, то месяцем, одаривает не всех своими радостями. Почему одним — весь дивный степной простор, другие не могут найти места на земле? Почему одним — все беды на голову, другим — беззаботное счастье?

Наркыз продолжала размышлять про себя, и вдруг услышала похрапывание Ескары. Заснул от горьких мыслей. А если заснул, то его и гром не разбудит. В их нынешней жизни повелось так: когда брат засыпает, сестра уходит от него подальше, чтобы он не мешал ей. Значит, и теперь, думала Наркыз, он не станет ее искать, когда проснется. Кстати, она сказала Ескаре в этот вечер, что собирается навестить своих родственников по матери, живущих невдалеке.

Тем временем луна скатилась к юго-западу, ее красный щербатый диск касался горизонта. Заметно потемнело. Брат окончательно погрузился в сон. Ей стало жалко брата с его одинокой трудной судьбой. Ей стало бесконечно жалко брата еще и потому, что с ней ему стало горше, чем одному, а одному теперь будет совсем тяжко. Однако то, что ему предназначено перенести — он перенесет и без сестры.

Но пора действовать. Перед рассветом Ескара может проснуться. Спит он крепко, высыпается быстро.

С детства у нее была привычка перепоясываться ремнем.

Встретившись с Ескарой после возвращения из Омска, она подобрала у него волосяной аркан и туго перехватила себе талию. Тебе же больно, говорил брат. Но она только посмеивалась и не расставалась с арканом ни днем, ни ночью. Так вот когда он ей пригодится в последний раз!

Наркыз мгновенно сняла аркан. На один конец его крепко привязала примеченный еще при луне увесистый камень. Сделала петлю и накинула аркан на шею. Движения ее были спорыми, но не суетливыми. Легким толчком она сбросила камень с обрыва и едва ли не в ту же секунду без вскрика, бесшумно сорвалась в воду. Только сыч, сидевший в углублении скалы, видел, как упала она. Едва слышный двойной всплеск... Извивающееся тело Наркыз достигло речного дна и успокоилось рядом с камнем.

...Ескара проснулся на рассвете, оглянулся вокруг. Ни сестры, ни ее одежды не было. Ну что ж, простодушно решил он,

Наркыз действительно отправилась к родственникам. Пускай отдохнет. Еще он подумал, что и ему следует проведать их.

О гибели сестры он узнал несколькими днями позже. Об этом узнали ближние и дальние аулы, узнал и Омск. Пришла эта весть и к Чокану. А ведь прошло немногим больше месяца после ее освобождения из тюрьмы.

Кажется, совсем недавно он пробовал ее найти, но она исчезла так же внезапно, как и появилась.

Встречу ли я Алпамыс?
Не встречу я Алпамыс.
Придешь ли на тайный той
Ты пировать со мной?—

повторял Чокан слова полузабытого сказания. Что она думает сейчас обо мне, смелая эта девушка? Неужели она и теперь видит во мне только сына моего отца?...

Но возвратимся к Чокану там, где мы его оставили,— на пути из Омска в Кзылжар-Петропавловск и дальше в степь.

К югу от Ишима разбросано множество зимовок, обычно пустующих в это время, потому что аулы откочевывают на джайляу к горам и только семьи сторожей, да и то не везде, остаются здесь охранять жилье.

Пока они продолжали ехать вдоль реки. Ишим после весеннего половодья уже вошел в свое обычное русло. На заливных лугах, на их влажной и жирной почве выросла высокая — по пояс человеку — густая и сочная трава. Скосить бы ее — тысячи скирд возвышались бы на пути, но косят траву лишь редкие одиночки. А если кочевники временами и выпасают здесь скот, то ведь на это требуется не так уж много пастбищ и, в общем, травы остаются в своем первозданном состоянии. Травы растут и растут, стебли их перепутываются как в джунглях, начинают гнить после осенних дождей и тем самым обогащают почву. Каждой новой весной трава растет еще гуще, еще стремительнее, и столько ягод — земляники и костяники — появляется здесь летом! Сладкий аромат ударяет в ноздри, кружит голову, берет тебя в плен. А когда к нему еще примешивается кисловатый запах дикого лука,— все побережье Ишима источает духовитые волны, и человеку кажется, что он плывет в ароматном плотном море. Но не только пойменные луга притягивают своими дарами, также щедры леса и перелески Приишимья: вдоволь в них и смородины и других ягод.

Чокан и его единственный спутник Жайнак не запаслись пищей ни в Омске, ни в Кзылжаре, хотя им предлагали и

копченое мясо и отличный курт, сухой сыр, не портящийся в пути.

— И у волка, и у смелого джигита — пища на дороге,— пошучивал Чокан,— соль у нас есть, котелок тоже, да и ружья прихватили.

В Карасу, в Черной воде непролазных озер, оставшихся после схлынувшего половодья и заросших камышом, в изобилии водились утки и гуси. Они не боялись людей. Меткий стрелок Жайнак, разреши ему Чокан, брал бы их сотнями, но ограничивался в пути двумя-тремя птицами.

А захочется рыбы — и она кишмя кишит в озерах.

Чокан удивлялся богатству приречного края. Наступит ли время, думал он, когда человек воспользуется всеми этими благами?

И на правом, и на левом берегах сиротливые зимовки дожидались возвращения с джайляу своих хозяев. Разбросанные как попало срубы и землянки неприветливо темнели закрытыми окнами. Только в богатых зимовках у мечетей оставались сторожа. Они, соскучившиеся в одиночестве, чистосердечно радовались путникам. Некоторые сторожа сразу узнавали Чокана, другим его имя становилось известным после первых же расспросов. Он был для них самым дорогим гостем. Они стлались перед сыном Чингиза постелью, готовы были лечь подушкой под его голову.

— В ханском роду чаще бывают горделивые люди, а наш Чокан мягкий, как хорошо обработанная кожа. Живи, милый, долго! Ты не только отца уже в пятнадцать лет осчастливил, но и для народа рожден,— говорил ему один из таких сторожей, говорил искренне, от души и, тем не менее, так и этак стремился узнать о цели поездки молодого султана.

Но Чокан не проговаривался, и любопытство стариков оставалось неутоленным.

Они продолжали путь, и ласточки, истосковавшиеся по людям, сновали вокруг них, едва не задевая крыльями лиц.

Порой приходилось ночевать не в зимовках, а прямо в лесу, у воды. В год хорошей травы, говорят, бывает много комаров. Примета эта нынче оказалась верной. Но Жайнак не позволял комарам кусать Чокана. Он собирал хворост, кизяки, сухой камыш и обкуривал дымом ночлег, следил даже ночью за дымокуром. Чокан недоумевал, когда же Жайнак успевал высыпаться. Ведь он не дремал и в седле.

Когда-то в детстве любивший слушать рассказы старших, Жайнак сам теперь любил развлекать других рассказами, кюями, песнями, которых знал превеликое множество. Голос

Жайнака не отличался особой силой, но пел он приятно, с душой, сопровождая песни довольно искусной игрой на домбре.

Жайнак мог говорить или петь и за дастарханом, и в седле, и ощипывая убитую птицу. Всячески ублажая Чокана, он шел на сближение с ним, и Чокан уже не уклонялся. Только в одном он оставался совершенно неуступчивым — не допускал разговоров о своих личных делах, особенно о женитьбе. И зачем это тебе нужно,— сказал он однажды с раздражением, и с той поры Жайнак ни прямо, ни намеками не касался запретной темы.

Однако Чокан не мог ему запретить наблюдать и раздумывать.

Ах, как любят развлекаться все эти аристократы — торе, рассуждал про себя Жайнак. Уж на что поседел Чингиз, и тот еще косится на красивых женщин. А молодые просто не знают меры. Взять хотя бы Жакыпа. Он испортился чуть ли не с пеленок, не пропускает ни одну девушку, красную лицом. Одних подчиняет силой, других — карманом, третьих — хитростью. Чаще всего ему это удается.

Но вот Чокан совсем не такой. Он не джигитовал ни в Омске, ни в Кзылжаре. Сколько девушек встретилось им в доме Петропавловского купца Данияра! Привлекательных, стройных, разодетых, светящихся и золотыми украшениями, и собственной молодостью. Как они на него посматривали, как они его приманивали, заручившись, должно быть, согласием родителей! А он только хмурил брови и обдавал их холодком отчуждения.

Теперь они ехали почти безлюдной дорогой, но у каждого из оставшихся на зимовках сторожей были дочери, среди них попадались и хорошенькие, бросавшие на Чокана веселые обещающие взгляды, а он продолжал себя вести строго и серьезно.

— Почему же так?— задавался мысленно вопросом Жайнак, считавший себя проницательным в сердечных делах.— Наверное, любовь к одной единственной не позволяет ему смотреть на других. Но кто же она?

Прежде Жайнак думал, что это — его сестренка Айжан. Но если эта любовь и была, то теперь потускнела. Ходили какие-то слухи о дочери помощника жанарала. Верить им или нет? О других увлечениях Чокана он что-то не слышал. Хотя...

Жайнак стал примечать, что на остановках в пути Чокан чаще всего напевает мелодию кюя Дайрабая об утонувшей девушке. Жайнак сам хорошо запомнил этот кюй и даже как-то исполнял его Чокану. Тогда же он рассказал ему, при

каких обстоятельствах сложил его кобызист. Странно, что он, Жайнак, сразу не обратил внимания на побледневшее лицо Чокана. И вот только теперь, слушая, как Чокан с тоской напевает одно и то же, Жайнак начал догадываться, что смерть Наркыз имеет прямое отношение к их поездке. Припомнился и отзвук давнего узун-кулака о близости Чокана и Наркыз, хотя именно в тот год Жайнак не придал ему значения. Но весть о том, что Чокан освободил Наркыз из тюрьмы, показалась ему же достоверной. С какой стати он принимал бы участие в судьбе Наркыз, если бы она была ему безразлична? Но теперь она в могиле. Зачем же ехать? Узнать подробности ее смерти? Но это ничего не изменит. Ясного ответа на свои вопросы Жайнак не находил. И напрасно, вызывая Чокана на откровенность, он к месту и не к месту сам наигрывал ему кюи Дайрабая, наигрывал как можно точнее и ярче.

Тем временем они приближались долиной Теренсая к холмам, известным под названием Карагайлы, где находился аул батыра Нашана из рода Балта-Кереев, сверстника и спутника хана Аблая в его боевых походах.

Русские казаки из станицы Дубровной еще при жизни Нашана согнали аул с обжитых предками земель.

Нашан искал себе зимовку подальше от русских казаков и переселил свой аул в густой лес на берегу Ишима.

Вокруг находились зимовки других родов — Уаков, Атыгаев и Караулов. Они считали эти места своими и вступили в борьбу с Нашаном. Шумели, спорили, даже угоняли скот. Упорный аул на угон отвечал угоном, на камчу — камчой, на палки — палками.

Распря дошла и до сына Нашана — Тегиса. Суд биев не привел ни к чему, и обе стороны стали искать защиту у русских законов. Тегис начал доказывать, что его зимовка расположилась на исконных родовых землях, потому что на холме Карагайлы находится могила бия Токсана из кереев.

Тут дело о спорной зимовке попало, наконец, в руки старшего кокчетавского султана Чингиза, который решил его в пользу кереев и присудил земли вокруг зимовки Тегису. Чингиз был целиком на стороне сына батыра Нашана, соратника своего могущественного деда Аблая.

Однако распри на этом не прекратились. Если уаки и атыгаи и не могли согнать немногочисленных кереев, то причинять им всяческий ущерб вплоть до пожара было в их силах. Поэтому аул Нашана даже не выезжал на джайляу, оберегая свои дома и свой скот. В пору поездки Чокана аул чуть съехал в сторону к возвышенности, где было поменьше оводов и ко-

маров. Тут они пасли и свой скот. Сказать откровенно, у Тегиса и трех его сыновей — Бабака, Козыбая и Жантели — и овец-то было немного — только-только хватало на мясо, и лошадей не больше ста, а верблюдов и того меньше. Да и то половина всего скота принадлежала старшему и самому прижимистому Жантели.

Тегис был уже совсем старым, но по-прежнему верховодил сыновьями. Когда его достигла весть, что путь Чокана проходит через их аул, он собрал домашних и сказал:

— Цыпленка из рода Аблая надо встретить с почетом. Мой отец Нашан дружил с Аблаем и от его внука Чингиза мы видели только хорошее.

О юрте споров не возникло. Новая юрта под новой кошмой и вдобавок уютная внутри принадлежала в ауле недавно женившемуся Козыбаю. Он, конечно, охотно отдаст ее Чокану, но хорошо попотчевать гостя из ханского рода, офицера белого царя, у него не было возможности. Не об овечке шла речь, а о том, чтобы прирезать жирного жеребенка-стригунка. У Козыбая, как и у Бабака, были, как говорится, открытые ладони, но худы больно жеребята — их привязывали при дойке кобылиц. Жантели — другое дело. У него в табуне водились необъезженные двухлетки, но старший брат не хотел выпускать их из рук. Он долго выкручивался и сдался только под напором отца.

Тегис особенно радовался и тому, что приезд дорогого гостя совпал с приездом и его племянника — кобызиста Дайрабая. Впрочем, Дайрабай оказался здесь не совсем случайно. Он хотел повидать Чокана еще во время атбасарской ярмарки, но тогда разминулся с ним. Теперь он вдвойне желал встречи, прослышав об игре казахских музыкантов в Петербурге, в царском дворце и о том, что Чокан собирает их. Дайрабай едва не уехал в Омск, но тут в степи заговорили о празднике всех шести дуанов в Бурабае по случаю коронации царя и награждения омского большого жанарала. Туда, к подножью скалистых гор и устремился Дайрабай, чтобы послушать прославленных песнетворцев и исполнителей и посостязаться с ними. Надеялся он, что и Чокан оценит его игру, его кюи. А теперь, как говорят набожные люди, аллах посылает ему на землю то, что он вымаливал от неба. Как удачно пересекся его путь с путем Чокана в ауле Нашана.

Дайрабай сомневался лишь в одном: понравятся ли Чокану кюи, сложенные на смерть Наркыз? Ведь ханские потомки принесли одни страдания ее роду. Не подумает ли Чокан, слушая эти кюи, что я обвиняю и его. Может быть, лучше про-

молчать? Разве нет у меня в запасе других песен, не таких печальных, но таких же прекрасных?

И все же сделать окончательный выбор Дайрабай решил после приезда Чокана.

Чокан появился в ауле Нашана, где его ждали с нетерпением, растроганный не столько радушным приемом, сколько встречей с Дайрабаем. И если музыкант сомневался, играть ли кюй памяти погибшей Наркыз, то Чокан только и думал о том, как бы потактичней попросить Дайрабая исполнить его. Он даже не рискнул сам обратиться к музыканту, а поручил это расторопному Жайнаку.

Так отпали всякие сомнения Дайрабая.

Под вечер, когда уже обозначалась в небе молодая луна, он одним из первых зашел с неразлучным своим кобызом в гостевую юрту. Чокан иначе себе представлял композитора — не таким грузным и не таким моложавым — его не старила даже черная окладистая борода.

Козыбай пускал в юрту далеко не всех пожелавших приветствовать Чокана. Несмотря на то, что большинство окрестных аулов откочевали на джайляу, людей понаехало довольно много. Иные ухитрялись зайти к молодому торе и поприветствовать его, да так и оставались там. Другие располагались вокруг юрты, понимая, что в ней они все равно не поместятся.

— Пусть наш Дайреке играет на кобызе одному торе, не будем им мешать,— предложил один аксакал.

— Так не будет!— с достоинством ответил Дайрабай.— Когда я исполняю кюй, он принадлежит уже не мне, а всем вам. Я буду играть народу. Тогда нашему Чокану-мырзе легче будет оценить музыку.

Чокан поддержал Дайрабая и предложил провести вечер на открытом воздухе.

— Воля ваша,— согласился Козыбай,— но не отнесет ли ветер в сторону звуки?

— Ветерок совсем слабый, но даже если он усилится, мой кобыз будет только слышнее,— уверил Дайрабай,— а насчет песен сказать ничего не могу.

— Ваш голос, Дайреке, и буря не заглушит,— пошутил кто-то из приезжих.

И тогда все вышли из юрты и смешались с ожидавшими встречи с Чоканом у леса, подходившего почти вплотную к аулу.

Расположились прямо на земле, полукругом. Слушатели оказывались как бы на возвышенности, а сам Дайрабай в их центре, в низине.

Дайрабай присел на корточки, полусогнулся. Чокан посмотрел на его замершую в напряжении фигуру. Музыканта можно было сравнить с тигром, приготовившимся к прыжку. И все, кто находился здесь в эти минуты, тоже притихли, застыли в ожидании.

Но вот пальцы встрепенулись, коснулись струн, и в лад первому музыкальному аккорду пришло в движение все тело кобызиста. Его голова, плечи, руки подчинялись ритму мелодии. Еще несколько мгновений назад безжизненно расслабленные длинные и толстые пальцы левой руки взлетали теперь крыльями сокола. Они бежали незаметно для глаз по волосяным струнам, еле касаясь их. Об этом можно было догадаться только по звукам. Рука вспархивала к шейке кобыза, охватывала его, и в это самое мгновенье мизинец успевал нажимать струну у самой деки.

Звуки многострунного кобыза непохожи ни на какие другие звуки. Их так много и они такие разные, что кобыз звучит, словно целый оркестр, подчиненный рукам одного вдохновенного мастера.

С чего начинал Дайрабай? С истории. С полного тревоги и горя «Коркыта». Потом он играл кюй «Ак табан шубырынды, алка коль сулама», снова открывая трагическую страницу народной беды. И только кюй «Ала байрак Аблай» уже оптимистически рассказывал, как стали казахи собираться под пестрое знамя хана, стремившегося поднять достоинство народа.

Это было вступление. А дальше Дайрабай приготовился исполнять просьбы своих слушателей.

Тихо дышал лес. Молчал кобызист. Молчали аулчане и гости.

Чокан, погруженный в мир далекого прошлого, в мир только что отзвучавшего кобыза, отвлекся от своих тревожных дум, почти забылся.

Неожиданный резкий голос заставил его вздрогнуть и возвратил в настоящее.

— Сыграйте, Дайреке, «Рано ты ушла, сестра».

Кто-то другой еще более настойчиво выкрикнул:

— «Утонула наша дорогая».

— Оба, оба!— зашумели собравшиеся.

— Хорошо, хорошо!— согласился Дайрабай, широким жестом приглашая к тишине, к песне.

Кюй был посвящен горю семьи Кожыка, горю Наркыз. Но звучал он эпическим рассказом о народе. Начало композиции в мягких лирических тонах повествовало о переезде аула на

джайляу. Никто и не подозревал о надвигающемся несчастье. Но вот в спокойную весеннюю мелодию врываются тревожные ноты. Мирная жизнь нарушена. Набег. Схватка. В музыке на фоне шумной борьбы ясно слышится смелый голос одинокой девушки. Враги все ближе и ближе. Враги окружили ее, и она погибает от удара копья.

...Прежде чем начать второй кюй, Дайрабай обратился к слушателям:

— «Утонула наша дорогая»,— продолжение только что сыгранной музыки. Кумык — я так про себя называю Кожыка — уже состарился. Девять его сыновей давно повзрослели, стали батырами, отважными воинами. Братьям не уступала в смелости их сестра Нарбота — такое имя дал я Наркыз. Вместе с ними бывала она в походах, одевалась по-мужски, подбирала свои волосы на затылок, владела копьем, как воин.

Чокан с волнением слушал, не пропуская ни одного слова. В рассказе Дайрабая все было правдой и все было овеяно тем романтическим вымыслом, без которого трудно себе представить народное творчество.

— Нарбота сражается вместе с братьями, с отцом,— негромко продолжал Дайрабай.— Все мужчины погибают, но, оставшись одна, она не сдалась врагам. А сражалась она так...

И вновь зазвучал кобыз.

Спокойных нот не было в этом кюе.

Нет, не песню — крик птицы, горькую песню жаворонка слышал Чокан.

Снова раздались звуки битвы. Потом музыка стала закручиваться арканом и вдруг круто оборвалась звуком камня, упавшего в реку, всплеском воды.

Слушатели тяжело вздохнули. Кобызист языком музыки поведал о событии, жившем в их памяти во всех подробностях.

Дайрабай положил кобыз на траву у своих колен.

— У меня в песне Нарбота с лошадью прыгает с обрыва в воду и тонет ...

А, может быть, и в самом деле было так? Разве в подробностях суть?

Чокан сгорбился, воспринимая всем своим существом скорбную музыку. Он даже не заметил, как во время второй песни слезы выступили на глазах.

— Канаш, что с тобой?— шепотом спросил Жайнак, сидевший рядом.

Вместо ответа Чокан прикрыл лицо руками.

Многие увидели слезы Чокана. Одни злорадствовали: «Так

тебе и надо, ханский потомок!». Другие удивлялись и радовались: «Значит, у нашего молодого торе добрая душа».

...В числе слушавших Дайрабая находился и Ескара, севший поближе к лесу, подальше от Чокана. Он, еще недавно считавший, что Наркыз уехала к родственникам, неутешно горевал о погибшей сестре. В нем снова вспыхнула ненависть к Чокану, которого он обвинял и в ее смерти.

Зоркий от природы Ескара и в темноте разглядел, как расстроился Чокан. Он тут же подумал, что не зря говорили в народе о Чокане и Наркыз. Прежде он не придавал значения этим слухам, хотя однажды во сне сестра и называла имя молодого султана.

«А ведь это все правда»,— связал воедино Ескара слышанное раньше и увиденное теперь. Но желание отомстить ханскому потомку в нем до конца не погасло. Хотя где-то в глубинах его души одновременно начинали зреть и добрые чувства к Чокану.

Ескара еще накануне случайно увидел, что Чокан ходил купаться к озеру Айдахар, заросшему со всех сторон густым ивняком. Озеро прозвали именем сказочного чудовища, потому что в нем был опасный водоворот, на поверхности которого булькали бьющие со дна сильные струи. «Эх, и затяну я этого торе прямо к горлу Айдахара»,— зло подумал тогда Ескара. На утро после кюя Дайрабая Ескара затаился в ивняке, уверенный, что Чокан обязательно придет сюда на прощанье. А вот как произойдет их встреча и чем она окончится, Ескара и сам не знал.

Чокан действительно пришел. Пришел один, даже без Жайнака. Разделся и уже приготовился прыгнуть в воду. Его задержал шорох в ивняке. Он оглянулся. Прямо к нему шел незнакомый страшноватый человек в бедной пастушеской одежде.

— Не бойся, мой торе, но не вздумай убегать или прыгать в воду. Я и бегаю быстрее тебя и плаваю, как рыба.

— Да скажи мне, кто ты такой?— спросил Чокан, преодолевая страх.

— А ты о Кожыке слышал?

— О Кожыке?..— Чокан помедлил.— Да, слышал... Знал его.

— Перед тобой его сын.

Чокан так растерялся, что не нашел нужных слов для ответа

— Ты не бойся, торе,— повторил Ескара, но сам вытащил нож, слабо блеснувший на утреннем солнце.— В ноже могла

быть твоя смерть, но я тебя не убью. Ты не забыл Наркыз, нет?

— Не забыл,— тихо вымолвил Чокан, и стыдясь своего испуга, и еще не преодолев его.

— Не забыл, значит, мою сестренку. Я видел, как ты заплакал, когда Дайрабай исполнял на кобызе свой кюй. Ведь ты освободил Наркыз из тюрьмы. Я знаю. Слушай, торе, она любила тебя. Поэтому я тебя не могу тронуть. Живи, торе! Аллах не дал мне убить тебя в Сибири!

— В Сибири?— переспросил Чокан. И сразу вспомнил тревожную ночь в Кяхте, Потанина, его Шуру, человека, промелькнувшего в окне.

— Это ведь я, торе, лишил тебя сна...

— О чем ты говоришь!?

— Правду говорю, торе, как правда и то, что и теперь ты ушел от смерти,— и сильным коротким взмахом он швырнул нож так, что тот по рукоять вонзился в землю у ног Чокана.— Дарю свой нож тебе. Когда будешь смотреть на него, вспомнишь и Наркыз.

У Ескары на глазах показались слезы и, чтобы не выдать свою слабость перед ханским потомком, он тут же скрылся в ивовых зарослях.

— Найди меня, если тебе будет трудно!— крикнул ему вдогонку Чокан.— Я постараюсь быть твоей опорой.

— Там будет видно,— глухо донеслось из чащи.

## И снова Айжан

Чокан и жители аулов воспринимали кюи Дайрабая и одинаково и по-разному.

Общим было их мнение, что эти рассказы-песни музыкант сложил не о несчастье одной семьи, одной девушки, а о большом горе всей степи, всего угнетенного народа, бесправного в течение долгих веков.

Поэтому не только у Чокана, а у всех слушателей на глаза навертывались слезы.

Однако народная молва продолжала утверждать, что род Кожыка был полностью уничтожен волей Чингиза, а Чокан помогал ему в этом. И слезы его должны были призывать к мести, а не к жалости. Правда, некоторые проницательные аулчане говорили, что девушка нравилась Чокану, что между ними произошло что-то такое. Но и они не могли найти ответа на вопрос, почему же он так убивается. Они не верили в большие чувства ханских потомков. Белая кость падкая на жен-

щин, дети — в пояснице, женщины — в дороге. Любую, как в табуне, выбирай! Так судачили в аулах. А если кто-нибудь начинал говорить о любви, на него шумели: мол, брось пустую болтовню, не выдавай сказку за быль.

И все-таки оставалось загадкой, зачем сюда приезжал молодой торе? Не стал бы он зря забираться в сторону от своей Орды и от Бурабая. Высказывались и так и этак:

— Решил притушить пожар, который сам же разжег...

— Ищет корни преступления...

— Сочувствует горю семьи Кожыка...

А у самого Чокана просто болела душа. Он не мог прийти в себя после кюя Дайрабая и после встречи с Ескарой. Он и не мог отдыхать в гостевой юрте и не хотелось сразу продолжать свое путешествие. Он был не в силах сказать себе, любил ли он Наркыз, но она оставила глубокий и болезненный рубец на сердце.

Может быть, отвлечься охотой?

Козыбай был человеком легким на подъем и предусмотрительным. Стоило Чокану намекнуть, как все оказалось у юрты. И джигиты, и лошади, еще вчера отбитые от табуна, и — главное!— ловчие птицы. Они не переводились у Козыбая: зимой — беркуты, летом — ястребы. Хорошо прирученный, выученный и испытанный в деле гладкопестрый ястреб был наготове.

Словом, на сборы времени затратили немного.

Среди сопровождавших джигитов, конечно, был и Жайнак.

Терявший прежде голову на охоте, скакавший без оглядки за добычей, за взмывшей в небо ловчей птицей, Чокан на этот раз был вялым и рассеянным.

Так они доехали до болотной низины, где обычно подкармливались утки.

Нетерпеливый Козыбай стеганул камчой коня, оторвался вперед и забил в бубны. Утки, свистя крыльями, разом поднялись. Козыбай сорвал колпачок с головы гладкопестрого и подкинул птицу по направлению к стае.

— Кровавая голова, повернись в мою сторону,— бормотал он, мчась за ястребом.

— Повернись в другую сторону,— сказал без улыбки Чокан, словно жалея жертву.

Нет, охота сегодня его не увлекала. И Жайнак, готовый броситься вслед за Козыбаем, угадав настроение Чокана, придержал свою уже нетерпеливо храпевшую лошадь.

А гладкопестрый тем временем стрелой достиг стаи, впился в утку, перевернулся вместе с ней и стал падать камнем.

— Взял!— неистово вскрикнул Жайнак.— Поскачем, Канаш?

— Ты скачи, а я доеду и шагом,— махнул рукой Чокан.

Жайнак сожалеючи взглянул на Чокана и в несколько мгновений домчал до Козыбая, склонившегося с седла над ястребом.

Гладкопестрый рвал клювом грудь умирающей птицы.

— Чего стоишь?— зло спросил Жайнак.— На это и смотреть грешно. Утка ведь еще живая.

— А ты, думаешь, было не грешно пустить на нее ястреба?— захохотал Козыбай, не торопясь оставить седло.

— Ах, какой ты человек!— Жайнак спешился, вытащил из кармана складной ножик.— Лучше ее сразу зарезать.

В это время подъехал Чокан.

Козыбай спрыгнул на землю, отобрал утку у ястреба:

— Ты спрячь свой ножик, Жайнак. Пусть зарежет торе.

Чокан посмотрел на ястреба, дольше задержал глаза на утке, потом взглянул на Козыбая. Спешился и спросил:

— Кажется, еще живет.

— Живет...

— Ну-ка!— и Чокан нагнулся к утке. Птица то открывала, то закрывала безучастные, подернутые пленкой глаза.

— Смотри, Козыбай, она уже совсем не двигается...

— Да... Крепко сжал ее когтями мой гладкопестрый...

Не отпустить ли ее на волю, подумал про себя Чокан. И тут же сообразил, что поздно, что птица уже никогда не подымется.

Это было ясно всем. Жайнак полоснул острым своим ножиком по птичьему горлу. Утка, напрасно пытаясь взмахнуть крыльями, затрепетала, задрожала и стихла. Несколько капель крови просочилось из ножевой раны.

— Возьмите, торе. Эта добыча в вашу честь.— Козыбай подал Чокану убитую птицу.

Чокан не шелохнулся, не протянул руки, проявляя полное безразличие к трофею.

— Дайте мне, я ее привяжу к седлу,— выручил Козыбая из неловкого положения Жайнак.

Козыбай нашел поступок Чокана высокомерным, да и Жайнак совсем не мог понять друга своего детства.

А Чокан, глядя на умирающую птицу, думал о Наркыз и Айжан. До того, как воспринять кюй Дайрабая во всей его глубине, он был убежден, что совесть его чиста перед родным народом. Но струны кобыза внятно и властно сказали, что в печальной истории с Наркыз он следовал за своим отцом, ни-

чего не противопоставил насилию и грязи, сам запачкался в этой грязи. Кюй понесет в глубь веков потомкам трагический рассказ о Наркыз и ее семье, потомки осудят жестокость Чингиза и с горькой прямотой спросят, а где же был тогда его образованный сын. Нет, он ничего плохого не сделал Наркыз, даже помог вызволить ее из тюрьмы. Пусть однажды неподалеку от Атбасара на качелях алты-бакан у него и у нее жарко вспыхнуло чувство, похожее и непохожее на любовь.

Они не давали друг другу никаких обещаний. Настоящая любовь не проходит — она обязательно имеет продолжение. Смерть Наркыз потрясла Чокана еще и потому, что он не до конца понимал смысл самоубийства молодой женщины. Здесь Чокан не чувствовал за собой никакой вины. Он рассуждал так: разве каждый, кто видел несправедливость и зло, должен умирать? Разве не смиряются многие, не живут по пословице: лучше один день жизни, чем тысяча дней в раю.

Но так или иначе степь повторяет за Дайрабаем — «Утонула наша дорогая...»

... Глядя на схваченную ястребом птицу, восстанавливая в памяти музыкальный рассказ кобызиста, Чокан больше, чем о Наркыз, думал об Айжан. Не он ли сам ястребом погнался за ней? Не он ли искалечил невинную ее душу? Он тянулся к ней, следил за ее судьбой, но мысль о женитьбе в последнее время, пожалуй, тяготила его. И дело не только в том, что родители и родные восстали против этого странного, ненужного, на их взгляд, брака. Чокана никто бы не одобрил — ни аульные сородичи, ни его русские друзья.

И все же он был глубоко виновен перед ней. Он совершил непоправимую ошибку, клял себя за это, давал слово ни в коем случае ее не повторить.

Такие мысли владели Чоканом. Они сгущались, словно тучи в небе Приишимья, собирающиеся обыкновенно к рассвету.

А нам, читатель, время вернуться к Айжан, с которой мы, как и Чокан, расстались уже давно.

Не вмешайся Чокан в ее судьбу, она жила бы лучше одних и хуже других. Жила бы себе и жила. Но после головокружительной ночи в Сырымбете она почувствовала, что связана навсегда нерасторжимыми узами с Чоканом. Она все готова была ему простить. Она не обиделась на него даже тогда, когда он не заехал к ней, возвращаясь с Атбасарской ярмарки.

Мусульманское образование наложило на взгляды Айжан прочный отпечаток. Первым был создан мужчина, Адам. Из

его ребра бог сотворил женщину, Еву. Их общими врагами Иблис сделал Галайфу аль-лагна, своих дьявольских посланцев. Над семью небесами в раю ни Адам, ни Ева не имели права пробовать плоды райской яблони. Но Иблис искушал их, прежде всего — любопытную Еву. Она вкусила запретное яблоко, соблазнила и Адама. Добрый ангел Жебраил не успел вовремя остановить его, половина яблока так и осталась в горле. Бог выгнал из рая Адама и Еву, разгневанный их неповиновением.

Вычитав эту историю в Коране и наслушавшись рассказов своего бухарского наставника, Айжан простодушно злилась на Еву, обвиняя ее и только ее во всех несчастьях. С этой точки зрения она и считала, что женщина всегда приносит зло мужчине, что бог до сих пор наказывает женщин за поступок Евы и что именно поэтому женщины — и богатые, и бедные — находятся в бесправном положении.

Священные книги, обычаи шариата ни во что не ставят женщину. И все-таки божья кара зашла слишком далеко. Так думала наивная Айжан, вступая в противоречие сама с собой.

Мужу, например, разрешается иметь несколько жен, а женщина лишена такого права. Шариат примерно одинаково наказывает женщину и мужчину за супружескую измену. Многоженцу и не надо посматривать в сторону, а как быть женщине, которую забывает единственный муж?

Грех — одинаков. Но женщине за свой грех приходится испытывать куда больше горя, чем мужчине. А уж если грех один, то и наказание должно быть равным.

У женщин на земле право несравненно ограниченнее, чем у мужчин, а на том свете, в раю, она и вовсе его лишена. Мужчина может ласкать прекрасных гурий, а у женщины там нет даже единственного мужа. Это уж совсем несправедливо.

Рай — раем, но и в обычной аульной жизни женщина так бесправна, что ее можно покупать и продавать за калым. Старики и калеки берут себе в жены девушек, даже девочек. И уж никто не считается с тем, что у девушки может быть свой любимый.

За скот продаются и дочери баев и дочери бедняков. В богатой семье муж так же может бить и ругать свою жену, как и в бедной. Без разрешения мужа жене и шагу нельзя ступить. А умирает муж — жена достается одному из братьев или родственников по закону аменгерства.

Подавленные такой несправедливостью женщины мечтают о равноправии. Другое имя равноправию — об этом можно узнать и в книгах, и в преданиях — любовь!

Айжан верила книгам и преданиям.

С упоением читала она о любви в книгах, сочиненных в странах Арабского Востока и в Иране. Лейли и Меджнун, Сайфиль-Малика и Бадугул-Жамал, Жусуп и Злиха стали для нее живыми людьми, а не выдуманными героями. Для нее реально существовали и влюбленные из казахского эпоса: Козы-Корпеш и Баян-Слу, Кыз-Жибек и Тулеген, Алтай и Слушаш, Наурызбай и Каншаим.

Какая прекрасная любовь была у них!

Должно быть и у нее, Айжан, такая же прекрасная любовь к Чокану. Но ведь это значит, что и она, как все влюбленные, не достигнет своей цели.

И она терпеливо ждала, пугаясь от одной мысли, что все ее мечты могут пойти прахом.

...С той поры, как Айжан переехала в дом Жайнака, она делилась своими тайнами с его женой Жупар, ставшей для нее душевной подругой.

— Знаешь, милая,— поведала она ей однажды.— Я не скажу, что влюбилась в Чокана с колыбели, подобно Лейли. Но с той весны, что я помню себя, Чокан уже был мне дорог. Нет мне без него жизни. Понимаешь, нет...

Сколько ни говорили подруги о соединении с Чоканом, они неизбежно приходили к мысли, что счастливого конца у этой любви не будет, что бесполезно мечтать о нем.

Если бы он сказал, только сказал: «Ты моя жена»,— я бы молилась за него.

А что, если и этого не будет?

Как-то вечером — Жайнака не было дома — Айжан как обычно разговаривала с Жупар. Настроение у нее было подавленное, грустное. Неожиданно она сказала, что если Чокан совершенно откажется от нее, то она найдет способ уйти из этого мира.

— Что ты только говоришь, Айжан? Ведь ты лучше меня знаешь, какой страшный грех — самоубийство.

— Да, знаю,— твердо ответила Айжан,— но уж лучше гореть на вечном огне в аду, чем мучиться от безответной любви на этом свете.

Жупар и диву давалась, и жалела Айжан. Ничего не знавшая о любви и смотревшая очень просто на отношения между мужчинами и женщинами, Жупар не знала, что и ответить, когда Айжан спросила ее:

— Как ты думаешь, тронул бы меня Чокан в Сырымбете, если бы я не улыбнулась ему, как девчонка?

И уже не сказала вслух, а только размышляла про себя, что она привязана к Чокану таким узлом, который развязать нельзя.

Теперь-то она хорошо понимала — единственной женой Чокана ей не быть. Но почему бы ей не стать хотя бы одной из жен, пусть даже незаконной. Ведь у пророка Мухаммеда, а в него она верила безгранично, было четыре законных жены и еще шесть. А у Аблая, дальнего деда Чокана, их было тридцать, из них шесть казашек, каракалпачки, узбечки, татарки и жены, исповедовавшие другие религии,— русские, например, и калмычки. Валихан, ближний дед Чокана, имел семь жен. Вот только Чингиз ограничился одной Зейнеп, она его крепко держала и держит в руках. Но, говорят, когда он выезжает из дома, то быстро находит для себя молоденьких женщин.

Если так поступали деды, почему же Чокану не пойти по их следам?

Когда до Айжан дошел слух, что Чокан может жениться на какой-то Екатерине, дочери не то генерала, не то полковника, она не расстроилась, не расплакалась. Ну и что же? Бог даст, и мне останется место в сердце Чокана, подумала она.

Вот к Наркыз она его приревновала, считая девушку-батыра, по крайней мере, любовницей. Но ушла из жизни Наркыз — исчезла и ревность...

Айжан жилось невесело, одиноко, но все свободное время она посвящала мечтам о любви. Начитавшись книг, она делила любовь на духовную и телесную, на небесную и земную. Ей казалось, что она любит Чокана и свято и по-земному. Иной раз она готова была в том случае, если любимый отвернется от нее, сдержать свои желания и находиться возле строгой его матери Зейнеп, чтобы хоть говорить о нем, чтобы хоть в мыслях принадлежать ему.

Только бы ее не отдали в жены какому-нибудь ненавистному человеку, вроде Малтабара. Хорошо, что хоть он отстал. Но к ней уже сватались не раз. Посылали своих людей то к Чингизу, то к Жакыпу, то к Зейнеп. Предлагали большой калым. Но Зейнеп, верная слову, данному Чокану, пока ее оберегала от назойливых сватов.

Наконец-то стало известно, что в Орду приезжает Чокан.

Когда Жайнак собирался в Омск, Жупар выдала мужу все секреты своей золовки, его сестры. С тревогой рассказала она ему, что Айжан порой даже думает о самоубийстве.

Но теперь Айжан хотела только одного — как можно скорее увидеть Чокана.

Его все ждали с нетерпением. Ждала только поправившаяся после болезни Зейнеп. Втайне она надеялась, что Чокан на этот раз уже навсегда откажется от мысли сделать своей женой Айжан. Ждал Чингиз, возвратившийся в Орду. Он знал о маршруте сына, но никак не предполагал, что он побывает в ауле Нашана. Чингиз думал, что Чокан навестит места, где когда-то жила бабушка его Айганым. Отец даже отправил встречать сына Абы и Жакыпа к урочищу Кызылшин, к прежним зимовкам Кожы. Но посланцы султана там с ним разминулись Встретиться с Чоканом им удалось несколько позднее...

...А пока Чокан и Жайнак продолжали свой путь.

Чем меньше переходов оставалось от Орды, тем чаще Чокан расспрашивал Жайнака о доме, о матери, об Айжан. Жайнак ничего не утаивал, он пересказал Чокану даже то, что сестренка безнадежно любит Чокана и однажды ей в голову приходила мысль о самоубийстве.

— Боже мой!— только и воскликнул Чокан и снова его стали угнетать мучительные мысли о своих ошибках. Как же вывести Айжан из тупика? Но чтобы решить это, прежде всего надо посоветоваться с ней самой, попробовать ее уговорить отказаться от него, у которого сложная своя судьба, едва ли соединимая с ее судьбой. Но что делать, если она не успокоится? А он сам? Сможет ли он перечеркнуть прошлое, забыть Айжан?

И снова глаза Чокану застилал туман, мешавший ему заглянуть в будущее.

...Вскоре Аба и Жакып встретили его, как положено, и все вместе двинулись по направлению к летовкам Орды, расположенным не вблизи степного Кулайгыра, как предполагалось раньше, а на берегу озера Байсары, у подножья лесистых Иманских гор. Чингиз знал, что эти края понравятся сыну. А юрту Чокану он поставил подальше от Орды на расстоянии дневного перехода кочевья с ягнятами у озера Арыкбалык. Чингиз распорядился так под предлогом, что здесь будет спокойнее и тише, но на самом деле ему хотелось поселить сына вдали от Айжан.

Он и теперь побаивался повторения прошлой истории. Чингизу непременно хотелось породниться со знатными людьми. В Петербурге в гостиницу к нему забегала Катенька Гутковская, она ему очень понравилась. Слышавший и прежде всяческие толки о ней и Чокане, он теперь вообразил, что дочка полковника и к тому же помощника генерал-губернатора будет его снохой. Он даже смирился с тем, что она русская —

так велико было его честолюбие. И хотя в Омске сын не подтвердил своего намерения жениться на ней, отделался какой-то шуткой, Чингиз нисколько не разуверился в своем предположении и заранее сметал любые препятствия на пути к этому браку.

Таким препятствием все-таки могла быть Айжан. И хотя Чокан не заехал к ней после Атбасарской ярмарки, и хотя Зейнеп утверждала, что сын уже забыл про нее, подозрительный и знающий толк в любовных делах Чингиз верил в казахскую поговорку — даже ангел сворачивает со своей дороги, если увидит золото.

Айжан старалась не показываться на глаза Чингизу, но уж не так велика была Орда, чтобы удавалось в ней скрываться целые месяцы. Чингиз смотрел на Айжан и греховно вздыхал: девушка вошла в тело, стала еще привлекательней, красивее, чем прежде. Если б, как болтали, Чокан не сблизился с ней, если б не жена с ее длинным языком, он, несмотря на свои приближающиеся полвека, сам бы набросил на нее аркан. Его отцу было пятьдесят девять, когда он женился на шестнадцатилетней Айганым. Созрела Айжан, созрела, что и говорить.

Чингиз хотел было от соблазна переселить Айжан куда-нибудь подальше, но Зейнеп не согласилась на это. Ведь она дала слово Чокану помогать девушке. В большую любовь Зейнеп не верила. Она не представляла себе, что это за чувство. Женщина и рождена для того, считала она, чтобы доставлять удовольствие мужчинам. Хоть она и не позволила мужу взять в дом еще одну жену, но на проделки Чингиза на стороне смотрела сквозь пальцы. Так же она относилась и к своим детям. Дочерей оберегала только, чтобы не опозорились. А на сыновей рукой махнула: пускай что хотят, то и делают. На то они и мужчины. Что касается Чокана и Айжан, то вначале ее нисколько не волновало их сближение. Позднее она приметила, что девушка предана сыну всей душой. Потом и сам Канаш столько наговорил ей, даже голова пошла кругом. Она почти согласилась с сыном. Айжан и на самом деле достойна стать его женой. Она похожа на ангела. Но вот беда: у ангела черная кость. И откуда это пошло — «белая кость», «черная кость». А ведь пошло же... Нет, не может Чокан жениться на ней. Просто он не хотел позорить девушку, опекал ее.

За долгое время разлуки Чокана и Айжан Зейнеп окончательно убедилась в том, что до свадьбы дело не дойдет.

А встречаться — пускай себе встречаются, пускай потешатся, думала Зейнеп. Она сперва даже спорила с Чингизом — зачем Чокану ставить юрту далеко от Орды. Но, знавшая о его упрямстве, сама упрямиться не стала. Она не сомневалась — захотят молодые встретиться, найдут и время и место...

...А Чокан со своими уже многочисленными провожатыми из Орды и аула Нашана доехал до джайляу Алаколь Салпык. Здесь нам придется несколько задержаться, дорогой читатель, потому что Чокан никак не мог миновать расположенного на этом джайляу аула.

Аул трудно было объехать — он находился на самой дороге, ведущей к Орде Чингиза. Но дело было не только в этом. Во главе аула находился умный и отчаянный Алибек, один из четырнадцати сыновей Андагулова Зильгары, известного бека рода Атыгаев. Зильгара был сверстником деда Вали, а его отец, батыр Каратока, воевал под пестрым знаменем Аблая. Однако Зильгара не поладил с сыном Аблая Касымом, и когда тот поссорился с русскими и под их натиском стал отступать к Туркестану,— Зильгара был в числе его преследователей. Царские власти пожаловали Зильгару чином хорунжего, дворянским званием и, кроме того, отдали ему и двоюродному его брату Шопану земли, принадлежавшие роду Уанаса.

Казалось бы, дела предков Алибека, их заслуги перед Россией должны были сблизить его и Чингиза. Но так не произошло — старшему султану надоело разбирать тяжбы, связанные с буйным характером Алибека, и он добился для него ссылки в Сибирь. А его неграмотный брат Турлыбек приезжал к Чокану в Омск, и Чокан от имени Турлыбека написал заявление на имя царя с просьбой освободить невинно осужденного. До царя, правда, заявление не дошло, но так или иначе Алибека возвратили домой.

И теперь, когда всадники приближались к аулу Алибека, Жакып стал отговаривать Чокана:

— Не надо сюда заезжать.... Мало ли что может случиться? Алибек не угомонится, пока не отомстит ханским потомкам. Лучше по бездорожью крюк сделаем.

— Не бойся, Жакып. За отца мы с тобой не отвечаем, а я, если хочешь знать, помог Алибеку.

Чокан оказался прав. Действительно, обозленный Чингизом Алибек знал, что письмо об его освобождении написал Чокан, как хорошо был осведомлен и о ссорах отца и сына. Он от души желал Чокану счастья и хотел поближе познакомиться с таким самостоятельным джигитом. Когда же узун-

кулак подробно сообщил о том, что Чокан гостил в ауле Нашана и едет теперь в сторону Имантау, он решил его встретить как подобает.

Поставили юрту, привязали кобылиц. Правда, сам Алибек счел неудобным в своем почтенном возрасте суетиться и выезжать навстречу торе. Поэтому все заботы он поручил братьям по отцу, рожденным от токал — Акбузау и Ережепу, почти ровесникам Чокана.

Чокан сперва хотел остановиться ненадолго, ссылался на недостаток времени, но расторопные братья уговорили гостей задержаться, и тут же на их глазах поймали и прирезали жирного черноухого жеребенка. Мясо его под вечер положили в казан, и теперь отказ от ночлега выглядел бы оскорблением хозяев.

В эту ночь Чокан спал плохо. Он нет-нет, да побаивался Алибека. Вспоминался сохранившийся в степи рассказ, как андагульский бий Курамсы, узнав, как назвали только что появившегося на свет сына Зильгары, мрачно пошутил: «Не Алибек родился, а Алек». Алек, то есть одно горе, одно беспокойство. Невеселое острословие бия оправдалось. Повзрослев, Алибек стал проявлять свой отчаянный характер. Отбирал, как говорится, лошадь у всадника, палку у пешехода. Связался в низовьях Ишима с Кожыком, в верховьях — с Баубеком. Частенько угонял скот. Зильгара после каждой барымты уговаривал сына: «Брось, к добру это не приведет», а сам нанизывал куски мяса от каждой прирезанной ворованной скотины на волосяной аркан. Когда нанизывать дальше было уже некуда, Зильгара сказал более настойчиво и твердо: «Ты, сынок, закончил свою веревку, теперь берись за ум». Но Алибек и тут его не послушал. Вот когда-то его и заарканили. Такие историйки одна за другой лезли в голову Чокану. И хотя ему, в общем, тревожиться было нечего, он не сомкнул глаз до рассвета.

Перед утренним угощением Акбузау и Ережеп начали вновь просить его погостить подольше, но он не поддался на уговоры и сказал Жакыпу и Жайнаку, что выезжают сразу же после обеда.

Уже доваривалось мясо, как послышались голоса:

— Кабан-ага едет... Вот-вот появится в юрте...

Все, кто был в юрте, поспешили к выходу. Последовали за ними и спутники Чокана.

Чокан задержал только Акбузау и Ережепа. Вопросительно посмотрел на них.

— Это Кабан-ага. Мы между собой иначе его не называем,— сказал Акбузау и вместе с братом покинул юрту.

Чокан остался один под широким белым войлоком. Поднялся с подушек, стал прохаживаться взад-вперед. Не вышел навстречу Алибеку, как тот не выехал навстречу ему. Дала себя знать снова гордость торе, чувство белой кости.

В те времена казахи редко приветствовали друг друга по-арабски, по-мусульмански — «Ассалаумагалейкум!» Женщины не очень-то старались показываться мужчинам, а если и встречали, то садились, склонив голову и обхватив руками левое колено. Молодые мужчины молча здоровались со старшими, прижав ладони к груди.

...Чокан услышал топот коней, неожиданно возникший и также неожиданно смолкнувший, услышал, как спешился всадник, видимо, остановился на какие-то мгновения, грузными шагами направился к юрте и снова остановился. Прохрипел:

— Гость-то наш жив-здоров? Здоров, говорите. А встречей доволен?

— Что бог послал, тем и встретили,— ответил, кажется, Ережеп.

— Он что, в юрте? Значит, отдыхает. Ханские потомки, если даже не знают на что жить, держат голову высоко...

Снизил голос до хрипловатого шепота:

— Не встречает меня... Ну что ж... Я и сам зайду к нему поздороваться.

Слушать все это Чокану было не очень приятно, но выходить из юрты, почтительно сложив на груди руки, ему не захотелось. Да было и поздно. Едва он успел прилечь на подушки, как в юрту к нему уже входили Кабан-ага и его братья.

Он оказался совсем не таким грузным и толстым, как подумалось, но, несмотря на свою подтянутость, сразу напомнил кабана, встреченного Чоканом в Прибайкалье. До чего же бывают меткие прозвища!.. Они тогда охотились в высоких и густых камышах у Баргузинки. Вдруг лошадь Чокана отпрянула и сбросила седока. Не успел Чокан подняться, как увидел, что на него прет, злобно хрюкая, кабан, размером с небольшого бычка. Ведь вздохнуть не даст, распорет, с молниеносным страхом подумал Чокан, но в те же мгновения грянули один за другим два выстрела, и кабан с хрипеньем свалился на бок... Вот кого напомнил Чокану Алибек с его пронзительными глазами и тяжелой походкой. Даже чувство

он испытал, похожее чем-то на страх, испытанный в камышовых зарослях.

— Лежи!— с прежней грубоватой хрипотцой, доносившейся сквозь войлок, а теперь наполнившей всю юрту, сказал Алибек.— Лежи!— произнес он еще раз помягче.— Казахи привыкли к гордости ханских потомков. У меня есть для тебя несколько своих слов. Я их выскажу и уеду.

Чокан всем своим видом показал готовность слушать.

— Хорош ты, если смотреть со стороны,— так начал Алибек.— Я хотел увидеть тебя, человека, известного всей степи.

— Рахмет, Кабан-ага!— назвал Чокан Алибека так, как называли того в здешнем ауле.

Но Алибеку послышалось совсем другое. Он даже подумал, что Чокан посмеивается над ним.

— Меня зовут не Ахмет, а Алибек, мой торе.

— Знаю, Алеке!— не смог сдержать улыбки Чокан, догадавшись об ошибке Кабан-ага.

— А если знаешь, не перебивай! Дни ханского рода уже прошли, а высокомерие ваше продолжается. Гордости у вас слишком много.

— Разве, Алеке, я проявил у вас в юрте гордость?

— Перебиваешь меня. Вот она, твоя гордость.

— К слову пришлось, Алеке. Только потому.

— Только потому,— подхватил с опытностью спорщика Алибек,— что ж, иначе ты не будешь ханским потомком. Слушай меня дальше и помолчи пока. Твой отец, твои родственники, ты сам, словом, ханские потомки, погубили всю семью Кожыка. Еще вчера его род был в расцвете. А сейчас?.. Текебай, старший сын Кожыка, был моим зятем. Моя овдовевшая дочь вместе с внуками теперь живет у меня. Остальным пришлось так же плохо. Должно быть, ты захотел смыть ханский грех, согласился стать опорой для Наркыз, освободил ее из тюрьмы. Пусть бог тебе воздаст за это. Но одним добрым поступком грехов не смыть. Когда-нибудь и ты получишь по заслугам. Но я тебе хотел сказать не об этом.

— Ага,— робко произнес Акбузау, показывая на почетное место в юрте.— Колени устанут.

— Не устанут мои колени, не беспокойся,— строго взглянул на брата Алибек. И продолжал обращаться только к Чокану.— В общем, я доволен, что повидал тебя. Нет, ты мягче, добрее отца. Глаза твои так не горят, как у Чингиза. Он ведь смотрит, словно сжигает тебя. Слышал, ты не забываешь о заботах народа. От этого и у меня на душе становится теплее. Так вот, слушай меня внимательно. Рассказывают, твоему

дальнему деду Аблаю как-то приснился странный сон: он увидел тигра, волка и лису. Попросил Аблай-хан сведущего человека растолковать ему сон И сведущий человек сказал: тигр — это твое время, хан, волк — время твоих сыновей, лиса — время твоих внуков и правнуков. У тигра — власть, тигр — вожак. После твоей смерти дети твои будут разрывать народ как волки, в клочья все будет разлетаться. После волчьих драк наступит время лисьей хитрости. Вещий сон увидел Аблай, и получилось так, как сказал сведущий человек. После Аблая пришли разорители народа, Такие, как твой отец и я. Теперь появляются и лисы. Но ты не будь лисой, прошу тебя.

— А кем же мне стать, Кабан-ага?— не без робости спросил Чокан, удивленный здравым умом бывшего барымтача.

— Будь человеком. Не совсем понимаешь? Будь просто человеком. Никогда не разоряй народ и не обманывай его. Надеюсь, понял.

— Понял, Алеке.

— Вот все, что я хотел тебе сказать. А теперь — поехал.

— Разве вы не останетесь на угощенье?

— Это мое угощенье. Я тебя угощаю. Порадуешь меня, если останешься довольным.

Алибек круто повернулся и вышел из юрты. За ним последовал Акбузау. Чокан не успел поблагодарить Алибека за мудрую его речь и, выведенный из равновесия, так и остался лежать на подушках. Ему бы надо было выбежать, догнать Алибека, сказать ему на прощанье настоящие слова... Неужели белая кость вновь дала знать о себе? Пожалуй, не так. Чокан думал о том, что плохое неожиданно может оказаться хорошим, что в душе человека часто хранится много неизведанного.

... Как ни уговаривали его зильгаринцы снова заночевать, погостить еще несколько дней, Чокан не согласился — его тянуло домой, тянуло к Айжан.

... Степь становилась холмистой. чаще и чаще появлялись скалы. Кажется, Жайнак сказал ему, что совсем недалеко отсюда находится обрыв, с которого бросилась в воду Наркыз. Чокан вздрогнул, но тут же взял себя в руки и ответил, что никуда больше они сворачивать не будут.

В Имантау они приехали перед закатом. Сославшись на усталость после долгой дороги, Чокан не стал любоваться ни близкой горной грядой, ни прозрачным озером, а пошел сразу в большую белую юрту, приготовленную для него. Он пригласил к тебе только Жайнака. Ехавшие вместе с ним и встре-

чавшие разместились в нескольких небольших юртах, стоявших немного поодаль.

В этот вечер он ел только молочную пищу и не притрагивался к мясу. Он рано улегся на ту же самую железную кровать, застланную теми же самыми тюфяками и одеялами, что и в прошлый его приезд. Лег и сразу задремал. Жайнаку требовались собеседники, да и хотелось поесть поплотнее. Поэтому он направился в малые юрты. Поужинал всласть, вернулся, на цыпочках прокрался к своей подушке и сразу же захрапел.

Могучий его храп разбудил Чокана. Чокан не переносил храпа, соскочил с постели, толкнул в бок Жайнака.

— А, Канаш... Наверное, я тебе спать не даю. Лучше уж оставайся здесь один, а я пойду в ту крайнюю юрту.

...Чокан представил себе, что Айжан совсем недалеко. Он мысленно кружился вокруг нее. Будь он независим, имей полную власть хотя бы над собой, он бы встал со своей польской кровати и пошел бы той дорогой, куда хочет, и эта дорога принесла бы ему покой. Но наслоившиеся веками, а может быть, и тысячелетиями обычаи и традиции преграждают ему путь. Как он ни пытался их разрушить, вырваться из их плена, пока почти ничего не получается. До каких пор он будет связан, когда же он вырвется из этих пут?

В юрте было тихо, он погружался в темную глубину и опять задремал, не разлучаясь с Айжан в непрочном беспокойном сне.

А что же Айжан?

Она в этот вечер, в эту ночь волновалась не меньше Чокана. С тех пор, как она услышала, что он уже находится у подножья Имантау, с ней стало происходить что-то странное. Ее задумчивые глаза то открывались, то закрывались. И по ее воле и против ее воли. Откроет — Чокана нет. Закроет — он перед ней. Такой, какого она видела в последний раз — похудевший, стремительный, ласковый. И такой, какой вошел в бедную юрту отца,— смущенный, скованный. И такой, каким он был там, на камнях Сырымбета. Она ощущает его тепло, его любовь. Ей не хочется открывать глаза Но тут же стыдится и открывает. Рядом Зейнеп, внимательно наблюдающая за ней:

— Что это, милая, с тобой? Что ты хлопаешь глазами?

Айжан отвернулась от Зейнеп.

Начавшая стареть, располневшая Зейнеп понаблюдала, понаблюдала за девушкой и ушла в свои мысли. Завтра она

встретится с любимым Канаш-жаном. Долго она его не видела. Устал, наверное. Отдыхает сейчас.

Даже в этот день она не изменила своей новой привычке: в сумерки ложиться в постель. Растянется на пуховике и сразу засыпает. Так случилось и сегодня.

Айжан прилегла тоже, но уснуть не смогла. В темную безлунную ночь ей не надо было закрывать глаза, чтобы разглядеть черты любимого. Ей казалось — он вот, рядом с ней. Она протянула к нему руки, обняла его, но вдруг почувствовала под ладонями свои же горячие плечи.

Она устала от этих воображаемых объятий. Ей так был необходим настоящий Чокан. Он был и близко и далеко от нее.

И Айжан решилась.

У юрты были двухстворчатые двери. Деревянная, решетчатая и дверь из кошмы, переплетенная прутьями чия. Деревянная дверь довольно резко поскрипывала. Но если побрызгать ее скобы водой — открывалась бесшумно. Крадучись, Айжан так и сделала. Очутившись на улице в одной белой рубашке, босая, она задрожала то ли от ночной прохлады, то ли от страха.

Что же дальше?

Прислушавшись в тишине, всмотревшись вокруг, она обнаружила привязанную пастухами к коновязи лошадь для завтрашней поездки. Вороная ее масть сливалась с густой ночной темью. Вспугнутая белым силуэтом девушки, лошадь задрожала.

— А ты, оказывается, смирная. Вот на тебе я и поеду. И вернусь до того, пока меня начнут искать,— разговаривала про себя Айжан, поглаживая лошадь.— Нет седла и уздечки. Ну, что ж. Обойдусь. Вот аркан. Отвяжу тебя и поеду...

Вспрыгнула на лошадь. Ощутила ее худую жесткую хребтину. Выехала медленной рысцой, чтобы не разбудить в ауле собак, а уж потом, взяв направление на Имантау, бросила коня в галоп.

Никто не слышал, как выехала Айжан и как она приехала, остановив коня в сторонке, неподалеку от юрты Чокана. Вместе с Зейнеп она побывала здесь накануне — посмотреть, все ли приготовлено так как надо.

Тихо вошла она в юрту, мысленно повторяя арабское изреченье «Тагат уа гидадат». Смирение и поклонение, смирись и поклоняйся. Еще недавно она мечтала только увидеть, хотя бы издали, лицо Чокана. Теперь он был ей нужен весь. Он был тут, в трех-четырех шагах от нее. Она уже слышала его мерное дыхание.

Если сейчас она не прервет его сна, когда это еще может случиться.

Она подошла к кровати, склонилась над головой Чокана и, касаясь губами его уха, горячо прошептала:

— Канаш...

Чокан очнулся от дремоты, удивленно вскрикнул. Услышал снова:

— Канаш, это я, Айжан.

— Месяц ты мой!— Чокан поднял голову. Они потянулись навстречу друг другу так, что разъединить их в эту ночь не могла бы никакая сила.

## Пленница Ислама

Никем точно не установлено, когда Ислам стал проникать в казахские степи. Можно только предположить, что это был первый век нынешнего тысячелетия. Но, заглянув в юрты, мусульманская религия не могла кочевать вместе с казахами, которые долго не задерживались на своих стоянках.

Царское правительство, подчиняя себе степь, взяло под свою опеку Ислам, не прижившийся в степи, и с горячим рвением принялось насаждать его почти заново среди кочевников.

Так начала опутывать аулы мусульманская религиозность, приносящая народу, по глубокому убеждению Чокана, только вред. Он побаивался ее влияния на невежественных своих земляков. Еще тогда, у горы Сырымбет, он с огорчением почувствовал, как брал Ислам в свой плен совсем юную Айжан, как много путаницы в представлениях о святости, о том, что можно и чего нельзя в ее непоследовательных девичьих мыслях.

С той не такой уж далекой поры Айжан еще глубже погрузилась в религию. От ее бухарской подруги Кокеш осталась одна единственная книга «Мишхат шари», составленная из нравоучительных рассказов-хадисов, приписываемых пророку Мухаммеду. Одно из этих очень строгих поучений запрещало женщине сближаться с мужчиной без совершения свадебного обряда. Нарушит это правило женщина — значит, суждено ей гореть в адском огне ни много ни мало — сорок тысяч лет.

Сблизившись тогда с Чоканом, Айжан считала, что совершила тяжкий грех и мысленно искала на страницах того же «Мишхата» путей избавления от адских мук. Искала и нашла. Если женщина по всем мусульманским законам станет женой того мужчины, с которым сблизилась, она освободится и от

грядущих страданий в аду. Как она мечтала, как стремилась вступить в брак с Чоканом! Пусть потом ей придется доживать жизнь одинокой, отвергнутой.

Отчасти и поэтому у подножья Имантау она без особого раздумья взяла на душу новый грех.

Для Чокана религиозных запретов не существовало. Знакомясь с философией еще в кадетском корпусе, он отверг для себя идеалистический спиритуализм и отдавал предпочтение французским философам-материалистам, тем более, что лучше других европейских языков он знал французский. С увлечением читал Чокан в подлиннике занятнейшую книгу Жана Мелье «Завещание». Скромный сельский священник из Шампани не публиковал ее при жизни. Книга оказалась обращением к прихожанам и рассматривала с позиций непримиримого атеиста-материалиста едва ли не все стороны жизни и общества. В ней были подвергнуты уничтожающей критике религиозные догматы церкви. Жан Мелье требовал уничтожения и семейного неравенства. Мужчины и женщины должны быть свободны в своих сближениях. Не следует препятствовать и бракам, и разводам. Понятия бракосочетания и легкого поведения, по мнению Жана Мелье, в своем теперешнем значении заключают ложь и не нужны людям. Мужчин и женщин связывает вера друг в друга и дружба. И не вечно, а до первого сомнения.

Чокан принял мысли Мелье. Потом он изучил и труды немецкого философа Людвига Фейербаха, посвященные истории религии и сущности христианства.

Так Чокан совсем охладел к религии, особенно к ее толкованию семейных обязанностей, любви. Что касается Ислама, религии мусульман, то ее он считал самой консервативной, самой отсталой.

Вернемся, однако, в юрту у гор Имана; вернемся в ночь, уже приближающуюся к рассвету.

Прижавшись к Чокану, чувствуя на своих плечах тепло его рук, Айжан неожиданно расплакалась. Он стал ее успокаивать, расспрашивать.

— Что это ты, Айым, что?..

Стремясь приглушить слезы, она продолжала вздрагивать. И сказала только после настойчивых расспросов:

— Как я отвечу перед богом за этот грех?

Он пробовал ей доказать, что нет никакого греха, что в жизни все куда проще, чем она себе представляет, но его неверие наталкивалось на ее веру, его свобода от предрассудков и власти старых обычаев — на ее вечный страх перед ними.

— Қанаш, ты женишься на мне или нет?— без всякой надежды тихо спросила она.

Он внезапно понял, что ответить ей отрицательно значило бы убить не только надежду, но и Айжан. И, не задумываясь о последствиях своих слов, ответил легко и даже, как показалось ей, с улыбкой:

— Ты этого хочешь? Хорошо. Мы освятим наш брак. Только как: открыто или тайно?

Каким тяжким оказался этот вопрос для Айжан. Она знала, что кроме муллы должны быть еще два, по крайней мере, свидетеля. А если брак освещается тайно, то кто поручится, что эти два свидетеля не разнесут по аулам «тайну». И тогда пойдут, непременно пойдут самые грязные разговоры.

Чем дальше думала Айжан, тем горше становилось у нее на душе. Словно на ее горячие чувства вылили ведро холодной воды, стремясь погасить любовь. Она выскользнула из рук Чокана и спыгнула с кровати.

— Ты куда, мой месяц, куда?

— Вернусь, Қанаш, к себе в дом.

— А разве эта юрта не наш дом теперь?

— Нет, Қанаш, это твой дом. И он никогда не будет моим.

— Почему же, Айым?

Она не ответила. Чокан попытался придержать Айжан. Но ее покорное еще час назад, нежное и слабое тело оказалось таким сильным, что справиться он не смог. Айжан вырвалась и выбежала из юрты. Чокан подался за ней, но понял, что ему не догнать. Он стоял, успокаивая свое тяжелое дыхание. Всадница в рассветном сумраке удалялась в сторону аула отца.

Он услышал чьи-то осторожные шаги. Оглянулся: рядом с ним уже находился Жайнак.

Ах, этот друг детства! И верный товарищ и чересчур любопытный слуга! Жайнак своими чуткими, как у зайца, ушами успел многое услышать, а зоркими по-ястребиному глазами и подсмотреть. Он видел, что к Чокану приезжала сестра. Он и прежде о многом догадывался, зная об их встречах в Сырымбете, был посвящен своей женой и в грустные тайны Айжан. Конечно, он хотел их настоящего сближения, женитьбы, но не подавал и вида сестренке. Смертельно обидится, чего доброго. Он от Чокана скрыл и на этот раз свою осведомленность в его любовных делах, и поэтому безучастно спросил:

— Долго ли ты будешь здесь стоять, Қанаш? Прохладиться решил, что ли? Шел бы ты в юрту. Еще простынешь. Видишь, дождь собирается.

Не выдавая своей растерянности и озабоченности, Чокан ответил как можно равнодушнее:

— Освежусь немного и пойду в юрту. Не докучай, пожалуйста.

Жайнак не стал докучать, но и не покинул Чокана, пристально смотревшего в сторону холма, за которым исчезла Айжан.

Рассвет был ветреным, холодным. Изрядно продрогший Чокан бросил взгляд на Жайнака и стал уговаривать его идти в юрту, но упрямец в свою очередь увещевал Чокана. Они препирались до той поры, пока Чокан в порыве откровенности не поведал обо всем, происшедшем в эту ночь.

— Жаль слов, сказанных непослушному, жаль глаз, рожденных не для слез,— ответил Жайнак поговоркой.— Думал я, моя сестренка умница, а она, оказывается, совсем глупенькая. Тебе не нравится, что я так говорю, Канаш? Ты хмуришься... А я ведь прав... Не гонись за тем, чего не догонишь... Не понимает этого Айжан. Ты — звезда в небе, она — воробышек на земле.

— Ну, уж и сказал. Погоди ты со своими поговорками,— рассердился Чокан. Чтобы урезонить Жайнака, он напомнил ему об аллахе, которому молятся и убегающий и догоняющий.

И, возложив утро на попечение того же аллаха, предложил Жайнаку вместе идти в юрту:

— Отдохнем, а там все решится...

Но и перед коротким предутренним сном Жайнак нашел время и мысленно и вслух порассуждать о любви. Вспомнил историю Жусупа и Злихи, вспомнил, как девушка попросила у возлюбленного его камчу, дохнула на рукоятку и отдала назад. Жусуп не удержал камчи — такой она была горячей — и выронил ее, а на ладони появились волдыри от ожога. После этого он поверил до конца в ее любовь, и все закончилось к их общему счастью.

Это редкое исключение в лирическом эпосе. Повести о влюбленных обычно завершаются печально. Габдували, например, так и не соединился со своей Лейли, сошел с ума и стал Меджнуном.

Жайнак запел:

Любви и горя чашу испил Габдували,
С Лейли соединенный и от Лейли вдали.
На море и в пустыне страдания познал
Наш Будугул, скитаясь вокруг своей Жамал.
И я по их примеру сложить письмо готов,

Не оставляет копоть огонь открытых слов.
Послушны будьте, перья, в бессонной тишине.
Пусть я увижу пери, как наш Амре во сне.
У Злихи слезы льются, Жусуп в огне любви.
В любой стране найдутся влюбленные свои.

Вспомнил еще, что на тауху-аль мафуз — на божьей доске написано, что радость на этом свете от дьявола, а чистые радости только на том. И душу должно посвящать одному аллаху. Но люди, невзирая на строгие запреты, тянутся к земному счастью. Где тут правда и где тут неправда, Жайнак решить не мог. Не знал он, и чем кончится любовная история сестры и Чокана. Но он всей душой сочувствовал им.

... Айжан вовсю хлестала коня арканом, стремясь скорее добраться домой. Навстречу ползла низкая туча. Вот грянет гром, хлынет ливень, думала она, значит, это бог посылает мне черную кару.

Вот и Орда. Она привязала лошадь на прежнее место и тихонько проскользнула в юрту, надеясь, что Зейнеп еще не проснулась.

— Это ты, Айжан? Тебе что, не спится?

— Заболела я что-то, Ай-апа.

Голос Айжан звучал против обыкновения жалостно и тоненько.

В юрте некоторое время было совсем тихо, потом Зейнеп услышала всхлипывания.

— Да ты, никак, плачешь, Айжан? Что с тобой?

— Скрутило меня, живот болит.

— Возьми, заверни в тряпку горячей золы и приложи. Посмотришь, станет легче.

— Потерплю, Ай-апа. Может, и успокоюсь...

Зейнеп снова задремала. А когда проснулась, Айжан продолжала плакать. Лоб ее был таким горячим, что Зейнеп поверила в ее болезнь и не знала, как помочь бедняжке.

Исступленными своими мыслями Айжан действительно довела себя до состояния физической боли. Она бы лежала и лежала, если бы до юрты Зейнеп не донеслось покашливание Чингиза. Значит, он уже проснулся, встал и было пора готовить завтрак для него и байбише.

Айжан с трудом поднялась, набросила на плечи чапан и сказала хозяйке, что уходит к Жупар помочь ей, как это всегда было принято, на кухне.

Зейнеп смотрела ей вслед непонимающими глазами. Должно быть, тут дело нечисто, подумала она.

Жупар немало удивилась со сна — вид золовки встревожил, так она не походила на себя. Обнимая ее, она спросила:

— Что с тобой, неженка Айжан?

Она только и ответила:

— Ты уж одна сегодня приготовь завтрак, а я, а я...— и не докончила.

Жупар поняла, что сейчас расспрашивать Айжан нет никакого смысла, уложила ее на свою постель, укрыла и поспешила разогревать кушанье для Зейнеп и Чингиза. Все она успела сделать вовремя и уже стала искать кого-нибудь из джигитов, чтобы отнести завтрак в юрту хозяевам. Но тут появился Жайнак, а это входило в его обязанность. От внимания Жупар не ускользнуло, что муж ее на этот раз выглядел хмурым, озабоченным, и не было на его открытом лице обычной широкой улыбки...

После завтрака Жайнак рассказал жене о том, что Айжан побывала в гостевой юрте Чокана и о своем разговоре с молодым султаном.

— Узнай-ка,— закончил Жайнак,— что задумала сестренка, чего она хочет. До сих пор я считал ее умной. А сейчас она может наделать глупостей... Мне она не доверится.

Жупар дождалась, пока Айжан немного пришла в себя. Ее и просить не надо было, она сама откровенно призналась во всем.

— Знаешь, Жупар, я давно была убеждена, что он открыто на мне не женится.

— Зачем же ты тогда морочила себе голову?

— Не могу, не в силах победить свое сердце. Но теперь я решила перестать с ним встречаться, пока он не станет моим мужем. Как предписывает наш мусульманский закон.

— Да разве Чокан пойдет на это?

— Еще не знаю. Но ради того, чтобы знать, готова с ним встретиться еще раз. Попрошу Жайнака. Он мне поможет, придумает что-нибудь.

— А если Чокан и на это не пойдет?

Айжан посмотрела на Жупар печально и строго:

— Тогда мне остается... Тогда мне остается только умереть.

— Что ты, что ты! Я и слышать не хочу таких слов. Погоди, что-нибудь придумаем

Вскоре Жупар переговорила с мужем. И Жайнак в тот же час примчался к Чокану.

Слова Жайнака не явились для Чокана неожиданностью. После встречи в юрте у Имантау он уже не сомневался, что

Айжан способна на любой отчаянный и даже безумный поступок. В ней есть общая с Наркыз черта. Чокан не мог допустить и мысли о гибели девушки. Поэтому он и попросил Жайнака устроить ему свидание с сестрой.

Каких только заповедных уголков не было вокруг, где можно скрыться от постороннего взгляда, но почему-то решено было встретиться в бедной юрте Жайнака.

— Может, плохо вам будет, Канаш?— застеснялся было Жайнак, но Чокан тут же привел на память песню:

Так мало надо для счастья двух,
Когда влюблены они.
Для них и камни мягки, как пух,
И ночи светлы, как дни...

— Слыхал, Жайнак?

— Не только слыхал, но и сам пел!

— Тогда и не мели вздора...

...А ночь, в которую состоялось это свидание, была и впрямь светлой, как день. На взгорья, на озеро, на юрты лилось молоко наступившего полнолуния. Но Чокану и Айжан можно было никого не опасаться. Брат Жакып, пристально наблюдавший за ними, встречу у Имантау прозевал. А, узнав о болезни Айжан, решил, что ничего такого произойти не может, и махнул рукой.

Чокан выехал вместе с Жайнаком.

В другое время он беспечно любовался бы светлой этой красотой. Но сегодня сердито взглянул на располневшую круглую луну и мысленно пожелал ей скрыться. И — удивительное дело! Тут же приметил, что на небе появились редкие облака. Жайнак, словно угадав мысли Чокана, вполголоса запел:

В Баяне полный час наступил,
Аул в тишине уснул.
Сам бог для влюбленных тучей прикрыл
Светящую ярко луну.

Ночь заметно потускнела. На луну, как в песне, набежала темная туча. Не верящий в бога, не верящий в приметы Чокан, однако, посчитал это каким-то предзнаменованием.

Айжан знала, что она встретится с любимым, не от Жайнака, а от снохи. По казахским обычаям брат и сестра не секретничают друг с другом — это считается стыдным. Другое дело жена брата — ей можно поверять свои тайны.

В юрте она была одна. Болезнь исчезла так же внезапно, как наступила. Теперь Айжан тревожилась только о том, чтобы чужие глаза и даже глаза родичей не заметили Чокана. Ему-то в лицо и брат родной ничего не скажет, но ежели кто узнает,— непременно пойдет новая сплетня.

— Вот беда!— рассуждала она про себя.— Недаром в Коране сказано, что женщина — западня черта. Как бы я не стала такой западней для моего Канаша.

Подумала так и испугалась собственных мыслей. В это время скрипнула дверь. Кто-то входил в юрту.

— Айым!— негромко произнес Чокан.

Ей хотелось крикнуть в ответ — Канаш!— но она сдержала себя, прикрыв ладонями рот. Прикрыла на какое-то мгновение, потому что спустя секунды ее ладони уже скользили по горячей шее Чокана.

...Скоро ветер унес дальше к горам тучку, спрятавшую луну, и голубоватый свет проник через открытый тундик в юрту, осветив ее бедное убранство, задержавшись на счастливом лице Айжан.

Не разнимая рук, они присели на одеяло, чтобы лучше видеть друг друга. Помолчали. Чокан попытался снова склонить Айжан к подушке, но, почувствовав легкое сопротивление, понял, что наступило время разговора, ради которого он сейчас находился в юрте.

— Месяц мой, я готов выполнить любую твою просьбу.

— Правда?— и Айжан тихо, но решительно произнесла.— Больше я так не могу, Канаш. Ты должен стать моим мужем, я — твоей женой. По-настоящему, по-мусульмански.

И стала подробно объяснять, что это значит. В ее быстрой монотонной скороговорке были слова о мулле, о свидетелях, изречения из Корана. Не сразу можно было догадаться, чего она так настойчиво добивается. Но Чокан знал об этом от Жайнака. И, кроме того, на память ему пришло выражение, что и в девяти десятках слов можно найти узел величиной с тобык, коленную чашечку овцы.

К мусульманским обрядам Чокан относился отрицательно, но не захотел об этом говорить прямо, чтобы не ошеломлять Айжан. Начал издалека. Пробовал объяснить ей значение слова «человечность», просил называть его поласковее — не просто Канашем, а Канашжаном и уж ни в коем случае на вы или ага...

— Значит, веришь, мой месяц, в человечность, в мою человечность?

— Верю, Канашжан!..

— А если веришь, так знай, свою человеческую совесть я считаю выше любой религии. Веришь?

И снова Айжан тихо повторила:

— Верю, Канашжан!..

— Зачем же тогда свидетели?

— Какие свидетели?— переспросила Айжан, словно забыв, что только что настаивала на двух свидетелях.

— Ты же сама говорила о них,— и продолжил, не дав ей опомниться.— Не считай меня высокомерным, Айым, но я свою совесть не променяю не только на двух, на тысячу свидетелей. Веришь?

И снова почти беззвучно:

— Верю!..

— Так зачем же нам тогда всякие свадебные обряды?

Тут Айжан почувствовала, что проиграла. А Чокан продолжал наступление:

— Отбросим в сторону дешевые свидетельства. Назови меня настоящим мужем, а ты для меня отныне — законная жена. Согласна?

Айжан закрыла руками лицо.

— Да ты, никак плачешь... Почему?

— В этом мире еще мы можем так успокоиться,— всхлипывала она,— но что же нам делать на том свете?

— Слушай, Айным. Бог, неверное, должен понимать сокровенные людские тайны не хуже нас с тобой. Главное, чтобы наши отношения были честными, чтобы измена не омрачала их. Остановимся на этом? Вот и наш договор. Я сдержу свое слово, а ты?..

— Придется остановиться,— горько вздохнула Айжан.— Что же иначе делать?

— Спасибо тебе, Айым!— Чокан привлек ее к себе, согрел своим дыханием.— Еще тебе скажу. Кто не увлекается девушками? А на тебя в Орде многие заглядываются. Чтобы этого не было, чтобы мои родственники не возомнили о себе, я скажу отцу, что мы обвенчались.

— Зачем?— испугалась Айжан.

— Затем, чтобы всякие черти не подходили к тебе.

— Не делай этого, Канашжан, не делай!— она прижалась к нему, обвивая руками его шею.— Прошу тебя. Так только хуже будет!

Тут Айжан вполне разумно и с точки зрения Чокана объяснила:

— Ты возвратишься на то самое место, откуда сбежал. Да, сбежал. Ты пытался сохранить уважение к себе, а теперь его

расплескаешь. Подымутся враги. Они не только тебе повредят, но и мне.

— А как же мне тебя защитить, Айым?

— Ты прав в одном: ключ к этому у хана, у твоего отца. Но ключ к отцу находится у твоей матери. У Ай-апа. С ней и нужно тебе говорить. Но не с отцом.

— Пожалуй, ты права,— раздумчиво отвечал Чокан.

...Небо начинало бледнеть, гасла луна, и первые жаворонки уже возвестили своим щебетаньем о наступающем утре.

Возле юрты послышалось легкое покашливание. Это, догадался Чокан, Жайнак или Жупар давали знать, что пора молодому султану возвращаться к себе, если он только хочет оставаться незамеченным.

— Месяц мой, мы, возможно, долго теперь не встретимся. Я перед дальней дорогой.

— Слышала об этом, Канашжан. Я готова к разлуке. Теперь мы встречаться здесь не будем. Может, больше и совсем не увидимся.

— Постараемся, чтобы так не случилось.

— Конечно, постараемся. Но почему ты начал этот разговор?

— Говорят, у человека много желаний. Ты знаешь Коран. Как он это толкует?

— Желания, потребности...— задумалась Айжан.— Шариат учит: если идти на поводу у желаний, им нет границ.

— А что же надо делать, чтобы не идти у них на поводу?

— Есть только одна преграда, Канашжан. Довольствоваться тем, что есть. Я тебе расскажу о пророке Дауде. Рассказывают, у него было девяносто девять жуфут. Ты не знаешь слова жуфут? Ну, жена или любовница. Дело не в этом, а в том, что Дауд решил взять еще одну. В это время перед ним появился ангел Жебраил в человеческом облике и попросил у него овцу. Зачем тебе овца, спросил Дауд. У меня, отвечает тот, девяносто девять овец, хочу довести до сотни. Дауд стал его ругать. Мол, жадный ты человек, мало тебе девяносто девяти. Тогда Жебраил и напомнил Дауду о его женах. Напомнил и исчез. Дауд понял, что это был ангел, как понял и то, что должен радоваться тому, что имеет, и не желать большего.

Чокану было не совсем ясно, почему Айжан вспомнила именно эту легенду. Тем более, что он, Чокан, нисколько не походил на Дауда. Спросил об этом ее.

— Я-то ведь самого малого хотела, Канашжан. По-мусульмански обвенчаться с тобой. Но мы договорились иначе.

Теперь вот думаю, права я или нет. Вспомнила сейчас — у аллаха тысяча и одно имя. И одно из имен — об этом сказано в хадисе Мутуатр — договор. Представь, договор между людьми. Значит, мы скрепили свои отношения божьим именем. И у меня на душе стало легче.

Тут они укрепили свой божий договор долгими земными поцелуями.

... Чокан поспешил к горам Имана. По дороге к своей юрте он думал о том, как неожиданно стала Айжан ревностной мусульманкой. Ему приходилось слышать о религиозных русских девушках, отрекавшихся от всего земного и проводивших жизнь в монастырях. Он знал, что по христианской религии существовали святые женщины. Но разве бывали святые женщины в истории Ислама? Бедная Айжан! Вот что сделала с ней власть обычаев и власть религии. Ему вовсе не хотелось, чтобы она стала первой мусульманской святой.

В это самое время Айжан смотрела, запрокинув голову, в одну точку купола серой юрты и думала о том, что встреча с Чоканом ни к чему не привела. Она верила его слову, она хотела найти опору в сознании необходимости довольствоваться тем, что она имеет. Но что же будет дальше? И вот об этом-то она решительно не хотела думать.

...Если бы они не попрощались, если бы Айжан звала Чокана к себе, он, вероятно, надолго бы задержался в Орде, в окрестностях Имантау. Благо, времени еще было достаточно. Мог бы он поискать здесь певцов и музыкантов, мог бы и поохотиться. Однако наслаждаться песнями и знать, что рядом Айжан, казалось ему тяжким искушением. Поэтому в оставшиеся краткие дни он ограничился общением с родными, с родителями — он нашел с ними общий язык в этот свой приезд и втайне удивлялся, что пока они так ничего и не узнали о его воровской любви.

За те годы, что он отсутствовал, в Орде произошли многие изменения.

Время прежде всего коснулось отца. Он стал заметно сдавать, стариться. В ту далекую осень, когда он привез Чокана в Омск, в его волосах и бородке с трудом можно было увидеть седину. Теперь его волосы стали бурыми. Чокану показалось, что он поседел еще больше даже после недавних омских встреч. Когда-то полное гладкое его лицо избороздили глубокие морщины. Лицо стало серым, землистым и потеряло прежнее выражение угрюмой властности.

Рано он начал стареть, рано. Его ровесник из тулენгутов Такырбас и сейчас выглядел мододцом — гладкий, румяный,

чернобровый. Ах, ты мой черный ишак, вслух подшучивал над ним Чингиз, завидуя про себя его свежести и не подозревая, что этот ровесник-курдас за глаза частенько называет его серым козлом.

Чингиз рано постарел прежде всего потому, что на его глазах приходил конец ханскому времени, что уже давно не принималось, как незыблемое, каждое его слово. Он простодушно продолжал считать себя аристократом, верил в необычайное происхождение своих предков. Он — белая кость, остальные казахи — черная кость. Он мог прежде ходить, выпячивая грудь. А теперь, после окончательной отмены ханства и образования округов-дуанов, его сравняли с остальными. Белая кость чингизидов стала постепенно чернеть и разрушаться.

Среди шести старших султанов сибирских дуанов только он один ханского рода. Остальные черной кости и чаще не из именитых. Умерший в прошлом году Турлыбек, сын Кошена, дослужился до советника при генерал-губернаторе, возвысился даже над старшими султанами, а сам происходил из семьи, пасшей коров у жителей Омска. Едва ли не самым уважаемым из всех шести старших султанов стал Альжан Тлеубердин из Кокпектинского дуана. А кто такой Альжан? Внук слепого Мамбета, имевшего всего-навсего одну лошадь. Сын Тлеуберды, пастуха в русских селах. Повезло Альжану потому, что отец отдал его учиться в русскую школу, а потом ему посчастливилось попасть на глаза князю Горчакову. Альжан сообразил, как надо жить. Начал приумножать свой скот, особенно с той поры, как стал султаном, занялся торговлей, а теперь и вовсе разбогател. А султан Ибрай Жайыков из Акмолинского дуана? Башкир, о котором нам уже доводилось рассказывать. В чем он силен, так это в русской грамоте. Но если говорить о русской грамоте, тут Чингиз тоже никому не уступит. Белому царю он служит верой и правдой. Если бы омские власти уважали его ханское происхождение, то приподняли бы его над остальными султанами, а они, как видно, не стремятся к этому.

Чингиз верил в существование счастья. Счастье казахи называют иногда лбом. Так и говорят — лишился лба. И Чингиз давно понял — лоб потомков солнечного дня давно отвернулся от солнца.

Читая многие старинные книги, а в их числе и «Родословную тюрок» Абдулгази Бахадур-хана, Чингиз представил себе, как приходило постепенно в упадок великое, словно океан, государство, созданное Чингиз-ханом. Уже во времена Аблая

ханство превратилось в небольшое озерцо, а теперь от него осталось только маленькое болото. И он, Чингиз, увяз в этом болоте вместе с другими ханскими потомками.

Кто теперь после разделения на округа-дуаны, находится под его властью? Кереи и уаки сами по себе, их возглавляет Таштит, сын Табая. Чингиз не был в ладах с Таштитом, и Кереи с Уаками только на бумаге подчинялись Кокчетавскому дуану. В действительности пять их волостей и кочевали-то в других местах. Одна ветвь Кереев — Аксары и Коксары — расположилась на востоке Прииртышья. Советник генерал-губернатора Турлыбек, сын Кошена, влиял на всех Кереев и Уаков куда сильнее Чингиза. Казалось, со смертью Турлыбека уйдет и его влияние, но оно неожиданно для Чингиза перешло к сыну Турлыбека Ногербеку, который нашел общий язык с Таштитом и еще дальше оттеснил Чингиза.

Род Атыгаев и Караулов тоже гнал сам по себе своих верблюдов. Когда-то они породнились с Аблаем, приведя к нему в Орду шесть девушек. Но прошли долгие годы, они стали отдаляться, а потом и открыто враждовать.

Ханской опорой долго являлись туленгуты. Еще совсем недавно, при Айганым, они честно и безропотно служили Орде, считая себя чуть ли не ее рабами. Теперь таких осталось мало. Многие туленгуты поставили свои юрты, обзавелись своим скотом, начали богатеть и вышли из повиновения. Что нам, дескать, ханские потомки, у нас свои седла и стремена!

Где уж тут говорить о море ханского счастья? Болотце одно осталось, а кое-где просто засохший такыр.

Чингиз цеплялся за любую возможность поправить свои дела, дела Орды и сыновей. Сватал Чокану красивых девушек из именитых и богатых семей, но Чокан отказывался от женитьбы, даже не взглянув на них. Отец не возражал и против того, чтобы сын связал свою судьбу с Катериной Гутковской. Чингизу она нравилась и красотой своей и приветливостью к нему, отцу Чокана, а родство с ней укрепит их положение в Омске.

— У твоего предка Аблая тоже была жена из русских красавиц,— напирал Чингиз на сына, но Чокан и в этом случае оставался глухонемым.

Теперь, после возвращения из Омска, Чингиз с раздражением узнал, что сын поехал не прямо в Орду, а через Кзылжар и вдоль Ишима, оплакивая гибель дочки Кожыка. Это известие его так оскорбило, привело в такую бешеную злость, что он поседел еще больше.

«Долго ли еще он будет так болтаться?» — думал Чингиз

про себя. И опять вспомнил Айжан. Сколько размолвок было у него с байбише из-за этой девчонки! Когда не так давно Ракию выдавали замуж, ей в приданое выделили и семь сирот. Чингиз непременно хотел отдать в их числе и Айжан. Но Зейнеп решительно воспротивилась и нашла сотню оговорок. «Пусть мне отрежут нос, если она не станет главной бедой в нашем доме!»— в злобе воскликнул он тогда. Айжан продолжала жить возле Зейнеп и помогала ей вместе со снохой. Байбише даже нравилось, что ей прислуживают молодые красивые женщины. После Атбасарской ярмарки, когда Чокан не заехал домой, родители решили, что у него с Айжан все покончено. В Орду приезжали свататься к служанке, и Чингиз с легким сердцем отдал бы ее замуж, но всякий раз Зейнеп находила причину оставить ее при себе. Мол, тело мое стало очень тяжелым, и за дастарханом трудно обходиться без помощницы.

— Сколько же она будет жить у нас?— спрашивал Чингиз.

— Столько, сколько ей суждено,— отвечала жена, и Чингиз знал, что жену не переспоришь.

Зейнеп по-своему привязалась к Айжан. Она стремилась и оградить ее от сына в меру своей гордости, и заботилась о ней, как о близкой сыну, в меру своей душевности.

Она присматривалась к Айжан. Как она себя поведет, узнав сладость брачной постели? К удивлению Зейнеп, молодая женщина не позволяла себе никакого легкомыслия. Может быть, тут сказывалась ее религиозность. Зейнеп несколько раз заставала ее плачущей над мусульманской книгой. Удивлялась, сочувствовала, но понять ничего не могла.

...И вот приехал Чокан.

Если родители что-нибудь и узнали о его нынешних встречах с Айжан,— вряд ли они смогли до конца остаться в неведении,— то не говорили больше об этом со своим повзрослевшим сыном. У Чингиза не прошла злость и по поводу дочери Кожыка, но внешне он ничем не выдал себя, хотя Чокан и обратил внимание на некоторую его холодноватость и на вымученность его улыбок.

Зейнеп относилась к Чокану теплее отца, ее материнские чувства нисколько не изменились. Однако и она делала вид, что ничего не знает об их продолжающейся любви.

Однажды, прильнув к Зейнеп, совсем как в детстве и согревшись материнской, нежной, как в мальчишеские годы, лаской, Чокан сам заговорил об Айжан. Сказал, что она

близка ему как жена и что он уже назвал ее своей женою, спросил, как на это посмотрят теперь родители.

Слова Чокана не прозвучали неожиданностью.

— Откуда мне знать, родной,— отвечала Зейнеп.— Дела наши, как знаешь сам, не идут в гору. Уважение к отцу с каждым годом падает. Его тоже не надо обижать. Трудно ему. Вот поедем на той в Бурабай. Я ведь тоже решила там побывать. Здоровье чуть лучше стало. Возьму с собой и Айжан. Пройдет праздник, там посоветуемся еще раз.

Чокан больше не возобновлял таких бесед.

Тем не менее, отношения Чокана с отцом и матерью в этот приезд оставались ровными, спокойными, а иногда и душевными.

Чокану особенно понравилось, что отец стал собирать книги. Некоторые ему случайно достались из библиотеки бухарца Науана, другие он купил во время своих поездок. Были здесь книги религиозные и исторические. О религиозных трудах между отцом и сыном разговор не возникал, а вот об исторических они обменивались мнениями. О том же Абдулгази Бахадур-хане, о Мухамбете Хайдар-доглате, авторе «Тарих-и-Рашиди», о трудах Бабура и Улугбека, о дневниках — намэ. Еще больше пришлось по душе Чокану, что отец в последние годы, подражая известным ученым-историкам, сам стал записывать казахские предания и образцы устной народной поэзии. Он реже выезжал из дома, чаще углублялся в свои занятия, стал религиознее, чем прежде, и аккуратно совершал намазы.

Русская культура коснулась Чингиза и Орды даже внешне.

Некоторые перемены в быту бросались в глаза. Порою Чокану казалось, что так бы жили небогатые дворяне, если их поместить в юрты. По-русски застилались постели, русская посуда подавалась на стол. Мужчины и одеваться стали иначе. Правда, одежда только приближалась к русской и шили ее преимущественно татары-портные. В Орде это выглядело более или менее скромно. А вот некий торе Самеке носил европейского покроя пиджак и брюки из китайской чесучи, но украшал свой колпак перьями филина, а помочи — кисточками. Сапоги стали шить в Орде, да и в других аулах, с узкими голенищами и разные — для правой ноги и левой. Входили в моду и татарские тюбетейки.

Уж очень легкомысленно выглядел брат Чокана Жакып. Одевался он, как торе Самеке — крикливо и ярко. Добро бы только одевался, но он и вел себя неподобающим образом — не давал покоя ни девушкам, ни молодым женщинам. Даже

жалобы поступали — насильничает молодой султан. Чокан пробовал его урезонить, но он как отрезал:

— Ты сам исправься, а уж потом меня учи!

Больше говорить с братом Чокан не пытался.

Его, как всегда, занимала аульная жизнь. Присматриваясь к ней, он находил много изменений.

Оживленней стали станичные базары. Казахи чаще привозили туда шерсть, кожу, скот. И, обзаведясь деньгами, покупали одежду и обувь. Материалы фабричного производства мало-помалу вытесняли из обихода и сыромятную кожу, и домотканные полотна.

Прежде казахи не могли объясняться с русским врачом или фельдшером. Теперь в ауле всегда можно было найти сравнительно толкового переводчика.

«Школы, школы нужны. Пора бы обучать всех детей грамоте»,— мечтал Чокан.

Но вместо просвещенных учителей в аулы устремились ходжи и муллы. Они проводили обряды обрезания, участвовали в свадьбах и похоронах, не без пользы для себя собирали религиозную подать и, походя, охаивали всякие новшества, связанные с принятием русского подданства. Такие известные ходжи, как Шортанбай, Майлы, Мадели не лишены были некоторых поэтических способностей и приобрели популярность в народе.

Муллы чаще всего приезжали из татарской или башкирской стороны. Встречались среди них и сбежавшие от воинской службы или от наказания. Чокан хорошо помнил одного из таких — старого Галиакбара, соглядатая и доносчика. Читать по-арабски он кое-как еще мог, а вот связно написать хоть несколько слов ему было уже трудно. Но и такие муллы, увы, учили детей.

Чокан уже давно удивлялся тому, что русские власти, тесно связанные с христианской церковью, всячески поддерживали ислам и опекали мулл. Он был убежден, что такая политика препятствует развитию народа. Он и раньше хотел выступить против ислама, а теперь окончательно утвердился в этом своем намерении.

Но если ислам угнетал казахов преимущественно духовно, то налоги подрывали основы самой жизни, ввергали народ в бедность. Ведь кроме законных налогов местные власти собирали средства и для так называемых «мелких расходов». Тут уж не было никакой меры. Сколько заблагорассудится,— столько и тянут. «Черный убыток»,— так назвали в народе эти сборы, достигшие особенного размаха в последние два-

три года. Средств собирали уйму, но только десятая часть шла по назначению, а девять десятых — самый хороший молодняк, самые жирные кобылицы — шли прожорливым властям и урядникам. Уже в Имантау один бедняк заявил Чокану, что у него в счет «черного убытка» отобрали последнюю трехлетку.

«Черный убыток»—«Кара шыгын». Но его еще чаще называли «Кара шыбын»—«Черная муха». Меткое название! Чокан представил себе, как черные мухи налетают на раны угнетенных людей, и раны начинают гноиться и доставлять невыносимую боль.

Кто может избавить народ от этого бедствия? И тут Чокан вспомнил о заявлении Таттимбета на имя царя. Может быть, уже пришел ответ, а если не пришел, Чокан сам напишет письмо царю. Он наметил заняться этим как следует в Омске, но готовить почву решил уже в Бурабае.

Между тем подступали сроки отъезда. Родители, если они еще не раздумали, собираются ехать на праздник позднее. Ведь Чингиз должен был привезти предназначавшуюся для генерал-губернатора белую гостевую юрту и вместе с Мусой Чормановым, который к тому времени подъедет из Баян-Аула, встречать почетных гостей.

Чокан надумал взять с собой трех спутников: Жайнака, к которому после многих лет разлуки привык снова, известного кобызиста Кангожу и родного своего братишку Макежана, иначе Макы. Макы, названный при рождении Абу Мухаммедом, был совсем маленьким, когда Чокан поступал в корпус. Мальчиком лет пяти он тяжело заболел тифом и его, посчитав умершим, вынесли на холод. Он пришел в себя, но остался глухонемым. Несчастный мальчик оказался талантливым — лепил из глины, высекал из камня, вырезал из дерева фигурки людей и зверей. Привязался к старшему брату, не отходил от него в Орде, даже бегал к нему ночевать в гостевую юрту. Чокан слышал, что в России есть школы для глухонемых и предложил родителям похлопотать об устройстве Макы в одну из таких школ. Отец поддержал Чокана, мать — ни в какую. Она вообще не хотела отпускать его от себя, и с трудом согласилась на поездку, но не дальше Бурабая.

...В час прощанья мать как всегда всплакнула и наказывала беречь Макы. И отец был немногословен по своему обыкновению. Поглядел на Чокана, подумал, что таким сыном можно гордиться, а на празднике и похвастаться. Только бы не морочил нам голову с Айжан.

Для Чокана и Макы Жайнак подвел иноходцев, украшен-

ных серебряной сбруей. Глухонемой мальчуган первым вскочил в седло.

Под возгласы — счастливого пути! — всадники выехали из Имантау.

## К вершине Кокшетау

Дорога Чокана к Бурабаю шла в обход недавно построенной Щучинской станицы прямо на город Кокчетав, где находился и старший султан округа и уездное правление, где жил и помощник Чингиза атаман Тимофей Сергеевич Аргунов. В Кокчетаве у Чокана были дела, связанные с проведением праздника, но сам городок, существовавший немногим более четверти века, не представлял для него большого интереса. Чокана манили Синие горы, Кокшетау, край его предков, край неповторимой красоты, запечатленный в сказаниях и песнях. Этот край был владеньем Аблая, дальнего деда Чокана, как говорили в Орде.

Еще не показались на горизонте очертания Кокшетау, а Чокан мыслями был уже там. Он вспомнил, как, перебирая бумаги в Омском архиве, наткнулся на толстую тетрадь, исписанную красивым разборчивым почерком. Тетрадь оказалась дневником неизвестного офицера и носила название «Ханство Аблая». Царские власти, судя по всему, негласно отправили этого офицера и для мирных переговоров, и в разведывательных целях, что подтверждала приложенная к дневнику топографическая карта. Но Чокана увлекла не эта сторона записей. Ему понравилась достоверность изложения и художественная выразительность, говорившие о тяготении автора дневника к литературному творчеству. Дневник, видимо, и велся для того, чтобы позднее его можно было переработать в книгу. Но Чокан не нашел подобного издания, как ни искал его в библиотеках, как ни расспрашивал о нем сведущих людей.

Аблай оказал русскому посланцу должное гостеприимство и дал возможность подробно познакомиться с Бурабаем и его окрестностями.

«Мне довелось повидать,— писал офицер,— много красивейших мест России и Западной Европы, но такого прекрасного и удобного для столицы места я не видел».

Автор дневника образно представлял себе, как архитектор всевышнего вооружился гигантским циркулем и, описав круг радиусом в сто верст, поставил на западе три горы с высокими вершинами и узкими перевалами. Рядом с ними он распо-

ложил глубокие пресноводные озера. Их берега и склоны гор покрыты густыми лесами.

«Эти природные крепости,— писал путешественник,— Аблай хорошо использовал для защиты от врагов. Тогда неприятель обычно нападал только летом, и все летние месяцы ханская орда находилась в лесу на поляне возле скалы Ок-Жетпес — Стрела не долетит. На вершине пика днем и ночью дежурил наблюдатель, чтобы нападение не застало ставку врасплох. Казахи так и называли поляну — поляной Аблая.

Но не только летом,— продолжал свой рассказ автор дневника,— во все времена года Аблай находил в этих горах удобные и надежные стоянки. Весной он жил на западном берегу Большого Чебачьего озера, омывавшего с востока склоны Кокше и Чебак. Западный берег вдавался в озеро полуостровом длиной примерно в четыре версты, а в поперечнике версты полторы. Волны накатывали на берег в течение долгого времени песок, ил, камни, и они зарастали березняком, осинником, тальником, ивами, колючками. К полуострову, названному казахами Коккаска — Белый с отметиной, можно было добраться только на лодке, потому что глубина озера превышает пятьсот аршин.

Осенью хан Аблай занимает под свою ставку другой полуостров — Котыр, у подножья горы Торайгыр. Полуостров этот примерно такой же, как Коккаска. Только прибрежные леса здесь значительно гуще — они защищают не только от набегов, но и от осенних ветров. Кроме того, к осени озеро несколько обмелевает, и на его поверхности выступают острова.

Свою зимовку Аблай расположил с подветренной стороны озера Большое Чебачье в Красном лесу, Кзыл-агач. Я сам ночевал зимним морозным временем в юрте, поставленной рядом с ханской. И вот что удивительно: когда юрту хорошо протопят, в ней так тепло, как в каменном или деревянном доме. На всю жизнь мне запомнились эти зимние ночи в юрте».

Особенно понравилось Чокану описание горы Кокше, сделанное офицером:

«Впервые мы увидели контуры Кокше с высокого обрыва у степного озера Азат. Я воскликнул тогда: какое чудо! Я не переставал удивляться голубизне горы, соперничающей ясностью своего цвета с цветом летнего неба. Только краски были несколько гуще. Ближе к нам плыл мираж. Мне казалось — морские волны приподняли горы, и гора чуть колеблется на волнах, словно корабль. Мне и прежде приходилось

видеть горы в других краях, в других странах. Издали они везде представляются голубыми. Но такой голубизны, как здесь, я прежде не встречал... Восхищенные столь дивной картиной, мы стремились быстрее достигнуть горы. Но как мы ни мучали лошадей, гора к нам не приближалась. Только к вечеру в лучах заходящего солнца она вспыхнула всеми цветами радуги и несколько минут выглядела пестрой, как павлиний хвост. И по-прежнему была далеко от нас. Мы поняли, что сможем добраться до нее только на следующий день, и заночевали в степи...»

...Чокан мысленно закрыл тетрадь офицера, так и оставшегося неизвестным.

Бурабай... Народное предание объединило одним этим названием и горы, и лучшее озеро в этом горном краю, и весь этот горный край.

Бура... Грозный верблюд-самец с белой головой и телом, поросшим черной шерстью.

Когда пришел конец ханству Аблая — верблюд окаменел. Его очертания угадываются и сейчас в одной скалистой горе. А немного восточней есть еще одна белоголовая вершина. Предание рассказывает, что на ней во времена Аблая зажигался костер, предупреждавший об опасности или зовущий в поход...

Пока на горизонте еще ничего не было видно. Потом из-за холма вынырнули пасущиеся у одинокой юрты кони. Отдыхающие в юрте мужчины увидели всадников и сразу выехали навстречу. Жайнак первый признал в одном из них Тимофея Аргунова, кокчетавского атамана. Не было никаких сомнений, что и юрту эту он поставил для отдыха Чокана и его спутников.

Может быть, правда, а может быть, и нет, но в народе говорили, что предки Аргунова происходили из рода Аргынов. Что-то казахское было и теперь в чертах его лица. Отец Тимофея Семен был станичным атаманом, когда Кокчетавская станица еще не стала городом. Задиристый и спесивый, он не пользовался уважением в аулах, его просто побаивались. Сын пошел в отца, отличался хозяйственной предприимчивостью и первым в здешних местах посадил табак. Его и прозвали Темекши — табаководом, благо прозвище оказалось созвучным имени. Впрочем, кликали его по-разному — даже Лисий ус — за рыжие, свисающие к подбородку усы.

Лисий ус и скот выпасал по-казахски — на джайляу, и кумысных кобылиц держал, и угощал по всем аульным правилам, вдвойне требуя того же и от аульчан. Вмешивался в

аульные ссоры и, подражая биям, выносил краткие, категоричные и лишь порою верные решения. Все было бы ничего, если бы не чрезмерное властолюбие и пагубная страсть к взяткам. Эти черты определяли и его отношение к Чингизу, с которым он был связан по службе. Считаясь помощником старшего султана, скорее он руководил им, чем наоборот.

Он и к Чокану отнесся бы иначе. Офицерский чин Чокана невысок, но сидит он, как думал про себя Лисий ус, на пороге генерал-губернатора и, значит, его надо всячески ублажать. Поэтому атаман не только выехал навстречу адъютанту, но привез и целую сабу кумыса и тушу жеребенка для мяса. Он уговаривал Чокана отдохнуть здесь, на степном приволье, но Чокан, отведав кумыса, поторопил Аргунова в город.

У озера Букпа на горизонте неожиданно засинели, заголубели горы. Чокан попридержал разгоряченную лошадь. Приостановился и ехавший с ним стремя в стремя Лисий ус.

— Неужели Кокше?— спросил Чокан и сразу вспомнил и дневник офицера и народные предания.

— Кокше, Кокше,— охотно поддакнул Аргунов и, сладко жмурясь, почтительно добавил,— родное твое место, край твоих предков.

Чокан и внимания не обратил, что атаман подлизывается к нему. Он весь был поглощен зрелищем далеких гор, густой их голубизной. И даже жалел, что на пути к нему лежит город.

Аргунову все-таки удалось завезти его в свой дом, поставленный в самом центре и выделявшийся среди казачьих строений необычным видом. Семен Аргунов побывал во время Отечественной войны с русской армией за границей и решил строиться по западному образцу. Коттедж, одним словом. Но «коттедж» звучало слишком чуждо для русских ушей, точно также, как и мезонин, сооруженный вторым этажом над обыкновенным, из сосновых бревен домом. Вся станица, как позднее и город, называли его не коттеджом, а кутежем, что вполне соответствовало истине. И отец и сын Аргуновы были порядочными пьяницами. Пили они на первом этаже, а отдыхали от пьянства, чтобы им не мешали домашние, на втором. Второй этаж назывался уже по-казахски — не мезонином, а мазалы — спокойствием, если перевести.

В этот почетный «мазалы» и поместил Лисий ус Чокана и его спутников.

Атаману очень хотелось как следует подпоить Чокана. Слыхивал он, что в Омске адъютант прикладывался к рюмке.

Но и благоразумие Чокана, не желавшего сближаться с диковатым этим Аргуновым, и настойчивый совет отца не поддаваться на казачьи уговоры сделали напрасными настойчивые попытки хлебосольного атамана. Ссылаясь на болезнь, Чокан не взял в рот ни капли.

Он занимался скучной и не такой уж необходимой, по его мнению, работой — обеспечить порядок на празднике и проведение самого праздника. Приходилось тормошить уездное начальство, растолковывать самые простые вещи Аргунову и пятисотнику.

А мысли Чокана были так, на горе Кокше. Она виднелась из окна мезонина, манила к себе, когда он шел по улице городка, то удалялась, то приближалась, меняла краски в течение дня, затягивалась тучами, озарялась вспышками молний и разгоняла тучи. В знойное чистое утро возникала миражом и плыла на крутобоких волнах тем кораблем, о котором писал неизвестный офицер в своем дневнике.

На третий день Чокан закончил свои нудные дела и как раз в это время в городке появились гонцы, пригласившие его в гостевую юрту, поставленную в одном из живописных уголков у подножий Кокшетау.

## У заветных гор

Казахи, живущие в окрестностях Бурабая, не были едины, не принадлежали к какому-нибудь одному роду. Они делились на три группы, еще в недавние времена обособленные друг от друга. Первая, немногочисленная группа,— несколько домов ханских потомков — торе. Вторая группа — обыкновенные казахи. Третья группа — толенгуты, среди которых были и казахи, и люди других национальностей, которых и объединила и перемолола в прошлом их общая судьба — ханский плен.

Поведем речь о торе. Говорили, что у Аблая было тридцать сыновей. Если это и верно, то верно и то, что при жизни своей хан разослал их в разные концы, в том числе и в Старший жуз — Улы-жуз, чтобы они захватили там родовую власть. В самом Бурабае остались двое сыновей хана — Касым и Вали. Когда они стали бороться между собой, здешние казахи поддержали Вали, как сторонника России, и объявили его ханом, а Касыма сочли разбойником и властолюбцем. Касым восстал против русских, был изгнан и бежал со своими сыновьями в Кокандское ханство, но не поладил с ханом и лишился головы. Его сыновья Кенесары и Наурызбай про-

должали жестокую борьбу за власть, воевали с русскими, были отброшены к горам Алатау, совершали набеги на соседнюю Киргизию и там были разгромлены. На этом и окончилось потомство Касыма.

Два сына Уали-хана от старшей жены — Абайдильда и Аппас — не походили друг на друга. Смирный Аппас занимался только своим хозяйством и не вмешивался в борьбу за власть. Что касается Абайдильды, то у него появились ханские коготки и он начал враждовать с вдовой Вали, с его токал Айганым, пользовавшейся русской поддержкой. Враждуя с Айганым, он враждовал и с русскими, взялся за оружие и угодил в Сибирь. Его дети расселились в разных концах Кокчетавского дуана, а здесь в горах остался жить только один сын Булат. Он до сих пор не мог простить Чингизу, как сыну и наследнику Айганым, горькой участи своего отца, умершего вскоре после возвращения из ссылки. Булат был в душе и врагом Чокана, потому что завидовал ему. Он не любил Чокана, относился к нему с пренебрежением еще и потому, что так на него повлиял старший брат Султангазы. Судьба Султангазы сложилась совсем необычно. Абайдильда отдал его в заложники-аманаты Омскому губернатору того времени князю Горчакову. Из-за измены Абайдильды князь Горчаков мог бы казнить Султангазы. Но и гуманные соображения и соображения совсем иного рода толкнули князя на мысль дать сыну изменника хорошее русское воспитание. Так он закончил корпус и остался служить в Петербурге. Много лет спустя он приезжал на родину отца. Родственники были приятно удивлены его видом, а Булат считал, что Чокан и в подметки ему не годится.

Сильно постаревший торе Аппас не разделял настроений Булата. Султангазы далеко, Чокан рядом с нами. Да мало ли кто враждовал друг с другом в ханском роду? Он знал, как достойно вел себя в Атбасаре молодой султан и теперь беспокоился о хорошей его встрече, как никак, а приезжает он к своим истокам, где даже камни напоминают о его деде, добром ли, злом, но знаменитом. О планах Чокана и о самом празднике Аппас толком ничего не знал. Одно ему было доподлинно известно, что «черный налог» увеличивается с каждым годом. А почему так происходит, никто не ведал.

С кем же посоветоваться, рассуждал Аппас и вдруг вспомнил о сверстнике своих молодых лет, почти столетнем батыре Ангале, сыне того самого Бабаназара, который был не то племянником святого Таумена из Туркестана, не то сам видел пророческие сны. Бабаназар предсказывал будущее не только

темным доверчивым людям, но и такому хитрецу, как сам Аблай. Бабаназар принадлежал к атыгайцам, участвовавшим в провозглашении Аблая ханом и, может быть, поэтому Аблай благоволил к нему.

Рассказывают, Ангал родился, когда его отцу было уже восемьдесят лет. Рассказывают еще, что юношей он успел послужить в войсках Аблая, и хан разрешил ему поднять дым в своих владеньях у подножья Акшокы. Здесь жил и теперь Ангал, почти не покидающий на старости лет своей юрты. Он давно обеднел, и друживший с ним чуть ли не с детства Аппас, зарезав стригунка, не забывал ему посылать долю деда.

Ангал не удивился, когда к нему приехал Аппас. Ангал давно перестал удивляться чему бы то ни было. О празднике он уже знал, а вот то, что Чокан находится неподалеку,— было для него новостью, которую он тоже принял как должное.

— Вдвоем с тобой, Аппас, мы ничего не сумеем сделать. А таких дорогих гостей надо встретить достойно. Значит, все аулы должны взять подготовку на свои плечи.

— Я так и думал, Ангал. Только как собрать народ? Объехать всех — много времени надо. Может, зажечь костер на вершине Акшокы?

— Огонь давно не загорался на горе. Не испугается ли народ? Не подумает ли о плохом?

— Нет, Ангал. Военных походов в нашей степи давно уже нет. А в народе хорошо знают, что костер на вершине может означать не только беду, но и добрую весть.

— Давай посоветуемся с Чингизом,— Ангал никак не хотел вносить беспокойство в жизнь аулов,— в конце концов он старший султан Кокшетау, а не мы с тобой. Поговорим с ним и с Чоканом. Прежде всего пригласи Чокана и поставь ему юрту на Коккаска. Пусть едут твой сын Бералы и мой племянник Жантабар. Согласен?

Аппас почувствовал, что он не зря заехал к старому батыру.

Так Бералы и Жантабар появились в доме Аргунова. Чокан обрадовался приглашению, но его тревожил «черный налог». Лихие сборщики не преминут воспользоваться и его приездом, чтобы обогатиться за счет аулов овцами и кобылицами. Ведь в Имантау нагнали столько скота, что можно было провести не один, а три праздника. Когда Чокан сказал об этом отцу, тот поморщился и твердо пообещал отдать лишний скот его хозяевам. Все же Чокан задал вопрос и Бералы — не слишком ли они усердствуют с «черным налогом». Но Бералы недовольно помотал головой и по существу ничего не ответил.

Они выехали из Кокчетава прямо к Коккаска, к западному берегу Большого Чебачьего. Бералы, выполняя просьбу отца, сделал только один небольшой крюк — к солоноватому Ханскому озеру. Там сохранилось до сих пор множество ямок, темневших издали, как окопы. Оказывается, именно здесь провозглашался ханом Аблай, и над этими очагами варилось мясо для угощения тысяч гостей.

Была уже ночь, когда они добрались до гостевой юрты. Светила луна, но озеро, скрытое деревьями, только угадывалось. Чокан устал от долгой верховой езды и по своей привычке, удовольствовавшись творогом со сметаной, сразу завалился спать.

Проснулся рано и тихонько, чтобы не разбудить остальных, покинул юрту. Цепляясь за ветви, раздвигая кустарник, вышел к озеру. Утренний ветер гнал к берегу волны и, разбиваясь о валуны, они вскипали белой пеной. Но вода была чистой. Держась за корягу, он нагнулся и попробовал ее рукой: вода оказалась неожиданно теплой. Чокан быстро разделся и погрузился в упругие и тяжелые волны... Выбраться из озера было труднее, чем войти в него. Ноги так и скользили по камням. Туго бы ему пришлось, если бы не спасительный тальник. Потом он отдыхал на гладком плоском валуне, уже прогретом солнечными лучами. Словно в полудреме он слышал какие-то голоса, конский топот. Дальний шум не затихал, одиночные голоса приближались. Из чащобы показался Бералы:

— А мы-то думали, где он? Уже решили всадников посылать. Но потом догадались, где ты. Я захватил нарядный казахский халат. Перед своими надо выглядеть своим. Народ собрался, хочет тебя видеть, торе. Я и лошадей привел. До поляны идти довольно далеко. Тут и Жайнак.

...Пробирались на конях узкой лесной тропкой, один за другим. Приблизились к поляне, заполненной людьми.

— Дальше ехать верхом неудобно, невежливо,— сказал Чокан и спрыгнул с седла.— Не они нам, а мы им должны оказать почет. Их — большинство.

Бералы пришлась по душе скромность Чокана. Так они и пошли вдвоем, а Жайнак вел лошадей на поводу. Старый Аппас отделился от толпы и в сопровождении нескольких аксакалов направился им навстречу. Обнялись как положено. Грубый стариковский голос Аппаса сорвался от волнения.

Осторожно, чтобы не обидеть старика, Чокан освободился из его цепких рук и, склонив голову, вплотную подошел к собравшимся.

— Ассалаумагалейкум, люди!— и приложил правую ладонь к груди.

Старым и молодым, бывшим слугам толенгутам и просто казахам обедневших родов Чокан понравился и своей незаносчивостью и душевностью кратких приветственных слов. Они еще немного знали о нем, но и то, что знали, уже рождало добрые чувства. В степи не забыли, как он ударил камчой в Атбасаре Серого Бугая, пытавшегося отобрать телку у бедного казаха. Дошла весть, что он стремится отменить «черный налог». С уважением говорили и о любви Чокана к народным песням. И уж совсем не последнюю роль играла его образованность. В большие люди вышел, а такой молодой! Офицер, в Омске служит. У самого жанарала. А наш, совсем наш. И тень, которая падала в глазах народа на ханских попотомков, словно не касалась теперь Чокана. Добрые улыбки так и вспыхивали на лицах. Слышались восклицания:

— Пусть будет счастливым твой путь, Чокан-жан!

— Долго живи, наш дорогой!..

Взволнованный Чокан подошел к Бералы.

— Скажи мне, Бер-ага, я родной или чужой народу?

— Какой же ты чужой?— удивился Бералы.— Разве ты не потомок Абая, разве ты не в краю своих дедов?

Чокан покачал головой.

— Не в этом дело, Бер-ага. Не в этом. Я не хочу быть здесь только гостем. Я не хочу, чтобы во мне видели только торе. А за встречу — спасибо!

И Чокан еще раз поклонился народу.

Многие слышали этот разговор и одобрили молодого султана.

...После этой встречи Чокану еще больше захотелось до приезда высокопоставленных омских гостей побывать в заповедных уголках Бурабая.

— Поезжай, Қанаш, посмотри,— поддержал его Бералы.— Только многое тебя огорчит.

И рассказал ему, что русские казаки завладели почти всеми окрестными пастбищами. Есть аулы, у которых хорошей земли не осталось и с потник величиной. Қазаки не разрешают пасти скот на угодьях, веками принадлежавших казахам. Но пасти-то надо! И наши казахи пасут, а русские казаки захватывают скот и не возвращают его, пока не получат возмещения за потраву. Достается и баям, и беднякам. Однажды шортандинские казаки отбили у байского табуна пятьдесят коней, да так и не возвратили. А в лесах появились русские сторожа-лесники, не позволяющие казахам нарезать да-

же прутья для загородок. Срубишь дерево — давай овцу. Штрафуют, избивают...

— Словом,— заканчивал Бералы,— казаха провожатого ты не найдешь. Одному ехать опасно — медведи здесь водятся и рыси. Попроси русских казаков, они с тобой считаются, да и тропинки в лесах знают теперь не хуже нас.

Договориться через Аргунова с атаманом Шортандинской станицы Карабашевым, происходившем, должно быть, из крещенных казахов, было совсем нетрудно. Карабашев вился вьюном перед Валихановым, всячески желая ему угодить. Он отобрал из своей сотни нескольких казаков, ориентировавшихся в лесных предгорьях, как в собственном доме, и вызвался сам сопровождать Чокана. Не отстал от своего султана и Жайнак. Только Макы оставили на попечение гостеприимных хозяев — он увлеченно собирал разноцветные камни причудливой формы и любовался впервые увиденными горами.

А путешествие оказалось не из легких. Порою приходилось идти пешком по крутым тропам, порою переправляться через озера верхом и на лодках.

Не раз вспоминал Чокан дневник неизвестного офицера, побывавшего здесь во времена Аблая. Автор дневника видел и понимал красоту. Но какими бы словами он ни описывал Кокшетау — это были только слова, только рисунок природы, а теперь Чокан видел живую природу и находил в ней новые теплые краски, не попавшие на страницы той омской архивной тетради.

Изумительная расцветка причудливых скал, озер, хвойного и березового леса словно говорила о несметных скрытых богатствах этого горного сокровища среди казахских степей. И это подтверждали рассказы старожилов, в которых волшебные легенды сочетались с вполне реальными фактами.

Чокан услышал здесь сказку о Золотом озере. Когда всевышний раздавал горы, самая большая гора упала на Золотое озеро. Она его накрыла целиком, но золотые брызги вовремя паденья разлетелись по сторонам и просочились в пески.

Это сказка. Но вот, говорят, что Дюйсенбий, сын Жантая из рода Караулов — бедняк, владевший единственной лошадью, заметил, как русские казаки намывают золото недалеко от Бурабая и сам стал его искать. Вскоре он уже хвастался перед баем Махамбетом, сыном Айдоса:

— У меня в одном кармане твой табун в тысячу голов.

Может быть, молва и преувеличивала, но золото действительно искали и находили. Но теперь его близко на поверх-

ности уже не было. Чокан видел один участок, изрытый ямами и напоминавший издали пчелиный улей.

Рассказывали еще и о горе с пещерой, где змей было как муравьев в муравейнике. Люди подумали, что змеи стерегут озеро, прикрытое горой, и перестали там тревожить землю лопатами. Один татарин по имени Фахруддин даже сочинил поэму «Шах-маран» о горном царе змей и поэму эту многие в Бурабае знали наизусть. Привелось в эти дни услышать ее и Чокану.

Но не только под землей хранились сокровища. Сама земля, верхний ее слой был удивительно богат. Чернозем!— это название казахи услышали от русских переселенцев. Аршинные пласты чернозема. Казахи помнили, что их предки выращивали ячмень и просо, но потом забросили свой древний промысел и занимались только скотоводством. А теперь, работая в найме у русских, вспахивая свою же землю и собирая хозяйский урожай, они снова приобрели вкус к хлебу и отдавали за мешок зерна несколько овец, а то корову или лошадь.

Мало-помалу многие казахи стали приобщаться к хлебопашеству. Не все получалось гладко. Чокан узнал, как Шагырай, сын Манки из рода Аксары Кереев, распахал небольшой участок земли с подветренной стороны горы Бурабай и вырастил первый скромный урожай. Волостной правитель Жанбота, сын Карпыка, попросил у него мешок зерна, а Шагырай поскупился. На второй год Жанбота пустил скот на поле Шагырая и уничтожил всходы. Шагырай с той поры перестал сеять хлеб.

Озера Бурабая, а их, если посчитать все, большие и малые, не менее восьмидесяти, изобилуют рыбой. Чокан сам видел, как ее черпают ведрами. Но и рыбным промыслом здесь занимались преимущественно русские поселенцы. Как грустно, что исконные жители кокчетавской земли не научились пользоваться и этим богатством, хотя кто из них не знает вкуса жареной или копченой рыбы.

Спору нет, основа хозяйства казахов — скотоводство. Из века в век. Но, научившись разводить скот, казахи не научились побеждать бескормицу, джут. Еще в мальчишеские свои годы Чокан не раз слышал, как владевшие тысячами голов скота баи враз оставались с одним арканом-куруком в руках.

Если что и выручало казахов, так это просторы родной земли, возможность в зимнее время откочевывать на дальние берега Сыра и Чу, отправляться на летние джайляу в Сары-Арку и Сибирь. Но после возникновения городов Актюбинска, Тургая, Атбасара, Кокчетава, Акмолинска, Каркаралинска и

многочисленных казачьих станиц широкие пути кочевий сужались, а порой и просто оказывались закрытыми. Давай хороший выкуп — пропустим. Но и выкуп не всегда помогал.

Так и скотоводству грозил упадок, и Чокан думал о том, что хорошо бы поставить в известность Петербург о бедственном положении кочевников и скованных богатствах края. Представляя нового царя реформатором и преувеличивая его отзывчивость, Чокан наивно мечтал рассказать ему об этом.

Тревожные мысли о бедности и богатстве не давали Чокану покоя здесь, в Кокшетау, у горы Бурабай, у прекрасных озер на земле, таящей несметные клады.

В эти дни странствий с Никанором Карабашевым им овладела почти детская мечта — увидеть с одной из вершин весь Бурабай, все горы и степь Кокчетавского дуана. Чокан и называл свою мечту словами из мальчишеской игры в асыки, в баранью косточку. Есть у асыка, у альчика, четыре стороны — буги, ишик, алчи и тайке — четыре направления полета. Он и хотел, чтобы они выпали ему разом.

— Подымемся на Окжетпес?!

Человек пожилой и осмотрительный, Карабашев сказал, что крутой подъем одолеет далеко не всякая лошадь. Однажды он чуть не погиб из-за того, что конь поскользнулся на камнях.

Но, предостерегая Чокана, Никанор одновременно его и подзадорил. Дескать, с вершины все видно, как на ладони. Город Кокчетав, а до него больше шестидесяти верст, как под ногами. Каждое озерцо можно рассмотреть, каждую скалу. Всю степь и далекие взгорья.

Азарт захватил Чокана. Так, бывало, в детстве он стремился выиграть у Жайнака — асык не должен подвести!

Крутизна Окжетпеса, падающая шапка ее вершины манили его. В сосновом лесу, окружившем гору, не видно вершины. Вершиной можно любоваться только издали. Неизвестный офицер сравнивал Окжетпес с пирамидами Египта, со знаменитой пирамидой Хеопса. Только пирамиды сложены по замыслу человека и руками человека, а здесь искусным строителем была только природа.

Автор дневника отдавал себе отчет в том, что Окжетпес бесконечно больше пирамиды Хеопса. Его сравнение связывалось прежде всего с фантастическими и вместе с тем четкими формами горы.

Он же сравнивал некоторые скалы Бурабая с полуразрушенными памятниками и дворцами. Даже мало склонный к поэзии Карабашев, когда они остановились у одного гро-

мадного вогнутого камня с гладко отполированным дном, призадумался:

— А это, знаете, Чертов каток.

И тут же рассказал легенду о дворце какого-то владетельного царя, забывшего о своем народе и отдававшегося все время веселью и женщинам. Царь прогневил бога, и бог наказал царя, потряс землю и разрушил дворец. Черти облюбовали уцелевшее от дворца основание и стали собираться здесь по ночам.

Чокан посмотрел на камень:

— Наверное, аршин сто в длину будет. Представляю себе, как грохотала эта громада, когда катилась с горы. Здорово поработало над ней время. Действительно, тут что ни камень, то сказка...

Провел ладонью по виску, помолчал:

— А на вершину все-таки подымемся.

...Карабашев готовил коней и седла. Поручил кузнецу перековать, достал ремни.

В это время из Кокчетава неожиданно примчался гонец с двумя пакетами для Чокана. Оба пакета были из генерал-губернаторства. В одном, подписанном Карлом Казимировичем Гутковским, сообщалось, что праздник по случаю коронации Александра Второго в Бурабае отменяется. Копии этого извещения посланы султанам всех округов. Во втором пакете было предписание возвращаться в Омск и одновременно уведомлялось, что поездка Валиханова в Среднюю Азию утверждена именным повелением императора.

Оба сообщения порадовали Чокана. С него снималась большая обуза. И, главное, не будет обременительных для народа расходов. Обойдется Гасфорт без дополнительного фимиама. А он вернется в Омск и сосредоточится на подготовке к дальней дороге.

Теперь надо будет позаботиться, чтобы скот был возвращен хозяевам. И тогда можно подняться на вершину гор. Времени это займет немного.

Чокан только догадывался, что послужило отменой праздника. Уж не письмо ли, написанное Таттимбетом? Во всяком случае, делами Омска наверняка заинтересовались в Петербурге.

## Муса, Чингиз, Чокан

Чокан еще гостил у родителей в Имантау, когда до Мусы Чорманова в Баянаул дошли известия, что той в честь царя, так пышно задуманный Гасфортом, вероятно, не состоится.

В Омске назревал переполох, ходили слухи, что появились негласные ревизоры из Петербурга. Брат композитора Таттимбета Куттымбет рассказал Мусе о письме, написанном во время столичных торжеств, письме о взятках и незаконных поборах. Переполох связывали с письмом, а само письмо Куттымбет связывал с Чоканом, который, если и не писал его сам, то, по крайней мере, научил Таттимбета, как это сделать. И хотя про письмо, а тем более про Чокана говорилось шепотом, с клятвенными заверениями, что никто, кроме Мусы, об этом не знает, Муса разволновался. Он-то хорошо знал, как хранятся в степи так называемые секреты. Как брат Зейнеп, как соратник Чингиза, как старший султан и офицер русской армии, Муса Чорманов никак не смог оставаться в стороне от неприятностей, касающихся его любимого племянника Чокана.

Муса и так уже собирался ехать в Бурабай, но теперь он решил опередить события и срочно собрался в Омск. Он бывал там чаще других султанов и потому, что находился ближе многих к городу, и потому, что частые встречи с деятелями губернаторства упрочивали его положение в округе. С ним считались, советовались. Дельный султан, образованный человек, свободно владеющий русским языком, он где мог отстаивал степные интересы. А где нужно было самому добиться выгоды, умел и подмаслить, и подзолотить чиновников — от самых небольших до генерала, далеко не равнодушного к подношениям. Находчивый, умный, привлекательный внешне, он был своим человеком в омских кругах. Его не только приглашал к себе Гасфорт, но несколько раз оставлял и ночевать.

На этот раз Муса особенно внимательно прислушивался к разговорам и довольно скоро установил, что в Омске действительно очень обеспокоены каким-то заявлением на имя царя, что той в Бурабае вот-вот отменят, но Чокан пока остается вне подозрений. Иначе бы Гасфорт не говорил о нем так восторженно. Его приводила в умиление окончательная санкция императора на трудную и важную для России поездку Валиханова в Среднюю Азию. Ведь генерал-губернатор приписывал мысль о поездке и выбор кандидатуры себе и только себе. И сейчас он был убежден, что если Чокан успешно выполнит это поручение, то и он сам получит награду, и его адъютант продвинется по служебной лестнице. Гасфорт приглушенно пробасил после некоторой паузы:

— Я давно думаю о переменах в правлении сибирских казахов. А что, если там будет Валиханов?

Муса, понятно, был доволен этой встречей, но его не покидала мысль о том, что стоит Гасфорту узнать о причастно-

сти Чокана к нынешнему переполоху, как он обозлится на своего адъютанта и начнет ему мстить. А сила, увы, не на стороне Чокана.

Чтобы обезопасить племянника, он принял два решения. Во-первых, если будет необходимо, он пожертвует Гасфорту несколько заветных слитков золота, хранящегося на дне сундучка. Недаром говорят: «При виде золота и черт свернет с дороги». Во-вторых, следует срочно встретиться с Чоканом и Чингизом. Пожалуй, вначале с Чингизом, а уж потом с племянником. Чокан вспыльчив, прямолинеен — хорошего разговора сразу может не получиться.

Будет праздник или не будет, но он приедет в Бурабай. И Муса срочно выслал к Чингизу гонцов — верных своих друзей: младшего султана Секербая, сына Малкельды, своего спутника в Петербурге и Москве, Кусаина, сына Боштая, певца и джигита Жарылгапа, сына Сатылгана.

Посланцы Мусы и знать ничего не знали о его волнениях. Они ехали, чтобы уточнить место и время встречи. А поводом для нее было скрепление недавнего сватовства. Чингиз и Муса задумали обновить старое родство: у Мусы подрастал сын Садвакас, у Чингиза — его дочь, ровесница Садвакаса. Им, правда, было всего по четыре года, но кто мешает объявить их женихом и невестой?

Когда друзья Мусы прибыли в Имантау, Чингиз уже знал об отмене праздника и тревожился, почему так получилось. Но разве он мог отказаться от встречи с Мусой, которого любил и как родственника, и как друга? Честолюбивый Чингиз считал, что достоинства Мусы не уступают, а в некоторых случаях и превосходят его собственные. Он тут же сообщил, что в Бурабае для него будет поставлена юрта у озера Ак между озерами Кумис и Жайнак, возле которых Чингиз приглядел место для своей юрты и юрты Зейнеп. Гонцы помчались к Мусе.

Вскоре двинулась в путь и Орда.

Состарившийся Абу правил лошадьми, сидя на облучке коляски Чингиза. Располневшая Зейнеп с трудом втиснулась в другую коляску. В третьей повозке ехали Айжан и Жупар. Следом верблюды везли сложенные юрты.

Извещенный о встрече, почти одновременно с ними покинул Омск Муса Чорманов.

Чокан и не подозревал, что ради него родичи съезжаются в Бурабай, хотя он не исключал возможности повидаться в ближайшее время с отцом и дядей Мусой. Узун-кулак успел его известить о прибытии баянаульцев в Орду. Он связывал их

приезд с отменой праздника и смутно догадывался, что отец и дядя не могут оставаться равнодушными к омским делам: в них замешаны не только бесстыдные губернские чиновники, но и султаны, бравшие и дававшие взятки, виновные в незаконных поборах. Отец и Муса — дорогие Чокану люди, но как они любят новые шинели и новые чины! Что ж, он скажет им в лицо горькую правду, обрежет гривы их лошадей. Не молчать же ему, не лгать, если они начнут допытываться — что, как и почему. Он сейчас в дружбе с отцом, но бывал с ним и в ссоре. Не хотелось бы ссориться еще раз, но что поделаешь. С дядей Мусой сложнее. У них не было ни одной размолвки, всегда дядя ему помогал. Чокан не хотел оказаться в стане дядиных врагов. Но если дядя почувствует, что Чокан душой на стороне тех, кто против него, он пойдет и против своего племянника.

Однако, зачем загадывать наперед?

Состоится эта встреча или не состоится, но Карабашев уже приготовил коней и отобрал четырех казаков, хорошо знающих горные тропы Окжетпеса. К ним присоединился и Жайнак,— не хотел он отставать от своего Канаша.

Лошади, привычные к крутым подъемам и спускам, вели себя совершенно спокойно. Они не пугались и когда тропка шла вдоль отвесного среза, и когда внезапно ныряла вниз между скал. А Чокан оказывался то на крупе коня, то — при спуске — съезжал на самую его шею.

Так они добрались до седловины Окжетпеса.

Небольшие скалы громоздились — одна на другую — до самой вершины. Дальше ехать верхом было нельзя. Жайнак оставил свою лошадь на гладком выступе у одинокой сосны, чудом, как и другие ее сестры, выросшей на камнях. Казаки предупреждали его, что подъем опасен, но ловкий джигит и слушать их не стал. Он вскарабкался проворнее кошки, находя опору там, где казалось ее не было совсем и скоро уже улыбался Чокану с самой вершины. И спустился так же ловко, как поднялся.

Между Окжетпесом и Кокше высятся примкнувшие один к одному три скальных пика — Ушкыз, Три девушки. Сохранилось предание, что Окжетпес был когда-то батыром, защищавшим своих трех сестер. Враги окружили их, приблизились вплотную. Казалось, гибель была неминуема. Но тут батыр и его сестры окаменели, чтобы не попасть в плен.

Чокан и его спутники проехали мимо Ушкыз и стали подыматься на Кокше. Расстояния в горах обманчивы. Думаешь,

вот она — вершина, а едешь-едешь и нет конца пути. Даже лошади устали...

И вдруг перед глазами Чокана открылась степь с ее холмами, пригорками и горами. Многие горы были ему хорошо знакомы с детства, с юности и с недавних лет.

...Здравствуй, мой Сырымбет, ты совсем, как верблюжонок. Я сразу угадал тебя, хоть ты и далек. А вот, и Жаман-Жалгызтау. И ты, Кошкарбай, как жирный одногорбый нар. Узнаю вас, и две верблюдицы — Еки Жалынды. Никак не могу понять, какого цвета Зеренды — зеленого или голубого? А как похож Акап на коня, отделившегося от табуна! Горы в степи кажутся живыми. Но прав и тот офицер, который сравнил их с разбросанными юртами богатого аула. Степь с ее взгорьями — вот мой прекрасный аул. Я горжусь, что здесь родился, здесь вырос.

Благодарными глазами он смотрел на знакомые дали, а потом перевел взгляд на Бурабай, в центре которого находился сейчас. Конечно, это были самые большие горы, аул аулов. Здесь прилег на мягкую зелень верблюд, здесь отдыхал и спящий батыр. Над глазами батыра сосны лохматились, как брови. Чокан видел его крупный нос, его могучую грудь, защищенную панцирем гладких скал.

Чокан смотрел и не мог насмотреться. Но всему — свой срок.

— Давайте поедем на Чертов каток,— сказал он казакам,— солнце уже на закат пошло.

Тропа к Чертову катку обрывалась у оврага. Тихо журчала небольшая речушка или, скорее, полноводный ручей. Лошадь Чокана остановилась. Он чуть подхлестнул ее камчой, чтобы перемахнуть через овраг, но лошадь попятилась назад. Чокан прикинул расстояние между берегами оврага, решил, что лошадь пугается зря и несколько раз ударил ее сильнее. Она взвилась от боли, прыгнула, но попала ногами в грязь и неуклюже заскользила к Чертову катку.

Жайнак в ту же секунду слетел с коня, бросился в овраг и еле успел схватить за хвост падающую лошадь. Однако у него едва хватало сил. Под копытами лошади сыпались камни, она на глазах теряла опору, повалилась на левый бок и продолжала медленно скользить вниз, к обрыву, увлекая за собой и Чокана. Чокан вскрикивал от боли: что-то случилось с ногой. Жайнак все еще пытался удержать лошадь, но его силы были на исходе.

Казаки бросили Чокану веревку с петлей:

— Держитесь!

— Взялся!— крикнул он слабеющим голосом:
— Держитесь!
— Попытаюсь...

В это время Жайнак отпустил хвост лошади. Она пронзительно заржала в предчувствии гибели и, увлекаемая собственной тяжестью. сначала скатилась к краю обрыва, а потом глухо упала на камни.

Когда Чокана подняли со дна оврага, выяснилось, что стоять на левой ноге он не может. Пока было неясно — сломал он ее или только растянул мышцы. Боль он испытывал невыносимую. Требовалась срочная помощь.

Не так далеко от Чертова катка, в урочище Кокмойнак, где казаки проводили военные игры, находился фельдшерский пункт. Туда и решили доставить Чокана. Проехать в урочище верхом напрямик было невозможно. Да Чокан и не мог сидеть в седле.

— Я понесу его,— предложил Жайнак.

С помощью казаков он взвалил Чокана на спину. Осторожно придерживая больную ногу, немного сгорбившись, Жайнак легко и быстро зашагал в сторону Кокмойнака. Чокан обхватил его шею и только изредка постанывал.

## Друзья рядом

Русские казаки скорее в насмешку, чем в уважение называли этот небольшой запущенный дом госпиталью, а казахи — косбайталом, потому что волки зарезали здесь когда-то двух привязанных кобылиц. Что касается фельдшера, то он был известен в округе только как лекер. Не лекарь, а именно лекер — так себе, кое-что, полузнахарь. Привить оспу он еще мог, а лечить не умел. К нему редко обращались за помощью, и он занимался тем, чем занимались все,— держал коз, овец, свиней, разводил домашнюю птицу.

Помещение, предназначенное для больных, было заброшено, и неряшливая сестра милосердия наскоро его убрала, чтобы положить страдающего Чокана.

Лекер-лекарь, хоть и не имел больших медицинских познаний, да и в практике не преуспевал, должен был осмотреть больного. Приговор его оказался суровым: он обнаружил несколько переломов и настаивал на срочной отправке Валиханова в Омск.

Казаки засуетились, послали нарочного в Кокчетав. Надо было известить Аргунова, раздобыть коляску. Тем временем Жайнак посоветовался с жителями здешних аулов, и они вско-

ре доставили в Косбайтал знаменитого костоправа Сырбая из рода Аксары Кереев, который не в пример лекеру умел народными средствами лечить и ушибы, и вывихи, и переломы.

Чокан не очень-то верил знахарям и баксы, но нога продолжала мучительно болеть и распухала с каждым часом.

— Сырбай так Сырбай,— согласился он,— пускай заходит.

Ему было уже все равно. Но — удивительное дело!— молчаливый аульный костоправ прощупывал ногу так, будто ее поглаживал, не только не причиняя дополнительной боли, но даже успокаивая прежнюю.

— По-моему, никакого перелома нет. Растяжение жил и мышц.

Чокан впервые после падения в овраг улыбнулся.

— Масла тебе в уста,— обратился Жайнак к Сырбаю,— а чем лечить будем?

— Конского жира надо, казы. Хорошо бы свежего.

— А еще?

— Лучше всего найти медведя. Жирного медведя. Снять с него шкуру. А уж потом — мое дело. Но где его сразу взять?..

— Медведя?— переспросил Карабашев.— Найдем и медведя.

Вместе с казаками и Жайнаком Карабашев уехал в горы, а на рассвете они уже вернулись с убитым здоровенным медведем. Сразу же его освежевали. Под шкурой выступал слой жира почти в два пальца.

Сырбай вырезал из шкуры всю подбрюшную ее часть и завернул в этот кусок больную ногу Чокана. Боль стала утихать и Чокан уснул впервые за эти сутки.

Он пробудился только после полудня. Боль в ноге настолько утихла, что в спокойном положении он ее не чувствовал, но стоило пошевелить ногой, как боль возобновлялась. Спала и температура. Вчера тело горело и учащенно билось сердце, а сегодня оно вошло в свой обычный ритм. Только белье было таким влажным, будто Чокана обливали водой.

Костоправ Сырбай так и сиял. Куда делась его вчерашняя угрюмость, обрывистые фразы! Не без хвастовства он откровенно и шумно радовался, даже балагурил:

— Я же говорил, что нет перелома. Как сказал, так и вышло. Никакие Омски-Момски теперь не нужны. Не буду Сырбаем, если не поставлю Чокана на ноги своими руками и не посажу в седло. Вот тогда он и уедет, куда захочет.

— Э-э-э, нет!— протянул Аргунов, уже примчавшийся из Кокчетава.— Это уж как прикажет генерал. Я еще вчера по-

слал курьера в Омск. Ответ от Его превосходительства придет скоро. А пока — лечи!

И Аргунов победоносно взглянул на Сырбая, потом на Карабашева:

— Что это во дворе так много народа? Делать им, что ли, нечего?

— Интересуются, господин есаул. Чокан Чингизович — кокчетавский. Ихнего отца знают, их самих. Интересуются. Все в Бурабае знают.

...В это время у озера Кумис повстречались Чингиз и Муса. Можно было подумать, что они точно рассчитали свой путь, хотя это получилось, в общем-то, случайно. Повстречались и загрустили; тому и другому уже было известно о несчастье с Чоканом. Поспешили в Кокмойнак всем караваном.

Если Чингиз и Муса держались более или менее спокойно, трезво предполагая, что узун-кулак всегда преувеличивает, то Зейнеп никак не могла прийти в себя. Какой-то бурабайский болтун, попавшийся на пути, изобразил несчастье Чокана такими красками, что у нее зашлось сердце. Слуги с трудом привели свою хозяйку в чувство. Теперь она ни о чем не желала разговаривать, односложно отвечала на вопросы и твердила только об одном — скорее к Канашу.

Не будем описывать встречу в Кокмойнаке. Приезд родителей, особенно слезы Зейнеп, не успокаивали, а волновали Чокана, мешая его окончательному выздоровлению.

Расскажем в заключение об отъезде, о проводах.

Гасфорт в своем ответе приказывал немедленно доставить Чокана в Омский военный госпиталь. Он повторил приказ и в личном письме к Чокану, выражая ему свое искреннее сочувствие.

Кто же поедет в Омск с Чоканом?

Желающих было слишком много, но надо было считаться и с больным.

Без Жайнака, спасшего его в овраге, он и не представлял пути. Милый Жайнак, не слуга, а верный друг, проявивший лучшие свои качества в эти трудные дни. Красивый лицом и душой, мужественный и твердый в час опасности, ловкий и даже хитрый, когда надо. Певец и сказитель — какой же он толенгут. Нельзя держать Жайнака в унижении. Природа щедро наградила его всем, кроме свободы, которой он достоин. Чокан решил не отпускать Жайнака от себя и в Омске, после выздоровления подумать о его судьбе.

Чокан увозил с собой и Айжан, нежную самоотверженную Айжан. Она отбросила в сторону всякую стыдливость и услов-

ность, она сказала — я его законная жена. И ухаживала за ним в Кокмойнаке так, как никто бы лучше не смог сделать. Она так неожиданно властно распоряжалась у постели больного, что ей никто не перечил. А Чокан улыбался ей одними глазами; его лицо было еще бледным, малейшее движение ногой возвращало боль. Но Чокан боролся с болью, продолжая улыбаться Айжан, и на душе его было спокойно, хотя ничего так и не решилось в этом заброшенном домике-госпитале.

Зейнеп тоже уезжала с Чоканом. Это было ее право матери. Ее старались переубедить, говорили о трудности пути и о трудности городской жизни, особенно в эти дни, когда сын будет продолжать лечение. Но она стояла на своем: «Поеду и все. Не отстану живой от Канашжана». Не связывать же ее!

Собрался в Омск и костоправ Сырбай. Упрямец, он знал себе цену и к тому же так привязался к Чокану, что следил в оба и за матерью, и за Айжан, не отходившими от постели больного.

— Как я сказал, так и будет!— добродушно ворчал он.— Не успокоюсь, пока своими руками не посажу Чокана в седло.

Тут никто не возражал, потому что и жители Бурабая доверяли своему лекарю, называли его народным глазом в пути и в городе. Мол, вернется из Омска и все нам расскажет.

Как ни странно, но Чингиз оставался в Орде. С Чоканом уезжал Муса, ему можно было возвращаться в Баянаул и через Омск. Он задержится там до полного выздоровления племянника. Стоит ли появляться перед начальством двум старшим султанам сразу в смутные эти дни? Вот когда все прояснится и, быть может, гроза обойдет их, тогда отец и проложит следы своего коня к сыну. Так решил Чингиз, считая, что и на этот раз он проявил ловкость и предусмотрительность.

...Сколько народа столпилось на казачьем плацу перед домиком? Откуда только узнали они про отъезд? Когда на пороге появился Жайнак с Чоканом на руках, люди заволновались, зашумели, иные заплакали. Чокан особенно растрогался и заулыбался, когда увидел Аппаса и Ангала. Смешные добрые старики! Их глаза покраснели от слез. Но плакать было ни к чему. Они и сами видели — Чокан выздоравливал.

— Жолды-аяк! Благополучной ноги, счастливого пути, полной чаши!

Отъезжающие двинулись по направлению к Омской дороге. И долго еще им вслед звучали пожелания добра и здоровья, новой встречи с Чоканом.

*Конец второй книги*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

18 апреля 1973 года в издательстве «Жазушы» мне вручили только что поступивший из типографии сигнальный экземпляр первого тома романа Сабита Муканова «Промелькнувший метеор», переведенного мной на русский язык.

— Значит, будем продолжать?— спросили меня в издательстве, и в самом этом вопросе прозвучало утверждение.

— Будем,— ответил я и предложил встретиться втроем, потому что без консультации автора я не представлял себе дальнейшей работы над переводом и, наконец, надо было выслушать его пожелания, договориться о сроках.

Решили ждать выздоровления Саке. Я говорил с ним всего несколько дней назад по телефону. Он тогда был еще дома и жаловался не столько на болезнь, сколько на врачей, требующих, чтобы он лег в больницу. А в марте и первой половине апреля мы вместе жили в санатории «Алатау». Гуляли по утрам, радуясь горному весеннему солнцу, неожиданным снегопадам, сменявшимся снова ясным небом, перезвону капели и ручьев. Вечерами Сабит обычно звал к себе на чай, и комната его становилась своего рода литературным клубом. Чаще всего общим вниманием завладевал сам хозяин. Рассуждал, вспоминал, даже напевал, перебирая струны инкрустированной, заветной своей домбры. Необыкновенный рассказчик, наделенный юмором и умением воспроизводить детали и давних времен, и наших дней, он одинаково свободно посвящал нас и в древнюю историю Сибири, и в нынешнюю жизнь родного аула, и в цейлонские встречи, и в биографии писателей-современников. Но не меньше, чем о прошлом, говорил Сабит и о будущем — о своих планах.

...Я возвратился домой с книгой, испытывая то праздничное чувство подведенной черты, осязаемого итога, что так знакомо при выходе в свет произведения,— будь оно оригинальное, переводное или даже просто отредактированное тобой.

Но рассматривая рисунки на обложке и форзаце, перелистывая

страницы с привычной боязнью обнаружить опечатку, я еще не знал в эти минуты, что сегодня, 18 апреля, подведена еще одна — страшная — черта, что нет больше в живых Сабита Муканова.

Все неожиданно стало последним. Последняя совместная весна в горах, последний краткий разговор и даже строка на внутренней странице обложки — «авторизованный перевод» — и та стала последней.

Стоит ли говорить, что утрата Сабита, с которым я был связан дружбой не одно десятилетие, не позволила мне сразу же приступить к работе над переводом второй книги романа.

Спустя некоторое время стали возникать сомнения уже этического и делового порядка. При жизни Сабита многое было достаточно просто. Я ему говорил, что такое-то описание надобно опустить, что оно не дойдет до русского читателя. А вот это место нуждается в коррективах. Сабит порой соглашался, порой не соглашался со мной, объяснял мотивы того или иного поступка героя, его поведения, и, в конце концов, рождался вариант, приемлемый и для автора, и для переводчика. Когда в таких случаях возникали некоторые отступления от казахского текста, то переводчик был защищен, как броней, письменной авторской визой.

Теперь же я оставался один на один с подстрочником... И если бы не «добро» издателей, родных и друзей Сабита, если бы не сознание долга перед ушедшим из жизни писателем, вряд ли бы я решился продолжить работу над «Промелькнувшим метеором».

Переводчик далеко не всегда может брать на себя обязанности критика и литературоведа. Не ставлю и я перед собой задачи дать в этих заметках оценку и разбор «Промелькнувшего метеора».

Цель моя значительно скромнее — рассказать то, что я знаю о частично исполненном, но в целом не завершенном замысле Сабита Муканова, и о некоторых аспектах моей личной работы переводчика.

* * *

Собирать материалы о Чокане Валиханове писатель начал еще перед войной, а в годы войны написал о нем пьесу, переведенную на русский язык Виктором Шкловским и названную «Нить Ариадны». Спустя десять лет появился новый вариант пьесы. На этот раз ее перевел Борис Лавренев. «Чокана Валиханова» ставили многие театры республики.

Как в пьесе, так и в большой исследовательской работе, посвященной Чокану и отмеченной его же имени премией Академии наук Казахской ССР, можно увидеть основу будущего романа.

«Продолжать ли мне дальше мою «Школу жизни»? — размышлял Сабит Муканович, завершая третью книгу своей автобиографи-

ческой эпопеи.— Пока меня влекут иные темы, иные произведения. Я приступил к работе над романом о Чокане Валиханове. Образ этого передового ученого и просветителя волнует меня прежде всего потому, что не кто иной, как Чокан, сознательно и последовательно содействовал своей культурной деятельностью укреплению дружбы казахского и русского народов, дружбы, возникшей еще в восемнадцатом веке».

Высокая идейная сторона замысла, давний и глубокий интерес к неповторимой и удивительно своеобразной личности Валиханова удачно сочетались у Сабита со счастливым «географическим» обстоятельством: с юности он торил тропки к чокановским местам, встречался с его родичами, бывал в Сырымбете и Омске. В двадцать один год, став председателем ревкома Кокчетавской волости, он был широко известен по прозвищу Қара-борик, Черная шапка. Қара-борик появлялся по первой тревоге в степных и предгорных аулах. Именно тогда он проделал много маршрутов, совершенных впоследствии героем его исторического романа. Именно тогда юный и суровый ревкомовец пленился красотой Синих гор и совсем не по служебной надобности облазил их крутые склоны.

Многочисленные странствия в годы молодости, разумеется, не были задуманы Мукановым. Так слагалась его биография. Зато в годы творческой зрелости, когда живой интерес к Валиханову стал профессиональным интересом художника, Сабит тщательно планировал свои ближние и дальние поездки.

Так было, например, летом 1956 года, когда С. Муканов вместе с В. Кетлинской и В. Собко путешествовал по Китаю. Поездка в Синьцзян не предусматривалась маршрутом, но С. Муканов добился его изменения и побывал там, где под именем Алимбая проходил Чокан с кокандским торговым караваном. Сабит Муканович въезжал в город через те же древние ворота, что и кокандские караванщики, бродил тем же базаром, где изучал цены на маргеланский шелк и английские сукна молодой бритоголовый купец — ученый и разведчик.

Так была задумана и осуществлена творческая командировка в Восточную Сибирь, в Бурятскую автономную республику, в Прибайкалье, в родные места Доржи Банзарова, выдающегося бурятского ученого, современника Чокана.

Так ездил Сабит Муканович в Омск и в Сырымбет. Так наведывался он и в Талды-Курганскую область, в тот ее уголок, где в прошлом находился аул султана Тезека: там жил Валиханов последние месяцы своей жизни, там он и похоронен.

Можно сказать, что Сабит сам повторил большинство путей Чокана. Он настойчиво шел по его следам в архивах и библиотеках. Я видел редкие издания, внимательнейшим образом прочитанные им

с карандашом в руках. Историю Омского кадетского корпуса, книги Потанина, вышедшие на рубеже нашего века, Записки Русского географического общества. Он штудировал многотомную историю Сибири, истории братских союзных республик, и книжные поля хранят мукановские пометки, сделанные, как правило, изящными арабскими начертаниями.

К решению нелегкой своей задачи писатель подходил как исследователь, как историк. И совершенно не случайно работа над романом по времени совпала с работой по истории и этнографии казахов. Думается, Сабит как бы вживался в Валиханова-этнографа и продолжал его дело.

Муканова-ученого читатель почувствует по многочисленным историческим отступлениям, разбросанным на страницах «Промелькнувшего метеора».

Но книги и архивные документы — лишь один источник романа. Существует и другой — не менее щедрый. Это народная память. Устные рассказы, сложенные еще при жизни Чокана, передавались из поколения в поколение, дополнялись и новыми фактами и неустанной работой воображения аульных импровизаторов. Скольких стариков расспрашивал писатель в Приишимье и Прииртышье! Описания и жестоких родовых распрей, и сказочно богатых тоев, образы легендарных барымтачей, в которых скорее можно увидеть степных рыцарей, а не воров, навеяны, очевидно, фольклорным источником, а не печатными материалами. Следует иметь в виду, что и для самого Муканова фольклор — родная стихия. Ученый одной своей ипостасью, Сабит другой являл пример народного импровизатора, превосходнейшего рассказчика. Он никогда не повторялся в своих рассказах, ибо рассказывая — творил. И слышанное им в аулах нередко попадало на страницы романа в преображенном собственным импровизаторским даром качестве.

Я это хорошо почувствовал однажды, когда жил неподалеку от дачи Сабита Муканова в предгорьях Алатау и переводил первую книгу «Промелькнувшего метеора». Беседы с автором, как всегда, помогали мне входить в атмосферу романа, острее воспринимать отдельные детали пейзажа, быта, истории. Однажды в гости к писателю приехал Молдагали Желкибаев, седой аульный интеллигент, лет восьмидесяти, не менее. Жил он в ауле Сырымбете, на родине Чокана, где сын Молдагали работал совхозным зоотехником.

Молдагали и Сабит сидели друг против друга, пили кумыс и беседовали часами. В разговоре то и дело мелькали имена: Чокан, отец Чокана — Чингиз, мать Чингиза — Айганым. Собеседники спорили, спорили спокойно о том, что было столетие и полтора столетия назад, как о вчерашнем, о близком.

От истории переходили к охоте. Молдагали рассказал, как сов-

сем недавно, чуть ли не в эту же зиму, по снегу ходил на волков и убил одного зверя. Здесь все было вполне реальным. Про себя я усомнился в одном — позволил ли возраст не пышущему здоровьем старику охотиться на волков в зимнем лесу. Но это было не столь уж важно, главное оказалось впереди. Молдагали, по его словам, держал волкодава из породы ханских собак, в чьей родословной числился знаменитый Серый Лысый, догнавший кулана — дикого осла и распоровший ему живот. И конь у Молдагали, как он утверждал, был особенный,— потомок вороной крылатой кобылицы.

Молдагали поглаживал полы своего зеленого старомодного пиджака и хитро поглядывал на меня: мол, хочешь — верь, а хочешь — не верь, твое дело. Улыбался и Сабит, понимающе встречаясь глазами с Молдагали. Они оба находились в родной стихии, в родном краю. И приглашали меня к себе.

Так Муканов-ученый соседствует в романе с Мукановым — народным рассказчиком, знатоком фольклора и отчасти его творцом. Я убежден, что многие черты невымышленных героев «Промелькнувшего метеора» взяты из бытующих в степи полупреданий, полурассказов и дополнены воображением писателя.

И еще о некоторых особенностях романа.

И «Ботагоз» и «Светлая любовь» — книги, построенные на остром, неожиданно развивающемся сюжете. В какой-то мере это можно отнести и к «Промелькнувшему метеору». Подслушивание, сложные интриги, даже покушение на убийство занимают в нем довольно много места. Может быть, писателем руководили соображения сделать книгу занимательнее, интереснее? Может быть, он считал нобходимым держать читателя в напряжении? А может быть, и здесь романист следовал традициям устного рассказа, непременно предполагающего внезапные повороты, удивительные встречи?

Другая особенность, которую мне хотелось бы подчеркнуть,— это путевой характер романа. Действие происходит преимущественно в дороге. Чокан всегда куда-нибудь едет. Из аула в Омск, из Омска в аул. Едет на ярмарку в Атбасар или на той в Бурабай. Едут султаны в Санкт-Петербург и Москву. И дороги, особенно в пределах казахской степи, описываются предельно подробно. С указанием развилок и наиболее удобных вариантов в распутицу или в летнюю жару. Дело прежде всего в том, что писатель сам проехал этими дорогами, сам знал их досконально. Однако в одном случае, когда речь идет о самом большом пути Чокана,— о пути из Омска в Иркутск, обычное обстоятельное описание оказалось замененным беглой скороговоркой. Но дальше дорога вдоль Байкала снова живописуется со всеми подробностями. Я догадался, по-

чему так произошло. Сабит Муканович до Иркутска летел самолетом, и потому дороги этой не знал. Полагаться же на описание ямщицкого тракта, сделанного, скажем, в «Дорожной книге русских путешественников» было не в правилах писателя.

Пристрастие Сабита Муканова к дорогам и тропам, его постоянное стремление отправить героев в путь, на мой взгляд, совершенно закономерно. Испытанный в литературе прием — показывать широкую панораму жизни через путешествия героев — совпал в данном случае с особенностью самой жизни казахов, еще продолжавших в прошлом веке свои кочевые странствия, подчиненные временам года.

В этой связи обращаю внимание читателей еще на одну деталь. Появляется новый персонаж, и тут же сообщается: это Естемес, сын Саита, внук Кошкарбая, правнук Кортыка, принадлежит к ответвлению Сибана из рода Керея. Порою такие перечисления могут показаться утомительными. Что греха таить, в переводе они значительно сокращены. А между тем они сообщают определенный исторический колорит повествованию, потому что в те времена родовая принадлежность находилась — скажем по современному — в первых пунктах устной степной анкеты.

* * *

Возвращаюсь к технологии моей переводческой работы при жизни Сабита Муканова и без него.

Сабит сам объяснял мне неясные места, дополнял рассказом,— иногда не менее интересным, чем сама рукопись, давал мне книги, которыми пользовался сам. Переведенную главу я обычно прочитывал ему вслух, он тут же делал мне замечания, и по ходу вносились исправления.

Порою возникали споры.

Не скрою, мне показалась неоправданной в романе преждевременная смерть Айганым, матери Чингиза, бабушки Чокана. По воле писателя это случилось лет на двадцать раньше действительной смерти. Умная, образованная ханша была незаурядной женщиной своего времени и оказала большое влияние на мальчика Чокана.

Я откровенно сказал об этом Сабиту Мукановичу.

— Есть мать Чокана — Зейнеп,— ответил он мне.— Она его воспитывала, она с ним спорила и в детстве, и в юности. Она смягчала суровый характер Чингиза. Двум женщинам, играющим одинаковую роль в судьбе героя, в одном романе делать нечего.

Настаивать дальше мне было неловко.

Зато большой эпизод, связанный с прибытием Ф. М. Достоевского в Омскую каторжную тюрьму, был опущен в первой книге с полного согласия Сабита.

Еще при жизни писателя, только знакомясь со второй книгой, я несколько сомневался в необходимости показывать личную дружбу Чокана Валиханова и Доржи Банзарова хотя бы потому, что в литературе отсутствуют какие бы то ни было сведения об их знакомстве. Можно даже утверждать обратное, как можно и утверждать, что Чокан никогда не бывал в Восточной Сибири, на берегах Байкала, в Кяхте.

Но и в этом случае Сабит Муканович отстоял свое право на вымысел, свое право сдружить, сблизить жизни двух выдающихся ученых и просветителей, связанных одной исторической судьбой, в равной мере любящих свои народы.

Уже вплотную работая над переводом, я убедился, что мои опасения были неосновательными. Между прочим, эти главы романа, опубликованные в журнале «Байкал» на родине Доржи Банзарова, тепло были встречены бурятской общественностью.

Я стремился бережно относиться к оригиналу при переводе второй книги «Промелькнувшего метеора». На свой страх и риск я внес лишь некоторые коррективы в линию Чокан — Достоевский, действуя главным образом путем сокращения текста. Дело в том, что сибирский период жизни Достоевского настолько подробно освещен в литературе, что некоторые сцены — скажем, переезд писателя из Омска в Семипалатинск по Иртышу — мало-мальски осведомленному читателю могли показаться неправдоподобными. Но я уже ничего не мог сделать с тем, что Александру Егоровичу Врангелю, молодому семипалатинскому стряпчему и близкому приятелю Достоевского, в романе приписана преувеличенная роль инициатора командировки Чокана Валиханова в Среднюю Азию. Сюжетные звенья здесь были накрепко пригнаны С. Мукановым одно к одному.

В остальном я старался переводить так, как переводил при жизни Сабита Мукановича. Искал фольклорную интонацию там, где мне слышался неторопливый степной рассказчик. Переписывал страницы в публицистическом ключе, если это были отступления, связанные с изложением исторических событий или раздумьями писателя о времени, о народе.

Естественно, на рабочем моем столе все время находились сочинения Чокана Валиханова, по которым я время от времени сверял язык главного героя.

Нет нужды подробно говорить и о том, что без знакомства с основными работами Доржи Банзарова и его научной биографией нельзя было работать над частью романа, озаглавленной «Уроки Сибири».

Словом, все шло и так, как в работе над первой книгой, и не совсем так...

* * *

Марат Муканов, сын писателя, рассказывает в своих воспоминаниях («Простор», № 7, 1975 г.):

«...Я спросил отца о его дальнейших планах относительно романа о Чокане Валиханове.

— Мой материал уже не входит в рамки трилогии,— ответил он.— По крайней мере я должен написать еще две книги. Сейчас мне хочется на время отойти от этой темы. Я хочу, чтобы моя память с течением времени отсеяла второстепенный материал и оставила наиболее важный.

— И долго ли продолжится эта пауза?— спросил я.

— По крайней мере год,— ответил он».

Разговор этот состоялся в начале декабря 1970 года. Пауза затянулась. «Промелькнувший метеор» так и остался незавершенным.

Мы расстаемся с молодым Чоканом на пороге его главных путешествий, на пороге его основных научных работ, задолго до признания его выдающимся востоковедом; перед самыми увлекательными и сложными событиями его общественной и просветительской деятельности.

Трудно, да в сущности и невозможно представить себе, как бы развилось течение романа.

Включил бы в третий том писатель интереснейшую по своим этнографическим результатам Иссык-Кульскую поездку Чокана? Рассказал бы о его дружеских отношениях с известнейшим географом П. П. Семеновым-Тянь-Шанским? Вряд ли он мог обойти эти вехи жизни своего героя, как вряд ли он мог миновать и официальный визит Валиханова в Кульджу.

Что касается путешествия в Кашгарию, то тут всякие сомнения отпадают: Сабит Муканович готовил и своего героя и нас, читателей, к этому подвигу. Не зря и сам писатель, как мы уже упоминали, побывал в Кашгаре.

Описание путешествия, сделанное Чоканом Валихановым, само уже читается как роман, соединяя в себе научную точность, безупречную наблюдательность и умение сжато, одной-двумя деталями передавать драматичность обстановки.

«Приближаясь к городу, мы перешли реку Тюмень по деревянному мосту. Город окружен высокой глиняной стеной. Издали виднелись одни только стены, а по углам их легкие башни китайской архитектуры. Здания и сады закрыты, не видны. Дорога около ворот уставлена в виде аллей жердями, на которых повешаны клетки с головами преступников, казненных после восстания 1857 года.

1 октября 1858 года караван вступил в Кашгар, сопровождаемый кашгарскими и кокандскими чиновниками. В воротах нас останови-

ли. Чиновники поехали к хаким-беку и, наконец, возвратились с известием, что можно войти...»

Или:

«В Кашгаре и вообще в шести городах существует обычай, по которому все иностранцы во время пребывания в них вступают в брак. Жители Малой Бухарии, хотя последователи учения имама Ханифи, по которому временные браки не допускаются, но тем не менее обычай этот господствует в полной силе. Брак совершается по форме, и от жениха требуется только одевать жену. Чтобы не выходить из общего порядка и по настоянию наших знакомых, мы должны были также подчиниться этому обычаю».

Не из этих ли нескольких сдержанных строк родилась пьеса Сабита Муканова «Девушка из Кашгара»?

И еще одна выписка из сочинений Валиханова:

«Что касается до моих действий, то я во время пребывания в Кашгаре старался всеми мерами собрать возможно точные сведения о крае, особенно о политическом состоянии Малой Бухарии, для чего заводил знакомство с лицами всех наций, сословий и партий, и сведения, полученные от одного, сверял с показаниями другого. Сверх того я имел случай приобрести несколько исторических книг, относящихся к периоду владычества ходжей и пользовался дружбой некоторых ученых ахунов. Из этих источников заимствованы мною факты, касающиеся влияния ходжей до времен джунгарского владычества и после — до падения страны под иго Китая».

Скромно, почти протокольно, как о чем-то очень будничном и просто, рассказывает Чокан о своем подвиге, требовавшем максимального напряжения нравственных сил, собранности, такта, ума и знаний. Ведь в караване он был Алимбаем, родственником караванбаши Букаша, кокандским подданным, сыном маргеланского выходца. Он прежде всего должен был помогать своему богатому родичу в торговых делах, в сбыте товаров, что и делал весьма исправно.

Всесторонне изучая незнакомую страну, собирая многочисленные коллекции и рукописи, он ежедневно, ежечасно подвергался риску быть разоблаченным и разделить участь второго после Марко Поло европейца, побывавшего здесь, Адольфа Шлагинтвейта, годом раньше обезглавленного в Кашгаре ходжой Валиханом-тюре.

Молодой Алимбай был уже накануне разоблачения,— в купеческой среде начали распространяться слухи, что при караване находится русский агент. Если бы не своевременный отъезд из Кашгара, кто знает, чем бы кончилась биография Чокана Валиханова..

7 марта 1859 года караван выступил домой, а 12 апреля Чокан уже приехал в укрепление Верное.

Несмотря на огромную физическую усталость и расшатанное

здоровье, он с необыкновенной энергией принимается в Омске за обработку добытых материалов.

Осенью этого же года он уже в столице России. Начинается новый, петербургский, этап жизни Чокана. Если путешествие в Кашгарию было подвигом, то полуторагодичное его пребывание в Питере явилось временем научного и государственного признания заслуг отважного путешественника, временем интенсивнейшей работы над своими сочинениями и дальнейшим образованием и, наконец, временем укрепления связей с русскими демократическими кругами.

Нельзя не удивляться насыщенности петербургского периода жизни Чокана Валиханова и его диапазону. Он сам читает доклады и лекции — отчеты о некоторых из них печатались в «Русском инвалиде». Одновременно он слушает лекции на историко-филологическом факультете столичного университета и продолжает совершенствовать свои знания иностранных языков.

Он встречается с министрами и с теми литераторами, которые считали своими учителями Чернышевского и Добролюбова. Изучает материалы Азиатского департамента и с огромным интересом вчитывается в страницы пропагаторов социализма. Ему дает письменную лестную характеристику министр иностранных дел князь Алексей Горчаков («фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной» — писал о князе его лицейский товарищ Пушкин). Чуть ли не одновременно о деятельности Валиханова с большим одобрением отзывается в Лондоне и «Колокол» А. И. Герцена.

Имя Чокана Валиханова становится известным востоковедам Западной Европы.

Петербургский этап жизни Чокана Валиханова, бесспорно, очень занимал Сабита Мукановича, и ему, этому периоду, была бы отведена в романе не одна глава.

Мне вспоминается такой случай. Я однажды готовил большую телевизионную передачу о Сабите Муканове. В передачу было включено и интервью с писателем, которое решили записать без предварительной подготовки в условиях, максимально приближенных к свободному разговору. И в этом интервью Сабит совершенно неожиданно для меня рассказал о том, что он располагает неопровержимыми данными о пребывании Чокана в Париже и обязательно поведает об этом в своем романе.

Позднее я несколько раз просил Сабита Мукановича подтвердить это как-то подробнее. Но он только хитровато улыбался: «Мол, подожди, в свое время узнаешь. Не надо быть очень любопытным».

Это «свое время» так и не наступило.

Нельзя сомневаться и в том, что в романе нашел бы широкое отражение тот степной этап жизни Чокана, когда он решил стать «просвещенным султаном» и выдвинул свою кандидатуру для бал-

лотирования. Он так писал об этом «любезному другу Федору Михайловичу Достоевскому»:

«...Я думал более всего о том, чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель. Они увидели бы, что человек истинно образованный — не то, что русский чиновник, по действиям которого они составили свое мнение о русском воспитании. С этой целью я согласился быть выбранным в старшие султаны Атбасарского округа, но выбор не обошелся без разных чиновничьих штук. Господа эти, как областные, так и приказные, поголовно восстали против этого» (Чокан Валиханов. Собрание сочинений, том 4, стр. 63).

Этот эпизод в 3-й или 4-й книге хорошо бы перекликался со страницами, посвященными ярмарке в Атбасаре во второй книге романа, ибо прочно связан был бы уже со знакомым читателю действующими лицами...

...Меньше всего у меня было намерений последовательно излагать в этих заметках биографию Чокана. Заинтересованный читатель без труда сможет познакомиться с ней по отличным работам А. Маргулана, С. Маркова, по той же книге С. Муканова «Лучезарные звезды», еще не переведенной на русский язык.

Я лишь кратко останавливаюсь на тех значительных страницах жизни Ч. Валиханова, которые, на мой взгляд, могли бы войти в ненаписанную трилогию.

И в этой связи задержусь еще на двух моментах.

В 1864 году началась военная экспедиция против Кокандского ханства. Войска двигались со стороны Сыр-Дарьи и от укрепления Верного. Чокан был убежденным сторонником необходимости присоединения к России южных районов Казахстана и едва ли не с той же убежденностью отрицательно относился к насильственным, завоевательным методам присоединения. Тем не менее, Черняев привлек его в свою экспедицию. Дальше я привожу свидетельство Григория Потанина:

«Чокан, однако, не участвовал в штурме Ташкента, он разошелся с Черняевым и вернулся с дороги. Подступив к городу Пишпек, первому укрепленному месту на границе... ханства, Черняев собирался взять его силой, пообещал солдатам позволить им грабить город в течение одного дня. Чокан, воспитанный гуманной литературой 60-х годов, вращавшийся в кругу петербургских литераторов, поэтов и популярных ученых, водивший знакомство с Достоевским, ботаником Бекетовым и пр., узнав об этом решении генерала, бросился к нему, чтобы уговорить его отказаться от своего намерения. Генерал не согласился, произошел крупный разговор; Чокан разочаровался в Черняеве, оставил отряд и вернулся в Верный».

Есть в этом отрывке неточности, есть и неполнота формулировок.

Речь должна была идти не о Пишпеке, а скорее об Аулие-Ата, нынешнем городе Джамбуле. Да и Черняев был еще полковником, а не генералом. И дело не только в воздействии гуманной литературы 60-х годов, а прежде всего в любви к своему народу. Однако здесь заложено зерно острой ситуации, которой, конечно же, воспользовался бы художник, чтобы показать в романе крупным планом на достоверном историческом фоне благородную и противоречивую натуру Чокана. Конфликт между штабс-ротмистром Валихановым и полковником Черняевым под аккомпанимент батарейных орудий и мортир разрастался до масштабов социального конфликта.

И в заключение — о нескольких месяцах в ауле султана Тезека, о смерти Чокана в апреле 1865 года.

Существует версия — ее придерживались многие современники, в том числе Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, что после острой размолвки с Черняевым Чокан Валиханов сделал неожиданный шаг назад, возвратился в родную степь, в юрту, в шалаш, подобно пушкинскому Алеко, отрешился от приобретенных цивилизованных привычек, женился на простой казахской девушке и умер, сломленный чахоткой, насладившись перед смертью первозданной аульною тишиною.

Действительно, больше полугода Чокан провел в ауле Тезека, вблизи хорошо известного ему по путешествию в Кашгарию Алтын-Эмельского перевала. Да, он женился на сестре Тезека. Да, здесь в ауле он и умер.

Но таким ли тихим был этот аул, находящийся недалеко от государственной границы? Именно в 1864—1865 гг. уйгуры и дунгане Илийского края подняли восстание против феодального и национального гнета. Именно в аул Тезека приезжали то посланцы китайской администрации, то лазутчики восставших. И те, и другие в равной мере ждали помощи от России. Надо было детально разобраться в этой сложной обстановке.

В ауле Тезека сходились многие нити.

Да и самого Тезека никак нельзя представить патриархальным племенным вождем.

Полковник русской службы, старший султан Большого Жуза, племени албанов, Тезек Нуралин был не только коллекционером старинного оружия, метким стрелком и певцом-импровизатором. Не только приятным собеседником и гостеприимным родственником Чокана. Он был видным в Семиречье политиком.

И уж так ли случайно в его ауле находился в это тревожное время Чокан?

Перечитывая письма Чокана генералу Герасиму Андреевичу Колпаковскому (осень и зима 1864—65 гг.), написанные в ауле Тезека, убеждаешься в их совершенно деловом политическом характере.

Письма содержат сводки военных действий между маньчжурами и восставшими, записки о положении кочевников-киргизов (и собственно киргизов, и казахов) в результате восстания, критические замечания о местных администраторах в Семиречье.

Чокан не раз переводит для генерала Колпаковского письма, адресованные Российскому правительству, правителей илийских провинций.

Вот тебе и отрешенье от государственных забот, вот тебе и уединение в патриархальной тишине!

Две выписки из писем:

«Пользы от ага-манапа мы положительно не имеем и, поддерживая его значение, вредим самим себе, отталкиваем от себя народ... Кроме того, Сарымбек постоянной ложью от имени русского правительства возбуждает недоверие в народе к нам... Сверх того, ни один абсолютный восточный монарх не делает таких насилий, как он. У него содержится одна женщина, под именем **подводной бабы...** он ею угощает приезжих казаков и других лиц, и она взята так же, как берут в подводы верблюдов и лошадей...»

В этих строках и оскорбленное национальное достоинство и энергичное желание вмешаться в систему управления, положить конец произволу.

Не новоявленному степному отшельнику принадлежат эти слова, равно как и такая изящная приписка к письму от 19 января:

«Ваше превосходительство оказали бы большую милость, если бы привезли мне несколько ящиков сигар гаванских от Терехова и один, так называемый, пробный ящик».

Мы просто не знаем многих обстоятельств этого уединения, но зато хорошо известно из опубликованных архивных документов, какая гроза собиралась над Чоканом.

11 февраля 1865 года туркестанский генерал-губернатор докладывал военному министру:

«...Я неоднократно получал неодобрительные от местных властей отзывы о штабс-ротмистре Валиханове, распространявшем между киргизами Семиреченской области вредные для спокойствия края слухи».

Далее, в этом же донесении сообщалось, что Валиханов и его шурин, полковник Тезек, вместе сеют «возмутительные слухи». Генерал-губернатор приказал арестовать их и произвести следствие.

Как можно заключить по обтекаемым канцелярским фразам документов, генерал Колпаковский, губернатор Семиреченской области, не выполнил этого приказа, но, однако, признал необходимым удалить Валиханова из Семиречья.

7 апреля 1865 года за три дня до смерти Чокана начальник Глав-

ного штаба генерал-адъютант граф Гейден в докладе военному министру Милютину писал:

«...Генерал-лейтенант Хрущев полагал бы более соответственным перевести штабс-ротмистра Валиханова на службу в какой-либо кавалерийский полк внутри империи, где по условиям окружающей его среды пребывание его не может повлечь за собой никаких вредных последствий».

И резолюция министра: «Перевести в один из кавалерийских полков по выбору самого штабс-ротмистра Валиханова».

Телеграмма из столицы в Омск пошла 9 апреля, а читал ее командующий войсками Западно-Сибирского округа генерал-лейтенант Хрущев в день смерти Чокана.

Когда выстраиваешь в один ряд эти факты, хочется представить себе, что же в конце концов происходило в ауле Тезека.

Когда сопоставляешь даты «Валихановского дела» и его смерти, невольно спрашиваешь себя: а не повлияло ли это следствие на болезнь Чокана, не ускорило ли следствие его конец?

Те, кому в 1865 году было пятнадцать и двадцать лет, могли дожить до тридцатых и даже сороковых годов нашего века. И уж, во всяком случае, передали своим сыновьям многие устные рассказы о пребывании Чокана у Алтын-Эмельского перевала.

Я был в 1950 году на его могиле, смотрел скромный памятник, сооруженный еще генералом Колпаковским в 1881 году «во внимание ученых заслуг Валиханова...» Он не идет ни в какое сравнение с установленным в наше время гордым обелиском и барельефом великого сына казахской степи. Но и к той скромной мраморной плите жители окрестных аулов приносили цветы.

Мне удалось за время краткого пребывания в урочище Кучен-Тоган услышать одну трогательную и наивную легенду о памятнике Чокану.

Но ведь Сабит-ага бывал в этих краях не один раз. Кто-кто, а он умел разговаривать со стариками и, надо полагать, узнал от них много важного, что вошло бы в заключительную главу задуманной тетралогии.

Долг творческих наследников Сабита Муканова — если не разгадать его намерения, то уж терпеливо идти по намеченным им следам.

*АЛЕКСЕЙ БРАГИН*

## СОДЕРЖАНИЕ

САБИТ МУКАНОВ

**ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР**

**роман**

*на русском языке*

*книга 2*

Редакторы *Н. Акимбеков, Л. Космухамедова.* Художник *К. Зильпикаров.*
Худож. редактор *А. Сергеев.* Техн. редактор *М. Злобин.*
Корректоры *Г. Сыздыкова* и *Ш. Мукажанова.*

ИБ 1824

Подписано к печати с матриц 10.01.80. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. тип. № 1
Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 12,875. Усл. печ. л. 21,6.
Уч.-изд. л. 24,3. Тираж 100000 экз. Заказ № 129. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Алма-Ата, 480091,
пр. Коммунистический, 105.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий
«Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 р. 70 к.


2
САБИТ МУКАНОВ
ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР